

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2022 * Том 21 * № 1

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW

2022 * Volume 21 * Issue 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2022
Том 21. № 1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманская, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Никола Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александр (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2022
Volume 21. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Maxim Fetisov

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

National Research University Higher School of

Economics

Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- В этом шкафу много скелетов: политическое использование традиции
в современной России 9
Святослав Каспэ

- Анатомия лояльности: механизмы формирования электорального
сверхбольшинства в этнических республиках современной России 38
Станислав Шкель, Андрей Щербак, Татьяна Ткачева

- Social Immunology: Application in Research on Migration 71
Лика Родин

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Сколько видов справедливости в «Левиафане» Томаса Гоббса? 87
Евгений Каракагин

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- «Онтологический поворот» в социальных науках: возвращение
эпистемологии 109
Тапдыг Керимов

- Феномен атмосферы как объект междисциплинарного исследования 131
Майя Мазаева

КУЛЬТУРСОЦИОЛОГИЯ

- Натурализация культуры: когнитивизм против pragmatизма 153
Дмитрий Шариков

- Литература «не для всех» и феномен guilty pleasure: литературные
классификации как пространство создания различия 180
Надежда Соколова, Екатерина Михайлова

- Медали, барьеры, отцы и карьеры: институциональная инерция
и изменения в российском художественном мире конца XIX —
начала XX века 206
Мария Сафонова

ОБЗОРЫ

- Критика марксизма как прототеория культурного капитала и «нового класса»: теория интеллигенции Яна Вацлава Махайского 235
Мария Черновская

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Добродетель и античный полис: место книги «Город и человек»
в корпусе работ Лео Штрауса 264
Александр Павлов

РЕЦЕНЗИИ

- Постправда и ее опасности 284
Алексей Салин
- Департамент полиции, жандармы, либералы: особенности политического
и публичного в Российской империи 298
Амиран Урушиадзе

Contents

POLITICAL SOCIOLOGY

Many Skeletons in This Closet: The Political Use of Tradition in Modern Russia	9
Svyatoslav Kaspe	
The Anatomy of Loyalty: Mechanisms for the Formation of an Electoral	
Super-Majority in the Ethnic Republics of Contemporary Russia	38
Stanislav Shkel, Andrey Shcherbak, Tatiana Tkacheva	
Social Immunology: Application in Research on Migration	71
Lika Rodin	

POLITICAL PHILOSOPHY

How Many Types of Justice are in Thomas Hobbes' <i>Leviathan</i> ?	87
Evgeniy Karchagin	

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

The “Ontological Turn” in the Social Sciences: The Return of Epistemology	109
Tapdyg Kerimov	
The Phenomenon of the Atmosphere as an Object of Interdisciplinary Research.	131
Maya Mazayeva	

CULTURAL SOCIOLOGY

Naturalizing Culture: Cognitivism vs. Pragmatism	153
Dmitrii Sharikov	
The Literature “Not for Everyone” and the Phenomenon of the Guilty Pleasure:	
Classifications in Literature as a Space for Distinction.	180
Nadezhda Sokolova, Ekaterina Mikhailova	
Medals, Barriers, Fathers, and Careers: Institutional Inertia and Transformation	
in the Russia Artistic World in the End of the 19th and the Beginning of the	
20th Century	206
Maria Safonova	

REVIEWS

- Criticism of Marxism as a Proto-theory of Cultural Capital and the “New Class”:
J. W. Machajski’s Theory of Intelligentsia 235
Maria Chernovskaya

REFLECTIONS ON THE BOOK

- Virtue and the Ancient Polis: A Place of *The City and Man* in Leo Strauss’s
Corpus of Works 264
Alexander Pavlov

BOOK REVIEWS

- Post-Truth and Its Threats. 284
Alexey Salin
- Police Department, Gendarmes, Liberals: Peculiarities of the Political and
Public in the Russian Empire 298
Amiran Urushadze

В этом шкаfu много скелетов: политическое использование традиции в современной России^{*}

Святослав Каспэ

Доктор политических наук, профессор, департамент политики и управления,
факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Главный редактор журнала политической философии и социологии политики «Полития»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: kaspe@politeia.ru

Рассматривая традицию как особую фигурацию людских взаимодействий, своюственную вовсе не традиционным, а, напротив, современным и меняющимся обществам, автор сосредоточивает свое внимание на ее использовании в качестве категории политической борьбы и орудия власти. В современной России выделяются четыре страты, каждой из которых свойственны свои модусы обращения с традицией, — научное сообщество, интеллектуальные элиты (рефлексивные и функциональные), политические элиты и массы (то есть все группы, не относящиеся к перечисленным). Научная среда в целом следует идеалу профессиональной нейтральности. Интеллектуальные элиты производят более или менее политически ангажированные трактовки традиции, руководствуясь как собственным моральным пафосом, так и своими договорными обязательствами перед политическими элитами. Последние непосредственно используют традицию как орудие политического управления. Такое использование: а) инструментально; б) в высокой степени индифферентно к содержанию тех политических программ и курсов, защитой которых призвано служить; в) в высокой степени индифферентно к аутентичности самой традиции. Однако эффективность мотивированных традицией управляющих воздействий, адресуемых элитами массам, остается весьма сомнительной. Исследований, позволяющих установить, что именно российские массы считают для себя традиционным и насколько позитивно эту традиционность оценивают, до недавнего времени не проводилось — ситуация начала меняться только в последние годы благодаря работам группы ЦИРКОН. И все же пока неизвестно, насколько апелляция к традиции (то есть к той субстантивированной спекуляции, которую предлагается считать традицией) способна сыграть интегрирующую и легитимирующую роль, ожидаемую от нее политическими элитами.

Ключевые слова: традиция, ценности, современная Россия, интеллектуальные элиты, политические элиты, политическое использование традиции, массовое сознание

* Игорь Вениаминович Задорин побудил меня к написанию этой статьи. Мягкие и мудрые советы Александра Фридриховича Филиппова помогли придать тексту окончательную форму. Им обоим я выражаю свою глубокую признательность.

Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

А. и Б. Стругацкие. «Малыш»

— Я духов вызывать из тьмы умею.

— И я, как, впрочем, всякий человек. Все дело в том лишь, явятся ли духи.

У. Шекспир. «Ричард III»
(пер. Б. Пастернака)

Духи, знаете ли, бывают разные.

К.С. Льюис. «Переландр»
(пер. Л. Сумм, Н. Трауберг)

1

В традиционных обществах традиций нет. Можно, конечно, сказать, что традиций в них является решительно всё, все элементы социальной ткани (как и сама ее структура), но это было бы, во-первых, упрощением, во-вторых, анахронизмом. Подобное суждение может быть сделано только извне традиционного общества (см. первый эпиграф), из заместившей его социальной реальности (но из него же возникшей, потому что возникать ей было больше неоткуда). В традиционных обществах просто отсутствовал тот фон, на котором можно обнаружить особую фигурацию¹ людских взаимодействий, определимую как «традиция». Отсюда не следует, что в них не случались всякого рода новации, девиации и эксцессы. Случались, иначе никаких обществ, кроме традиционных, не было бы и сегодня. Только когда преодолевается порог накопления критической массы экстраординарных событий (заранее не известный), когда они собираются в устойчивые паттерны расширенных социальных взаимодействий, когда они сами превращаются в рутинный и вместе с тем беспокоящий, порождающий перманентную тревогу фон — тогда и замечаются фигуры «традиций». «Осмысление традиции... начинается тогда, когда она оказывается под вопросом, становится объектом сомнения, критики, защиты, обоснования и почитания» (Гофман, 2008: 334). Происходит это, в терминологии раннего Сэмюэла Хантингтона, в «меняющихся обществах» (Хантингтон, 2004).

В них и получает множественные, спорные и оспариваемые толкования понятие традиции, извлеченное из неисчерпаемого арсенала классической латыни и имевшее в нем узкое, конкретное значение. Оно образовано от глагола *tradere* («передавать», «вручать»); в римском праве термин *traditio* означал буквальную, физическую передачу от одного лица к другому, желательно из рук в руки, некоего

1. Термин Норберта Элиаса (Элиас, 2000: 62–65).

материального объекта или его символического выражения (например, ключей от дома). В частности, по завещанию, но не только².

Внимание к происхождению слов бывает полезно для уяснения их актуального смысла и тогда, когда он с течением времени изменился, расширился или стал переносным. На семантических полях понятий, в том числе понятий политических, лежит печать их происхождения. Даже если она стерта до почти полной неразличимости и сам говорящий не замечает ее, она продолжает неявно задавать определенные ассоциации и коннотации, программируя тем самым политические эффекты того или иного словоупотребления, усиливая их, ослабляя или порождая непреднамеренные последствия. Это важно: ведь «категории, которые делают социальный мир возможным, суть главная задача политической борьбы, борьбы столь же теоретической, сколь и практической, за возможность сохранить или трансформировать социальный мир, сохраняя или трансформируя категории восприятия этого мира»; возможность, которая «представляет собой чудовищную социальную власть» (Бурдье, 1993: 66–67). Следовательно, традиция как категория политической борьбы и орудие власти означает нечто, изначально не принадлежащее тому субъекту, который ею орудует, нечто, им полученное, приобретенное — и не обязательно от предков. Акт *traditio* может исходить от кого угодно или, точнее, к кому угодно возводиться. Поэтому традицию можно признать «чуждой», осудить ее и отвергнуть — или, наоборот, счесть основанной на «мировом опыте» «лучшей практикой» и перенять, заимствовать. Этот акт не обязательно подразумевает сознательное намерение передающей стороны: бывает же так, что право наследования возникает в отсутствие завещания, а право собственности — без формальной сделки, в силу «добросовестного владения» и «приобретательной давности». Откуда началась цепочка передачи традиции, конечно, интересно и существенно, хотя и не всегда поддается точному установлению — звеньев в этой цепочке может быть несколько и даже много. Пути диффузии традиций (как и инноваций) весьма запутаны. И если ограничить поле зрения только «предками», то ведь их тоже много — и разных поколений, и разных генеалогических ветвей. Они состояли друг с другом в разных отношениях (как заметила одна преподавательница истории, «наши предки убивали и насиливали наших предков») и не предполагали, что им всем предстоит породить именно вот этих потомков, вот это современное общество. Намного более существенно, что принимающая сторона (потомки, современное общество) делает с результатом акта *traditio*. Ведь теперь он в его полном распоряжении.

На Западе радикальное расширение смысла понятия традиции произошло на заре Нового времени (в английском языке — приблизительно в конце XVI века³). В России, конечно, позже. Судя по всему, первое включение слова в русские словари датируется 1865 годом, а в качестве единственного эквивалента предлагается «предание» (Михельсон, 1865: 625). Любопытно, что статья «традиция» в словаре

2. <https://www.etymonline.com/word/tradition>. См. также: Congar, 2004: 20; Гаврилова, 2020.

3. <https://www.etymonline.com/word/tradition>

Михельсона предшествует еще и статья «традитор» — «передаватель преданий». Вообще-то *traditor* на латыни означает прежде всего «предатель» —ср. *traditore* (ит.), *traidor* (исп.), *traître* (фр.), *traitor* (англ.). Действительно, предатель — это же и есть тот, кто предает, передает кого-то или что-то в чужие руки. Возникают неудобные, даже неприятные вопросы: не содержит ли имплицитно акт *traditio* нечто от предательства? Можно ли передать, никого не предавая? Не представляет ли собой вся история политического использования традиции — как взыскиваемого меняющимися обществами транквилизирующего средства — череду сменяющих друг друга вольных и невольных, намеренных и нечаянных предательств? Не такова ли и любая национальная история вообще — всегда болезненная, нервная история конструирования и сбережения нации? Не начинает ли купированная через апелляцию к традиции тревожность возвращаться с новой силой? Поиски ответов на эти вопросы завели бы слишком далеко в дебри отвлеченных спекуляций, но отделаться от них не удастся.

Россия — меняющееся общество. Проблема устойчивости политического порядка, в том числе проблема соотношения проспективных и ретроспективных, промодернистских и проконсервативных тенденций и сил, в ней стоит чрезвычайно остро. Фигуры традиций присутствуют и в политическом дискурсе, и в политической практике. Их проекции заметны в институциональном (в том числе конституционном) дизайне, в конкурирующих политических программах и курсах, в отдельных политических решениях, а также в жарких дискуссиях по всем этим поводам, ведущихся как на стадии предварительных обсуждений, так и *post factum*. Однако модусы функционирования традиции в различных российских средах и стратах (и в производимых ими нарративах) различаются. Различаются они и во всех меняющихся обществах, одной из главных характеристик которых является «умножение и диверсификация наличных... социальных сил» (Хантингтон, 2004: 28), а значит, и их дискурсов. Несколько упрощая картину, таких сред, страт и сил в российских реалиях можно выделить четыре — или, точнее, три с половиной:

- научное сообщество;
- интеллигенция — впрочем, не имеющая выраженного автономного профиля, что позволяет квалифицировать ее как в лучшем случае полисилы (подробнее об основаниях такой квалификации будет сказано ниже);
- политические элиты — в том числе суб- и контрэлиты;
- «широкие народные массы» — все группы, не относящиеся к вышеназванным.

Проще всего дело обстоит в отечественной науке — и здесь нет надобности в подробном обсуждении. Во-первых, потому, что я для этого недостаточно компетентен — традиция *per se* никогда не была и вряд ли станет предметом моего ис-

следовательского интереса, ни теоретического, ни эмпирического, и эта статья написана из позиции внимательного, но внешнего наблюдателя. Во-вторых, не стоит создавать риск расфокусирования подобного взгляда — наука в своем идеально-типическом виде не занимается политическим использованием чего бы то ни было, а если отдельные ученые берут на себя такую ответственность и включаются в процессы политического управления, то это означает частичную, а иногда и полную смену ролевой модели. Поэтому достаточно констатировать: в том, что касается теоретического осмыслиения феномена традиции, российская наука следует в том же русле, что и зарубежная (глобальная или мировая), не опережая, но и не отставая от нее.

Российским ученым хорошо известны и глубоко ими проработаны как классические определения традиции из трудов Макса Вебера («значимость того, что было всегда»; «вера в святость пришедших из прошлых времен („издревле существующих“) порядков и господских прав» [Вебер, 2016: 95, 264]), Эдварда Шилза («все то, что передается из прошлого в настоящее... на протяжении по крайней мере трех поколений»; «руководящий паттерн»; «имманентная ценность» [Shils, 1981: 12, 15, 32, 328]), Шмуэля Айзенштадта («фрагменты... социального и культурного опыта, ставшие наиболее влиятельными способами решения... проблем и сохраняющиеся при всех исторических, структурных и организационных переменах» [Eisenstadt, 1973: 120]; «принятие некоей фигуры, события или порядка прошлого (реального или символического) в качестве средоточия коллективной идентичности, указателя пределов и характера социального и культурного порядка» [Эйзенштадт, 1999]), Эрика Хобсбаума («совокупность общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение. Последнее автоматически предполагает преемственность во времени», хотя в случае «изобретенных традиций» — которых намного больше, чем «подлинных» — «их связь с историческим прошлым по большей части фиктивна» [Хобсбаум, 2000: 48]), Петра Штомпки («совокупность объектов и идей, особое значение которых люди связывают с их происхождением в прошлом» [Штомпка, 1996: 91]), Энтони Гиддена («все являются выдуманными... отличительные характеристики — ритуальность и повторяемость... являются принадлежностью группы, сообщества, коллектива... не относятся к свойствам индивидуального поведения... определяют некие истины... являются руководством к действию... имеются хранители — старейшины, священники, мудрецы... положением и властью они обязаны тому, что только они способны толковать ритуальную истину» [Гидденс, 2004: 57–58]), так и новейшая литература вопроса. Довольно случайным образом в России приобрела широкую известность книга Ежи Шацкого (Шацкий, 1990) (перестроенное книгоиздание бывало непредсказуемо в выборе приоритетов). Но это хорошая книга, и многие ее внимательно прочитали.

Здесь невозможно упомянуть все достойные упоминания имена работавших с понятием традиции отечественных авторов, равно как и сослаться на все их тексты, достойные изучения и цитирования, — перечисление неизбежно будет выборочным. Но в любом подобном перечне будут, скорее всего, названы Эдуард Маркарян, Юрий Левада, Александр Гофман, Леонид Ионин, Ольга Малинова, Алексей Миллер, Светлана Лурье, Александр Захаров... Это только те, чьи труды содержат оригинальные концептуализации понятия. А достойных конкретных исследований — например, посвященных российской политической культуре (в составе которой традиция, естественно, занимает огромное место), или структуре ценностных ориентаций российского общества, а также выполненных в дисциплинарных рамках этнографии, социальной и политической антропологии и психологии и т. д., — и вовсе не счесть.

3

Первая страта, смежная с научным сообществом, но оперирующая понятием традиции уже политическим образом, — российская интеллектуальная элита, или попросту интеллигенция. Да, она существует до сих пор — на ее регулярно объявляемые похороны так никто и не является, кроме самой же интеллигенции, произносящей прочувствованные речи, а потом расходящейся, чтобы вновь предаться прежним занятиям. Едва ли не главнейшее из них — размышления о прошлых и будущих «путях России», то есть о традиции в ее актуальных преломлениях.

Однако «интеллектуальная элита неоднородна, и речь вовсе не только о существовании в ее составе различных школ, кружков, течений мысли и т. д. Фактически можно говорить о существовании двух очень различных групп интеллектуальных элит: функциональных и рефлексивных» (Салмин, 2010: 237). Первые ориентированы на интеллектуальное обеспечение практического действия, предпринимаемого элитами политическими (о которых будет сказано позже), на предвидение последствий такого действия, его легитимацию (или делегитимацию) и проч. Вторые «свободно экспериментируют во всем пространстве культуры» (Там же) — не будучи, в отличие от первых, жестко связаны узами лояльности той или иной политической группе или государственной власти, но все же имея и транслируя свои политически референтные воззрения.

Общего у них то, что и те, и другие, в отличие от научного сообщества, производят не аналитические, а ценностно окрашенные, рекомендательные суждения (в том числе о традиции). Различаются же они тем, что рефлексивные элиты стремятся быть ближе к идеалу ценностно нейтральной науки и ее стандартам доказательности, хотя и постоянно примешивают к ним (в той или иной пропорции) моральный пафос — или, по выражению братьев Стругацких, «бред взбудороженной совести». Функциональные элиты — также, вероятнее всего, руководствуясь в большинстве случаев моральным пафосом (закоренелых циников тут вряд ли больше, чем в среднем по генеральной совокупности), — исполняют свои дого-

ворные (то есть добровольно принятые и обоюдные) обязательства перед политическими элитами и говорят преимущественно на языке политики, не науки. А ведь «принятие какой-либо стороны, борьба, страсть — *ira et studium* — суть стихия политика» и функциональных элит тоже; «страсть — в смысле... страстной самоотдачи „делу“, тому богу или демону, который этим делом повелевает» (Вебер, 1990: 666, 690). Для языка науки, в своем идеальном типе выражающейся *sine ira et studio*, тут остается мало места (разве что остаточные следы личных биографий).

Отсюда ясно, почему интеллигенция в своем отношении к традиции (как и во всех иных) не обладает каким-либо выраженным, автономным профилем, почему она представляет собой именно «прослойку», как принято было выражаться в советскую эпоху, но не слой. Во-первых, в обоих ее субсегментах представлены все мыслимые, а подчас и немыслимые идеологические интерпретации российской традиции. В случае функциональных элит они ограничены кругом политических программ и курсов, продвигаемых элитами политическими или имеющими шанс таковыми стать; в случае рефлексивных элит — не ограничены вообще ничем. В интеллигентских нарративах, в отличие от научных, часты трактовки традиции как самовозникшей и самовоспроизводящейся, безначальной и бессубъектной силы — это, пожалуй, единственный их общий знаменатель, не являющийся предиктором позитивной или негативной оценки самой традиции. В содержательном плане эти трактовки покрывают весь спектр политических ориентаций, по какой оси его ни структурируй, — от левых до правых, от консервативных до прогрессистских, от светских до клерикальных, от почвеннических до западнических, от лояльных до оппозиционных и т. д. (см. третий эпиграф). Имен и текстов на любой вкус тут слишком много, чтобы их можно было систематически обозреть. Оценить масштабы творящейся в отечественном публичном пространстве «цветущей и жужжащей неразберихи» (Уильям Джеймс) позволяют, например, материалы организованной фондом «Либеральная миссия» дискуссии «Российское государство: вчера, сегодня, завтра» (Клямкин, 2007). Впрочем, даже этот внушительный фолиант не дает полной картины — многие персоны и позиции (прежде всего экзотические и маргинальные, но не только) и в него не вместились. Конечно, распределение асимметрично. Консерваторы рассуждают о традиции чаще и охотнее прогрессистов, почвенники — чаще западников, клерикалы — чаще секуляристов, лоялисты — чаще оппозиционеров. Однако оно все равно не одномерно — привычные шаблоны идеологического восприятия в данном случае не срабатывают. Встречаются и либералы-западники, в элементах русской традиции (чаще всего называется средневековый Новгород) обнаруживающие подкрепление своих ценностных установок (Янов, 2007–2009); и не менее либерально настроенные православные консерваторы (Пивоваров, 2006, 2014; Ильин, 2020); и православные же консерваторы, непримиримо атакующие и Запад, и либерализм, а заодно с ними современный российский политический порядок⁴; и неоязычники-«родноверы»,

4. См. выступления и проповеди клирика московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках прот. Олега Стеняева или ныне отлученного от Церкви бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия Романова.

опять-таки со ссылками на русскую традицию отвергающие неограниченное для славянской культуры, навязанное ей православие (Гаврилов, Наговицын, 2002; Кавыкин, 2004); и проч., и проч.

Во-вторых, хотя рефлексивный субсегмент интеллигенции тяготеет скорее к научному дискурсу, а функциональный — к политической риторике и даже пропаганде, «существование и взаимодействие этих двух весьма различных по функциям и этосу интеллектуальных элит порождает массу артефактов и чрезвычайно запутывает ситуацию с точки зрения исследователя» (Салмин, 2010: 238). «Персональные перемещения из одного разряда в другой, попытки усидеть на двух стульях, частичные обмены функциями и статусами, причем инициированные как изнутри интеллектуальной среды, так и извне ее (пересматривающими свой ресурсный пакет политическими элитами), являются скорее правилом, чем исключением»; и все-таки «в норме категориальное различение функциональной и рефлексивной элит остается возможным постольку, поскольку члены их сохраняют способность к выстраиванию и поддержанию адекватного ролевого поведения, даже неоднократно переходя от одной роли к другой (например, многие американские интеллектуалы, подчиняясь чередованию президентств, то мобилизуются на правительственные должности, то возвращаются в университеты и аналитические центры, то вновь рекрутируются системой принятия решений)» (Каспэ, 2012: 98–99). В России меньше случаев срабатывания механизма «вращающихся дверей» (revolving doors), и совсем редко он работает дольше одного политического цикла, однако подобные примеры есть⁵. Но дело обстоит еще труднее.

Потому что, в-третьих, российской интеллигенции плохо вается выстраивание какого-либо «адекватного ролевого поведения». Она представляет собой, по выражению Салмина, «синкетическое сообщество»: «„Гиперфункционализм“ со всеми его интеллектуальными и нравственными издержками — с одной стороны, „недорефлексия“ — с другой: такова плата интеллектуальной элиты за этот синкетизм» (Салмин, 2010: 292). «Ценностно насыщенное высказывание говорящий не способен перевести на язык действия; причастный к действию не в состоянии хоть сколько-нибудь убедительно представить его ценностный смысл... это нередко — шизофреническим образом — один и тот же человек, парализованный своей ролевой двойственностью» (Каспэ, 2012: 99). Этот общий диагноз в полной мере относится и к интеллигентским способам обращения к традиции и с традицией.

5. См. — навскидку — жизненные траектории побывавших в разное время на государственной службе и/или в составе политической элиты математика Георгия Сатарова, юриста Михаила Краснова, этнолога Валерия Тишкова, социолога Игоря Задорина, доктора исторических наук Владимира Мединского, менеджера Владислава Суркова, политологов Вячеслава Никонова, Марка Урнова, Глеба Павловского, Алексея Чеснакова, Дмитрия Бадовского, Константина Костина, Аббаса Галлямова, Алексея Чадаева, Екатерины Шульман... Вообще-то не так уж мало примеров набирается. А ведь сюда еще можно прибавить не чуждых научной и/или интеллигентской рефлексии экономистов, от Евгения Ясина и Егора Гайдара до Григория Явлинского и Сергея Глазьева.

Следующий оператор традиции — политические элиты, то есть все индивидуальные и групповые акторы, на постоянной основе участвующие в процессе не только обсуждения и подготовки (это делают и элиты интеллектуальные), но и принятия, осуществления, оспаривания, пересмотра и отмены политических решений. Множественное число здесь уместно потому, что политическая элита стратифицирована (как минимум по параметрам федерального/регионального охвата и силового/несилового наполнения ресурсного пакета; но и внутри этих подразделений есть свои вложенные стратификации) и диверсифицирована — помимо собственно правящей элиты, есть еще и контрэлиты, характеризующиеся разной степенью оппозиционности по отношению к элите правящей (ср. несовпадающие различия парламентской и непарламентской, «системной» и «несистемной» оппозиции) и опять же стратифицированные внутри себя. Как уже отмечалось, в состав политической элиты время от времени попадают выходцы из других страт — и интеллигентской, и даже академической. Но, во-первых, доля их пренебрежимо мала, во-вторых, не они задают тон — политическая логика обращения с традицией определяется эндогенными свойствами политики как таковой, а не случайными примесями к ее основному действующему веществу.

Теперь трюизм: политические элиты прибегают к традиции (как и к любым другим символическим ресурсам) по политическим причинам и в политических целях, то есть стремясь (с разной, вплоть до минимальной, степенью осознанности) повлиять на «образование и распределение власти» (Lasswell, Kaplan, 1950: xiv). Которое, в свою очередь, представляет собой «образование и распределение ценностей» (van Deth, Scarbrough, 1998: 24). В том числе «традиционных», что бы это ни значило. А означает оно для политических элит (и, опосредованно, для их аудиторий) очень разные вещи.

Но — неизменно важные. В качестве отправной точки для дальнейшего анализа политического использования традиций можно обратиться, например, к президентским посланиям Федеральному Собранию (*de facto — urbi et orbi*, в них встречаются прямые обращения и ко всем гражданам России, и к внешним контрагентам). Послания не без оснований принято считать важнейшим и высшим жанром политического высказывания главы государства российского. Не имея никакого закрепленного конституционного и вообще юридического статуса, они тем не менее обладают значительной инструктивной силой, поддерживаемой президентскими поручениями, правительственные решениями и законодательными актами. Что еще важнее, в них формулируется и транслируется *Zeitgeist*, «дух времени», нерв «текущего момента» — точнее, то, что предлагает, просит и требует считать таковым первое лицо государства. Они приблизительно ежегодны (в 1994–2020 гг.; был пропущен только 2017 год), то есть образуют достаточный для наблюдений ряд, состоящий сейчас из 26 элементов. В таблице представлены ре-

зультаты подсчета вхождений⁶ в президентские послания слова «традиция» и его деривативов.

Президент	Год	Количество
Ельцин	1994	10
	1995	8
	1996	6
	1997	1
	1998	5
	1999	13
Путин	2000	2
	2001	3
	2002	0
	2003	3
	2004	1
	2005	4
	2006	3
	2007	3
Медведев	2008	4
	2009	5
	2010	1
	2011	1
Путин	2012	9
	2013	7
	2014	4
	2015	4
	2016	2
	2017 (послания не было)	—
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Всего		105

Безусловно, тут присутствуют некоторые неизбежные аберрации. С одной стороны, иногда явные отсылки к традиции в посланиях делались без употребления самого этого слова. Например, знаменитые слова Путина из послания 2012 года

6. Я благодарен Татьяне Белюге (группа ЦИРКОН), выполнившей подбор и обработку материалов.

(«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи, — дефицит того, что всегда, во все исторические времена делало нас крепче, сильнее и чем мы гордились»⁷) прозвучали прямо перед ученым в таблице вхождением: «Мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение». Случается и так, что тема традиции становится генеральной для президентских выступлений иного жанра, также воспринимаемых как программные, — как это было с речью Путина на юбилейном заседании Валдайского клуба в 2013 году⁸. На 25 минут в ней пришлось девять отсылок к традиции — против тех же девяти, сделанных за 82 минуты оглашения послания 2012 года. Впрочем, тут нет ничего удивительного — круг затрагиваемых в послании тем гораздо шире, а валдайская речь просто подкрепляла и развивала намеченный ранее тренд. С другой стороны, не всегда слово «традиция» и его производные употреблялись в посланиях в смысле, значимом для настоящего анализа. Например, в 1999 году Ельцин упоминал, причем одобрительно, «нетрадиционные методы лечения»; Путин в 2007 году говорил, также одобрительно, о том, что «в большинстве стран рыбная отрасль традиционно закрыта для иностранцев», а в 2014 году — и вовсе о «традиционной встрече в Сочи с руководством Министерства обороны, с командующими родами и видами войск, с ведущими конструкторами оборонных предприятий». Однако подобные aberrации редки — общая картина обрисовывается достаточно четко. И она континуитивна.

Потому что не просматривается никакой корреляции между частотой упоминаний традиции и укоренившимися в общественном сознании образами политических эпох и их эпонимов, то есть верховых правителей, чье имя эпохе присваивается. На долю всего лишь шести (меньше четверти) посланий «прогрессиста», «реформатора» и чуть ли не «революционера» Ельцина приходится почти половина таких упоминаний (в среднем — чуть более семи на послание). Для посланий Медведева, повестку президентства которого принято описывать не как «революционную», конечно, но все-таки как «прогрессистскую» и «реформаторскую», аналогичный средний показатель составляет чуть менее трех. Для посланий Путина — чуть более трех, причем для первого его президентского срока, который, в отличие от последующих, чаще всего также оценивается как наиболее «прогрессистский» и «реформаторский», — два ровно.

Пожалуй, единственная корреляция, которую можно обнаружить при внимательном взгляде на таблицу, — между частотой обращения к традиции и устойчивостью собственного положения первого лица, как она субъективно им воспринимается (точнее, не только президентом *in person*, а еще и кругом его ближайших помощников, советников и спичрайтеров, работающих над посланиями). Отсюда хорошо заметные пики в начале и конце эпохи Ельцина, а также более слажен-

7. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36699/page/2>

8. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243>

ные, но все равно заметные — в начале каденции Медведева и в начале третьего президентского срока Путина (то есть сразу после «обратной рокировки» 2011–2012 годов и на фоне неожиданно спровоцированных ею «болотных» протестов). Все эти разные во всех остальных отношениях политические ситуации объединяет одно — их беспрецедентность.

Конечно, на таком скучном материале нельзя сделать уверенных выводов — только гипотетические. Наверняка было бы полезно расширить эмпирическую базу, причем сразу в нескольких направлениях. Стоило бы включить в нее все президентские публичные выступления; программные заявления глав правительства, министров и руководителей федеральных ведомств; материалы парламентских дискуссий, причем ведущихся не только на пленарных заседаниях обеих палат, но и в комиссиях и комитетах; пояснительные записки и экспертные заключения к законопроектам и т. п. Важен был бы и региональный срез. Ведь культурно и политически российское пространство весьма разнообразно; при этом в некоторых отношениях субъекты Федерации представляют собой уменьшенное фрактальное подобие политического целого. Так, главы большинства из них обращаются к руководимым ими сообществам с ежегодными посланиями, функционально аналогичными президентским; заседают легислатуры; обсуждаются и принимаются законодательные акты регионального уровня (а также всякого рода концепции и стратегии)... Кроме того, релевантные теме традиции мнения, в том числе сопрягаемые с политическим положением, высказываются в текстах соборных постановлений, речей и проповедей иерархов «традиционных» вероисповеданий. То же делают и светские «лидеры общественного мнения»...

Мобилизовать и проштудировать весь этот колossalный корпус источников в рамках настоящего исследования, посвященного общей постановке вопроса, невозможно⁹. Однако даже поверхностный взгляд позволяет сформулировать несколько предположений, требующих верификации, но все-таки годных для принятия за основу.

а) Политическое использование традиции инструментально. Оно применяется в оперативных целях — когда политики, осознавая или ощущая (интуиция в политике намного важнее рациональности) неустойчивость общей ситуации и/или собственного положения в ней, нуждаются в дополнительном ценностном подкреплении своей легитимности, стратегического курса и тактических ходов. Обращение к традиции в подобных условиях почти неизбежно. Не только потому, что она имеет преимущественно ценностную природу, но и потому, что, как полагают политики, «традиционные ценности» более конвенциональны, чем «ценности перемен», а значит, более эффективны как средство завоевания и удержания массовой поддержки и, следовательно, политической стабилизации.

9. Отрадно, что отдельные сюжеты все же привлекают внимание наблюдателей. См.: Арутюнова, 2009; Галактионова, 2013; Ухватова, 2018; а также <https://fpp.spb.ru/sites/fpp.spb.ru/files/fpp-review-of-messages.pdf>, особенно раздел «Гуманитарное пространство», подразделы «Апелляция к опыту предшественников» и «Метафоры, идеологические конструкты, поиски образа будущего».

Похоже, что именно так объясняется, скажем, появление в 2005 году в центре Москвы, на территории храма Христа Спасителя, памятника императору Александру II, выполненного скульптором Александром Рукавишниковым в совершенно традиционном, то есть официозном стиле. Такова же была и церемония открытия, включавшая освящение памятника патриархом Алексием II. При этом сама инициатива по его установке принадлежала партии «Союз правых сил» (СПС), сдавшейся основным оплотом либеральных, демократических, прозападных и т. п. (то есть как бы контртрадиционных и уже, в отличие от краткого периода начала 2000-х годов, оппозиционных) сил и взглядов. Более того, финансирование всего проекта также было обеспечено СПС, а его видные представители — Борис Немцов (убитый в 2015 году в нескольких сотнях метров от статуи Царя-освободителя) и Альфред Кох (примерно тогда же окончательно эмигрировавший из России по политическим мотивам) — участвовали в этом «сценарии власти»¹⁰ совместно не только со священноначалием РПЦ, но и со своим непримиримым политическим оппонентом, мэром Москвы Юрием Лужковым. На тот момент СПС уже неуклонно двигался к упадку — на парламентских выборах 2003 года партия не преодолела 5% барьер, а в 2008 году самораспустилась. Событие 2005 года очень походило на попытку развернуть процесс деградации политического проекта вспять, ухватившись за соломинку — за государственническую, более того, монархическую традицию. То, что этот проект с этой традицией по своему содержательному наполнению, ассоциативному спектру и стилистике никак не корреспондировал, служит подтверждением не только первого тезиса (об инструментальности политического использования традиции), но и следующего.

6) Политическое использование традиции в высокой степени индифферентно к содержанию тех политических программ и курсов, защитой которых призвано служить. Так, главы регионов апеллируют к традиции и в модернизаторских целях (например, включая в число ресурсов развития инвестиционного климата, предпринимательского духа и деловой активности традиции местного дореволюционного купечества), и в сугубо охранительных (например, осуждая оппозиционные настроения и протестные выступления как несовместимые с народными традициями). И в модернизаторские, и в охранительные тона могут окрашиваться любые локальные традиции — калининградские, дальневосточные, поморские, чеченские, сибирские, крымские, промышленные, крестьянские, православные, мусульманские, советские, досоветские... Структурно и функционально эти апелляции идентичны.

Что не означает их полной взаимозаменяемости. Каждый политик обладает своим бэкграундом и габитусом, предрасполагающими к использованию наиболее органичных для него инструментов из всего доступного арсенала (не говоря уже о том, что нет никаких оснований считать политиков — во всяком случае, поголовно — кончеными оппортунистами, совершенно лишенными собственных

10. Термин Ричарда Уортмана. См.: Уортман, 2002.

убеждений и ценностей). И все-таки та или иная традиция для них — предмет выбора, причем выбора преимущественно рационального, часто между традициями исторически и существенно противоположными, осуществляемого в категориях выгод и издержек. Это хорошо видно из ретроспективных размышлений Ельцина (обширный фрагмент приводится в сильном сокращении):

В 1991 году Россия объявила себя правопреемницей СССР. Это был абсолют-
но грамотный, логичный юридический шаг... Выйди мы из этого юридиче-
ского пространства, и возникло бы столько вопросов, такая «головная боль»,
к которой в то сложное время мы были явно не готовы...

Но сейчас я думаю: а что бы было, если бы новая Россия пошла другим
путем и восстановила свое правопреемство с другой Россией, прежней, за-
губленной большевиками в 1917 году?..

Конечно, на этом пути возникли бы большие трудности... Но... у этой ко-
ренной ломки общественного устройства были бы свои несомненные плюсы.

Мы бы жили по совершенно другим законам — не советским законам...
а по законам, уважающим личность... Нам бы не пришлось заново создавать
условия для возникновения бизнеса, свободы слова, парламента и многого
другого, что уже было в России до 1917 года. Кстати, была частная собствен-
ность на землю. А главное, мы, россияне, совсем по-другому ощущали бы
себя — ощущали гражданами заново обретенной Родины. Мы бы обязатель-
но гордились этим чувством восстановленной исторической справедливо-
сти! Иначе бы относился к нам и окружающий мир. Признать свои истори-
ческие ошибки и восстановить историческую преемственность — смелый,
вызывающий уважение шаг...

Несомненные выгоды от такого решения... мне кажется, тогда, в 91-м,
были нами... упущены... Быть может, когда-нибудь россияне захотят сделать
такой шаг. (Ельцин, 2000: 196–197)

в) Политическое использование традиции в высокой степени индифферентно
и к ее аутентичности. Безусловно, не бывает ни традиций, переходящих через века
в полностью неизменном виде, ни традиций, полностью, «с нуля» сконструиро-
ванных. Гидденс, утверждавший, что выдуманы все традиции без исключения,
скорее всего, в полемических целях намеренно заострил свою позицию. Хоб-
сбаум, не отрицая существования «подлинных» традиций, так и не смог прове-
сти четкую грань между ними и традициями «изобретенными» — и постепенно
о «подлинных» перестал даже упоминать. Но все же некоторые более или менее
объективные критерии и градации аутентичности традиции существуют — хотя
бы основанные на ее подтверждаемой фактами исторической глубине, да и на до-
стоверности самих этих фактов. Для политического использования традиции эти
критерии и градации не имеют почти никакого значения.

Тут будет достаточно одной иллюстрации. В России политические ценности,
в том числе традиционные, принято описывать в самом обобщенном виде. Спра-
ведливость, свобода индивидуальная и национальная (то есть государственная
самостоятельность и независимость, она же суверенитет), жизнь человека (его

благосостояние и достоинство), мир и единство разнообразных культур, семейные традиции, любовь и верность, забота о младших и старших, патриотизм, глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре... Как сообщил Медведев в своем первом президентском послании 2008 года, эти ценности «хорошо известны... таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. А говоря проще, таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом»¹¹. К сожалению, в таком виде эти ценности отнюдь не очевидны и не всем понятны. В них нет ничего специфически российского — невозможно назвать нацию, которая бы все или хоть что-то из перечисленного отрицала. «Якобы „очевидные, всем понятные вещи“ на деле нуждаются в гораздо более нюансированной проработке. В выяснении того, что именно понимается под свободой; каковы ее должные и допустимые пределы; как она соотносится со справедливостью и как следует разрешать их неминуемые конфликты; чего конкретно требует и что воспрещает патриотизм; что является критерием в неизбежной ситуации выбора между заботой о младших и попечением о старших» (Каспэ, 2012: 75) и т. п. Ведь «эталоны ценностей — это различные предписания и правила... которые могут помогать актору делать свой выбор либо посредством ограничения набора приемлемых альтернатив, либо помогая ему предвидеть долговременные последствия различных альтернатив» (Парсонс, Шилз, Олдс, 2000: 487–488), в конечном счете сводимых к предельной дихотомии, к «обобщающей оценке „добро — зло“» (Вегас, 2007: 90). Нельзя выбрать сразу все ценностные альтернативы, даже если они номинально подпадают под одно зонтичное понятие вроде свободы, справедливости, семьи... или традиции. Более того, какими-то из них неизбежно придется пожертвовать, как бы ни хотелось насладиться, подобно Винни-Пуху, и медом, и сгущенным молоком. «Выбор всегда содержит, по крайней мере имплицитно, жертву, поскольку актор не может получить все, что в каком-либо смысле может потенциально служить удовлетворению потребностей, и выбирающий „платит“ исключенными альтернативами. Оплата по таким счетам — дисциплинирующий элемент» (Парсонс, Шилз, Олдс, 2000: 490–491).

Так вот, чуть ли единственная «традиционная ценность», трактуемая в российском политическом дискурсе внятно и дихотомически («да — да, нет — нет») и именно потому оказывающая серьезное дисциплинирующее воздействие, — это поддержка традиционных форм семьи, брака, половых отношений и гендерной идентификации и, соответственно, отторжение нетрадиционных, в первую очередь гомосексуальных. О серьезности отношения к этой ценности говорит хотя бы то, что такова единственная традиция, упомянутая (с 2013 года) Кодексом об административных правонарушениях РФ и прямо им защищаемая (ст. 6.21 «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), причем упоминание это возникло в результате эвфемистической, но прозрачной

11. <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/1968>

замены слова «гомосексуализм» из первых версий законопроекта. Более того, та же установка не единожды была близка и к превращению в норму уголовного права — подобные инициативы вносились в Государственную Думу. Но и без такого усиления она имеет прямые политические проекции¹². В соответствующем фрейме гомосексуализм предстает как зло дважды чуждое: во-первых, новейшее, во-вторых, занесенное к родным пенатам извне. То, что еще пять веков назад старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофей в своем послании к великому князю Василию (Послание, 1998: 358–360), в котором была сформулирована идея Москвы как Третьего Рима, ужасался распространенности на Руси «содомского блуда» и считал его искоренение обязанностью православного государя, причем отнюдь не приписывая рассевание сего «горького плевела» поискам geopolитических оппонентов, в этот фрейм не укладывается и его поборниками полностью игнорируется. Как и другие исторические свидетельства, также относящиеся к эпохам вполне традиционным и ностальгически вспоминаемым традиционалистами, — скажем, о специфических отношениях царя Иоанна IV Грозного и его фаворита, боярина и опричника Федора Басманова, аналогичных наклонностях великих князей Константина Константиновича и Сергея Александровича Романовых или обычновениях некоторых лейб-гвардейских полков. Но фундированному «традицией» современному политическому фреймированию эти обстоятельства, указывающие на существование традиции противоположного свойства, полностью иррелевантны.

Приведенная иллюстрация провокационна, но поучительна. На любую традицию можно найти контрапротивоположность. В российской культуре, как и в любой другой, есть традиции деспотизма — и народоправства, насилия — и ненасилия, милосердия — и жестокости, соборности — и самоволия, корыстолюбия — и бессребреничества, рачительности — и расточительности, верности Отечеству — и измены ему. Эффективность политического использования той или иной традиции определяется не их сравнительной аутентичностью, а тем, удается ли управляющему политическому актору, апеллируя к той или иной традиции, вызвать желаемый отклик в управляемом объекте. То есть — в «широких народных массах». См. второй эпиграф.

12. Ср. многочисленные выступления члена Совета Федерации Елены Мизулиной, депутата Государственной Думы Виталия Милонова или, лучше всего, обращение депутата Государственной Думы Адама Делимханова к молодому чеченцу, ввязавшемуся в столкновения с полицией на московских несанкционированных акциях января 2021 года: «В Москве и в регионах ходят какие-то шайтаны, делают митинги. Типа, эти митингующие одобряют законы, по которым могут жениться мужик на мужике. Эти законы их устраивают, они просят эти законы принять в этом государстве... То, что ты сделал, преступление... Потому что люди типа Навального, которые говорят, что мужик может жениться на мужике, [нам] не подходят» (<https://zona.media/news/2021/01/24/redbluepill> — Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

В самом по себе различии элит и масс нет никакого высокомерия. Оно носит не оценочный, а аналитический характер, основываясь на социологическом разграничении центра и периферии в версии Шилза. Центр в этой модели — это «центр того порядка символов, ценностей и верований, который правит обществом» (Shils, 1975: 3); это «ядро ценностной системы общества, ее нередуцируемые, критически важные элементы» (Greenfeld, Martin, 1988: ix). «В известном смысле комплекс идеалов есть наиболее чистая форма центра. Идеалы конститутивны для центров» (Shils, 1988: 254). Другие аспекты центральности — институциональный и акторный (указывающий на совокупность индивидов и их группировок, отправляющих функции центра, на его человеческий субстрат) — важны, но вторичны по отношению к ценностному. И институты центра, и его функционеры производят, выражают, воплощают и распространяют центральные ценности, ключевые для политически организованного сообщества «серьезные вещи» (serious things), «мыслимые как фундаментальные, как определяющие человеческую участь, жизнь и смерть» (Ibid.: 251). Именно от них получают свою легитимность институты и функционеры центра. В том числе — и само право заниматься их производством, выражением, воплощением и распространением.

Периферия же представляет собой «подлежащие интеграции элементы, материал, на котором совершаются творческая, социогенная функция центра» (Greenfeld, Martin, 1988: ix). Центр — место («не имеющее никакого отношения к геометрии и очень небольшое — к географии» [Shils, 1975: 3]) производства истины и власти. Периферия — место, где нет ни того, ни другого (точнее, где они присутствуют постольку, поскольку транслированы и имплантированы туда центром).

Конечно, реальная картина сложнее. Центр не монолитен, «один-единственный центр не способен господствовать над всем обществом и контролировать его» (Shils, 1988: 257). «Каждому обществу свойственна множественность центров, сцепленных друг с другом, поддерживающих друг друга, имеющих друг с другом персональные связи. Когда я использую термин „центр“, я подразумеваю под ним, в собирательном смысле слова, целый кластер центров и контрцентров» (Ibid.: 253). Периферия не монолитна тоже. Она «содержит в себе многочисленные субцентры» (Ibid.). Более того, центр-периферийные отношения не сводятся к однородному доминированию:

Центр существует постольку, поскольку ищет и в некоторой степени достигает господства над перифериями; усилия центра обычно ограничиваются традициями [sic! — С. К.] (как его собственными, так и периферийными), недостаточностью ресурсов и возможностей, а также сопротивлением периферий, пассивным или активным. Ответы периферий разнообразны; они колеблются от выраженной или пассивной покорности и самосохранения через изоляцию до попыток отделения, сопротивления или даже завоевания превосходства над центром. Периферии могут пытаться стать автономными центрами или заместить собой действующие центры. (Ibid.: 253–254)

Центры и периферии обнаруживаются в любой социальной реальности, в том числе в российской. Функционеры центров (субцентров) — это и есть элиты, обитатели периферии (периферий) — массы. Первые властствуют (пытаются властствовать), вторые подчиняются (а если перестают подчиняться и начинают выдвигать собственные версии истины и власти, то утрачивают качество периферийности и формируют собственные центры). Традиции — и «изобретенные», и «подлинные», если таковые все-таки можно идентифицировать, — исходят от центров (субцентров) и ими же применяются в качестве инструментов политического управления. Потому что управляющие воздействия обращены от них к перифериям, не наоборот. А осуществляют их политические и интеллектуальные элиты. Они и есть функционеры центра. Они производят истину и власть (элиты академические — только истину без власти), актуальные смыслы, присваивая некоторым из них свойство «традиционности», чтобы тем самым придать им большую истинность и властность.

Вопрос заключается в том, возникает ли в процессе такого управления подлинный, не иллюзорный резонанс между управляющими и управляемыми. Из центров слышатся речи о традиции; из центров исходят решения, традицией мотивированные. Но что считают традицией периферии? Повышает ли ссылка на традицию эффективность управляющих воздействий? Или она нейтральна, не создает никакой добавленной стоимости? Или даже контрпродуктивна — вдруг традиция состоит вообще не в том, что стараются выдать за нее центры, и их старания лишь усугубляют отторжение перифериями чужеродных инициатив? Между прочим, именно эта проблема была поставлена в нашумевшем тексте Владислава Суркова, запомнившемся прежде всего образом «глубинного народа» и, видимо, основанном на личном опыте политического управления (то есть являющемся экспертым суждением):

На глянцевой поверхности блистает элита, век за веком... вовлекающая народ в некоторые свои мероприятия... Народ в мероприятиях участвует, но несколько отстраненно, на поверхности не показывается, живя в собственной глубине совсем другой жизнью. Две национальные жизни, поверхностная и глубокая, иногда проживаются в противоположных направлениях, иногда в совпадающих, но никогда не сливаются в одну.

Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов [sic! — С. К.], агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия... Своей гигантской супермассой глубокий народ создает не преодолимую силу культурной гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной земле) элиту. (Сурков, 2019)

С тем, что решение проблемы, как утверждает Сурков, уже найдено («умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно — уникальное и главное достоинство государства Путина... Следовательно, оно эффективно и долговечно» [Там же]), трудно согласиться. Если бы это

было так, то не потребовались бы недюжинные усилия, прилагаемые в том числе самим Путиным, к обеспечению эффективности и долговечности этого государства — причем мотивируемые именно тем, что оно все еще непрочно. «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку» — в таких выражениях Путин обосновывал принятие в 2020 году поправок к Конституции, указывая на необходимость упрочения «наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения»¹³ (то есть, очевидно, традиций). Стало быть, и государство, и лежащие в его основе традиции все-таки преждевременно считать незыблемыми — тут уж главе государства виднее, чем кому-либо.

Установить, что именно является традицией с точки зрения масс (периферий, «глубинного народа»), затруднительно. Искомой «точки зрения» на традиции у них просто нет. Массы не то чтобы вовсе не рефлексируют; но они рефлексируют и, если дело до этого доходит, артикулируют свои рефлексии не в «категориях анализа», а в «категориях практики» (Брубейкер, Купер, 2010: 136–139). А термин «традиция» — категория аналитическая. Традиция существует для задающих соответствующие вопросы функционеров центра (обычно — для рефлексивных или функциональных интеллектуалов, действующих в рамках исходящего от политических элит формального или неформального заказа). Но для тех, кто на эти вопросы отвечает, она не существует *a priori*, то есть до того, как вопрос задан. Сам же ответ может оказаться обескураживающим. Показателен диалог, имевший место сразу после ставших сенсацией федерального уровня беспорядков в Кондопоге (2006 год) (подробнее см.: Григорьев, 2007). Конфликт между местными жителями и приезжими активно обсуждался на городских интернет-форумах. Туда же явились и визитеры из других городов и регионов, выражавшие поддержку горожанам или просто любопытствовавшие. Один из таких гостей сочувственно назвал очевидную, по его мнению, причину конфликта: мол, чужаки «нарушали ваши культурные и исторические традиции». На что местный житель раздраженно ответил незваному доброхоту: «У нас в Кондопоге две традиции — водка и телевизор»¹⁴. Лучшей иллюстрации несоответствия категорий анализа и категорий практики и быть не может.

Хотя есть еще одна — по меньшей мере сопоставимая по своей силе. Самой известной — почти каждому обитателю не только России, но и большей части б. СССР — традицией является вот какая: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция». Тут примечательны два момента: во-первых, эта традиция очевидно свежесозданная, к реальным или воображаемым пращурам персонажей культового новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» отношения не имеющая. То есть, вполне по Гидденсу и Хобсбауму, «изобретенная» — не важно, создателями фильма Эльдаром Рязановым и Эми-

13. <http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/1031/63591>

14. Подтверждающая ссылка за давностью лет не сохранилась. Цитирую по личным воспоминаниям, за достоверность которых, впрочем, ручаюсь.

лем Брагинским или придуманной ими компанией одноклассников Жени Лукashina. Во-вторых, эту традицию, безусловно входящую в состав *common knowledge*, «культурного кода» и «духовных скреп» целой цивилизации, никто и не думает соблюдать. Никакой повышенной заполняемости бань 31 декабря никогда не отмечалось.

Более того: всякий ли поведенческий стереотип, даже действительно, в отличие от новогоднего хождения в баню, наблюдаемый, следует квалифицировать как традицию? Он может возникнуть совсем недавно, и не в результате ценностного выбора, а как совершенно рациональный ответ масс (они вполне способны к рациональному действию, причем обладали этой способностью еще в иррациональные времена позднего социализма¹⁵) на изменение условий их существования. Таковы, например, практики, институты и нормы трансграничной торговли, быстро сложившиеся в некоторых лимитрофных регионах России (Калининградская область, Северо-Запад, почти весь Дальний Восток) после одновременного падения «железного занавеса» и краха прежней, советской модели жизнеобеспечения. Сегодня эти практики оцениваются властями преимущественно негативно и находятся под давлением. Можно ли отнести их к традиции — и интерпретировать выказываемое местными сообществами недовольство и оказываемое ими глухое сопротивление как противостояние периферийной традиции преобразующим усилиям центра? Как в этом свете трактовать, скажем, воздвигнутый в Благовещенске в 2008 году памятник торговцу-«челноку», до сих пор чтимый и простыми горожанами, и региональной элитой? Стоит ли пойти еще дальше, считая традицией любой социальный автоматизм, такой как вышеупомянутые «водка и телевизор» или привычка писать на заборах некоторые энергичные слова? Чисто логически это, наверное, допустимо. Но никакую логику не стоит доводить до абсурда. Потому что тогда понятие традиции окажется расширено сверх всякого разумного предела и утратит операциональность. В том числе и как инструмент политического управления.

Преодолевать эти затруднения можно двумя способами. Один — двигаться как бы в обход категорий анализа, пытаясь через прямое, глубокое, включенное наблюдение (даже погружение) прорваться к самим категориям практики, уловить их как они есть, не прибегая к интеллектуальным спекуляциям и концептуализациям. Такова исследовательская программа, давно и плодотворно реализуемая Симоном Кордонским (Кордонский, 2006, 2008; Кордонский, Плюснин, 2015; Kordonsky, 2018), фондом «Хамовники»¹⁶, чьим научным руководителем он является, его учениками и единомышленниками, а также рядом других исследователей, отчасти склоняющихся к той же парадигме (см., например: Бляхер, 2014; Бляхер, Ковалевский, 2020, 2021; Тимошкин, 2021). Этим способом действительно достига-

15. См. многочисленные работы и выступления Иосифа Дискина, например: Дискин, 1992, 2009, 2011, 2016.

16. <http://khamovniki.ru/#projects>

ются по-настоящему ценные результаты, в том числе политически референтные; но и у него есть свои слабые места.

Во-первых, перспектива полного избавления от чуждых практике категорий анализа иллюзорна. Они просто заменяются иными, возможно более адекватными (что не исключено), — но все равно категориями. Термины школы Кордонского — «титульные сословия», «промыслы», «гаражная экономика» и т. п. — ведь это тоже категории анализа, только другие и другого. Мышление же, вообще лишенное категориальной сетки классификаций и таксономий, немыслимо по определению.

Во-вторых, получаемые таким способом сведения и данные неизбежно разрознены. Уникальные кейсы плохо интегрируются в нечто целостное, количественные оценки распространенности и силы тут или там, в тот или иной момент тех или иных паттернов невозможны. А значит, для целей политического управления это знание почти неприменимо — разве что для точечных, аварийных вмешательств, вроде случившегося в 2009 году в городе Пикалево (Максимов, 2010). Что делать, к какой традиции взвывать (и нужно ли это), с какими традициями бороться (и бороться ли) тем политическим элитам, для которых объектом управления выступает вся Россия или хотя бы любой из ее регионов, решительно непонятно. А ведь такие элиты существуют.

Другой способ — все-таки не списывать прежде времени со счетов обычные, более стандартные (чтобы не сказать «традиционные») социологические методики. В конце концов, опасности «смешенной выборки», «социально одобряемых ответов», «спирали молчания» и т. п. давно и хорошо известны, равно как и компенсирующие их приемы, применение которых — вопрос исключительно профессиональной добросовестности. А «политическая культура», «национальная идентичность» или, скажем, «ценностная структура», прежде чем стать вполне конвенциональными «предметами исследования», были интеллектуальными артефактами, теоретическими конструктами. То, что с традицией дело обстоит подобным же образом, само по себе не создает никакой непреодолимой помехи к ее социологическому изучению.

Однако в этом изучении есть хорошо заметные дефициты и лакуны. Существуют огромные массивы данных о ценностной структуре российского общества, полученных в рамках грандиозных межстрановых проектов (таких как World Values Survey¹⁷, European Social Survey¹⁸, Global Barometer on Hope and Despair [Stoychev, 2015]), в ходе регулярных и *ad hoc* опросов, проводимых крупнейшими российскими социологическими службами, а также множества не столь масштабных зондажей. Предложены тонкие, глубокие, развернутые интерпретации этих данных (Инглхарт, Вельцель, 2011; Инглхарт, 2018; Магун, Руднев, Шмидт, 2015; Fabrykant, Magun, 2019; Петухов, 2011). Не менее урожайны исследовательские поля россий-

17. <https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>

18. <https://www.europeansocialsurvey.org>

ской политической культуры, идентичности и психологии масс¹⁹. Почти все авторы, возделывающие названные поля, так или иначе, имплицитно или эксплицитно, работают и с темой традиции. Но обычно происходит следующее. Некоторые конstellации установленных должным образом социологических фактов — но собранных для решения других задач, не имеющих прямого отношения к проблематике традиции — более или менее волонтистским образом объявляются «традиционными» и в дальнейшие логические построения включаются уже в этом приписанном им качестве. Исследований, точно сфокусированных на проблеме традиции, прямо и непосредственно направленных на выяснение того, что, почему, кем и в какой степени признается в современной России традиционным, в отечественных социальных науках, в том числе в политической социологии, до недавнего времени не было.

Такое исследование — «Восприятие традиционности и содержания политической традиции в политической культуре современной России» — выполнено в 2021 году группой ЦИРКОН. Знакомство с ним стало для меня главным стимулом к написанию этой статьи; оно во многих отношениях уникально. Тема традиции раскрывается в нем в многомерном пространстве смысловых и ценностных оппозиций: современное/несовременное, свое/чужое, естественное/инородное, аутентичное/реконструированное, привычное/непривычное и т. д. Устанавливается, в какой мере *de facto* существующие формальные и неформальные политические и, шире, политически референтные институты и нормы воспринимаются как культурно и исторически обусловленные, а в какой — как чуждые, привнесенные извне, неорганичные. Предпринята фактически первая попытка доказательно ответить на важнейший для политического использования традиции вопрос: насколько действительно эффективна апелляция к традиции, способна ли она играть ту интегрирующую и легитимирующую роль, исполнения которой от нее ожидают апеллирующие? Более того, протестированы и некоторые потенциально возможные институциональные и нормативные вариации политических практик — на предмет оценки их шансов быть воспринятыми как соответствующие российской традиции или отторгнутыми как противоречащие ей. Немаловажно, что исследование группы ЦИРКОН включает в себя не только репрезентативный опрос (его основные результаты уже доступны²⁰), но и экспертные процедуры (их материалы также будут в скором времени опубликованы). Тем самым выявляются различия в восприятии традиции массами и интеллектуальными элитами — чьи мнения, транслируясь элитам политическим, влияют, с неизбежными корректировками, и на процесс политического управления.

Безусловно, уникальная работа группы ЦИРКОН представляет собой только первый шаг к реализации большой и амбициозной исследовательской программы. Но если за этим шагом последуют и другие, то возникнет надежда на то, что интел-

19. Настолько урожайны, что даже выборочный обзор литературы превзошел бы все допустимые объемы.

20. <http://traditions.zircon.tilda.ws/#rec321382124>

лигентские контроверзы о подлинном содержании российской традиции, обретя под собой надежное эмпирическое основание, станут более содержательными, а ее политическое использование — более осмысленным. Что и то, и другое будет хотя бы реже приводить на ум бессмертную формулу Андрея Платонова: «совокупление слепых в крапиве».

Литература

- Арутюнова Е. М. (2009). Идеология российской идентичности в дискурсе президентов РФ // Дробижева Е. М. (ред.). Российская идентичность в Москве и регионах. М.: Макс-Пресс. С. 47–68.
- Бляхер Л. Е. (2014). Искусство неуправляемой жизни: Дальний Восток. М.: Европа.
- Бляхер Л. Е., Ковалевский А. В. (2020). Что это было? (Предварительная рефлексия о хабаровских митингах) // Полития. № 4. С. 108–136.
- Бляхер Л. Е., Ковалевский А. В. (2021). Без лидеров, лозунгов и транспарантов: борьба за город и рутинное сопротивление в частном секторе городов востока России (на примере Хабаровска) // Полития. № 1. С. 75–105.
- Брубейкер Р., Купер Ф. (2010). За пределами «идентичности» / Пер. с англ. Д. Кучеровой под ред. А. Семёнова и М. Могильнер // Герасимов И., Могильнер М., Семёнов А. (ред.). Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма. М.: Новое издательство. С. 131–192.
- Бурдье П. (1993). Социальное пространство и генезис «классов» / Пер. с фр. Н. А. Шматко // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos. С. 55–97.
- Вебер М. (1990). Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 644–706.
- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1: Социология / Пер. с нем. под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ.
- Вегас Х. М. (2007). Ценности и воспитание: критика нравственного релятивизма. СПб.: СПбГУ, РХГА.
- Гаврилов Д. А., Наговицын А. Е. (2002). Боги славян. Язычество. Традиция. М.: Рейф-бук.
- Гаврилова М. В. (2020). Скрепы страха: как борцы за традиционные ценности изобретают новое прошлое. URL: <https://knife.media/no-tradition> (дата доступа: 20.01.2022).
- Галактионова Н. А. (2013). Дискурс власти в посланиях губернатора Тюменской области // Лаврентьев С. Н. и др. (ред.). Культурологические и социолингвистические аспекты исследования коммуникации. Уфа: БАГСУ. С. 84–95.
- Гидденс Э. (2004). Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Пер. с англ. М. Л. Коробочкиной. М.: Весь мир.
- Гофман А. Б. (2008). Социология традиции и современная Россия // Гориков М. К. (ред.). Россия реформирующаяся: Ежегодник. Вып. 7. М.: Институт социологии РАН. С. 334–352.

- Григорьев М. С. (2007). Кондопога: что это было. М.: Европа.
- Дискин И. Е. (1992). Социокультурный базис перестройки. М.: Наука.
- Дискин И. Е. (2009). Кризис... И все же модернизация! М.: Европа.
- Дискин И. Е. (2011). Россия, которая возможна. М.: Юрист.
- Дискин И. Е. (2016). Институты: загадка и судьба. М.: РОССПЭН.
- Ельцин Б. Н. (2000). Президентский марафон. М.: АСТ.
- Ильин М. В. (2020). Юрий Пивоваров — патриот и традиционалист // Полития. № 2. С. 192–196.
- Инглхарт Р. Ф. (2018). Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Пер. с англ. С. Л. Лопатиной. М.: Мысль.
- Инглхарт Р. Ф., Вельцель К. (2011). Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Новое издательство.
- Кавыкин О. И. (2004). Родноверие — новое религиозное течение в современной России // Общественные науки и современность. № 3. С. 102–110.
- Каспэ С. И. (2012). Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М.: РОССПЭН.
- Клямкин И. М. (ред.). (2007). Российское государство: вчера, сегодня, завтра. М.: Новое издательство.
- Кордонский С. Г. (2006). Рынки власти (административные рынки СССР и России). М.: ОГИ.
- Кордонский С. Г. (2008). Сословная структура постсоветской России. М.: ФОМ.
- Кордонский С. Г., Плюснин Ю. М. (2015). Социологические экспедиции кафедры местного самоуправления НИУ ВШЭ // Laboratorium. Т. 7. № 2. С. 71–81.
- Магун В. С., Руднев М. Г., Шмидт П. (2015). Европейская ценностная типология и базовые ценности россиян // Вестник общественного мнения. № 3–4. С. 74–93.
- Максимов Б. И. (2010). Явление России в Пикалево // Социологические исследования. № 4. С. 42–53.
- Михельсон А. Д. (1865). Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней. М.: А. И. Манухин.
- Парсонс Т., Шилз Э., Олдс Дж. (2000). К общей теории действия: теоретические основания социальных наук. Ч. 2: Ценности, мотивы и системы действия // Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект. С. 464–572.
- Петухов В. В. (2011). Ценностная палитра современного российского общества: «идеологическая каша» или поиск новых смыслов? // Мониторинг общественного мнения. № 1. С. 6–23.
- Пивоваров Ю. С. (2006). Русская политическая традиция и современность. М.: ИНИОН РАН.
- Пивоваров Ю. С. (2014). Русское настоящее и советское прошлое. М.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга.

- Послание к великому князю Василию, в нем же о исправлении крестного знамения и о содомском блуде // *Синицына Н. В. Третий Рим: истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.)*. М.: Индрик, 1998. С. 358–364.
- Салмин А. М. (2010). *A la recherche du sens perdu: российская интеллектуальная элита и постсоветская власть* // Салмин А. М. Избранные статьи. М.: Форум. С. 226–300.
- Сурков В. (2019). Долгое государство Путина // Независимая газета. 11.02.2019. URL: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (дата доступа: 20.01.2022).
- Тимошкин Д. О. (2021). Сны о пройденной границе: беспризорники, торговцы, городские политические режимы в «войнах памяти» о городе «девяностых» // Полития. № 1. С. 106–136.
- Уортман Р. С. (2002). Сценарии власти: мифы и церемонии русской монархии / Пер. с англ. С. В. Житомирской. М.: ОГИ.
- Ухватова М. В. (2018). «Напутствия охранителей»: религиозная риторика на инаугурациях губернаторов в России // Полития. № 2. С. 84–101.
- Хантингтон С. (2004). Политический порядок в меняющихся обществах / Пер. с англ. В. Р. Рокитянского. М.: Прогресс-Традиция.
- Хобсбаум Э. (2000). Изобретение традиций / Пер. с англ. С. Панарина // Вестник Евразии. № 1. С. 47–62.
- Шацкий Е. (1990). Утопия и традиция / Пер. с польск. под ред. В. А. Чаликовой. М.: Прогресс.
- Штомпка П. (1996). Социология социальных изменений / Пер. с англ. А. С. Дмитриева под ред. В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс.
- Эйзенштадт Ш. (1999). Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. А. В. Гордона. М.: Аспект Пресс.
- Элиас Н. (2000). Понятие фигурации / Пер. с нем. Р. Е. Гергиева // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. III. № 3. С. 62–65.
- Янов А. Л. (2007–2009). Россия и Европа: 1462–1921. М.: Новый хронограф.
- Congar Y. (2004). *The Meaning of Tradition*. San Francisco: Ignatius Press.
- Eisenstadt S. N. (1973). *Tradition, Change, and Modernity*. N.Y.: Wiley.
- Fabrykant M., Magun V. (2019). Dynamics of National Pride Attitudes in Post-Soviet Russia, 1996–2015 // *Nationalities Papers*. Vol. 47. № 1. P. 20–37.
- Greenfeld L., Martin M. (1988). The Idea of the «Center»: An Introduction // Greenfeld L., Martin M. (eds.). *Center: Ideas and Institutions*. Chicago: University of Chicago Press. P. viii–xxii.
- Kordonsky S. (2018). *The Social Structure of Russia* // Studin L. (ed.). *Russia: Strategy, Policy and Administration*. L.: Palgrave Macmillan. P. 75–85.
- Lasswell H. D., Kaplan A. (1950). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Shils E. (1975). *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shils E. (1981). *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

- Stoychev K. (ed.) (2015). *Voice of the People 2015*. Zurich: WIN/Gallup International.
 URL: <http://www.gallup-international.com/wp-content/uploads/2017/10/GIA-Book-2015.pdf> (дата доступа: 20.01.2022).
- van Deth J. W., Scarbrough E. (1998). The Concept of Values // van Deth J. W., E. (eds.). *The Impact of Values*. Oxford: Oxford University Press. P. 21–47.

Many Skeletons in This Closet: The Political Use of Tradition in Modern Russia

Svyatoslav Kaspe

Doctor of Sciences in Politics, Professor, School of Politics and Governance, Faculty of Social Sciences, HSE University

Editor-in-Chief in the Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics "Politeia"

Address: Myasnitskaya str. 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kaspe@politeia.ru

The author sees tradition as a special type of human interaction, typical of modern and changing societies rather than of traditional ones; for that reason, his focus is on its use as a category of political struggle and as an instrument of power. There are four strata of modern Russia, and tradition has its own modus operandi in each of them. These groups are the scientific community, the intellectual elites (reflexive and functional), the political elites, and the masses (the latter covering all groups not belonging to the listed above). The scientific community generally adheres to the ethos of professional neutrality. Intellectual elites produce more-or-less politically-biased interpretations of tradition, guided both by their moral pathos and by their contractual obligations to the political elites. The latter use tradition directly as a tool of political governance. Such use is (a) instrumental, (b) quite indifferent to the content of those policies and courses that are intended to serve, and (c), quite indifferent to the authenticity of the tradition as such. However, the effectiveness of these impetuses from the elite directed at the masses remains highly questionable. Until recently, no research has been conducted to find out what the Russian masses consider to be traditional, and how positively this tradition is perceived. The situation has only started to change in recent years, thanks to the work of the ZIRCON group. For the time being, however, it is not known to what extent resorting to tradition (that is, to the kind of substantivized speculation that is suggested to be seen as tradition) could play in the integrating and legitimizing role which the political elites expect from it.

Keywords: tradition, values, modern Russia, intellectual elites, political elites, political use of tradition, mass consciousness

References

- Arutjunova E. (2009) Ideologija rossijskoj identichnosti v diskurse prezidentov RF [Ideology of Russian Identity in the Discourse of Russian Presidents]. *Rossijskaja identichnost' v Moskve i regionah* [Russian Identity in Moscow and the Regions] (ed. E. Drobizheva), Moscow: Maks-Press, pp. 47–68.
- Bliakher L. (2014) *Iskusstvo neupravljemoj zhizni: Dal'niy Vostok* [The Art of Uncontrollable Life: The Far East], Moscow: Evropa.
- Bliakher L., Kovalevsky A. (2020) Chto jeto bylo? (Predvaritel'naja refleksija o habarovskih mitingah) [What was It? Preliminary Reflection on Khabarovsk Rallies]. *Politeia*, no 4, pp. 108–136.

- Bliakher L., Kovalevsky A. (2021) Bez liderov, lozungov i transparantov: bor'ba za gorod i rutinnoe soproтивление в частном секторе городов востока России (На примере Хабаровска) [Without Leaders, Mottos or Billboards: Fight for the City and Routine Resistance in the Private Sector of Cities in East Russia (Case of Khabarovsk)]. *Politeia*, no 1, pp. 75–105.
- Bourdieu P. (1993) Social'noe prostranstvo i genezis "klassov" [The Social Space and the Genesis of Groups]. *Sociologija politiki* [Sociology of Politics], Moscow: Socio-Logos, pp. 53–98.
- Brubaker R., Cooper F. (2010) Za predelami "identichnosti" [Beyond "Identity"]. *Mify i zabluzhdenija v izuchenii imperii i nacionalizma* [Myths and Misconceptions in Studies of Nationalism and Empire] (eds. I. Gerasimov, M. Mogilner, A. Semenov), Moscow: Novoe izdatelstvo, pp. 131–192.
- Congar Y. (2004) *The Meaning of Tradition*, San Francisco: Ignatius Press.
- Diskin I. (1992) *Sociokul'turnyj bazis perestrojki* [The Socio-cultural Foundations of Perestroika], Moscow: Nauka.
- Diskin I. (2009) *Krizis... I vse zhe modernizacija!* [Crisis ... and Still Modernization!], Moscow: Evropa.
- Diskin I. (2011) *Rossija, kotoraja vozmozhna* [Possible Russia], Moscow: Yurist.
- Diskin I. (2016) *Instituty: zagadka i sud'ba* [Institutions: Mystery and Destiny], Moscow: ROSSPEN.
- Eisenstadt S. N. (1973) *Tradition, Change, and Modernity*, New York: Wiley.
- Eisenstadt S. N. (1999) *Revoljucija i preobrazovanie obshhestv: sravnitel'noe izuchenie civilizacij* [Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations], Moscow: Aspekt Press.
- Elias N. (2000) Ponjatie figuracii [The Concept of Figuration]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 3, no 3, pp. 62–65.
- Fabrykant M., Magun V. (2019) Dynamics of National Pride Attitudes in Post-Soviet Russia, 1996–2015. *Nationalities Paper*, vol. 47, no 1, pp. 20–37.
- Galaktionova N. (2013) Diskurs vlasti v poslanijah gubernatora Tjumenskoj oblasti [The Discourse of Power in the Addresses of the Governor of the Tyumen region]. *Kul'turologicheskie i sociolingvisticheskie aspekty issledovanija kommunikacii* [Cultural and Sociolinguistic Aspects of Communication Research] (ed. S. Lavrentiev), Ufa: BAGSU, pp. 84–95.
- Gavrilov D., Nagovitsyn A. (2002) *Bogi slavjan. Jazychestvo. Tradicija* [Gods of Slavs. Paganism. Tradition], Moscow: Refl-book.
- Giddens A. (2004) *Uskol'zajushhij mir: kak globalizacija menjaet nashu zhizn'* [Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives], Moscow: Ves'mir.
- Gofman A. (2008) *Sociologija tradicij i sovremennaja Rossija* [Sociology of Tradition and Modern Russia]. *Rossija reformirujushhajasja. Ezhegodnik. Vypusk 7* [Reforming Russia. Yearbook. Issue 7] (ed. M. Gorshkov), Moscow: Institute of sociology RAN, pp. 334–352.
- Greenfeld L., Martin M. (1988) The Idea of the "Center": An Introduction. *Center: Ideas and Institutions* (eds. L. Greenfeld, M. Martin), Chicago: University of Chicago Press, pp. viii–xxii.
- Grigoriev M. (2007) *Kondopoga: chto jeto bylo* [Kondopoga: What was that], Moscow: Evropa.
- Hobsbawm E. (2000) Izobretenie tradicij [Inventing Traditions]. *Vestnik Evrazii*, no 1, pp. 47–62.
- Huntington S. (2004) *Politicheskij porjadok v menjajushhihsja obshhestvah* [Political Order in Changing Societies], Moscow: Progress-Traditsia.
- Ilyin M. (2020) Yuri Pivovarov — patriot i tradicionalist [Yuri Pivovarov — Patriot and Traditionalist]. *Politeia*, no 2, pp. 192–196.
- Inglehart R. F. (2018) *Kul'turnaja jevoljucija. Kak izmenjajutsja cheloveche-skie motivacii i kak jeto menjaet mir* [Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World], Moscow: Mysl'.
- Inglehart R. F., Welzel C. (2011) *Modernizacija, kul'turnye izmenenija i demokratija: posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Kaspe S. (2012) *Politicheskaja teologija i nation-building: obshchie poloheniya, rossiskij sluchaj* [Political Theology and Nation-Building: A General Provisions, a Russian Case], Moscow: ROSSPEN.
- Kavykin O. (2004) Rodnoverie — novoe religioznoe techenie v sovremennoj Rossii [Rodnovers — A New Religious Movement in Modern Russia]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 3, pp. 102–110.

- Klyamkin I. (ed.) (2007) *Rossijskoe gosudarstvo: vchera, segodnya, zavtra* [The Russian State: Yesterday, Today, Tomorrow], Moscow: Novoe izdatel'stvo.
- Kordonsky S. (2018) The Social Structure of Russia. *Russia: Strategy, Policy and Administration* (ed. L. Studin), London: Palgrave Macmillan, pp. 75–85.
- Kordonsky S. (2006) *Rynki vlasti (administrativnye rynki SSSR i Rossii)* [Markets of Power: The Administrative Markets of USSR and Russia], Moscow: OGI.
- Kordonsky S. (2008) *Soslovnaja struktura postsovetskoy Rossii* [The Estate Structure of Modern Russia], Moscow: FOM.
- Kordonsky S., Plyusnin Y. (2015) Sociologicheskie jekspedicii kafedry mestnogo samoupravlenija NRU HSE [Field Research Training in the Department of Local Administration of the National Research University — Higher School of Economics]. *Laboratorium*, vol. 7, no 2, pp. 71–81.
- Lasswell H. D., Kaplan A. (1950) *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*, New Haven: Yale University Press.
- Magun V., Rudnev M., Schmidt P. (2015) Evropejskaja cennostnaja tipologija i bazovye cennosti rossijan [Russian Basic Human Values through the Lens of the European Value Types]. *Russian Public Opinion Herald*, vol. 121, no 3–4, pp. 74–93.
- Maksimov B. (2010) Javlenie Rossii v Pikalevo [Manifestation of Russia in Pikalevo]. *Sociological Studies*, no 4, pp. 42–53.
- Mikhelson A. (1865) *Ob'jasnenie 25 000 inostrannyh slov, voshedshih v upotreblenie v russkij jazyk, s oznameniem ih kornej* [The Explanation of 25,000 Foreign Words Entered the Russian Language, with Denotation of their Roots], Moscow: A. I. Manukhin.
- Parsons T., Shils E., Olds J. (2000) K obshhej teorii dejstvija. Teoreticheskie osnovaniya social'nyh nauk. Part 2: Cennosti, motivy i sistemy dejstvija [Toward a General Theory of Action. Theoretical Foundations for the Social Sciences. Part 2: Values, Motives, and Systems of Action]. Parsons T., *O strukture social'nogo dejstvija* [On the Structure of Social Action], Moscow: Akademichesky proekt, pp. 464–572.
- Petukhov V. (2011) Cennostnaja palitra sovremennoj rossiskogo obshhestva: "ideologicheskaja kasha" ili poisk novyh smyslov? [The Palette of the Values of the Modern Russian Society: An Ideological Mash-Up or the Search of the New Meanings?]. *Monitoring of Public Opinion*, no 1, pp. 6–23.
- Pivovarov Y. (2006) *Russkaja politicheskaja tradicija i sovremennost'* [Russian Political Tradition and Modernity], Moscow: INION RAN.
- Pivovarov Y. (2014) *Russkoe nastrojashhee i sovetskoe proshloe* [The Russian Present and the Soviet Past], Moscow: Centr gumanitarnyh iniciativ; Universitetskaja kniga.
- Poslanie k velikomu knjazju Vasiliju, v nem zhe o ispravlenii krestnogo znamenija i o sodomskom blude [The Letter to the Great Prince Vassiliy, Including the Words About the Correction of the Sign of the Cross, and About the Sodomian Fornication]. Sinitsyna N. V., *Tretij Rim: Istoki i jevoljucija russkoj srednevekovoj koncepcii (XV–XVI vv.)* [The Third Rome: The Origins and Evolution of the Russian Medieval Conception (15th–16th Centuries)], Moscow: Indrik, pp. 358–364.
- Salmin A. (2010) A la recherche du sens perdu. Rossijskaja intellektu-al'naja jelita i postsovetskaja vlast' [A la recherche du sens perdu: The Russian Intellectual Elite and the Post-Soviet Power]. *Izbrannye stat'i* [Selected Works], Moscow: Forum, pp. 226–300.
- Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*, Chicago: University of Chicago Press.
- Shils E. (1981) *Tradition*, Chicago: University of Chicago Press.
- Stoychev K. (ed.) (2015) *Voice of The People 2015*, Zurich: WIN/Gallup International. Available at: <http://www.gallup-international.com/wp-content/uploads/2017/10/GIA-Book-2015.pdf> (accessed 27 January 2022).
- Surkov V. (2019) Dolgoe gosudarstvo Putina [A Long State of Putin]. *Nezavisimaja gazeta*, 11.02.2019. Available at: https://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.html (accessed 27 January 2022).
- Szacki J. (1990) *Utopija i tradicija* [Utopia and Tradition], Moscow: Progress.
- Sztompka P. (1996) *Sociologija social'nyh izmenenij* [The Sociology of Social Change], Moscow: Aspekt Press.

- Timoshkin D. (2021) Sny o projdennoj granice: besprizorniki, torgovcy, gorodskie politicheskie rezhimy v "vojnakh pamjati" o gorode "devjanostyh" [Dreams about an Overcome Boundary: Street Children, Venders, Urban Political Regimes in "Wars of Memories" about the City of the "Nineties"]. *Politeia*, no 1, pp. 106–136.
- Ukhvatova M. (2018) "Naputstvija ohranitelej": religioznaja ritorika na inauguracijah gubernatorov v Rossii ["Blessing of the Guardians": Religious Rhetoric at Inauguration of Governors in Russia]. *Politeia*, no 2, pp. 84–101.
- van Deth J. W., Scarbrough E. (1998) The Concept of Values. *The Impact of Values* (eds. J. W. van Deth, E. Scarbrough), Oxford: Oxford University Press, pp. 21–47.
- Vegas J. M. (2007) *Cennosti i vospitanie: kritika nравственного relativizma* [Values and Education: Criticizing Moral Relativism], Saint Petersburg: SPSU, RHGA.
- Weber M. (1990) Politika kak prizvanie i professija [Politics as a Vocation]. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 644–706.
- Weber M. (2016) *Khozjaistvo i obshchestvo: ocherki ponimajushchej sotsiologii. T. 1: Sotsiologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Vol. 1: Sociology], Moscow: HSE.
- Wortman R. S. (2002) *Scenarii vlasti: mify i ceremonii russkoj monarhii* [Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy], Moscow: O.G.I.
- Yanov A. (2007–2009) *Rossija i Evropa: 1462–1921* [Russia and Europe: 1462–1921], Moscow: Novy khronograf.
- Yeltsin B. (2000) *Prezidentskij marafon* [Midnight Diaries], Moscow: AST.

Анатомия лояльности: механизмы формирования электорального сверхбольшинства в этнических республиках современной России^{*}

Станислав Шкель

Доктор политических наук, профессор, департамент политологии и международных отношений,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190121
E-mail: stas-polit@yandex.ru

Андрей Щербак

Кандидат политических наук, руководитель департамента политологии и международных отношений,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190121
E-mail: asherbak@hse.ru

Татьяна Ткачева

Научный сотрудник, лаборатория сравнительных социальных исследований,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190121
E-mail: tkacheva.tatyana@gmail.com

Неизменной характеристикой российских выборов постсоветского периода является сравнительно высокая явка и электоральная поддержка представителей власти, которую демонстрируют многие из этнических республик. Статья посвящена исследованию причин взаимосвязи этнического фактора и воспроизведения политической лояльности. В отличие от большинства предыдущих исследований авторы тестируют существующие теории на основе данных социологических опросов, а не официальной электоральной статистики, что позволяет включить в поле анализа этнические характеристики избирателей на индивидуальном, а не региональном или локальном уровнях. Статистический анализ дополняется качественными данными экспертовых интервью и материалов трех фокус-групп, проведенных в селах Башкортостана и Татарстана. Полученные результаты позволяют утверждать, что политическая лояльность российских республик обусловлена не этнокультурной спецификой, а характером поселенческой структуры. Этнические республики включают в себя сравнительно высокую долю аграрного населения, значительную часть которого представляют этнические меньшинства. Это наложение этнического и сельского сегментов обуславливает воспроизведение электорального сверхбольшинства. Однако природа данного феномена объясняется не «патриархальной культурой» нерусских этносов, а институциональными возможностями мониторинга и контроля над политическим поведением сельских избирателей со стороны местной администрации. Исследование также позволило уточнить роль этнического фактора в современных электоральных процессах, который тоже влияет на воспроизведение политической лояльности не только по отношению к главам республик, но и к неэтническим федеральным политическим

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 20-011-31432 (опн) «Факторы и каузальные механизмы формирования электорального сверхбольшинства в этнических республиках современной России».

акторам. Однако его влияние также обусловлено политико-институциональными особенностями этнических республик, а не этнокультурными характеристиками типичных этносов.

Ключевые слова: этнополитика, электоральные процессы, этнический фактор, политическая лояльность, политические машины, субнациональная политика, Россия

Несмотря на процессы централизации, которые характеризуют современную политику в России, неизменным атрибутом российских выборов остается региональная дифференциация в уровне явки избирателей и электоральной поддержке инкумбентов. Исследователями неоднократно подмечено, что этнические республики демонстрируют сравнительно более высокие показатели политической лояльности, чем типичные российские регионы (Myagkov, Ordeshook, Shakin, 2010; Goodnow, Moser, Smith, 2012; Goodnow, Moser, Smith, 2014; Bader, Ham, 2015; White, Saikonen, 2017; Panov, Ross, 2016; Panov, Ross, 2019). Однако данный феномен свойственен далеко не всем этническим республикам, а лишь половине из них (11 из 21) (Панов, 2019: 54–55). Но чем обуславливается более высокая и довольно стабильная электоральная поддержка инкумбентов в этих 11 этнических республиках? Хотя ученые предложили ряд объяснений данному феномену, до сих пор конкретные механизмы и причинно-следственные связи формирования электорального сверхбольшинства в российских республиках остаются не совсем понятными. В данной статье мы с использованием как количественных, так и качественных данных пытаемся внести вклад в эту дискуссию, раскрывая конкретные механизмы формирования электорального сверхбольшинства в российских регионах.

Логика изложения статьи следующая: сначала мы представляем обзор литературы по исследуемой проблематике, выявляем основные взаимосвязи этнического фактора с политической лояльностью и формулируем гипотезы, описываем данные и методы. В следующем разделе представлены результаты эмпирического анализа факторов, определяющих высокую электоральную явку в этнических республиках. Отдельный раздел посвящен анализу данных, раскрывающих мотивацию политического выбора нерусских этносов.

Этничность и политическая лояльность: объяснения взаимосвязей

Изучение вопросов этнической идентичности, национализма и их влияния на политические процессы является одним из магистральных направлений в социальных науках. Исследователями на примере самых разных стран неоднократно прослежены возможности политической мобилизации на основах этноцентризма (Bates, 1983; Wantchekon, 2003; Posner, 2005; Franck, Rainer, 2012; Hoffman, Long, 2013). При этом политика этнического фаворитизма наблюдается как в авторитариях, так и в странах с демократическим политическим режимом (Chandra, 2004).

Политические процессы на постсоветском пространстве после распада СССР предоставили богатый эмпирический материал для анализа этнополитической проблематики и породили новую волну исследований роли этнического фактора в современной политике (Дробижева, Аклаев, Коротеева, Солдатова, 1996; Тишков, 1997; Амелин, 1997; Абдулатипов, 2000; Коротеева, 2000; Зорин, 2003; Минаева, Панов, 2017; Hale, 2008; Frye, 2015; Borisova, Sulimov, 2018; Shkel, 2019; Avdeyeva, Matland, 2020). Российский постсоветский опыт политического развития подтвердил важность этнического фаворитизма в избирательных процессах, особенно в этнических республиках, где довольно часто политизируется этничность и артикулируются этнокультурные маркеры в ходе избирательного процесса. Электоральные результаты избирательных кампаний в ряде российских национальных регионов наглядно продемонстрировали, что подобная стратегия может быть выигрышной просто потому, что избиратели в полиэтнических сообществах предпочтуют голосовать за политиков, представляющих их этнос (Курлов, Суханов, Шкель, 2003).

Вместе с тем российские выборы демонстрируют влияние этнического фактора не только на региональных, но и на федеральных выборах. Данный факт порождает вопрос, на который невозможно ответить лишь на основе теории политики этнического фаворитизма. Очевидно, что ни партия «Единая Россия», ни российские президенты не отражают культурные предпочтения нерусских этносов российских республик. Тогда почему, несмотря на то что партия власти в современной России не является этнической партией, этнические республики оказывают «Единой России» и другим федеральным инкумбентам более высокую электоральную поддержку, чем другие российские регионы (см. рис. 1)?

Один из наиболее распространенных ответов на этот вопрос связан с концептом политических машин. В литературе, посвященной данной теории, политические машины определяются как «политические организации, которые мобилизуют электоральную поддержку за счет предоставления избирателям определенного рода привилегий в обмен на их голоса» (Stokes, 2005: 315). Как правило, эти привилегии носят сугубо материальный и партикуляристский характер, что требует формирования патрон-клиентелистской сети для их дистрибуции (Scott, 1969). Иными словами, в отличие от программных политических партий, политические машины предлагают широким массам населения не общественные блага, а пытаются обменять (купить) голоса избирателей, обещая взамен материальные ценности конкретным индивидам (Golosov, 2013: 463), либо «клубные блага» в виде преверенций для отдельных социальных групп (кланов, этносов, мигрантов и т. п.) (Kitschelt, Wilkinson, 2007: 11). Таким образом, одной из ключевых детерминант силы и устойчивости политических машин в регионах является внутренняя социально-экономическая структура и наличие так называемых «уязвимых групп»: бедняков, мигрантов, этнических меньшинств, пенсионеров, рабочих государственных предприятий.

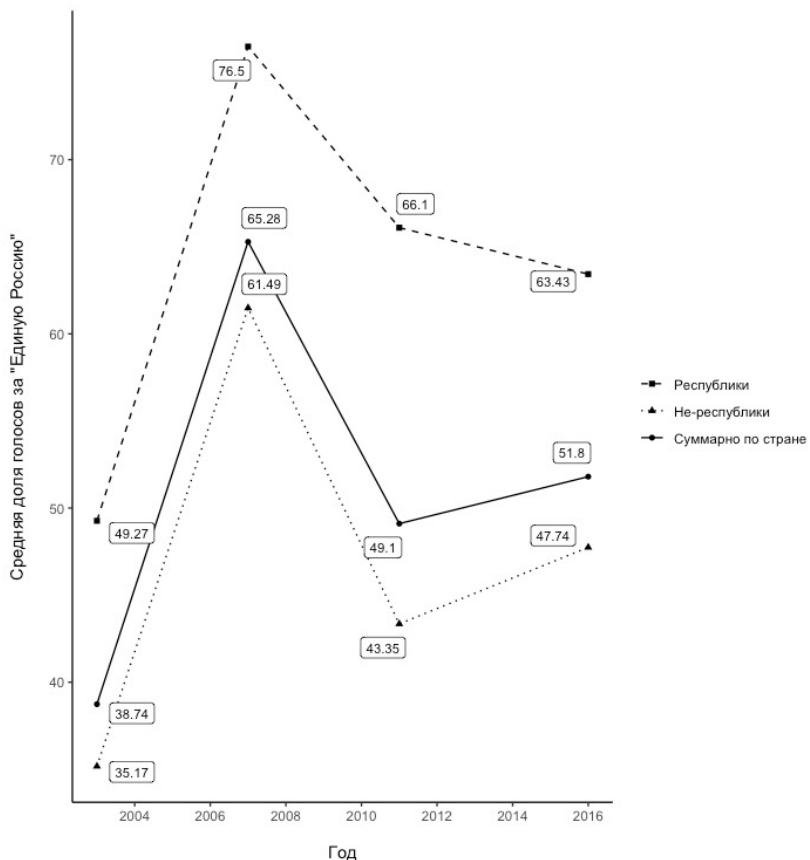


Рис. 1. Показатели голосования за партию «Единая Россия» на парламентских выборах в этнических республиках в период 2003–2016 гг.

Аналогичные выводы были сделаны и в исследованиях, посвященных российским регионам. Одно из основных объяснений возникновения и устойчивости региональных политических машин в России — наличие так называемого «сельского ядра» (Matsuzato, 2001; Hale, 2003). Общим в соответствующих исследованиях является допущение о том, что разные виды политического поведения и в особенности голосование в наибольшей степени поддаются контролю и направленному воздействию со стороны власти именно в сельской местности, так как сложно сохранять анонимность при небольшом количестве избирателей и при имеющейся плотности социальных сетей в малонаселенных районах (Auyero, 2001; Stokes, 2005; Nichter, 2008).

В случае России этот фактор дополняется еще и советским наследием в виде значительной доли государственных предприятий, находящихся под администра-

тивным контролем политических элит. В отличие от федеральных властей, многие главы этнических республик в 1990-е годы, пользуясь своей автономией от центра, предпочли градуалистскую экономическую политику и сохранили многие ключевые предприятия под государственным контролем (Hale, 2003: 232). В результате именно в этнических республиках сложился достаточно внушительный второй сегмент, упрощающий работу политических машин и включающий в себя работников государственных предприятий, на электоральное поведение которых можно воздействовать через директорат. Таким образом, региональные власти могли контролировать электоральное поведение не только сельского, но и значительной доли городского населения. К этому сегменту административного контроля можно также причислить всех работников бюджетной сферы и пенсионеров, которые тоже оказались зависимыми от государства и потому уязвимыми для политического давления.

Наконец, как третий важный сегмент машинной политики исследователи выделяют «институционализированную этничность» — феномен, который тоже оказался советским наследием и был использован главами этнических республик в качестве одного из ключевых узлов в механизме политических машин. Важным тезисом данного объяснения является то, что этнический фактор имеет политическое значение не сам по себе, а только при условии его политизации и институционализации. В российском случае ключевым механизмом политизации этничности стал этнократический принцип формирования политических элит, унаследованный еще со времен советской политики коренизации. Согласно этому принципу, высшие партийные должности в автономных республиках/округах занимали представители доминирующего этноса, получившего неформальный статус «титульной нации». В постсоветский период главы этнических республик стали использовать преференциальную политику в пользу таких этносов за счет государственной поддержки культуры в виде повышения статуса и распространения в социальной сфере их родного языка, распределения субсидий и грантов в пользу доминирующих этносов, а также кадровой политики, включающей в себя признаки этнократии (Shcherbak, Sych, 2017). Данная политика, базировавшаяся на распределении как символических, так и сугубо материальных благ, обосновывалась с помощью идеологии этнонационализма (Sharafutdinova, 2013). В рамках подобной практики этнического фаворитизма (Chandra, 2004) главы республик формировали этническое ядро электоральной поддержки.

Указанные три сегмента (село, бюджетные предприятия и нерусские этносы с возможностью политизации и институционализации их культуры) создавали благоприятные возможности для формирования наиболее эффективных политических машин. Поскольку в этнических республиках наличествовали все три указанных сегмента, это и определило тот факт, что именно в этих регионах власти могли наиболее эффективно добиваться политической лояльности электората.

Дальнейшие исследования показали, что этнический фактор в виде доли нерусских этносов в составе российских регионов сохраняет устойчивость как объ-

яснительная переменная электоральной поддержки инкумбентов не только на региональных, но и на федеральных выборах (Goodnow, Moser, Smith, 2012; Panov, Ross, 2016; White, 2016; White, Saikonen, 2017). Это, однако, довольно удивительно, если принять во внимание тот факт, что рецентрализация при В. Путине и в особенности резкий разворот федерального центра после 2017 года в отношении статуса и преподавания языков нерусских этносов в республиках, скорее, принесли последним издержки, а не преференции. Некоторые исследователи объясняют устойчивость этнического фактора в электоральных процессах России «традиционистскими» свойствами социальной структуры нерусских этносов, в которых «плотнее и насыщеннее социальные связи, более значимы традиционные иерархии, труднее сохранить анонимность и, наоборот, проще обеспечить принуждение и/или контроль над голосованием» (Panov, 2019: 56). Наряду с так называемыми «тотальными учреждениями» (закрытые учебные заведения, военные части, дома престарелых и т. п.) нерусские этносы рассматриваются как социальные группы, в которых традиционистские по своей природе идентичности и солидарности достаточно интенсивны, что объективно делает их благоприятной средой для работы политических машин (Panov, 2019: 56). Развивая этот тезис, ученые утверждают, что для сохранения плотности социальных сетей этнические меньшинства должны быть компактно географически локализованы и изолированы от русского этнического большинства. Это позволяет им сохранять традиционную иерархию, высокую политическую мобилизацию и лояльность. На основе количественных данных сторонники этого объяснения приводят эмпирические доказательства того, что только географически сегрегированные нерусские этносы демонстрируют высокий уровень электоральной поддержки партии власти, в то время как этносы, проживающие совместно с русским населением, не проявляют высокого уровня политической лояльности (Minaeva, Panov, 2020).

Согласно данному культурологическому объяснению, политическая лояльность этнических республик связана с традиционной социальной структурой этносов в виде семейно-клановой иерархии, что сохраняет плотность коммуникаций внутри этнической группы. Иерархичность подобных традиционистских структур обуславливает ориентацию рядовых членов этнической группы на мнение вышестоящих авторитетов, беспрекословное подчинение и демонстрацию политической лояльности. Легко предположить, что региональные элиты могут использовать данные структуры и, вовлекая их в электоральный процесс, сравнительно легко добиваться нужных электоральных показателей.

Дополнительные аргументы предоставили количественные исследования, согласно которым на современном этапе в системе машинной политики перестает выделяться «сельское ядро», а городские агломерации демонстрируют схожий уровень политической лояльности, как и сельские районы (Panov, Ross, 2019). Это может говорить о том, что в результате централизации и частичной ренационализации российской экономики промышленные предприятия в городах теперь тоже оказались интегрированными в систему машинной политики (Frye, Reuter,

Szakonyi, 2014; Frye, Reuter, Szakonyi, 2019). Однако размывание «сельского ядра» не приводит к потере значимости роли этничности — на этом основании делается вывод, что не столько поселенческие, сколько собственно этнокультурные факторы обуславливают политическую лояльность.

Проблемой данного объяснения оказывается сложность эмпирического наблюдения работы описанных «плотных социальных сетей». До сих пор в литературе нет достоверных и достаточно убедительных фактов, которые подтверждали бы влияние этнических сетей на избирательное поведение. В работах, авторы которых используют эту аргументацию, само описание данных структур слишком абстрактно и общо. Каузальные механизмы влияния этнических сетей на избирательный процесс остаются неясными.

Кроме того, эмпирической базой приведенных заключений выступают количественные данные регионального уровня, в то время как исследования, выполненные на основе анализа данных муниципального (районного) уровня, выявляют несколько иные закономерности. Так, например, И. Сайкконен показывает, что высокую явку демонстрируют только те нерусские этносы, которые проживают в этнических республиках. В то время как этнические меньшинства в русских районах особым политическим поведением не выделяются. В целом доля сельских жителей — более статистически значимый предиктор избирательной мобилизации, чем доля этнических меньшинств. К тому же сельские русские районы демонстрируют более высокие показатели явки, чем муниципалитеты с доминированием нерусских этносов (Saikonen, 2017). Данные выводы ставят под сомнение важность сугубо этнокультурных детерминант избирательного поведения, но обращают внимание на поселенческую структуру социума.

Таким образом, альтернативным объяснением взаимосвязи этнического фактора с политической лояльностью может быть факт пересечения «сельского» и «этнического» сегментов. Это означает, что статистические результаты о роли этнического фактора являются лишь отражением социально-демографической специфики этнических республик, в которых, во-первых, доля сельских жителей сравнительно высока и, во-вторых, значительная часть нерусских этносов проживает на селе, в то время как русские концентрируются в городах. Можно предположить, что со сменой вектора федеральной политики изменились и факторы формирования политической лояльности среди нерусских этносов: если в конце 1990-х — первой половине 2000-х годов они поддерживали инкумбентов в ответ на политику этнического фаворитизма, то после потери этнических преференций вынужденно продолжают сохранять лояльность в силу «поселенческого фактора». Как указывалось выше, маленькие размеры сельских поселений облегчают мониторинг и контроль со стороны администрации над избирательным поведением граждан, в то время как их удаленность и отсутствие наблюдателей облегчают избирательные манипуляции и фальсификации. Другими словами, политическая лояльность этнических меньшинств на современном этапе может вовсе не быть связана с этническим фактором, а определяться исключительно поселенческими

характеристиками, которые создают объективные и не связанные с этнокультурными параметрами благоприятные условия для политического давления и контроля.

Таким образом, анализ литературы позволяет выделить три основные причины воспроизведения политической лояльности в этнических республиках:

1. Политэкономический фактор в виде институциональной этничности.

2. Культурный фактор в виде плотных этнических сетей.

3. Поселенческий фактор в виде «сельского ядра», пересекающегося с местами компактного проживания этнических меньшинств.

Нетрудно заметить, что противоречие между этими тремя объяснениями связано с признанием разной роли этнического фактора в формировании политической лояльности. Культурный подход видит в самой этничности причину специфического электорального поведения, что подразумевает наличие высокой политической лояльности на индивидуальном уровне у всех представителей этнических меньшинств. Это означает, что последние в силу специфики своей этнической культуры будут демонстрировать высокую политическую лояльность, вне зависимости от места проживания.

Следовательно, гипотезы, отражающие данное теоретическое ожидание, можно сформулировать следующим образом:

Гипотеза I. Нерусские этносы (вне зависимости от места проживания) значительно больше поддерживают инкумбентов¹, чем русские.

Гипотеза II. Нерусские этносы (вне зависимости от места проживания) демонстрируют значительно более высокую явку на выборах, чем русские.

Напротив, с точки зрения политэкономического подхода электоральная лояльность этнических меньшинств есть лишь следствие институциональной этничности, поэтому ее можно ожидать только в этнических республиках, где феномен институциональной этничности присутствует. А следовательно, маловероятно, что на индивидуальном уровне нерусские этносы будут демонстрировать более высокий уровень лояльности.

Наконец, поселенческий подход обращает внимание на социально-демографические характеристики по линии «город — село» и утверждает, что этнический фактор вообще не играет роли при воспроизведении политической лояльности. Следуя данному объяснению, можно предположить, что все этносы (как русские, так и нерусские), проживающие в селе, в равной мере будут демонстрировать более высокий уровень политической лояльности в сравнении с жителями городов. Данное утверждение можно сформулировать в виде следующих гипотез:

1. Поскольку далее в статистическом анализе мы используем данные о голосовании за политические партии в ходе федеральных парламентских выборов 2011 и 2016 годов, под термином «инкумбент» мы понимаем политическую партию, доминирующую в Государственной Думе РФ на момент проведения избирательной кампании. В обоих случаях 2011 и 2016 годов такой партией являлась «Единая Россия».

Гипотеза III. Сельские избиратели (вне зависимости от этнической принадлежности) значимо больше поддерживают инкумбентов, чем городские избиратели.

Гипотеза IV. Сельские избиратели (вне зависимости от этнической принадлежности) демонстрируют значимо более высокую явку на выборах, чем городские избиратели.

Гипотеза V. Нерусские этносы, проживающие в сельской местности, значимо больше поддерживают инкумбентов, чем городские избиратели.

Гипотеза VI. Нерусские этносы, проживающие в сельской местности, демонстрируют значимо более высокую явку на выборах, чем городские избиратели.

Данные, методы и операционализация переменных

Для проверки гипотез в данном исследовании мы используем как количественные, так и качественные данные. Метод множественной логистической регрессии применен для определения роли поселенческого фактора и влияния индивидуальной этничности на эlectorальный выбор избирателей, для чего мы используем данные опросов Европейского социального исследования (ЕСИ) (European Social Survey), которые проводятся в России с 2006 года. Их преимущество в том, что, в отличие от эlectorальной статистики, они позволяют измерить влияние этнической принадлежности и других параметров на эlectorальное поведение избирателей на индивидуальном, а не на региональном или локальном уровнях.

При проверке гипотез с помощью регрессионного анализа мы фокусируемся на выборах в Государственную Думу РФ 2011 и 2016 годов, поскольку этот период покрывает последнее десятилетие российской политики. Парламентские выборы 2011 года мы соотносим с опросом ЕСИ за 2014 год, по той причине, что опросник ЕСИ за 2012 год не включал вопроса про этничность респондента. Парламентские выборы 2016 года мы соотносим с опросом ЕСИ 2018 года, так как опрос проводился осенью 2016 года, а выборы в Государственную Думу — в декабре 2016 года. Для каждого года мы строим две группы моделей, с зависимой переменной «Единая Россия» и «Явка». Через эти переменные мы операционализируем уровень политической лояльности. Ключевые независимые переменные в наших моделях — это этничность (бинарная переменная «русский — нерусский»), тип поселения (город или село), а также интеракция между ними. В качестве контрольных переменных выступают пол, возраст, а также показатели институционального доверия и удовлетворенности политическим курсом. Последние переменные мы используем исходя из предположения, что уровень политической лояльности в виде высокой явки и эlectorальной поддержки инкумбентов будет коррелировать с высокими показателями одобрения политического руководства и проводимой им политикой.

Список используемых переменных указан ниже:

«Единая Россия» (ЕР) — бинарная переменная, указывающая на голосование респондента за партию «Единая Россия» на выборах в ГД РФ 2011 и 2016 годов соответственно: «1» — за «Единую Россию», «0» — за любую иную. Построена на основе вопроса «За какую партию Вы голосовали на прошлых национальных выборах?», перекодирована в бинарную переменную, как указано выше.

Явка — бинарная переменная, указывающая на участие респондента в выборах в ГД РФ 2011 и 2016 годов соответственно: «1» — участвовал, «0» — не участвовал. Построена на основе вопроса «Вы участвовали в последних выборах?», перекодирована в бинарную переменную, как указано выше.

Русский — бинарная переменная, указывающая на этничность респондента: «1» — русский, «0» — иная этничность. Построена на основе вопроса «Этническое происхождение, первый вариант», перекодирована в бинарную переменную, как указано выше.

Город — бинарная переменная, указывающая на тип поселения, в котором проживает респондент: «1» — город, «0» — село. Построена на основе вопроса «Место жительства, со слов респондента», перекодирована в варианты «большой город», «пригород большого города» в «1», а «малый город», «село или деревня» — в «0».

Пол — бинарная переменная, указывающая на пол респондента: «1» — мужской, «2» — женский.

Возраст — число полных лет респондента на момент опроса.

Доверие к парламенту — измеряется по шкале от «0» (совершенно не доверяю) до «10» (совершенно доверяю).

Доверие к правовой системе — измеряется по шкале от «0» (совершенно не доверяю) до «10» (совершенно доверяю).

Доверие к судебной системе — измеряется по шкале от «0» (совершенно не доверяю) до «10» (совершенно доверяю).

Удовлетворенность руководством страны — измеряется как ответ на вопрос «Насколько Вы удовлетворены тем, как руководство страны выполняет свою работу?», по шкале от «0» (совершенно не удовлетворен) до «10» (совершенно удовлетворен).

Удовлетворенность демократией — измеряется как ответ на вопрос «Насколько Вы удовлетворены тем, как работает демократия в стране?», по шкале от «0» (совершенно не удовлетворен) до «10» (совершенно удовлетворен).

Система образования — оценка респондентом системы образования, измеряется по шкале от «0» (очень плохо) до «10» (очень хорошо).

Сильное правительство — согласие респондента с высказыванием «Для него (для нее) важно, чтобы сильное государство обеспечивало его безопасность», по шкале от «1» (очень похож на меня) до «6» (не похож на меня).

Важность традиций — согласие респондента с высказыванием «Он (она) ценит традиции», по шкале от «1» (очень похож на меня) до «6» (не похож на меня).

Важность правил — согласие респондента с высказыванием «Для него (для нее) важно всегда вести себя правильно», по шкале от «1» (очень похож на меня) до «6» (не похож на меня).

С каждой зависимой переменной мы тестируем по три модели за каждый выбранный год, 2011 и 2016: 1) «пустую» модель только с независимыми и контрольными переменными (M_1, M_4, M_7, M_{10}); 2) «стандартную» модель, в которую добавляется интерактивный эффект между этничностью и типом поселения (M_2, M_5, M_8, M_{11}); 3) «расширенную» модель, в которую добавляются переменные институционального доверия и одобрения политического курса (M_3, M_6, M_9, M_{12}). Результаты анализа представлены в таблицах 1 и 2.

Основные результаты, полученные с помощью статистического анализа, мы проверяем на основе сбора и анализа качественных данных. Для нашего исследования это важно не только для того, чтобы эмпирически проверить наличие или отсутствие «этнических сетей» и выявить их роль в эlectorальных процессах, но и уточнить значение политэкономического фактора в виде институциональной этничности. Нет сомнений, что преференциальная политика в пользу отдельных этносов играла важную роль в формировании «этнического ядра» эlectorальной поддержки глав регионов в период 1990-х и первой половине 2000-х годов. Однако в современных условиях централизации и демонтажа основных атрибутов суверенитета этнических республик, а также ликвидации ключевых преференций нерусских этносов, природа и роль этнического фактора в эlectorальных процессах становятся не столь очевидными. Представляется, что данное объяснение как минимум требует уточнения и ответа на вопрос: какую роль этнические маркеры и политика этнического фаворитизма играют в современных условиях централизации?

Для этого нами были использованы данные полуформализованных экспертовых интервью, собранных в четырех российских республиках: Башкортостане ($N = 5$), Дагестане ($N = 3$), Мордовии ($N = 4$) и Татарстане ($N = 5$). В качестве экспертов выступили как представители научно-педагогического сообщества, изучающие этнополитические проблемы своего региона, так и действующие политики — общественные активисты и лидеры национальных организаций. Так, экспертная группа Мордовии включала в себя представителей академического сообщества: три сотрудника Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, один — Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия; все — женщины, со степенью кандидата или доктора наук. Экспертами в Республике Дагестан выступили: юрист по вопросам избирательных прав (женщина) и два общественных активиста (мужчины). В Башкортостане были опрошены два лидера национальных организаций (мужчины), два научных сотрудника Уфимского научного центра РАН (мужчины) и журналист, специализирующийся на этнополитической проблематике (мужчина). Группа экспертов в Татарстане включала в себя одного научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан (женщина), трех профес-

соров кафедры политологии Казанского государственного университета и одного общественного активиста, члена молодежной секции Всемирного конгресса татар.

Кроме того, в период с сентября по октябрь 2020 года нами были проведены три фокус-группы в трех селах: две в Республике Башкортостан (села Чекмангуш и Якшимбетово) и одна в Республике Татарстан (село Актаныш). Выбор указанных республик обусловлен следующим. С одной стороны, два региона во многом схожи друг с другом с точки зрения основных структурных факторов: исторического наследия, культурных и религиозных традиций, географической локализации. Оба региона на протяжении почти всего постсоветского развития являлись хрестоматийными примерами субнационального авторитаризма и демонстрировали высокий уровень электоральной мобилизации и лояльности. Вместе с тем начиная с 2010 года политическое развитие Башкортостана и Татарстана стало существенно различаться. Разные сценарии ротации региональных глав (Sharafutdinova, 2015) привели к тому, что политическая машина в Башкортостане начала давать сбои, в то время как в Татарстане она продолжает приносить электоральное сверхбольшинство (Shkel, 2021). Данная вариация крайне интересна с методологической точки зрения, поскольку позволяет не только описать электоральные практики на местах, но и сравнить их, причем не только в кросс-региональном, но и кросс- temporальном измерении.

Логика селекции конкретных сел для проведения фокус-групп определялась тем, что прежде всего нам необходимы были этнически гомогенные поселения, в которых вероятность обнаружения этнических сетей выше. Село Якшимбетово Куюргазинского района, расположенное на юге Башкортостана, является чисто башкирским и отражает это условие. То же самое можно сказать о селе Актаныш одноименного района Татарстана, в котором доминирующим этносом являются татары. Кроме этого, в выборку было включено село Чекмангуш, которое, в отличие от двух предыдущих, имеет специфику: несмотря на локализацию в Башкортостане, доминирующий этнос в нем татары. Интерес к такому кейсу вызван стремлением учесть специфику Башкортостана, где «титульный» этнос не составляет большинства, и татары наряду с русскими представляют сопоставимую им по численности этническую группу. Кроме того, включение подобной «контрольной» группы открывает возможности сравнительного анализа схожих этнических групп, но проживающих в разных политических и социокультурных условиях.

Каждая из трех фокус-групп состояла из 12 респондентов, которые были разнородны по возрасту, полу, профессии и другим демографическим характеристикам, но представляли единую этническую группу. Всем группам задавался одинаковый набор вопросов, но с уточняющим «зондированием» в зависимости от ответов и хода дискуссии. Основной пул вопросов был сфокусирован на восприятии респондентами электоральных практик с целью выявления влияния этнического или иных факторов на мотивацию их участия в избирательном процессе. Общий гайд фокус-группы включал в себя три основных содержательных блока. Сначала мы задавали самые общие вопросы о мотивах участия/неучастия в выборах с це-

лью выявления основных детерминант политической активности на селе и роли в этом этнических сетей. Затем, преследуя схожие цели, переходили к обсуждению мотивации политического выбора. Наконец, задавались вопросы, направленные на измерение важности этнического фактора для респондентов, чтобы понять роль и возможности политики этнического фаворитизма в современных условиях. В среднем продолжительность каждой фокус-группы составила 1 час 10 минут.

Мотивация политической активности

Результаты регрессионного анализа с переменной «уровень явки» на выборах в качестве зависимой показывают, что тип поселения более значим, чем влияние этническости на явку (см. табл. 1). В «пустых» моделях (M_1 и M_4) мы видим слабый, но все же значимый эффект села на явку и в 2011, и в 2016 году. Другими словами, количественный анализ позволяет утверждать, что явка на выборах в селах выше, чем в городах.

Таблица 1. Влияние этническости на явку на выборах в ГД РФ в 2011 и 2016 гг.

	2011			2016		
	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6
(Intercept)	-0,94 (0,23)***	-1,15 (0,25)***	-1,16 (0,34)***	-1,88 (0,24)***	-1,95 (0,27)***	-1,86 (0,40)***
Русский	0,28 (0,15)*	0,52 (0,18)***	0,55 (0,20)***	-0,27 (0,18)	-0,20 (0,22)	-0,11 (0,27)
Город	-0,25 (0,09)***	0,33 (0,29)	0,36 (0,32)	-0,15 (0,09)*	0,02 (0,35)	-0,09 (0,4)
Доверие к правовой системе						0,03 (0,02)
Доверие к парламенту			0,14 (0,02)***			0,1 (0,03)***
Удовлетворенность демократией			0,09 (0,03)***			0,02 (0,02)
Система образования			-0,07 (0,03)***			-0,04 (0,02)
Сильное правительство			-0,08 (0,05)			-0,14 (0,05)***
Важность традиций			-0,12 (0,04)***			-0,06 (0,04)
Важность правил						0,01 (0,04)
Русский*Город		-0,65 (0,30)**	-0,69 (0,34)**		-0,18 (0,36)	-0,07 (0,41)
Пол	0,05 (0,09)	0,06 (0,09)	-0,01 (0,11)	0,27 (0,09)***	0,27 (0,09)***	0,26 (0,11)**

Возраст	0,03 (0,00)***	0,03 (0,00)***	0,03 (0,00)***	0,04 (0,00)***	0,04 (0,00)***	0,04 (0,00)***
<i>N</i>	2194	2194	1889	2246	2246	1770
<i>R</i> ² <i>Tjur</i>	0,055	0,057	0,102	0,126	0,127	0,14
<i>AIC</i>	2722,488	2719,881	2251,571	2821,313	2823,060	2216,022

Примечание: * $p \leq 0,1$; ** $p \leq 0,05$; *** $p \leq 0,01$.

Более сложные модели показывают менее однозначные результаты (рис. 2, 3). Если в 2016 году значимой интеракции выявлено не было, то результаты 2011 года показывают, что значимая разница в электоральной активности между городскими и сельскими жителями проявляется только в случае с русскими этносами: русские в деревнях проявляют электоральную активность выше, чем русские в городах и нерусские этносы в любом типе поселения.

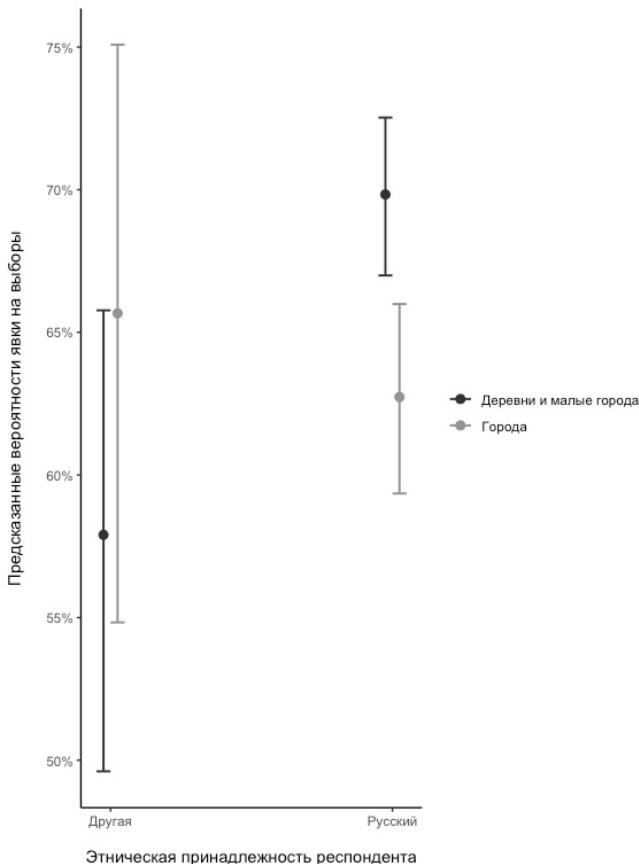


Рис. 2. Предсказанные вероятности явки на выборы в 2011 году в зависимости от этнической принадлежности респондента и типа поселения («пустая» модель с интеракцией)

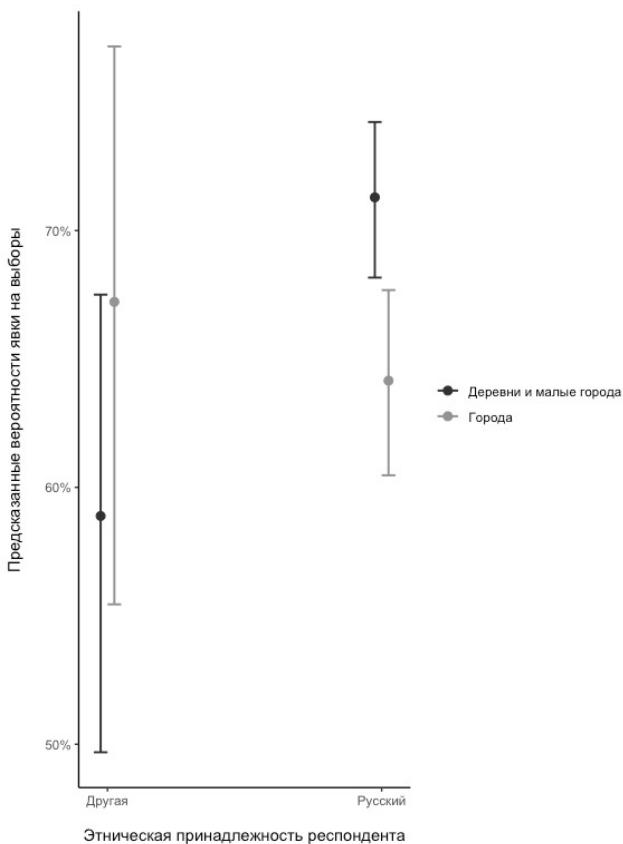


Рис. 3. Предсказанные вероятности явки на выборы в 2011 году в зависимости от этнической принадлежности респондента и типа поселения («полная» модель с интеракцией)

Таким образом, количественный анализ опроверг гипотезы II и VI, согласно которым нерусские этносы демонстрируют более высокую явку, чем русские. Одновременно он подтвердил гипотезу IV, согласно которой сельские жители (вне зависимости от этнической принадлежности) проявляют более высокую избирательную активность, чем горожане. Можно сделать вывод, что поселенческий фактор является более важным объясняющим предиктором явки, чем этническая принадлежность, что подтверждает поселенческую теорию и опровергает культурологический подход.

Качественные данные подкрепляют этот вывод. Абсолютное большинство участников всех трех фокус-групп принимали регулярное участие в выборах

и в целом подтвердили факт довольно высокой явки на селе. Объясняя причины этого, они разделились на две примерно одинаковые подгруппы. Члены первой подгруппы объясняли свое участие культурой, воспитанием и личной гражданской ответственностью. Они указывали, что тем самым они подают хороший пример своим детям. Характерными репликами были следующие: «Вот она учительница, я в детском садике работала. Мы же подаем пример детям! Если мы не пойдем, то я считаю, что это плохо». «Мне сейчас 80 лет, и я с 18 лет всегда на выборы хожу. Выборы нас кормят, пенсию платят. Выборы — это важно!» «Я всегда хожу на выборы, потому что это наша обязанность».

Респонденты второй подгруппы, в целом представляющие более молодое поколение, заявили, что ходят только потому, что их заставляют это делать. Один из участников отметил, что «на селе большинство людей зависимы от местных чиновников или олигархов. Городские более независимы. Они могут потерять сегодня работу, а завтра новую найти. А здесь мы закреплены как в феодальном обществе. Если их уволят, куда они пойдут?». По мнению другого респондента: «На селе больше пожилых людей, и они более ответственны. Они привыкли ходить на выборы. В городе даже соседей по лестничной клетке никто не знает. А тут все знают и видят друг друга. Я вижу, что все соседи пошли на выборы, и думаю: все пошли, и я должен сходить». Однако наиболее часто респонденты объясняли факт своего участия в выборах мониторингом и контролем со стороны членов участковой комиссии. Типичным ответом был следующий: «На селе все друг друга знают и все друг друга видят. Если вы не пришли, то вас могут вызвать и позвонить». Респонденты во всех трех группах подтвердили распространность практик, когда к вечеру члены избирательной комиссии, которые имеют список отсутствующих, начинают обзванивать их и приглашать на выборы. Один из респондентов так описывает эту ситуацию: «Члены избирательной комиссии знают, где мы живем, и знают номера наших телефонов. Если к вечеру, к примеру, он не пришел на выборы, то они звонят ему и говорят: „У нас явка всего 60%, вы что там, спите, что ли? Приходите голосовать!“ И он идет, просто, чтобы показаться хорошим». Другая участница обсуждения в Башкортостане подтвердила, что сталкивалась с такими звонками: «Мне звонили однажды и сказали, что пока вы не придете на выборы, мы не сможем уйти домой. И я пошла. Потому что мне неудобно создавать неприятности своим сельчанам». В Татарстане описали схожие практики. «В селе все друг друга знают. И члены комиссии ближе к 20:00 начинают обзванивать всех и спрашивать: „Время почти 20:00, почему до сих пор не проголосовал?“ Если же вы все-таки не пришли, то члены комиссии с избирательной корзиной сами к вам домой придут».

Один из респондентов указал, что играет роль тип выборов. Когда проходят выборы местных депутатов и есть конкуренция среди своих, то никого заставлять не надо, потому что по призыву кандидатов на выборы пойдут голосовать его родственники и сторонники. А вот для обеспечения явки на федеральных выборах,

к которым у местного населения интереса меньше, приходится включать административный нажим и обзванивать тех, кто не пришел.

Схожее мнение высказывали эксперты из Дагестана, которые считали, что в условиях пестрой этнической структуры общества и сохранения межэтнических, клановых расколов местные выборы отличаются особой конкуренцией и высокой явкой избирателей. Происходит это потому, что граждане в таких условиях имеют личные интересы репрезентации своего клана или этноса в структурах власти и поэтому легко отзываются на призывы местных клановых авторитетов или лидеров этнических сообществ поддержать их в избирательном процессе. Хотя такая логика политической активности характерна прежде всего для локальных и региональных выборов, она может проявить себя и в федеральных избирательных кампаниях в случае, если лидеры указанных социальных структур призывают поддержать каких-либо федеральных политических акторов.

На фокус-группах в Башкортостане указывалось также, что у сельских жителей, по сравнению с горожанами, другой менталитет. Любопытно, однако, что в этой же группе одна из участниц заявила, что, живя в городе в течение пяти лет, она на выборы не ходила, но вернувшись в село, вновь стала ходить. Данное высказывание, на наш взгляд, довольно показательное и говорит о том, что, несмотря на отсылки к таким понятиям, как воспитание или менталитет, на практике сельские жители руководствуются рациональным выбором и в отсутствие внешних факторов в виде контроля или давления могут легко менять избирательное поведение. Это ставит под сомнение сильное влияние некой патриархальной культуры и, скорее, указывает на роль поселенческой структуры, создающей разные возможности для политического давления и контроля.

На вопрос о том, могут ли местные власти как-то наказать тех, кто не ходит на выборы, мнение респондентов разделилось. Респонденты «контрольной» группы указывали, что это возможно сделать через увольнение с работы, что для каждого жителя села критически важно, поэтому политический прессинг наиболее сильно чувствуют не пенсионеры, а работающие люди. Как заявила одна из участниц: «Нас на работе руководители заставляли [ходить на выборы. — Прим. авт.], непосредственно за день до выборов напоминали и угрожали». Другая участница дополняла: «Всех работников нефтяных предприятий, бюджетных организаций обязательно за день до голосования собирают и напоминают о необходимости идти на выборы. Некоторые начальники даже требуют голосовать за партию власти и сфотографировать бюллетень после голосования как подтверждение не только участия, но и „правильного“ голосования». Участники опроса указывали, что на каждом избирательном участке есть список, по которому можно определить личность и место работы абсентеистов. По мнению респондентов, после выборов список всех тех, кто не пришел на выборы, отправляется их работодателям. Формой наказания может выступать отказ руководителей в награждении государственными статусами (например, присуждение звания заслуженных учителей, награжде-

ние почетными грамотами и т. п.) или продвижении по службе работников, уличенных в «оппозиционности».

Вместе с тем привести реальные примеры подобных увольнений или наказаний респонденты не смогли. Скорее, их слова отражали их опасения, чем реальные практики. Участники «стандартных» групп в Башкирии и Татарии отрицали факты наказания людей за неучастие в выборах. По их словам, местные власти используют не наказание, а уговоры и мягкие способы убеждения. Члены избирательных комиссий не грубыят и не угрожают. Когда они звонят с просьбой прийти на выборы, они, скорее, выражают обеспокоенность о здоровье и спрашивают: не заболел ли человек? Нужно ли ему помочь и прийти к нему домой, чтобы он смог проголосовать? Таким образом, в целом при реализации подобных практик для повышения явки больше используются моральные доводы в вежливой форме, чем грубое давление или угрозы.

Респонденты подтвердили, что всегда отвечают взаимностью на подобные просьбы, поэтому затруднились назвать факты наказания за отказ: «Мы никогда не переходили такую черту, и если просят прийти, мы приходим». Участник беседы в Татарстане так объясняет мотивацию политического участия: «Скорее, это просто психологически давит. Мы все друг друга знаем и не хотим, чтобы из-за меня моего соседа, который ответственен за явку, ругали. То есть никого никак, скорее всего, не накажут, но это просто неприятно, когда ругают тех, кого ты знаешь лично». Другой характерный ответ: «Если не пойдешь на выборы, то председатель сельсовета и члены администрации будут косо на тебя смотреть. И ты будешь чувствовать себя отшельником».

Факты поощрения и прямого материального вознаграждения за выборы все респонденты отрицали. Из представленных ответов видно, что сравнительно высокая явка в этнических селах связана не столько с какими-либо этническими культурными паттернами, сколько со спецификой сельской социальной структуры. Плотность социальных сетей в виде тесной коммуникации между местной администрацией и избирателями действительно обнаруживается, но вызвана она не спецификой этнической культуры, а объективными демографическими и поселенческими параметрами. Во-первых, на селе сравнительно высока доля пожилых людей, которые добровольно ходят на выборы в силу своего воспитания. Этот стереотип поведения связан, скорее, с советским наследием, чем отражает какую-либо этническую специфику. Во-вторых, более молодая и критически настроенная часть избирателей вовлекается в избирательный процесс в результате плотного мониторинга и контроля со стороны членов избирательной комиссии, что опять же обуславливается не какими-либо этнокультурными особенностями, а спецификой сельских поселений. Небольшие размеры поселений позволяют администрации контролировать и стимулировать избирательную активность, причем стимулы используются преимущественно мягкого характера в виде вежливых просьб и уговоров.

Экспертные интервью подтвердили эти выводы. Так, например, в Республике Мордовия опрошенные специалисты не склонны связывать формирование электорального сверхбольшинства в этом регионе с влиянием этнического фактора. Куда большую роль в этом играет демографическая структура региона в виде сравнительно высокой доли сельских жителей. Именно сельские избиратели определяют высокий уровень политической мобилизации, поскольку именно аграрные районы демонстрируют особенно высокую явку, нередко достигающую 90%.

Таким образом, сравнительно высокая явка в этнических селах обуславливается не функционированием неких «плотных этнических сетей», которые никак не обнаруживаются на уровне ответов респондентов, а, скорее, есть результат объективных параметров сельского уклада жизни в виде сравнительно большой доли пожилого населения и высокой интенсивности межличностных коммуникаций.

Мотивация политического выбора

Теперь мы переходим к анализу регрессионных моделей, в которых в качестве зависимой переменной используется уровень электоральной поддержки партии «Единая Россия». Как следует из представленных результатов (см. табл. 2), и в 2011, и в 2016 году индивидуальная этничность не влияет на поддержку ЕР почти во всех моделях. Это позволяет отвергнуть гипотезу I о том, что нерусские этносы, вне зависимости от места проживания, будут поддерживать инкумбентов больше, чем русские. Влияние же типа поселения еще более выражено: в 2011 году сельские избиратели были чаще склонны поддерживать ЕР, в 2016 году эта поддержка слабо значима только в одной модели (M10). Таким образом, разница в голосовании за ЕР между городскими и сельскими избирателями в 2016 году в сравнении с 2011 годом стала совсем незначительной. Тем не менее эти результаты скорее подтверждают гипотезу III о том, что сельские жители, вне зависимости от этнической принадлежности, значимо больше поддерживают инкумбентов.

Таблица 2. Влияние этничности на голосование за «Единую Россию» на выборах в ГД РФ в 2011 и 2016 гг.

	2011			2016		
	M7	M8	M9	M10	M11	M12
(Intercept)	0,97 (0,34)***	1,49 (0,42)***	0,21 (0,48)	0,19 (0,35)	0,29 (0,40)	-1,13 (0,54)**
Русский	0,01 (0,22)	-0,55 (0,34)	-0,63 (0,36)*	-0,18 (0,25)	-0,27 (0,31)	0,19 (0,37)
Город	-0,29 (0,13)**	-1,33 (0,44)***	-1,26 (0,47)***	-0,21 (0,13)*	-0,45 (0,50)	-0,43 (0,56)
Доверие к правовой системе						-0,03 (0,03)
Доверие к парламенту						0,07 (0,04)*

Доверие к судебной системе			0,05 (0,03)			
Удовлетворенность руководством страны			0,05 (0,04)			0,19 (0,04)***
Удовлетворенность демократией			0,16 (0,04)***			0,01 (0,04)
Система образования						0,06 (0,03)
Сильное правительство						-0,05 (0,06)
Русский*Город		1,14 (0,46)**	1,23 (0,52)**		0,26 (0,52)	0,20 (0,59)
Пол	0,85 (0,13)***	0,85 (0,13)***	0,89 (0,14)***	0,35 (0,13)***	0,35 (0,14)***	0,29 (0,16)*
Возраст	-0,02 (0,00)***	-0,02 (0,00)***	-0,03 (0,00)***	-0,00 (0,00)	-0,00 (0,00)	-0,01 (0,00)*
N	1278	1278	1158	1055	1055	844
R ² Tjur	0,062	0,067	0,123	0,009	0,010	0,097
AIC	1464,054	1459,767	1269,598	1419,383	1421,135	1086,649

Примечание: * p ≤ 0,1; ** p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,01.

Включение интерактивных эффектов между этничностью и типом поселения показывает, что влияние этничности на исход выборов зависит от типа поселения в 2011 году: нерусские избиратели в селах больше голосуют за ЕР (M8–M9, M11–M12, рис. 4, 5). При этом аналогичный тренд наблюдается и в случае с этнически русским населением. Однако пересекающиеся доверительные интервалы позволяют сказать, что в этом случае выявленный тренд статистически незначим. В 2016 году такой тренд и вовсе не наблюдается для обеих этнических групп.

Таким образом, количественный анализ позволяет сделать вывод, что, в отличие от явки, этнический фактор во взаимосвязи с типом поселения оказывает влияние на уровень электоральной поддержки инкумбентов. По крайней мере, в 2011 году нерусские этносы, проживающие на селе, значимо больше поддержали ЕР, чем русские, что подтверждает гипотезу V, хотя даже в этом случае фактор поселения играет более важную роль, чем этничность. Тем не менее это не дает права полностью игнорировать этнический фактор и ставит вопрос о каузальном механизме влияния этнической принадлежности на мотивацию политического выбора. Второй вопрос, который вытекает из полученных результатов, связан с причинами исчезновения влияния этнического фактора на выборах 2016 года. Частично получить ответы на эти вопросы мы попытались с помощью анализа качественных данных.

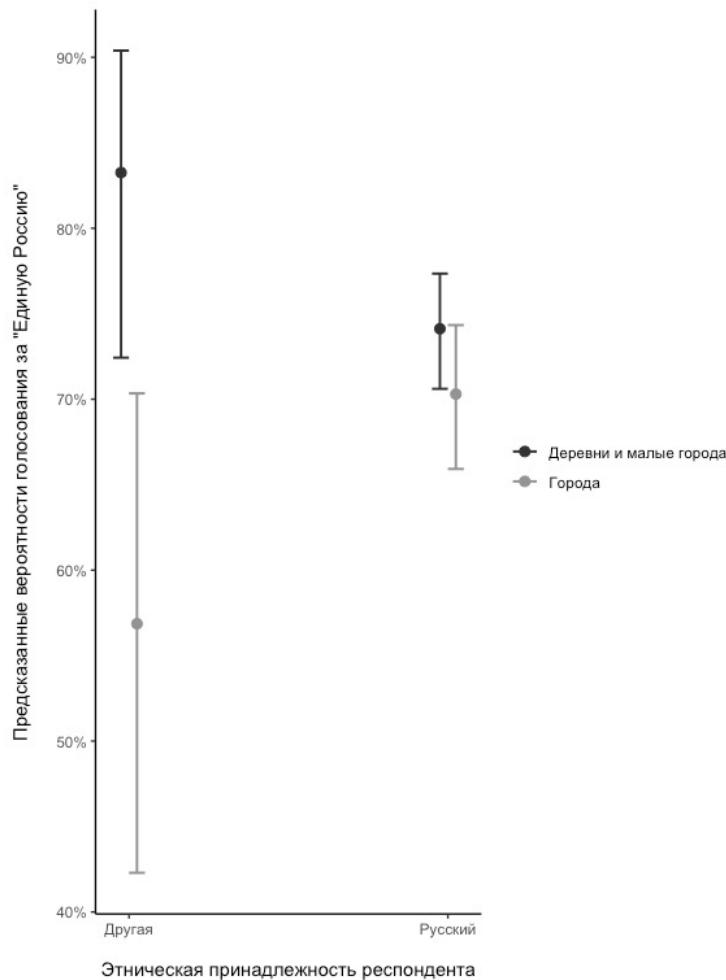


Рис. 4. Предсказанные вероятности голосования за «Единую Россию» в 2011 году в зависимости от этнической принадлежности респондента и типа поселения («пустая» модель с интеракцией)

При проведении фокус-групп мы стремились раскрыть механизм влияния этническости на мотивацию политического выбора. Мы начинали с определения степени важности для респондентов при политическом выборе этнической принадлежности кандидата и вопрос звучал так: «Считаете ли Вы, что главой вашей республики должен быть исключительно представитель титульной национальности?» Ответы респондентов в «контрольной» и «стандартных» группах оказались различными. Группа татар, проживающих в Башкортостане, не склонна артикулировать роль этническости кандидата, они отрицали, что это имеет значение при

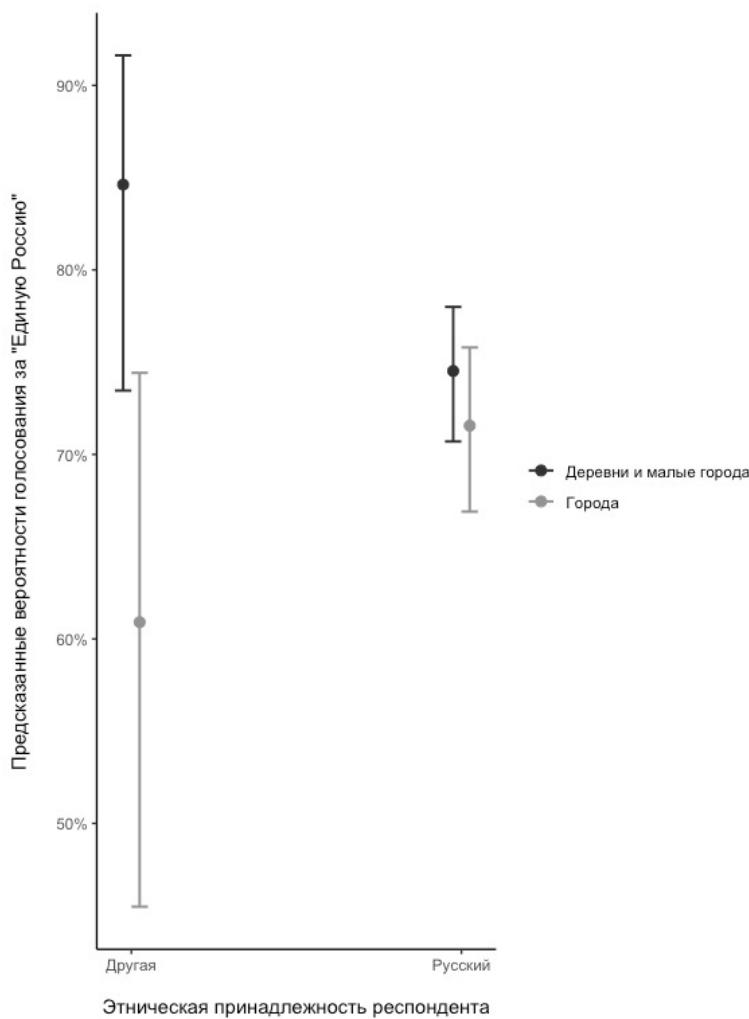


Рис. 5. Предсказанные вероятности голосования за «Единую Россию» в 2011 году в зависимости от этнической принадлежности респондента и типа поселения («полная» модель с интеракцией)

их политическом выборе. Вспоминая, что в 2003 году на региональных выборах президента Башкортостана они поддержали Р. Сафина (татарина по национальности), они отрицают, что его этническая принадлежность имела значение, настаивая, что сделали выбор в его пользу исключительно в силу его деловых и человеческих качеств. Почти единогласно собеседники этой группы допускали для себя проголосовать за русского на пост главы Башкортостана и в целом не считают, что

этническая принадлежность должна иметь значение в вопросе о кандидатуре на должность главы этнических республик.

Согласно экспертным оценкам специалистов Мордовии, в этой республике большинство населения, в том числе представители мордовского этноса, демонстрируют схожую терпимость к представителям иных этнических групп и безразличие к национальности главы региона. Как они отметили, в Мордовии уже был прецедент занятия поста главы республики русским и в целом этот факт региональное население восприняло спокойно.

В «стандартных» группах мы обнаружили доминирование диаметрально противоположной позиции. В башкирской группе в Башкирии собеседники единогласно считают, что главой Башкирии должен быть только башкир: «Башкира только башкир поймет». Схожим образом татарская группа в Татарии (за редким исключением) высказала точку зрения, согласно которой главой республики должен быть только татарин: «В Татарстане главой должен быть только татарин. Как в Татарстане может быть президентом человек с именем Иван? Это неправильно».

Из дополнительных вопросов стало понятно, что равнодушие к этнической принадлежности политиков, которое продемонстрировали татары, проживающие в Башкортостане, объясняется их недовольством региональной этнокультурной ситуацией. В частности, они высказывали претензии к «засилью башкирского языка в СМИ» и дефициту социокультурной среды для воспроизведения татарского языка. Они приветствовали отмену обязательного изучения государственных языков титульных этносов в республиках, состоявшееся по инициативе В. Путина летом 2017 года, но жаловались, что до сих пор в реальности директора и учителя в школах продолжают наставлять их детям изучение башкирского, а не татарского языка. Таким образом, представляется, что толерантность данной группы по этому вопросу на самом деле имеет этническую природу и вызвана желанием изменить ситуацию в этноязыковой сфере. Вероятно, спокойное отношение татар в Башкирии к замене в качестве главы республики башкира на русского имеет под собой рациональное желание избавиться от необходимости изучать башкирский язык и питает надежду повысить статус татарского языка в регионе их проживания.

Схожая логика влияния этнического фактора на электоральные предпочтения была описана экспертами в Дагестане. Они отмечали, что в целом этническая принадлежность политиков для всех этносов республики имеет значение, однако степень важности этого фактора зависит от положения конкретных этнических групп. Так, например, кумыки были выделены как более политизированный этнос, политический выбор которого обуславливается конкуренцией с другими этносами. Преследуя цель повышения статуса своего этнического сообщества, кумыки часто голосуют за русских кандидатов, чтобы ослабить политическое влияние других этнических конкурентов, поэтому в своем политическом выборе внешне они могут быть более толерантными, однако, опять же, в основе такой терпимости находится этноцентризм. Кроме того, данный фактор часто может работать на

то, что кумыки сравнительно больше настроены поддерживать федеральных инкумбентов. Следовательно, этнический интерес иногда может объяснять природу политической лояльности. Однако учитывая тот факт, что кумыки не являются доминирующей этнической группой в Дагестане, вряд ли данный аспект может объяснить в полной мере высокую электоральную поддержку партии власти, которую демонстрирует большинство дагестанского населения.

Пытаясь понять причины важности этнического фактора в политическом выборе для респондентов в «стандартных» группах, мы обнаружили, что они воспринимают этническую принадлежность главы республики как символ сохранения особого статуса их этноса. Это, в свою очередь, вселяет в них надежду, что, несмотря на давление центра, «свой» глава республики сможет «смягчить» прессинг Москвы и защитить их культуру. Решение по отмене обязательного изучения в республиканских школах языков нерусских этносов респонденты данных групп оценивают крайне негативно и указывают, что именно это решение укрепило их во мнении, что главой их республики должен быть исключительно представитель их этноса. Так, участник группы в Татарстане рассуждал следующим образом: «Всетаки Р. Минниханов пытается защитить татарский язык от Москвы, и немного ему удается это делать. Это говорит о том, что лучше пусть будет татарин президентом Татарстана. Иначе защиты ждать не приходится». Другой респондент уверенно заявил: «Если главой Татарстана будет русский, то через 10 лет татарского языка вообще не будет».

В обоих «стандартных» группах респонденты считают, что вопросы сохранения и развития их культуры для них важнее, чем экономические проблемы. В Башкирии участники отвергли возможность поддержать русского кандидата на должность главы республики, даже если он может повысить экономическое благосостояние жителей Башкирии. Большинство заявили, что, несмотря на накопившиеся претензии к действующему главе Башкортостана Р. Хабирову, они поддержат его на следующих выборах в случае, если он будет единственным башкиром, участвующим в избирательной гонке. Другими словами, они проголосуют за него просто потому, что он башкир.

В Татарстане респонденты еще в большей степени выражают политическую лояльность действующему главе Р. Минниханову и поддерживают его политику, даже несмотря на то что по многим вопросам ему не удается парировать атаки Москвы. Как объяснял один из участников разговора: «Если бы он выступал слишком резко, то его могли бы убрать и поставить более лояльного. И нам было бы еще хуже. Поэтому я поддерживаю эту тонкую политику. Пусть лучше он будет. Мы же видим, что бывает в других республиках».

Представленные суждения наглядно демонстрируют, что этнический фактор продолжает играть важную роль в электоральных процессах. Даже в условиях централизации, когда главы республик существенно ограничены в дистрибуции преференций для нерусских этносов, логика этнического фаворитизма оказывает влияние на мотивацию политического выбора избирателей. Для последних эт-

ническая принадлежность глав республики по-прежнему является гарантией защиты их этнокультурной автономии, и политические акторы могут использовать этот фактор как преимущество, создавая «этническое ядро» своей избирательной поддержки. Более того, политическая лояльность, формируемая на основах этничности, может быть использована главами республик для поддержки неэтнических акторов в виде федерального президента и партии власти. Речь идет о том, что в таких условиях избирательный блок нерусских этносов может быть более отзывчивым к призывам главы региона поддержать федеральных политических игроков просто в силу опасения нарушить статус-кво, так как это может привести к замене действующего главы региона на «варяга» или представителя иной этнической группы. Таким образом, этнический фактор и его влияние на воспроизведение политической лояльности сохраняются, но больше связаны с феноменом институциональной этничности в трактовке Г. Хейла, чем этнокультурными особенностями. Подобно логике самоцензуры, описанной выше, лояльность по отношению к федеральным игрокам по призыву главы республики, скорее, объясняется страхом и желанием избежать ухудшения ситуации, которая в понимании нерусских этносов ассоциируется с заменой действующего главы на «чужака». Их поддержка федеральных инкумбентов в этом смысле может трактоваться как клиентелистский обмен, но в основе которого нет ожидания прямой материальной награды, но есть демонстрация лояльности, которая должна удержать Москву от дальнейшего демонтажа региональной автономии и привести к сохранению текущего положения дел.

Вместе с тем данные фокус-групп показывают, что влияние этого эффекта на современном этапе существенно ослаблено. Если раньше нерусские этносы, пользуясь преференциями и автономией, действительно поддерживали федеральных игроков в качестве благодарности за сохранение этих благ, то после обострения языковой проблемы большинство представителей нерусских этносов оценивают федеральную власть довольно критично. Поэтому если ранее нерусские этносы были очень чувствительны к сигналам региональных властей по поддержке федеральных инкумбентов и реагировали на эти призывы позитивно, то на современном этапе эта реакция уже не является достаточно консолидированной. И хотя данные фокус-групп демонстрируют, что прессинг Кремля привел к повышению лояльности нерусских этносов в отношении главы региона, его призывы поддержать ЕР и других федеральных игроков уже не находят столь безоговорочную поддержку. Это, возможно, объясняет результаты количественного анализа, согласно которым нерусские этносы, проживающие на селе, в 2011 году существенно больше поддерживали ЕР. В то время как на выборах 2016 года влияние этнического фактора перестало себя проявлять.

Резюмируя, можно выделить следующие основные выводы анализа качественных данных:

1. Мы нашли подтверждения существования сравнительно более плотных социальных сетей в этнических селах, которые серьезно влияют на политическую

активность избирателей. Вместе с тем полученные данные скорее говорят о том, что плотность этих сетей обусловлена поселенческой спецификой сельской местности, чем этнокультурными факторами.

2. Степень значимости этнического фактора в различных республиках разная, но в тюркских и кавказских регионах он продолжает играть важную роль в выборальных процессах. Однако его проявление связано не со спецификой этнокультурной среды, а с феноменом институциональной этничности, которая проявляется себя в более высоком уровне политической лояльности «титульных» этносов к политикам, представляющим их этническую группу. Природа этой лояльности, однако, связана не с патриархальными нормами культуры и влиянием традиционных этнических сетей, а с национальной консолидацией нерусских этносов и наличием у них довольно высокого уровня национального самосознания, для которого культурные атрибуты имеют самостоятельное значение. Более того, защита культуры видится в тесной взаимосвязи с сохранением политической автономии республик, поэтому язык и другие элементы культуры эти этносы рассматривают как политические символы суверенитета, которые должны быть институционально оформленными и защищенными на государственном (республиканском) уровне. Этнический фактор в этом смысле скорее предстает как элемент модерна в виде этнонационализма, а не патриархального рецидива в виде традиционных институтов родоплеменного или кланового характера.

Заключение

Почему многие этнические республики демонстрируют столь высокие показатели явки и выборальной поддержки представителей власти в современной России? Наше исследование показывает, что на этот вопрос нет простого ответа. Для изучения роли этнического фактора, влияния этнокультурных норм и других социальных параметров на выборальное поведение мы применили регрессионный анализ. Спецификой нашего подхода при проведении статистического анализа является использование данных социологических опросов, а не официальной выборальной статистики, что позволило измерить влияние этнической принадлежности на выборальное поведение на индивидуальном, а не агрегированном уровне. Главный результат количественного анализа демонстрирует, что индивидуальная этничность не является значимым фактором выборального поведения в отличие от институциональной этничности. Иными словами, связка между этничностью и выборами появляется только в институциональном контексте республик, а вне его нерусские избиратели мало чем отличаются от русских. Кроме того, играют важную роль демографические характеристики, а именно тип поселения (город — село). Политическая лояльность избирателей в большей степени определяется спецификой сельского уклада жизни, чем этнокультурными факторами.

Другой особенностью нашей исследовательской стратегии стало дополнение количественного анализа исследованием качественных данных. Хотя посредством

статистических процедур можно заставить цифры «заговорить», не стоит игнорировать возможность получения информации от самих людей, вовлеченных в конкретные избирательные практики. До сих пор мы крайне мало знаем о том, как сами сельские жители из числа нерусских этносов воспринимают избирательный процесс, поэтому мы дополнили количественный анализ качественными данными, собранными в результате трех научных экспедиций в башкирские и татарские села.

Это позволило эмпирически проверить теорию о роли этнических сетей в воспроизводстве политической лояльности, а также уточнить роль этнического фактора в современных российских избирательных процессах. Качественные данные подтвердили результаты количественного анализа об отсутствии проявления завышенной политической лояльности у нерусских этносов на индивидуальном уровне. В целом фокус-группы показали, что избиратели башкирских и татарских районов существенно не отличаются от русских и горожан с точки зрения мотивации политического выбора. Наличия каких-либо специфических социальных структур в виде патриархальных иерархий или иных традиционных институтов, оказывающих влияние на избирательное поведение его членов, не обнаружено. Мы нашли подтверждение более плотных социальных сетей на селе, которые обусловлены не этнокультурной спецификой, а особенностями сельского уклада жизни: небольшая численность жителей и прозрачность межличностных отношений здесь действительно облегчает организаторам выборов добиваться высокого уровня явки.

Вместе с тем нельзя утверждать, что этнический фактор на современном этапе совсем утратил свое значение, скорее, можно говорить о трансформации его влияния. Фокус-группы и экспертные интервью показали, что этническая принадлежность политиков продолжает играть важную роль при политическом выборе для нерусских этносов и это означает, что политика этнического фаворитизма сохраняет свой потенциал. Однако если раньше избирательная поддержка главы региона со стороны нерусских этносов обуславливалась ожиданиями «клубных благ» в виде этнических преференций, то в современных условиях избиратели скорее ждут сохранения уже существующих этнических бонусов, не претендуя на их расширение. Тенденции централизации, сокращающие политическую и культурную автономию этнических меньшинств в современной России, усиливают мотивацию последних поддерживать политиков, представляющих их этническую группу. Главы республик схожей этнической принадлежности воспринимаются нерусскими этносами как защитники их этнокультурных преференций. Политическая лояльность на основах этнических предпочтений настолько велика, что главы республик вполне могут проецировать эту поддержку на неэтнических игроков в виде партии власти или российских президентов. Это объясняет устойчивость политической лояльности этнических республик в отношении федеральных акторов. Вместе с тем как количественные, так и качественные данные показали, что влияние этого фактора в последнее время теряет свою силу. Сокращение автономии

и обострение языковой проблемы в республиках по инициативе Кремля существенно повысили градус недовольства федеральной властью со стороны нерусских этносов, что сокращает возможности контроля региональных властей над избирателями.

Наконец, нельзя не признать, что проведенное исследование имеет ряд ограничений и может рассматриваться лишь как стартовая точка для дальнейшей проверки и верификации полученных выводов. В частности, для получения более валидных и надежных выводов необходимо расширить выборку исследуемых этнических республик. В части проведения фокус-групп представляется важным дополнить в качестве контрольных групп респондентов, представляющих городское население и сельское русское население. Все это можно признать перспективным направлением дальнейших исследований рассмотренной в статье научной проблемы.

Литература

- Абдулатипов Р. Г. (2000). Национальный вопрос и государственное обустройство России. М.: Славянский диалог.
- Амелин В. В. (1997). Вызовы мобилизованной этничности: конфликты в истории советской и постсоветской государственности. М.: Институт этнологии и антропологии РАН.
- Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солдатова Г. У. (1996). Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М.: Мысль.
- Зорин В. Ю. (2003). Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы. М.: ИСПИ.
- Коротеева В. В. (2000). Экономические интересы и национализм. М.: РГГУ.
- Курлов А. Б., Суханов В. М., Шкель С. Н. (2003). Социодинамика политических приоритетов избирателя в условиях регионального самоуправления. Уфа: Башк. гос. ун-т.
- Минаева Э. Ю., Панов П. В. (2017). Этнические региональные автономии: вариативность соотношения этнических и политico-административных границ // Политическая наука. № 4. С. 178–205.
- Панов П. В. (2019). Пространственная локализация этнических групп как фактор голосования на выборах в национальных республиках Российской Федерации // Вестник Пермского федерального исследовательского центра. № 2. С. 53–62.
- Тишкиов В. А. (1997). Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир.
- Auyero J. (2001). Poor People's Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita. Durham: Duke University Press.

- Avdeyeva O., Matland R. (2020). Ethnicity and Voters' Evaluations of Political Leadership: «Lab-in-the-Field» Experiments in Russian Regions // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 36. № 1. P. 83–100.
- Bader M., Ham C. (2015). What Explains Regional Variation in Election Fraud? Evidence from Russia: A Research Note // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 31. № 6. P. 514–528.
- Bates R. H. (1983). Modernization, Ethnic Competition, and the Rationality of Politics in Contemporary Africa // *Rothchild R., Olorunsola V. A. (eds.). State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas*. Boulder: Westview Press. P. 152–171.
- Borisova N., Sulimov K. (2018). Language Territorial Regimes in Multilingual Ethnic Territorial Autonomies // *Nationalities Papers*. Vol. 46. № 3. P. 358–373.
- Chandra K. (2004). Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India. Cambridge: Cambridge University Press.
- European Social Survey. URL: <https://www.europeansocialsurvey.org/> (дата доступа: 09.03.2021).
- Franck R., Rainer I. (2012). Does the Leader's Ethnicity Matter? Ethnic Favoritism, Education, and Health in Sub-Saharan Africa // *American Political Science Review*. Vol. 106. № 2. P. 294–325.
- Frye T., Reuter J., Szakonyi D. (2014). Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace // *World Politics*. Vol. 66. № 2. P. 195–228.
- Frye T., Reuter J., Szakonyi D. (2019). Vote Brokers, Clientelist Appeals, and Voter Turnout: Evidence from Russia and Venezuela // *World Politics*. Vol. 71. № 4. P. 710–746.
- Frye T. (2015). What Do Voters in Ukraine Want? A Survey Experiment on Candidate Ethnicity, Language, and Policy Orientation // *Problems of Post-Communism*. Vol. 62. № 5. P. 247–257.
- Golosov G. (2013). Machine Politics: The Concept and Its Implications for Post-Soviet Studies // *Demokratizatsiya*. Vol. 21. № 4. P. 459–480.
- Goodnow R., Moser R., Smith T. (2012). The Effects of Ethnic on the Electoral Success in Russia // *Comparative Political Studies*. Vol. 45. № 2. P. 167–194.
- Goodnow R., Moser R., Smith T. (2014). Ethnicity and Electoral Manipulation in Russia // *Electoral Studies*. № 36. P. 15–27.
- Hale H. (2003). Explaining Machine Politics in Russia's Regions: Economy, Ethnicity, and Legacy // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 19. № 3. P. 228–263.
- Hale H. (2008). The Foundation of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World. N.Y.: Cambridge University Press.
- Hoffman B., Long J. (2013). Parties, Ethnicities, and Voting in African Elections // *Comparative Politics*. Vol. 45. № 1. P. 127–146.
- Kitschelt H., Wilkinson S. (2007). A Research Agenda for the Study of Citizen–Politician Linkages and Democratic Accountability // *Kitschelt H., Wilkinson S. (eds.). Patrons, Clients, and Policies*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 322–343.
- Matsuzato K. (2001). From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo: Characteristics and Origins of the Tatarstan Political Regime, 1900–2000 // *Journal of Communist Studies and Transition Politics*. Vol. 17. № 4. P. 43–77.

- Minaeva E., Panov P. (2020). Localization of Ethnic Groups in the Regions as a Factor in Cross-Regional Variations in Voting for United Russia // Russian Politics. № 5. P. 131–153.*
- Myagkov M., Ordeshook P., Shakin D. (2008). The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine. Cambridge: Cambridge University Press.*
- Nichter S. (2008). Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot // American Political Science Review. Vol. 102. № 1. P. 19–31.*
- Panov P., Ross C. (2016). Explanatory Factors for Electoral Turnout in the Russian Federation: The Regional Dimension // Demokratizatsiya. Vol. 24. № 3. P. 351–370.*
- Panov P., Ross C. (2019). Volatility in Electoral Support for United Russia: Cross-Regional Variations in Putin's Electoral Authoritarian Regime // Europe-Asia Studies. Vol. 71. № 2. P. 268–289.*
- Posner D. N. (2005). Institutions and Ethnic Politics in Africa. N.Y.: Cambridge University Press.*
- Saikkonen I. (2017). Electoral Mobilization and Authoritarian Elections: Evidence from Post-Soviet Russia // Government and Opposition. Vol. 52. № 1. P. 51–74.*
- Scott J. (1969). Corruption, Machine Politics, and Political Change // American Political Science Review. Vol. 63. № 4. P. 1142–1158.*
- Sharafutdinova G. (2013). Getting the «Dough» and Saving the Machine: Lessons from Tatarstan // Demokratizatsiya. Vol. 21. № 4. P. 507–529.*
- Sharafutdinova G. (2015). Elite Management in Electoral Authoritarian Regimes: A View from Bashkortostan and Tatarstan // Central Asian Affairs. № 2. P. 117–139.*
- Shcherbak A., Sych K. (2017). Trends in Russian Nationalities Policy: A Structural Perspective // Problems of Post-Communism. Vol. 64. № 6. P. 311–328.*
- Shkel S. (2019). Bastions of Tradition: The Ethnic Factor and Political Machines in Russian Regions // Russian Politics. Vol. 4. № 1. P. 76–111.*
- Shkel S. (2021). Why Political Machines Fail; Evidence from Bashkortostan // Demokratizatsiya. Vol. 29. № 1. P. 31–62.*
- Stokes S. (2005). Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics // American Political Science Review. Vol. 99. № 3. P. 315–325.*
- Wantchekon L. (2003). Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin // World Politics. Vol. 55. № 3. P. 399–422.*
- White A. (2016). Electoral Fraud and Electoral Geography: United Russia Strongholds in the 2007 and 2011 Russian Parliamentary Elections // Europe-Asia Studies. Vol. 68. № 7. P. 1127–1178.*
- White A., Saikkonen I. (2017). More Than a Name? Variation in Electoral Mobilisation of Titular and Non-Titular Ethnic Minorities in Russian National Elections // Ethnopolitics. Vol. 16. № 5. P. 450–470.*

The Anatomy of Loyalty: Mechanisms for the Formation of an Electoral Super-Majority in the Ethnic Republics of Contemporary Russia

Stanislav Shkel

Dc. Sci (Politics), Professor, Department of Political Science and International Relations, HSE University

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: stas-polit@yandex.ru

Andrey Shcherbak

Candidate of Political Science, Head of the Department of Political Science and International Relations, HSE University

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: ascherbak@hse.ru

Tatiana Tkacheva

Research Fellow, Laboratory for Comparative Social Research, HSE University

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: tkacheva.tatyana@gmail.com

An invariable characteristic of Russian elections in the post-Soviet period is the relatively-high turnout and electoral support of incumbents demonstrated by many of the ethnic republics. The article is devoted to the study of the reasons for the relationship between the ethnic factor and the reproduction of political loyalty. Unlike most previous studies, the authors test existing theories on the basis of opinion polls data rather than official electoral statistics. This makes it possible to include the ethnic characteristics of voters at the individual level in the analysis, rather than regional or local levels. The statistical analysis is complemented by the study of qualitative data in the form of expert interviews and materials from three focus groups conducted in the villages of Bashkortostan and Tatarstan. The results obtained make it possible to assert that the political loyalty of the Russian republics is determined not by cultural specifics, but by the nature of the settlement structure. Ethnic republics include a relatively-high proportion of the agrarian population, a significant part of which is represented by ethnic minorities. This overlap of ethnic and rural segments determines the reproduction of the electoral super-majority. However, the nature of this phenomenon is explained not by the "patriarchal culture" of non-Russian ethnic groups, but by the institutional capabilities of the local administration to monitor and control the political behavior of rural voters. The study also made it possible to clarify the role of the ethnic factor in contemporary electoral processes, which also affects the reproduction of political loyalty not only to the heads of the republics, but also to non-ethnic federal political actors. However, its influence is also conditioned by the political and institutional characteristics of the ethnic republics, and not by the cultural characteristics of the titular ethnic groups.

Keywords: ethnopolitics, electoral processes, ethnic factor, political loyalty, political machines, sub-national politics, Russia

References

- Abdulatipov R. (2000) *Nacional'nyj vopros i gosudarstvennoe obustrojstvo Rossii* [National Question and State Arrangement of Russia], Moscow: Slavyansky dialog.
- Amelin V. (1997) *Vyzovy mobilizovannoj etnichnosti: konfliktы v istorii sovetskoy i postsovetskoj gosudarstvennosti* [Challenges to Mobilized Ethnicity: Conflicts in the History of Soviet and Post-Soviet Statehood], Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology.

- Auyero J. (2001) *Poor People's Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*, Durham: Duke University Press.
- Avdeyeva O., Matland R. (2020) Ethnicity and Voters' Evaluations of Political Leadership: "Lab-in-the-Field" Experiments in Russian Regions. *Post-Soviet Affairs*, vol. 36, no 1, pp. 83–100.
- Bader M., Ham C. (2015) What Explains Regional Variation in Election Fraud? Evidence from Russia: A Research Note. *Post-Soviet Affairs*, vol. 31, no 6, pp. 514–528.
- Bates R. H. (1983) Modernization, Ethnic Competition, and the Rationality of Politics in Contemporary Africa. *State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas* (eds. R. Rothchild, V. A. Olorunsola), Boulder: Westview Press, pp. 152–171.
- Borisova N., Sulimov K. (2018) Language Territorial Regimes in Multilingual Ethnic Territorial Autonomies. *Nationalities Papers*, vol. 46, no 3, pp. 358–373.
- Chandra K. (2004) *Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Drobizheva L., Aklaev A., Koroteeva V., Soldatova G. (1996) *Demokratizaciya i obrazy nacionalizma v Rossijskoj Federacii 90-h godov* [Democratization and Images of Nationalism in the Russian Federation of the 1990s], Moscow: Mysl'.
- European Social Survey. Available at: <https://www.europeansocialsurvey.org/> (accessed 9 April 2021).
- Franck R., Rainer I. (2012) Does the Leader's Ethnicity Matter? Ethnic Favoritism, Education, and Health in Sub-Saharan Africa. *American Political Science Review*, vol. 106, no 2, pp. 294–325.
- Frye T. (2015) What Do Voters in Ukraine Want? A Survey Experiment on Candidate Ethnicity, Language, and Policy Orientation. *Problems of Post-Communism*, vol. 62, no 5, pp. 247–257.
- Frye T., Reuter J., Szakonyi D. (2014) Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace. *World Politics*, vol. 66, no 2, pp. 195–228.
- Frye T., Reuter J., Szakonyi D. (2019) Vote Brokers, Clientelist Appeals, and Voter Turnout: Evidence from Russia and Venezuela. *World Politics*, vol. 71, no 4, pp. 710–746.
- Golosov G. (2013) Machine Politics: The Concept and Its Implications for Post-Soviet Studies. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 21, no 4, pp. 459–480.
- Goodnow R., Moser R., Smith T. (2012) The Effects of Ethnic on the Electoral Success in Russia. *Comparative Political Studies*, vol. 45, no 2, pp. 167–194.
- Goodnow R., Moser R., Smith T. (2014) Ethnicity and Electoral Manipulation in Russia. *Electoral Studies*, no 36, pp. 15–27.
- Hale H. (2003) Explaining Machine Politics in Russia's Regions: Economy, Ethnicity, and Legacy. *Post-Soviet Affairs*, vol. 19, no 3, pp. 228–263.
- Hale H. (2008) *The Foundation of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World*, New York: Cambridge University Press.
- Hoffman B., Long J. (2013) Parties, Ethnicities, and Voting in African Elections. *Comparative Politics*, vol. 45, no 1, pp. 127–146.
- Kitschelt H., Wilkinson S. (2007) A Research Agenda for the Study of Citizen–Politician Linkages and Democratic Accountability. *Patrons, Clients, and Policies* (eds. H. Kitschelt, S. Wilkinson), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 322–343.
- Koroteeva V. (2000) *Ekonomicheskie interesy i nacionalizm* [Economic Interests and Nationalism], Moscow: RSUH.
- Kurlov A., Sukhanov V., Shkel S. (2003) *Sociodinamika politicheskikh prioritetov elektorata v usloviyah regional'nogo samoupravleniya* [Sociodynamics of Political Priorities of the Electorate in the Context of Regional Self-government], Ufa: BSU.
- Matsuzato K. (2001) From Ethno-Bonapartism to Centralized Caciquismo: Characteristics and Origins of the Tatarstan Political Regime, 1900–2000. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 17, no 4, pp. 43–77.
- Minaeva E., Panov P. (2017) Etnicheskie regional'nye avtonomii: variativnost' sootnosheniya etnicheskikh i politiko-administrativnyh granic [Ethnic Regional Autonomies: The Variability of the Ratio of Ethnic and Political-Administrative Boundaries]. *Political Science*, no 4, pp. 178–205.
- Minaeva E., Panov P. (2020) Localization of Ethnic Groups in the Regions as a Factor in Cross-Regional Variations in Voting for United Russia. *Russian Politics*, no 5, pp. 131–153.

- Myagkov M., Ordeshook P., Shakin D. (2008) *The Forensics of Election Fraud: Russia and Ukraine*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nichter S. (2008). Vote Buying or Turnout Buying? Machine Politics and the Secret Ballot. *American Political Science Review*, vol. 102, no 1, pp. 19–31.
- Panov P. (2019) Prostranstvennaya lokalizaciya etnicheskikh grupp kak faktor golosovaniya na vyborah v nacional'nyh respublikah Rossiijskoj Federacii [Spatial Localization of Ethnic Groups as a Factor of Voting in Elections in the National Republics of the Russian Federation]. *Perm Federal Research Centre Journal*, no 2, pp. 53–62.
- Panov P., Ross C. (2016) Explanatory Factors for Electoral Turnout in the Russian Federation: The Regional Dimension. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 24, no 3, pp. 351–370.
- Panov P., Ross C. (2019) Volatility in Electoral Support for United Russia: Cross-Regional Variations in Putin's Electoral Authoritarian Regime. *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 2, pp. 268–289.
- Posner D. N. (2005) *Institutions and Ethnic Politics in Africa*, New York: Cambridge University Press.
- Saikkonen I. (2017) Electoral Mobilization and Authoritarian Elections: Evidence from Post-Soviet Russia. *Government and Opposition*, vol. 52, no 1, pp. 51–74.
- Scott J. (1969) Corruption, Machine Politics, and Political Change. *American Political Science Review*, vol. 63, no 4, pp. 1142–1158.
- Sharafutdinova G. (2013) Getting the “Dough” and Saving the Machine: Lessons from Tatarstan. *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, vol. 21, no 4, pp. 507–529.
- Sharafutdinova G. (2015) Elite Management in Electoral Authoritarian Regimes: A View from Bashkortostan and Tatarstan. *Central Asian Affairs*, no 2, pp. 117–139.
- Shcherbak A., Sych K. (2017) Trends in Russian Nationalities Policy: A Structural Perspective. *Problems of Post-Communism*, vol. 64, no 6, pp. 311–328.
- Shkel S. (2019) Bastions of Tradition: The Ethnic Factor and Political Machines in Russian Regions. *Russian Politics*, vol. 4, no 1, pp. 76–111.
- Shkel S. (2021) Why Political Machines Fail: Evidence from Bashkortostan. *Demokratizatsiya: Journal of Post-Soviet Democratisation*, vol. 29, no 1, pp. 31–62.
- Stokes S. (2005) Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics. *American Political Science Review*, vol. 99, no 3, pp. 315–325.
- Tishkov V. (1997) *Ocherki teorii i politiki etnichnosti v Rossii* [Essays on the Theory and Politics of Ethnicity in Russia], Moscow: Russky mir.
- Wantchekon L. (2003) Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin. *World Politics*, vol. 55, no 3, pp. 399–422.
- White A. (2016) Electoral Fraud and Electoral Geography: United Russia Strongholds in the 2007 and 2011 Russian Parliamentary Elections. *Europe-Asia Studies*, vol. 68, no 7, pp. 1127–1178.
- White A., Saikkonen I. (2017) More Than a Name? Variation in Electoral Mobilisation of Titular and Non-Titular Ethnic Minorities in Russian National Elections. *Ethnopolitics*, vol. 16, no 5, pp. 450–470.
- Zorin V. (2003) *Nacional'naya politika v Rossii: istoriya, problemy, perspektivy* [National Policy in Russia: History, Problems, Prospects], Moscow: ISPI.

Social Immunology: Application in Research on Migration

Lika Rodin

Lecturer, School of Health Sciences, University of Skövde

Address: G-hus, Box 408, 54128 Skövde, Sweden

E-mail: lika.rodin@his.se

The COVID-19 pandemic has been challenging the world for many months, drawing the public's attention to the field of epidemiology. Governments around the globe urgently call on the scientific community to provide guidelines for the treatment and prevention of coronavirus infections. Immunity protection (natural or man-made) is at the epicentre of state policies and public discussions. It is less known that the epidemiological discourse had been used beyond natural sciences in the domain of philosophy and social research. This paper introduces the concept of social immunology developed by Italian philosopher Roberto Esposito at the turn of the 20th century as part of the discussion of the notion of biopolitics. I re-read one of my previous research projects through the lens of Esposito's theory to show the potential of his theoretical constructs in studies on migration and integration.

Keywords: democracy, immunity, integration, thanatopolitics, vaccine

Introduction

During the COVID-19 pandemic, the world's attention has been riveted on advances in epidemiology. Millions around the globe have been waiting for answers to pressing questions about the nature, danger and consequences of the coronavirus infection, and the scientific community is urged to provide guidelines on its treatment and prevention. The main battle is unfolding over efforts to achieve immunity in the global population through vaccination and by developing natural biological protection. Vaccination builds on the aspiration of attaining immunity to the coronavirus infection. The idea is to create an "immunologic memory" that helps to identify the pathogen and quickly mobilises the organism's defences (Ajana, 2021). The epidemiological discourse is, however, not limited to the field of medicine. During the last decades, it has been used beyond natural sciences in the domain of philosophy and social research. Roberto Esposito is one of the scholars developing this theoretical tradition. At the turn of the 20th century, Esposito introduced a theory of immunity that recasts the Foucauldian notion of biopolitics in line with the multifaceted European philosophical tradition (Campbell, 2008). The epidemiological rhetoric has been highly appreciated in current social-political debates. Esposito gave several interviews to explain the social-political transformations associated with the COVID pandemic (Christiaens, De Cauwer, 2020; Doğan, 2020).

Some initial attempts were made to apply Esposito's concepts to the analysis of ongoing civic and mobility restrictions in Europe (Ajana, 2021; Peters, Besley, 2020; Lorenzini, 2021). Moreover, the immunisation concept popularised by Esposito has been employed

in studies on migration and integration. Social researchers actively addressed the 2015 refugee crisis in Europe when the issue of national and cultural boundaries came to the forefront of political agendas across the region. Border management (Mavelli, 2017; Vaughan-Williams, 2015, 2016), obstacles to the social-cultural integration of migrants (Bird, Short, 2017; Chamberlain, 2016) and restricted access to local infrastructure (Namer et al., 2020) are some of the topics explored by researchers using the concept of immunity.

In this paper, the theory of immunity is used to explore the prospects for civic integration of immigrants in Sweden. In 2015, Sweden received the largest number of refugees in its contemporary history: 162.877 applications were submitted to the Swedish Migration Board in 2015 compared to 26.000 in the early 2000s and 12.991 in 2020 (Swedish Migration Board, 2021). A variety of special programs to integrate newcomers emerged in the country, both state-driven and civic initiatives, that attracted the critical attention of social researchers (Rodin, Rodin, 2016). The paper proceeds with an overview of Esposito's theory, followed by a re-reading of my previous study through the lens of social immunology. As follows from the analyses performed, an integration project "Cultural Friend" exhibited an immunity reaction to immigration and served the purpose of immunising the Swedish society. Moreover, participants' reflections upon their engagement in the project reflected an autoimmune response framed as an opposition to a perceived enemy within. However, interpersonal interactions with newcomers allowed some local residents to problematise the established divisions, which might become the first step towards the affirmative biopolitics propagated by Esposito. In distinction to culture-centred theories frequently used in studies on civic integration, the concept of social immunity helps to avoid the trap of essentialism and account for possibilities of change.

The Theory of Immunity

The notion of immunity has developed gradually in the last centuries in the fields of philosophy, sociology, and anthropology with and without direct references to medicine. Esposito built his theory on contributions from European scholarship, with a special attachment to the Italian theoretical tradition (Campbell, 2008).

The Notion of Immunity in Contemporary Social Theory

Among contemporary interpretations, Esposito takes up Niklas Luhmann's reflections on the law as an immunity apparatus that secures "the autopoiesis of society's communication system" (Luhmann in Esposito, 2011: 45–46). In fact, communication itself appears as immunisation. It ensures an "autopoietic closure" (Ibid.: 47), an interplay between the system's preservation of identity and openness towards the wider environment that eventually "includes all exclusions" (Ibid.). On the other side, the environment is both negated by any system as a challenge to own identity, and it is included in it as a general condition of existence. In this context, the law serves to protect "through negation against annihila-

tion" (Luhmann in Ibid.: 48); it ensures stability by favouring "better foreseeable uncertainties" over "insecure certainties" (Ibid: 48). Law does not try to eliminate conflicts and contradictions. Rather, it seeks to make them automatically manageable. This is the moment where the traditional immunology discourse comes into play (Luhmann in Ibid.: 49): "Contradiction permits reaction *without cognition* . . . This is why one can invoke an immune system and coordinate the theory of contradictions with an immunology. Immune systems also operate without cognition, knowledge of the environment, or analysis of disturbing factors; they merely discriminate things as not belonging." In this way, immunity appeared to Luhmann as stabilising management of emerging risks to the system, based on the anticipation of threats and the development of pre-programmed responses.

Another significant contribution to the field of social immunology came from Jacques Derrida (Campbell, 2008). In a series of publications and interviews in the late 1990s and early 2000s, Derrida developed a view on immunity as autoimmunity. Analysing the contemporary mode of western democracy Derrida identified it as an illusion. First, the power of the majority is never fully enacted in democratic countries, since there is always a risk that the majority may eventually prefer a non-democratic order. Second, the minority is inevitably excluded from decision-making (Campbell, 2008: xvi). In this respect, "democracy has always been suicidal" (Derrida in Ibid.: xvi): it rises against the very principles it declares. The immanent self-destructive tendency of democracy is nothing else for Derrida than an autoimmunity mechanism: "Democracy is never properly what it is, never *itself*. For what is lacking in democracy is proper meaning, the very . . . meaning of the selfsame . . . the it-self. . . , the selfsame, the properly selfsame of the itself" (Derrida in Ibid.: xvii). Democracy is also suicidal in the sense that it generates external threats to itself, as appeared in the 9/11 event. Derrida perceives the attack of religious fundamentalists on the World Trade Center to be a logical realisation of (auto) immunity mechanisms. Being homological to each other, religion and "tele-technoscience" unavoidably clash in autoimmunity (Campbell, 2008: xivff.). In a related interview, Derrida argued: "Immigrated, trained, prepared for their act in the United States by the United States, these hijackers incorporate so to speak, two suicides in one; their own . . . but also the suicide of those who welcomed, armed, and trained them" (Derrida in Campbell, 2008: xvii).

Finally, the notion of biopolitics has become an important point of departure for Esposito's discussion of social immunity. Introduced by Michel Foucault in the 1970s, biopolitics is understood as managing the population in terms of health and wellbeing (Foucault, 1990; see also Esposito, 2008, Campbell, 2008). The biopolitical/governmental state continually reinvents frontiers of the public sphere and changes its responsibilities by acts of inclusion and exclusion (Foucault in Campbell, 2008: xii). Two Italian philosophers — Georgio Agamben and Antonio Negri (in cooperation with Michael Hardt) — developed this line of argumentation in rather distinctive directions that provided a foundation for Esposito's discussion (Campbell, 2008).

Reflecting upon the meaning of human life in modernity, Agamben (1998) identified a figure of a social outcast, *homo sacer*, whose life could be taken by anyone without

breaking the law. This life thus appears as “bare life”, a life denied any legal protection. It is included in the legal order only by its exclusion, and reveals the existing immunity mechanism. The modernist state exploits the condition of bare life in the so-called “state of exception” — legally justified enclaves of social life and/or territory where lawful protection is temporarily deactivated. The most telling example of this is a concentration camp where individuals are treated only as biological bodies that can be exposed to harm without consequences for the offenders. The camp model characterises, according to Agamben, the modernist society at large. It is built on the order of “inclusive exclusion” and thanatopolitics (the politics of death) that are thought to protect the system from undesirable disturbances (Agamben in Rodin, 2016: 279; see also Campbell, 2008).

While Agamben relates the salience of biological aspects in modernist society to the risk of falling into thanatopolitics, Hardt and Negri (2000) see the potential for liberation in the emerging global network of human bodies (see also Campbell, 2008). The ongoing totalisation of power and the transformation of labour towards its dematerialisation in the post-industrial world enable the production of new subjectivities (social singularities), new forms of communication and eventually an innovative collective resistance to the global order of domination (Hardt, Negri, 2000, 2013; see also Campbell, 2008). Life appears in this argument as having the potential to re-establish itself through the interconnected corporeal energy of individuals and groups. A related mode of sovereignty promises to emancipate the masses by open borders, universal income and democratisation of communication technologies (Hardt, Negri, 2000).

Esposito addresses both interpretations to develop a deeper understanding of prospects for “affirmative biopolitics” (Campbell, 2008: xl). For Foucault, biopolitics is about the modernist appropriation of the body by the State on both the individual and collective levels. Similar to Agamben, Esposito argues that the body has always been an essential element of political life. Sovereign power is impossible without individual bodies that constitute a population: “these bodies are now the large body, in the sense that the power of the State coincides literally with the survival of individuals who bear it in their bodies” (Esposito, 2013: 339–340). This explains for Esposito the role of medicine for reproducing modern society: “When the body of citizens became the real rather than metaphoric place where the exercise of power was concentrated, public health — understood in the widest and most general sense as the ‘welfare’ of the nation — clearly became the pivot around which the entire economic, administrative, and political affairs of the state revolved” (Esposito, 2013: 340). Medicine had become politicised and politics medicalized (Esposito, 2008; see also Campbell, 2008; Peters, Besley, 2020).

Esposito's Theory of Immunity

Esposito developed the theory of immunity in a series of books published in Italian and translated into English in the early 2000s: *Communitas: The Origin and Destiny of Community* (2004), *Bios: Biopolitics and Philosophy* (2008), and *Immunitas: The Protection and Negation of Life* (2011). The theory builds on an interplay between notions of “com-

munity" and "immunity". Community presupposes sharing, belonging and universality while immunity refers to separation, identity, and particularity (Esposito, 2010; see also Campbell, 2008). Esposito (2010) carefully reviews the Latin origin of the term community (*communitas*) to identify its fundamental feature: community is held together not by shared material goods but by a shared duty (*munus*). "[C]ommunitas is the totality of persons united not by a 'property' but precisely by an obligation or a debt; not by an 'addition' . . . but by a 'subtraction' . . . : by a lack, a limit that is configured as an onus, or even as a defective modality for him who is 'affected', unlike for him who is instead 'exempt' . . . or 'exempted'" (Esposito, 2010: 6). What individuals associated with *communitas* share and lack simultaneously is a *gift* that no one can possess but must transfer to others (Esposito, 2010; see also Campbell, 2008). As a result, community members "don't find anything else except that void, that distance, that extraneousness that constitutes them as being missing from themselves; 'givers to' inasmuch as they themselves are 'given by' . . . a circuit of mutual gift-giving that finds its own specificity in its indirectness with respect to the frontal nature of the subject-object relation or to the ontological fullness of the person . . ." (Esposito, 2010: 7). Gift-circulation is constitutive for the community and the relationships within it. In the community, the subject is incomplete, disrupted and radically opened to the common interiority. Inserting oneself into the process of gift-giving leads to the partiality of any personal identity. It can no longer be separated from the collective (see also Campbell, 2008). The community then appears both welcoming and antagonistic. It "isn't only to be identified with the *res publica*, with the common 'thing', but rather is the hole into which the common thing continually risks falling" (Esposito, 2010: 8).

Modernity challenged "this unacceptable *munus*" (Esposito, 2010: 12) by aspirations towards reason, science, and regulation. It evoked the notion of immunity as a dialectical counterpart to community. The word "immunity" has the same roots as "community", but it presupposes negation, a relief from the duty of gift-circulation (Esposito, 2010; Campbell, 2008). Those who are immune do not need to insert themselves into common obligations, and they can more efficiently preserve their own identities (see also Campbell, 2008). Modern subjects enjoy a wide immunity that manifests itself in separateness and clear-cut boundaries from others. They specify the value for any service and therefore "can no longer bear the gratitude that the gift demands" (Esposito, 2010: 12). An early example of the modernist immunisation paradigm is Thomas Hobbes's theory of social contract: community is fundamentally dangerous to the individual in terms of personal integrity, and it should be limited by regulatory mechanisms. In this context, the social contract is "that which is not a gift; it is the absence of *munus*, the neutralization of its poisonous fruits" (Esposito, 2010: 14). However, the results of immunisation are controversial: immunisation unavoidably leads to radical separation and it eventually threatens individual existence, "[l]ife is sacrificed to the preservation of life" (Esposito, 2010: 14). Thus, in Esposito's thought, community and immunity overlap and stand in dialectical relations with one another. As summarised by Campbell (2008: xi):

Immunity connotes the means by which the individual is defended from the “expropriative effects” of the community, protecting the one who carries it from the risk of contact with those who do not (the risk being precisely the loss of individual identity). As a result, the borders separating what is one’s own from the communal are reinstated when the “substitution of private or individualistic models for communitarian forms of organization” takes place. It follows that the condition of immunity signifies both not to be and not to have in common. Seen from this perspective, immunity presupposes community but also negates it, so that rather than centered simply on reciprocity, community doubles upon itself, protecting itself from a presupposed excess of communal gift giving.

In this context, balance is crucial. A surplus of immunity increasingly registered in contemporary social-political life may lead to autoimmunity and self-destruction of the social body, as Derrida also signalled in his writings (Campbell, 2008).

While relations to the *gift* constitute a social-juridical meaning of immunity (Campbell, 2008), Esposito (2011) further evokes a biological connotation of immunity as an organismic response to external threats, including those associated with contagious diseases. The organism naturally, or with external facilitation from a vaccine, develops antibodies to combat viruses. Vaccination is of special importance for Esposito. It shows that safeguarding life may occasionally demand a controlled insertion of dangerous elements into a living body. The two functions of the immune system — a “militaristic defence against the foreign” and “hospitable relation to the other” — must be accounted for in the analysis and understanding of both bio-medical aspects and social-political life (Levis, 2015: 222). In medicine, the immunity response is typically presented in terms of combat between the organism and dangerous agents coming from outside (Esposito, 2011). The excess of defence unavoidably leads to autoimmunity, a situation in which immunity turns against the organism itself. As translated into social-political context by Levis (2015: 222): “This is the point at which immunisation, understood as the construction of a rigid barrier between self and other, turns against itself and starts to endanger the very identity which it was supposed to be securing”.

In the next part of this paper, I revisit one of my previous studies on migration and integration to show the potential of Esposito’s theoretical constructs. The quotations from the interview cited below are translated from Swedish and edited slightly to ensure readability.

The Notion of Immunity as Applied to Migration Research

My article “From Othering to Belonging: Integration Politics, Social Interventions and the Limits of Cultural Ideology” published in *The Journal of Social Policy Studies* in 2017 addressed the social integration of migrants in Sweden. It analysed an integration project “Cultural Friend” implemented in Western Sweden in 2015. The project was built on the idea of facilitating interactions between “established Swedes” and newly arrived Middle East migrants. The aim was to improve migrants’ familiarity with the national culture,

language, local infrastructure, and services. To ensure the success of the intervention project, leaders performed an initial “matching” or coupling of participants in line with certain social-cultural variables. Apart from private socialising between cultural friends, the program provided a series of larger social-cultural events (cultural festivals and various group activities) in which everyone could take part. The research focused on the dynamics of othering in self-reports of Swedish-born participants. Data collected according to the established ethical guidelines were left available for further analysis.

Immunity, Immunization and Autoimmunity

At one interview, I noticed what appeared to be an epidemiological analogy. A respondent, a 50-year-old Swedish man who worked in primary education, reported frustration over his cultural friend’s intensive and unstructured interactional approach. This experience motivated the respondent to demand a formalization of meetings.

He invited me for coffee, for example, and suddenly the whole apartment was full of his other friends that come and also drank coffee. **It’s their way to be** and I don’t have any problem with that. **But the risk** is that when one comes here as a migrant then one **tries to transmit** one’s own cultural habits or forms of social interactions. And there, I understood, people very much come and go. This we don’t do so often here in Sweden. Only if people are real friends they can come and go, but in their [migrants’] tradition one comes and goes anyway. (IP1; emphasis added)

A clear discourse of estrangement appears in this extract: “us–them” language of separation and alienation, essentialising cultural differences, with ethnicity being unproblematically coupled to behaviour. Moreover, an experience of threat coming from an alien culture, fear of contamination and attempts to identify inclusion/exclusion criteria in a form of familiarity with specific cultural codes reveal immunity rhetoric. Earlier in the interview, the same respondent suggested that Swedes possess specific psychological knowledge that allows them to observe “what they (migrants) can and cannot do” (IP) and to read newcomers in detail. Migrants in these rhetorical moves appeared as under-developed — disorderly, lacking recognition of social distance, short in social knowledge and less capable of self-reflexivity — and therefore proper objects of surveillance, control, and discipline.

According to Esposito (2008), protecting one’s group from interferences and undesirable change is a core of immunity. In 20th century Europe, an “immunity apparatus” was called into being to artificially correct societal transformations through eugenics, euthanasia, and genocide. Esposito (Ibid.: 112–113) elaborates on Foucault’s interpretation of racism in Nazi Germany as an extreme example of an attempt to protect a specific ethnic community. Biology had become politicized: “What before had always been a vitalistic metaphor becomes a reality in Nazism, not in the sense that political power passed directly into the hands of biologists, but in the sense that politicians used biological processes as criteria with which to guide their own actions”. The established “biorocracy”

(Ibid.: 113) represented thanatopolitics implemented under Hitler's regime. "The medical class" obtained the central role and exclusive power in the thanatopolitical order: doctors constructed crematoriums, administrated death to millions in concentration camps and performed risky experiments on human subjects. All these actions were justified by "therapeutic" and "hygienic" reasons: "It is only by killing as many people as possible that one could heal . . . those who represented the true Germany" (Ibid.: 115). In this way, immunization manifested itself by taking care of the German race by exterminating others who were perceived as a threat: "Paradoxically, death was considered the only medicine able to safeguard life" (Ibid.: 116). The exterminated "others" were typically dehumanized, associated with "pathogens" ("viruses" or "microbes") to be effectively isolated and/or cleaned away (Ibid.). Esposito highlights an immunological discourse in the project of the Warsaw ghetto that was thought to prevent "contamination" by the "Jewish virus" (Ibid.: 117).

Repression and physical violence are no longer used to deal with "others" in the contemporary western world, though Sweden is known for eugenic programs that ran between the 1930s and 1970s (Broberg, Tyden, 1999). During this period, there were politically approved attempts to manage the population both in terms of size and "quality". Scientific institutions, such as the Swedish State Institute for Racial Biology at Uppsala University, worked on promoting a "Nordic race", combining an anthropological approach with genetics. Later, the focus shifted to broader social issues including poverty, ill-health, and low involvement in the industrial labour force. Several sterilization laws approved by the Swedish parliament between 1938 and 1951 aimed at reducing the number of individuals considered to be a threat or a burden to society (Ibid.). Esposito (2008: 132) identifies sterilization as "the most radical modality of immunization because it intervenes at the root, at the originary point in which life is spread . . . It blocks life not in any moment of its development as its killer but in its own rising up — impeding its genesis, prohibiting life from giving life, devitalizing life in advance".

Today discourses about tolerance, inclusion and respect of differences dominate the political landscape in Sweden (Viegas, 2007). Sterilization is no longer used to solve social problems. In this context discipline (education and training) becomes the primary tool for managing social-cultural borders. Esposito (2011), however, sees no opposition between sovereign power and discipline found typically in Foucault's writings. Both aim at social management even if methods may differ, both attempt to anticipate deviations and correct them. Esposito (2011: 142) summarises: "What unites them, though in inverted form, is the negative connotation that both establish between the singularity of the living being and the preservation of life: the conditions of preservation, or reproduction, of life are located outside and before the living being's natural line of development". According to this line of thought, the "Cultural Friend" project can be seen as a disciplinary intervention to facilitate an immunity response to immigration.

Therefore, it is not surprising that most "established Swedes" in the project perceived their assignment as a form of mentorship with the primary goal of helping newcomers become familiar with the national way of life and infrastructure. The national culture of

the hosting society typically turned into a master frame into which immigrants had to fit. This essentialization and hierarchization of cultures manifested itself in the participants' reflections on alternative group activities, such as cultural festivals:

For example, a festival, not big maybe a small festival, with dance, music. And we can show and tell more about our cultures, maybe folk music or costumes, clothes or food. It is fun to learn more about special food in Swedish or Syrian-Arab culture, it is different in different countries. Many have said that they want to know more about special Swedish food such as cinnamon buns, which are delicious with coffee. From what I understand, there are many who bake bread. And of course, language is important to practice. **I mean, if you want to continue in Sweden, you have to know more about culture and society.** (IP10; emphasis added)

The respondent, a senior Swedish-born woman, started by acknowledging the plurality of cultures involved in a festival, but she finished by highlighting the legitimate dominance of the Swedish culture and a need to foster the immigrants' fluency in it. National food, clothes, ceremonies and language are presented as central cultural signifiers. Learning cultural codes is viewed as a crucial condition for migrants' integration into the hosting society. Those codes could be interpreted in line with Esposito's theory as tools in a "personalized surveillance system": all cells of a living body have particular encryption that allows "the human body's police corps" to recognize legitimate and illegitimate agents immediately (Esposito, 2011: 157). Much like an ID card, exhibiting cultural literacy ensures automatic discrimination between those who belong to the community and those who do not. In this context, cultural events initiated by the program worked as a vaccine: alien cultures were made visible, knowledgeable, and therefore controllable. They were included by exclusion.

The immunity paradigm appeared in the matching procedures performed at the start of the project. Based on the participants' applications, project managers coupled individuals and families of local residents on one side and immigrants on the other side in regard to gender, family situation, professional interests and hobbies. Based on the program documents (project logbooks and advertisements) and interviews with the participants, it can be argued that matching procedures were thought to immunize Swedish society at large and individuals who took part in the project. First, it restricted pulling together younger people of different genders to exclude prospects for "intermarriage", a common strategy of entering the hosting society (Rodríguez-García, 2015). Thus, coupling a young immigrant man with a young local woman was restricted. The age difference between cultural friends was typically quite significant, up to 40 years. This approach has drawn a parallel with breeding policies that are not new to the Swedish context; they preceded sterilizations of the early 20th century (Broberg, Tyden, 1999). In Esposito's (2008) terms, breeding, along with sterilization, should be considered one of the central immunity *dispositifs*.

Second, at the individual level, matching protected Swedish-born participants from encountering pronounced differences, such as extreme religious adherence, psychologi-

cal traumas or disturbing customs. Firm believers or individuals with traumatic experiences had fewer chances to be matched with an “established Swede”. It appears that the level of differences had to be convenient to ensure smooth socialization. Radicalism of any kind was perceived as a potential obstacle. As explained by a local resident regarding a weekend trip:

And since he [a newcomer] is not (pause). He is a Muslim, but he is not, so he is not such a devoted Muslim. He has no problems like when we went to [a local church] which is on the way to a stone exhibition. Then we stopped [near the church] on the way home. It's a fantastic church (pause) eh (pause) which **you might think he would have a hard time being at because he does not have that faith.** But he is very interested in everything, so he thought it was very interesting to see that church. We can do basically anything. (IP4; emphasis added)

This extract presents the respondent's anticipation that a newcomer might reject the local culture. It signals an (automatic) response of immunity: cultural aliens by definition are opposed to the national social body, so relationships with them require precaution. Pauses in the talk reveal an ongoing cognitive process. The interviewee was rethinking his presuppositions. To ensure non-conflict communication, “Cultural Friends” agreed from the start on a shared agenda and excluding difficult topics such as religion or politics.

Immunity always carries the risk of autoimmunity: it may occasionally turn into its own hazard, directing protective mechanisms against itself (Esposito, 2008). During one interview, Interview Person 1 (IP1) acknowledged that he got involved in the project to counteract the influence of Swedish Democrats, a right-wing political party highly criticized at the time for undermining democratic principles. This comment represents an autoimmune reaction: it is not only that B-cells should be activated to combat an external threat and T-cells to exterminate already damaged elements of the organism (which, according to Ajana, 2021, is a classical immune response), but more global societal transformations (towards a non-democratic development) should be counteracted. In the historical perspective presented by Esposito, this attitude is associated with policies towards “public enemies” and “degenerates”.

Building on the idea of a steady accumulation of negative features in the population — a “process of dissolution” — early medical anthropology defined the degenerate as a carrier of pathologies transmitted and intensified from one generation to another and across social classes (Esposito, 2008: 118). Beyond science, Esposito finds the theme of degenerates in literature. Stevenson's Doctor Jekyll and Wilde's Dorian Gray attempt to protect themselves from corrupt impulses by alienating part of the self or self-image. Personal multiplication, however, does not provide security to the protagonists. Esposito (Ibid.: 126) argues regarding Dorian Gray's knife attack on his portrait: “The killing of death — the autoimmunity dream of man — reveals itself once again to be illusory: it can't do anything except reverse itself in the death of the same killer”. For IP1, participation in the project was a political mission, a legitimate and highly important duty worth the “sacrifice” of one's own time and efforts.

Rethinking (Auto)immunity

Esposito (2011) argues against a solely militaristic interpretation of immunity typically found in medical literature. Defence for him is just one of the possible reactions of an organism to external conditions. Another important function of the immune system is *adaptation*. Re-imagining immunity involves recognising identity as a dynamic system enmeshed in constant reciprocal relations with the surrounding environment. Immunity, then, appears not as a negation of community but rather as a derivative of it. To support this idea, Esposito cites a phenomenon of immune tolerance that manifests itself in pregnancy. The child's body carries a distinctive genome, but it is not destroyed by the mother's immune system. The conflict between the two organisms does not necessarily lead to death, just in the opposite. They help to maintain each other's existence. Translating this biological discourse into politics would mean recognising that identity and environment are continuously dialectically co-produced (see also Levis, 2015). As summarized by Esposito (2011: 171): "Nothing remains of the incompatibility between self and other. The other is the form the self takes where inside intersects with outside, the proper with the common, immunity with community".

Since society is typically imagined as a nexus of individual bodies and the collective, one must start by deconstructing the notion of the body. Being politically inscribed, the body is a closed domain. Esposito (2013) draws instead on the idea of "flesh" borrowed from phenomenology. Flesh radically differs from the body, but it still stands in relation to it.

Flesh is nothing but the unitary wave of the difference between bodies. It is the non-belonging, or rather the intra-belonging, which allows what is different to not hermetically seal itself up within itself, but rather, to remain in contact with its outside. What we are talking about is not just an externalization of the body, but also the internal cleavage that prevents its absolute immanence . . . The originary relationship between the figure of the flesh and that of the *munus* suddenly leaps out at us. The flesh is neither another body nor the body's other: it is simply the way of being in common of that which seeks to be immune. (Esposito, 2013: 325)

We observed this positioning of "intra-belonging" in the interviews responses: "And since he [a newcomer] is not (pause). He is a Muslim, but he is not, so he is not such a devoted Muslim" (IP4). This might help to establish communication across social-cultural and political boundaries. Donna Haraway's analysis of prosthesis and body modifications that are widely spread in technologized society encourages Esposito (2011: 149) to elaborate: when subjects are no longer purely biological, they can be more open to alternative ontologies, including those that combine human and nonhuman features, subjects and objects. This recognition of complexity, mutability and fundamental openness of identity allows to overcome the established view on immunity exclusively in terms of combat.

As highlighted in the article, "From Othering to Belonging", various indirect outcomes were registered for the group of "established Swedes" during the project. This com-

prised recognition of structural obstacles to integration, reflexivity over one's stereotypical perception of migrants, problematising existing cultural hierarchies and occasionally re-discovering one's own country (Rodin, 2017). Previous personal encounters with different social-cultural environments might help to position "intra-belonging" (Esposito, 2013: 325). Thus, a Swedish-born participant reported being herself once upon a time subjected to an immunity reaction. Married to a man from a Central European country, she could observe difficulties with economic and cultural integration that immigrants could face. She moreover personally experienced the social disregard directed to migrants and their relatives:

We come here in 1997 [from the Netherlands where the family lived before] and Sweden was not that open as today. It was very tough (pause) especially here in a [small town]. It was difficult for him (her husband) to find a job. [He got refused] as soon as they saw his foreign name . . . My husband could not speak Swedish and we used English all the time. Once [we were out]. It was a bit late in the evening. Some people were drunk in the centre of the city. One person came to us and tried to hit us because we were speaking English and the person thought it's awful that this foreigner has got a Swedish girl. (IP5)

This experience of violence motivated the respondent's engagement with the "Cultural Friend" project, though the woman cited social/intersubjective rather than political motives for her participation.

To account for the possible ways to overcome othering in public initiatives represented by the project, I employed the notion of "interculturalism" suggested by Anthias (2013) even though the scholar was rather critical of the culturalization of debates on integration. This was because the notion of culture tends to be essentialized in both academic and public debates. Culture is typically imagined to be stable over time and an inherent feature of a particular ethnic or social group (Rodin, 2017). Esposito's theoretical framework permits recognising deeper societal roots of reactions to immigration in general and the current politics of integration in Sweden in particular. The othering of newcomers should be seen, according to Esposito, as a protective response of the hosting society, an attempt to preserve its own identity in the face of an external challenge. This is exactly how immunity works. However, even if the project itself was a manifestation of immunity, immunization and even autoimmunity, it provided possibilities for at least some participants to engage with intra-positioning. This might be seen as the first step towards positive forms of "common immunity" (Esposito, 2011: 165ff.). Placing bodies side by side and engaging oneself in embodied practices of interaction altered the initial script on biopolitical immunity and provided an opening for the co-adaptation and growth welcomed by Esposito.

Conclusion

Social immunology is an emerging theoretical and research domain that has become especially salient during the global COVID-19 pandemic. Based on Roberto Esposito's theory of social immunity, this article emphasized the theory's potential to understand migration and integration. As demonstrated in the analysis of secondary data, policies of civic integration in Sweden exhibited an immunity paradigm. This paradigm was described in the current study in terms of directions of manifestations (immunity, autoimmune reaction), nature of manifestations (identification, neutralization, stabilization), functions (protection and adaptation), and specific methods of immunization (e.g., personalized surveillance). It is concluded that one aim of the integration project "Cultural Friend" was a vaccine-like effect: immigrant cultures were included in controllable portions with the sole purpose to become recognizable and easily manageable. At the same time, local culture and social order more generally were considered as a master frame for the disciplinary socialization of migrants. According to Esposito, immunity is potentially self-destructive since it tends to slip into autoimmunity. This pattern appeared in the interviews as the themes of the "enemy within" and "degenerates", which had been a common feature of oppressive regimes in the 20th century (Esposito, 2011).

According to Esposito (Campbell, 2006), immunity is the central element of any modernist society, and the very rise of modernity can be linked to the recognition of the immunity principle. In times of globalization, immunity's primary focus on identity, rights and liberty is shifting towards increasingly apparent politicization of all aspects of life. That politicization further intensifies immunization, and it heightens the risk of autoimmunity because of the growing discourses and apparatus of security. War on terror is the last telling example of autoimmunity: "Just as in the most serious autoimmune illnesses, so too in the planetary conflict presently under way: it is excessive defence that ruinously turns on the same body that continues to activate and strengthen it. The result is an absolute identification of opposites: between peace and war, defense and attack, and life and death, they consume themselves without any kind of differential remainder" (Esposito, 2008: 148).

To counteract this development is to interrogate the logic and methods of immunity, followed by a reconceptualization of community and identity in more reciprocal terms. As summarized by Campbell (2008: xlvi): "What we need to do is to understand and practice differently the unity of bios and politics in such a way that we no longer reinforce the politicization of life. . . . but instead, create the conditions for what he calls a 'vitalization of politics'" (Campbell, 2008: xlvi). The current study has been an attempt to reflect upon the issues of migration and integration through the lens of social immunity theory. Further research is needed to understand how the logic of immunity unfolds in different social-cultural, geographic, and political contexts and what practices might socialize immunity to benefit both individuals and communal life.

References

- Agamben G. (1998) *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, Stanford: Stanford University Press.
- Ajana B. (2021) Immunitarianism: Defense and Sacrifice in the Politics of Covid-19. *History and Philosophy of the Life Sciences*, vol. 43, no 1, art. 25.
- Anthias F. (2013) Moving beyond the Janus Face of Integration and Diversity Discourses: Towards an Intersectional Framing. *Sociological Review*, vol. 61, no 2, pp. 323–343.
- Bird G., Short J. (2017) Cultural and Biological Immunization: A Biopolitical Analysis of Immigration Apparatuses. *Configurations*, vol. 25, no 3, pp. 301–326.
- Broberg G., Tyden M. (1999) Eugenics in Sweden: Efficient Care. *Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland* (eds. G. Broberg, N. Roll-Hansen), East Lansing: Michigan State University Press, pp. 77–149.
- Campbell T. (2006) Interview: Roberto Esposito. *Diacritics*, vol. 36, no 2, pp. 49–56.
- Campbell T. (2008) Translator's Introduction: Bios, Immunity, Life: The Thought of Roberto Esposito. Esposito R., *Bios: Biopolitics and Philosophy*, Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. vii–xlvi.
- Chamberlain J. (2016) Migration and the Politics of Life. *Theory & Event*, vol. 19, no 2. Available at: <http://www.muse.jhu.edu/article/614366> (accessed 25 June 2021).
- Christiaens T., De Cauwer S. (2020) The Biopolitics of Immunity in Times of COVID-19: An Interview with Roberto Esposito. *Antipode Online*. Available at: <https://antipode-online.org/2020/06/16/interview-with-roberto-esposito> (accessed 25 June 2021).
- Doğan S. (2020) Our Destiny, Attached to Life and Exposed to Death: An Interview with Roberto Esposito. *Security Praxis*. Available at: <https://securitypraxis.eu/destiny-life-death-roberto-esposito> (accessed 25 June 2021).
- Esposito R. (2008) *Bios: Biopolitics and Philosophy*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Esposito R. (2010) *Communitas: The Origin and Destiny of Community*, Stanford: Stanford University Press.
- Esposito R. (2011) *Immunitas: The Protection and Negation of Life*, Malden: Polity.
- Esposito R. (2013) Biopolitics. *Biopolitics: A Reader* (eds. T. Campbell, A. Sitze), Durham: Duke University Press, pp. 317–349.
- Foucault M. (1990) *The History of Sexuality, Vol. 1: The Will to Knowledge*, London: Penguin Books.
- Hardt M., Negri A. (2000) *Empire*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hardt M., Negri A. (2013) Biopolitical Production. *Biopolitics: A Reader* (eds. T. Campbell, A. Sitze), Durham: Duke University Press, pp. 215–236.
- Lewis M. (2015) Of (Auto-)immune Life: Derrida, Esposito, Agamben. *Medicine and Society: New Perspectives in Continental Philosophy* (ed. D. E. Meacham), Dordrecht: Springer, pp. 213–231.
- Lorenzini D. (2021) Biopolitics in the Time of Coronavirus. *Critical Inquiry*, vol. 47, no 2, pp. 40–45.

- Mavelli L. (2017) Governing Populations through the Humanitarian Government of Refugees: Biopolitical Care and Racism in the European Refugee Crisis. *Review of International Studies*, vol. 43, no 5, pp. 809–832.
- Namer Y., Coskan C., Razum O. (2020) Discrimination as a Health Systems Response to Forced Migration. *Health Policy and Systems Responses to Forced Migration* (eds. K. Bozorgmehr, B. Roberts, O. Razum, L. Biddle), Cham: Springer, pp. 195–211.
- Peters M., Besley T. (2020) Biopolitics, Conspiracy and the Immuno-State: An Evolving Global Politico-Genetic Complex. *Educational Philosophy and Theory*, vol. 54, no 3.
- Rodin L. (2017) From Othering to Belonging: Integration Politics, Social Interventions and the Limits of Cultural Ideology. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 15 no 4, pp. 603–616.
- Rodin L. (2016) Biopolitics, Border Management and the Frame of Humanization of “Total Institutions”: Experiences and Representations of Swedish Immigrant Detention. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 14, no 2, pp. 275–290.
- Rodin L., Rodin A. (2016) Building Social Capital: A Grassroots Language Program for Refugees and the Frame of Integration. *International Journal of Social Sciences*, vol. 5, no 3, pp. 41–60.
- Rodríguez-García D. (2015) Intermarriage and Integration Revisited International Experiences and Cross-Disciplinary Approaches. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 662, no 1, pp. 8–36.
- Swedish Migration Board (2021) Asylsökande i Sverige. Available at: <https://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/> (accessed 25 June 2021).
- Vaughan-Williams N. (2016) Europe’s Border Crisis as an Autoimmune Disorder. *Green European Journal*. Available at: <https://www.greeneuropeanjournal.eu/europees-border-crisis-as-an-autoimmune-disorder/> (accessed 25 June 2021).
- Vaughan-Williams N. (2015) *Europe’s Border Crisis: Biopolitical Security and Beyond*, Oxford: Oxford University Press.
- Viegas J. (2007) Political and Social Tolerance. *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis* (eds. J. van Deth, J. R. Montero, A. Westholm), London: Routledge, pp. 109–132.

Социальная иммунология: применение в исследованиях миграции

Лика Родин

Кандидат социологических наук, преподаватель Университета Шёвдэ

Адрес: Högskolevägen, Box 408, Högskolan i Skövde, School of Health Sciences. Sweden 54128

E-mail: lika.rodin@his.se

Пандемия Ковид-19 много месяцев будоражила мир, привлекая внимание общественности к области эпидемиологии. Правительства разных стран мобилизовали научное сообщество на скорейшую выработку рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Иммунная защита (природная или искусственно полученная) находится в центре государственной политики и общественных дискуссий. Менее известно, что помимо естественных наук эпидемиологический дискурс используется в области философии и в социальных исследованиях. Данная статья знакомит читателя с концепцией социальной иммунологии, разработанной итальянским философом Роберто Эспозито на рубеже XX века в рамках дискуссии о понятии «биополитика». Для демонстрации потенциала теоретических построений Эспозито в изучении миграции и интеграции я пересматриваю с их помощью результаты одного из моих предыдущих исследований.

Ключевые слова: демократия, иммунитет, интеграция, танатополитика, вакцина

Сколько видов справедливости в «Левиафане» Томаса Гоббса?*

Евгений Карчагин

Доктор философских наук, профессор, кафедра философии, социологии и психологии,
Волгоградский государственный технический университет
Адрес: ул. Академическая, д. 1, г. Волгоград, Российская Федерация 400074
E-mail: evkarchagin@gmail.com

В статье рассматривается проблема множественности справедливости в «Левиафане» Томаса Гоббса. Текст трактата содержит как минимум два понимания справедливости: гражданская связана с выполнением соглашений, естественная представляет собой закон природы. Показано, что монистические позиции, редуцирующие гражданскую справедливость к естественной или естественную к гражданской, оказываются столь же плохо обоснованы, как и формальная возможность отрицать справедливость вообще. Гоббс для обозначения справедливости использует два термина: «justice» и «equity». Справедливость как equity естественна и связана суверена обязательствами, в то время как justice создается сувереном и потому суверен не подотнесен этому принципу. Естественный полисемантизм справедливости, поступающий из «Левиафана», находит свое завершение в сильной руке суверена, который устанавливает предел смысловой неопределенности и научает подданных тому, чем именно является справедливость-justice. Пример Гоббсова безумца показывает, что любое определение справедливости, идущее вразрез определению суверена, будет истолковано как неприемлемое. Далее в статье анализируются различные виды справедливости (justice). Благодаря обращению к глобальному и эсхатологическому контекстам можно вывести два вида естественной справедливости (догражданская и международная), четыре вида гражданской справедливости (две локально-гражданские и две глобально-гражданские) и одну глобально-теологическую (эсхатологическую). В свою очередь, данное количество содержательных разновидностей справедливости возможно рассматривать и в единстве. Возможность для их объединения обнаруживается в теологическом фундаменте теоретизирования о справедливости в «Левиафане» Т. Гоббса благодаря совпадению естественных и божественных законов и пониманию государства как смертного Бога.

Ключевые слова: Томас Гоббс, «Левиафан», справедливость, equity, политическая семиология, глобальная справедливость

Современная политическая философия по большей части основывается на обсуждении понятия справедливости. После попытки Джона Ролза создать универсальную теорию справедливости (Ролз, 2010) ключевые дискуссии перешли к обсуждению неуниверсального, множественного характера справедливости (Walzer, 2008; Болтански, Тевено, 2013; Рикёр, 2005). При этом если в «универсальные» 70-е

* Автор благодарит В. С. Вахштайна, К. Б. Гаазе и А. Д. Куманькова за обсуждение и ценные советы, которые способствовали работе над рукописью.

методологической опорой теоретиков справедливости были концепции новоевропейских философов (Т. Гоббс, И. Кант и др.), то дискуссии последующих десятилетий в меньшей степени опирались на классическое философское наследие. Однако «Левиафан» Томаса Гоббса содержит концепцию справедливости, анализ которой может внести вклад и в современные дискуссии о проблеме множественности справедливости.

Проблема множественности справедливости в «Левиафане» Гоббса вытекает не в последнюю очередь из семантической неопределенности самого термина. В этом трактате справедливость, как и некоторые другие «вещи», Гоббс относит к непостоянным именам, которые вызывают у людей разные эмоции и имеют обусловленность «природой, расположением и интересом говорящего» (Hobbes, 2012: 62; 30)¹. При этом в естественном состоянии войны всех против всех «ничто не может быть несправедливым» (Hobbes, 2012: 196; 110). Однако многозначность и скептицизм естественного состояния соседствуют с позицией, где справедливость получает определенность. В XV главе, где речь идет о естественных законах, «ключом и первоисточником» (Hobbes, 2012: 220, 110) справедливости называется следование заключенным соглашениям и договорам и утверждается, что отсутствие собственности и государства влечет и отсутствие несправедливости. Справедливость там называется выполнением договора², которое гарантируется действиями государства, нацеленными на сохранение собственности. Тем самым в рассуждениях Гоббса совмещаются две линии понимания справедливости: 1) выполнение соглашений в гражданском состоянии и 2) естественный закон³ и то, что «дает жизнь» естественным законам (Hobbes, 2012: 498; 250). Как объяснить эту двойственность? Как возможно утверждать невозможность существования несправедливости в естественном состоянии и одновременно с этим говорить о справедливости как естественном законе?

Утверждать наличие нескольких видов справедливости — давняя европейская философская традиция, ведущая свое начало от Аристотеля. При этом Аристо-

1. «Левиафан» Гоббса цитируется в нашем собственном переводе по полному критическому изданию Ноэля Малколма (Hobbes, 2012), поскольку, как это будет показано в статье, часть проблем, связанных с интерпретацией Гоббса, связана с плохо различаемыми в русском языке терминами *justice* и *equity*, которые переводятся как «справедливость», «беспристрастность», «правосудие», «право» и т. д. Для удобства русскоязычного читателя сразу после цитирования оригинального текста я привожу номера страниц русского перевода по изданию 1991 года (Гоббс, 1991). Тем самым новый перевод фрагментов «Левиафана» дается прежде всего с целью сделать более прозрачной терминологию Гоббса. Несомненно, существующие русские переводы (Гоббс, 1936, 1991) до сих пор обладают определенной ценностью, хотя и не свободны от недостатков. На наш взгляд, одним из главных условий подготовки нового русского «Левиафана», необходимость которого обсуждается в последнее время в российском гоббоведении, должно стать более пристальное внимание к терминологической стороне произведений Гоббса. В особенности в контексте статьи это касается понятия справедливости.

2. «И определение несправедливости есть не что иное, как *невыполнение договора*» (Hobbes, 2012: 220, 110).

3. «Справедливость, то есть соблюдение соглашения, поэтому есть правило разума, запрещающее нам делать что-либо разрушительное для нашей жизни, и, следовательно, естественный закон» (Hobbes, 2012: 224, 113).

тель выделял общую идею справедливости (хотя и не прописал ее в полной мере, ограничившись несколькими предложениями) (Кашников, 2001) и ее частные разновидности. Можно ли утверждать, что у Гоббса есть аналог разделения на общую и частную справедливости, или речь идет о других вариантах множественности справедливости?

В статье мы предлагаем экспликацию проблемы множественности справедливости в «Левиафане» Т. Гоббса на основе терминологического и политико-семиологического анализа. Так, в первой части рассматриваются основания редукционистских позиций прочтения справедливости у Гоббса, как только естественной или только гражданской; затем раскрывается смысловое различие понятий «equity» и «justice», имеющих в английском языке сходные значения. Далее мы обратимся к политической семиологии и покажем, что основная функция суверена заключается в упразднении семантической неопределенности справедливости (justice). Наконец, в заключительной части я касаюсь возможности выведения различных видов справедливости из теоретических оснований Гоббсова «Левиафана» за счет международного контекста.

Только одна справедливость?

Обозначенная проблема двойственности справедливости может быть понята как ложная. В этом случае необходимо показать, что у Гоббса в действительности есть только одна справедливость: только естественная или только гражданская.

Допустим, что в действительности справедливость имеется только в естественном состоянии. Так, Й. Ольстхорн утверждает, что Гоббсу не удалось доказать, что в естественном состоянии нет справедливости. Он обосновал лишь то, что там нет несправедливости. В отношении других людей не может быть чего-то неправильного. Можно причинить ущерб, но это не будет несправедливостью (Olsthoorn, 2015b: 25). Законы природы выражают обязанности не в отношении людей, но в отношении Бога. Соглашаясь с Ольстхорном в этом, добавлю, что если бы справедливости не было в естественном состоянии, то ей неоткуда было бы появиться в гражданском состоянии. Действительно, гражданское состояние невозможно без естественного, на котором оно, по сути, строится. Принуждение следовать соглашению — это «меч справедливости» суверена, но этот меч передан суверену от множества людей, вступивших в договорные отношения. Получается, что гражданская справедливость — это та же естественная справедливость, только к ней добавляется власть суверена. Иными словами, имеется только естественная справедливость, которая в гражданском состоянии получает определенность. С другой стороны, неопределенность справедливости в естественном состоянии не дает возможности утверждать содержательно и однозначно, что она собой представляет.

Отметим также, что формальная возможность утверждения о полном *отсутствии справедливости* в теории Гоббса нереализуема. Только полностью натура-

листическая политическая философия с необходимостью приводит к аннулированию понятия справедливости как такового, чего совершенно не наблюдается у Гоббса. Как показал Лео Штраус: «Благодаря моральной основе своей политической философии и только благодаря ей Гоббс сохранил возможность признавать справедливость как таковую и проводить различие между правом (*right*) и силой (*might*)» (Strauss, 1952: 28).

Таким образом, формальная возможность totally отрицать справедливость оказывается столь же плохо обоснована, как и позиции, редуцирующие гражданскую справедливость к естественной или естественную справедливость к гражданской.

Такие редукционистские позиции, однако, не следует рассматривать, как абсолютно произвольные и бессмысленные. Они возможны благодаря тому, что, по словам А. Ф. Филиппова, «политическая жизнь, социальность *чреваты* естественным состоянием, из естественного состояния можно перейти в социальную жизнь, государство может возникнуть, разрушиться и возникнуть... Все это возможно потому, что между естественным и искусственным нет радикальной цезуры, они суть изнаночные стороны друг друга» (Филиппов, 2015: 177).

Justice и equity

Главную возможность прояснения поставленной проблемы я вижу в том, что некоторые нюансы и сложности, связанные с пониманием справедливости в англоязычной традиции, вытекают из наличия в ней нескольких синонимов. Поскольку в английском языке для обозначения справедливости практически равнозначно используются термины «*justice*», «*equity*» и «*fairness*», постольку возможно, что Гоббс для обозначения справедливости как «естественного» понятия использует один термин, а для обозначения справедливости как «государственного» понятия берет другой термин⁴.

4. Важно опираться на оригиналный авторизованный вариант текста «Левиафана». Благодаря текстологической работе Дж. Роджерса и К. Шуманна (Hobbes, 2005) мы имеем уверенность в том, что все места всех прижизненных английских изданий «Левиафана», где Гоббс пишет о справедливости, являются надежными и недвусмысленными. Единственный «проблемный» в текстологическом отношении фрагмент отражает разнотечения между единственной известной рукописью «MS» и первым печатным изданием (так называемая «Голова» 1651 года), где в маргинальной заметке фигурирует, соответственно, «*Injustice of manners and justice of actions*» (MS) и «*justice of Manners and justice of Actions*» («Голова»). Дж. Роджерс и К. Шуманн показывают, что правильное чтение данной пары должно быть «*injustice — injustice*» (Hobbes, 2005, I: 89). Однако, как можно заметить, этот отрывок не имеет большого значения для целей данной статьи.

Обращение к тексту «Левиафана» в поисках всех случаев употребления Гоббсом терминов «*justice*», «*equity*», «*fairness*» показало, что большая доля рассуждений о справедливости (как «*justice*», так и «*equity*») приходится на первые три части трактата («О человеке», «О государстве» и «О христианском государстве»), тогда как в четвертой части («О царстве тьмы») справедливость («*justice*») упоминается только четыре раза. При этом термин «*fair*» и его производные («*fairness*», «*unfair*») в «Левиафане» встречаются только однажды в виде выражения «*fair weather*» в XLV главе (Hobbes, 2012: 1034; 500).

Сразу следует отметить, что во Введении к «Левиафану», в знаменитом фрагменте, где содержится впечатляющая аналогия между человеком и машиной, созданной человеческим искусством, для обозначения разума (*reason*) Левиафана используется не «*justice*», но «*equity*»: «*Справедливость (Equity) и законы суть искусственный разум и воля*» (Hobbes, 2012: 16; 6). Разум и *equity* обнаруживают не случайное соседство, и часто встречаются в одной связке.

*Equity*⁵ можно понимать как «равенство» и «беспристрастие», относимые скорее к действиям судей⁶. Судья должен рассматривать дела с точки зрения *equity*. Если позже обнаружится более приемлемое решение, ему надо следовать (Hobbes, 2012: 432; 215). «*Equity* предоставляет каждой спорящей стороне равные выгоды» (Hobbes, 2012: 238; 121). *Equity* есть «равное распределение справедливости» (Hobbes, 2012: 492; 247). Интенция законодателя должна всегда совпадать с *equity* (Hobbes, 2012: 436; 217). Цели государства согласны с *equity* и разумом. И сам разум суверена понимается как *equity* (Hobbes, 2012: 424; 211). Так, суверен судит в случае необходимости и судью, и тяжущуюся сторону (Hobbes, 2012: 380; 189). «*Equity*, которая есть естественный закон и потому вечный Закон Бога, состоит в том, что каждый человек равным образом пользуется своей свободой» (Hobbes, 2012: 448; 224).

В целом *equity* — это правильное понимание естественного закона судьей, который опирается на свои размышления и естественный разум:

Что создает хорошего судью или хорошего толкователя законов: во-первых, *правильное понимание* того главного естественного закона, который называется *Equity*; оно зависит не от чтения сочинений других людей, а от доброты собственного естественного разума и размышления человека, и предполагается, что такое понимание присутствует у тех, кто имеет больше всего досуга и наибольшую склонность размышлять об *equity*. (Hobbes, 2012: 438; 219)

Тем самым *equity* у Гоббса играет несколько ролей, которые объединяются «концепцией равенства перед законом» (Klimchuk, 2013: 185). Т. Сорелл выделяет два смысла *equity*, каждый из которых относится к судьям. Первый касается разума, второй — беспристрастности. «Используя *equity*-как-разум, уполномоченный судья может выбрать одно из двух толкований закона, ссылаясь на то, какое из них лучше всего соответствует заявленной цели закона. <...> Другой смысл „*equity*“ — это равное отношение к тем, кто подчиняется суждению в споре» (Sorell, 2016: 30).

5. Далее этот термин ради удобства я оставляю без перевода. Восходящий к древнегреческому ἔπεικεια («милость», «доброта», «порядочность»), в большинстве европейских языков он передается словами, возникшими из латинского эквивалента — *aequitas* (кроме немецкого *Billigkeit*).

6. В контексте вопросов судопроизводства фигурирует и *justice*. Например, осуждение представляется более справедливым, чем оправдание (Hobbes, 2012: 290; 147). Небольшое наказание за преступление должно пониматься как имплицитное подстрекательство, так как человеку естественно служить своей выгоде (Hobbes, 2012: 456; 228). В несправедливости преступлений имеются градации (Hobbes, 2012: 466; 233).

Как связаны «equity» и «justice»? Наиболее важное место в «Левиафане», касающееся этих двух понятий, — то, где Гоббс с помощью своего «редуцирующего метода аргументации» (Malcolm, 2002: 36) «уточняет», что аристотелевская коммутативная справедливость есть контрактуальная справедливость, а распределительная справедливость есть equity:

Если говорить правильно, то коммутативная справедливость есть справедливость контрагента, то есть выполнение соглашения о покупке и продаже, найме и сдаче внаем, кредитовании и одолживании, обмене, бартерной сделке и других договорных действиях.

Распределительная справедливость есть справедливость арбитра, то есть действие, определяющее, что справедливо. При этом если, будучи доверенным тех, кто сделал его арбитром, он оправдывает их доверие, то о нем говорят, что он распределяет каждому его собственное: и это действительно есть справедливое распределение и может быть названо, хотя и неточно, распределительной справедливостью, но более точно — equity, которая тоже является естественным законом. (Hobbes, 2012: 230; 116)

Для еще более точного именования сути распределительной справедливости Гоббс формулирует отдельный одиннадцатый естественный закон:

Если человеку доверено судить между двумя людьми, то естественный закон предписывает, чтобы он судил их равным образом. Ибо без этого споры людей не могут быть разрешены ничем, кроме войны. Поэтому тот, кто пристрастен в суждении, делает всё, что от него зависит, чтобы отклонить людей от использования судей и арбитров, и, следовательно (вопреки фундаментальному естественному закону), является причиной войны. (Hobbes, 2012: 236; 119)

Л. Мэй верно замечает, что у Гоббса «было гораздо более узкое понятие справедливости (justice), чем у нас, но также и широкое понятие справедливости (equity) или честности, которое обеспечивало моральную основу для критики закона» (May, 1987: 241). Тем самым Гоббс предполагает относительно узкую роль для justice, а именно соблюдение заключенных соглашений, и довольно широкую роль для equity. По мнению У. Мэтти, концепт equity Гоббса распространяется на все естественные законы, в то время как концепт justice распространяется только на позитивные действия суверена, даже те из них, которые могут быть пересмотрены с моральной точки зрения (Mathie, 1987).

Фундамент всех естественных законов заключается в их разумности, так как никакой другой силы, кроме силы разума — в отличие от государственных законов, подкрепленных мечом суверена, — у них нет. Но поскольку они, как пишет Гоббс, «переданы в слове Бога», поскольку они могут тоже правильно называться законами. Точнее их называть «заключениями или теоремами относительно того, что ведет к самосохранению и самозащите» (Hobbes, 2012: 242; 123). Эти законы

вечны и неизменны, так как война никогда не ведет к сохранению человеческих жизней, а их суть состоит именно в стремлении к миру ради человеческой жизни.

Несправедливо не подчиняться суверену, хотя он сам не подлежит ответственности и не подотчетен своим подданным. Его нельзя обвинить в несправедливости: «...следовательно, тот, кто жалуется на ущерб от своего суверена, жалуется на то, чего он сам является виновником; и поэтому не должен обвинять никого, кроме самого себя. Да и себя он не должен обвинять в нанесении вреда. Потому что нанести вред самому себе невозможно. Верно, что те, кто обладает властью суверена, могут совершать беззаконие (*Iniquity*), но не несправедливость или ущерб (*Injury*) в точном значении» (Hobbes, 2012: 270; 137). Убийство царем Давидом Урии несправедливо в отношении Бога, а не Урии, поскольку Урия отдал свои права Давиду (Hobbes, 2012: 330; 166).

Итак, суверен оказывается нормативно связан не справедливостью, как его подданные, но обязательствами *equity*. Если суверен не может быть обвинен в несправедливости, то это не значит, что он не связан обязательствами. Как отмечает Л. Мэй, на суверенов в отношении *equity* налагаются два моральных ограничения: а) они не должны толковать законы непоследовательно или произвольно, то есть они должны быть честными; и б) законы не могут быть неразумными или угрожающими безопасности народа (May, 1987). «Государь нарушает естественный закон, если он действует без намерения служить благу людей, даже если он не может быть наказан за это. Главное требование состоит в том, что если суверен действует в соответствии с естественным правом, то он будет действовать в интересах государства, а также в своих личных интересах. Все эти обязанности в совокупности отвечают интересам суверена» (Sreedhar, 2010: 164). Нарушение *equity* чревато тем, что суверен тем самым действует против своих же интересов (Pettit, 2008: 111). Д. Д. Рафаэль пишет о нормативной коллизии в связи с фигурой суверена: «...у суверена, как и у любого другого человека, есть естественная обязанность подчиняться естественным законам, включая закон, предписывающий *equity*, но у него нет никаких контрактуальных или искусственных обязательств по отношению к его подданным как результата общественного договора между ними или имплицитного согласия повиноваться» (Raphael, 2001: 77). Итак, несоблюдение принципа *equity* приводит к откату в естественное состояние, то есть в состояние войны всех против всех.

Гоббс тем самым преобразует классическое аристотелевское деление справедливости. Коммутативную справедливость он переопределяет в терминах «нового контрактуального и рыночного общества», а дистрибутивную понимает как справедливость «судьи», того, «кто решает, что справедливо» (Foisneau, 2004: 113). Соответственно, дистрибутивную справедливость Аристотеля Гоббс меняет на *equity* (Olsthoorn, 2013: 14). Из-за этой замены граждане не могут обвинять суверена, а заслуги, на которых основывается распределительная справедливость, не предшествуют акту распределения. Заслуги создаются сувереном в распределении. До акта распределения суверена заслуг нет. Таким образом, распределительная спра-

ведливость является сугубо гражданской, а коммутативная есть справедливость догосударственного состояния (Olsthoorn, 2013: 31). В свою очередь, дистрибутивную справедливость нельзя понять в отрыве от теории собственности. Гоббсу нельзя вменить классическую буржуазную модель собственности, которая была создана позднее. «Для Гоббса вся собственность, включая право на свое тело, конвенциональна и предполагает Государство» (Olsthoorn, 2015a: 475).

Некоторые авторы доказывают, что термин «equity» у Гоббса важнее «justice». Так, Л. Уорд пишет: «...именно equity, а не справедливость в узком смысле, представляет собой центральное нормативное понятие в теории государства Гоббса» (Ward, 2020: 6). Мэй также пишет, что equity можно назвать «доминирующей моральной категорией» (May, 1987: 241) в «Левиафане». На мой взгляд, ключевым здесь будет не вопрос о степени важности и приоритете, а о сложном составе того, что мы называем справедливостью. Справедливость, по Гоббсу, бывает двух видов, и для второго есть отдельное обозначение: equity. А. Мажеске показывает, что Гоббсу необходимо было после формулирования девятого и десятого законов, касающихся равенства, решать проблему равного обращения с людьми исключительных способностей. Это было сделано через переформулировку определения equity в одиннадцатом законе и акцентировку в XXVI главе (Majeske, 2006: 119–122). Поэтому equity по-разному определяется в третьем и одиннадцатом естественных законах, а в XXVI главе именуется «основным (principall) естественным законом».

Итак, хотя термины «justice» и «equity» не могут служить основанием для абсолютного разделения справедливости на гражданскую и естественную справедливости, они дают почву для формирования двух разных концепций справедливости на основе переосмысливания аристотелевского деления. Значимый момент заключается в обязательствах суверена: equity естественна и связывает суверена, в то время как justice создается сувереном и потому суверен не подотчетен нормативным обязательствам этого принципа, он и есть его олицетворение. Equity существует и в естественном и в гражданском состоянии, тогда как justice — только в гражданском. В естественном состоянии justice присутствует только как многозначное слово, а не работоспособный принцип. Из этого следует, что justice есть не самопонятный естественный принцип, но государственная норма, подкрепляемая вполне определенной интерпретацией и санкцией.

Полисемантизм справедливости и политическая семиология

Каким образом возникает однозначность justice в гражданском состоянии? Исходная позиция в восприятии Гоббсом справедливости — ее полисемантический характер. Справедливость в естественном состоянии многозначна и неопределенна. Гоббс утверждает, что разные люди используют разные имена для одних и тех же вещей, и то, что один человек называет жестокостью, другой называет справедливостью (justice) (Hobbes, 2012: 62; 30).

На наш взгляд, отягчающим обстоятельством, приводящим к множественности толкования справедливости в естественном состоянии, является то, что оно есть состояние войны. Стороны попросту не могут договориться. П. Загорин пишет, что «было бы неверно предполагать, что в естественном состоянии Гоббса совершенно отсутствуют моральные нормы или принципы. <...> Проблема в том, что эти законы устанавливают стандарты, которым очень трудно следовать, пока люди пребывают в состоянии непрекращающейся войны и отсутствия безопасности» (Zagorin, 2010: 41). Тем не менее это отягчающее обстоятельство не является фатальным. К. Шмитт писал: «К счастью, свойственная естественному состоянию войны всех против всех ведется не просто волками, а волками, наделенными этим самым разумом. В этом политическая конструкция Гоббса актуальна и до сих пор» (Шмитт, 2006: 158).

Семантическая неопределенность и проведенное выше различие между *equity* и *justice* указывают на то, что тема языка в отношении понятия справедливости у Гоббса оказывается одной из центральных. М. Крамер отмечает две ее стороны: во-первых, двусмысленность слов, во-вторых, проблема существования сложного языка для создания сложных социальных установлений (договоров и государства). Комментируя окончание четвертой главы «Левиафана», М. Крамер пишет, что «побуждение устраниТЬ или уменьшить неопределенность было также одной из мучительных существенных проблем, которыми занимался Гоббс. Он осудил интерпретативную открытость не только потому, что она препятствует стремлению к строгому знанию, но и потому, что она ставит под угрозу спокойствие социального порядка» (Kramer, 1997: 60).

В этом контексте яркой иллюстрацией сложностей общественной коммуникации является фрагмент о «безумце» (Foole) в XV главе, где Гоббс перефразирует строчку 52 Псалма («Рече Безумец в сердце своем несть Бог»): «Безумец сказал в своем сердце: „нет такой вещи, как справедливость“». В академической литературе возник корпус комментариев (Kavka, 1995; Hoekstra, 1997; Vanderschraaf, 2010; Springborg, 2011; Robson, 2015; Lovett, 2019), где решается проблема ответа Гоббса безумцу, полагающему возможным нарушать свои соглашения ради индивидуального блага и считающему несправедливость согласной с разумом. Безумец утверждает, что следовать справедливости неразумно, но следует стремиться к собственной выгоде, добиваться своего блага, невзирая на какие-либо соглашения и справедливость. В идее безумца есть определенный смысл, и он фактически объявляет безумцами Гоббса и сторонников его теории. Ответ Гоббса заключается в том, что нарушение третьего естественного закона связано с нарушением первого и самого главного — необходимости стремления к миру. Если человек совершает несправедливость, то он рушит общее стремление поддерживать мир, и это автоматически выводит его в естественное состояние⁷. Этим Гоббс обращает

7. Ф. Ловетт, например, считает ответ Гоббса неполным, так как тот не прописал ряд важных моментов этой возможности: «Прежде чем быть допущенным в общество вместе с другими, безумец должен фактически обязать себя быть нравственным в будущем... Но Гоббс не указывает ни меха-

ет внимание на возможность «саботажа» и формирования порочного и неверного понимания справедливости.

Справедливость это не просто слово, считает Гоббс: «Как я слышал, некоторые говорят, что справедливость это просто слово без субстанции; и что всё, что человек может с помощью силы или искусности приобрести (не только в состоянии войны, но и в государстве), есть его собственное. Ложность этого я уже показывал ранее» (Hobbes, 2012: 522; 262). Невежество в вопросах происхождения справедливости ведет к мнению, что справедливо то, что таковым считается по обычая. И если бы вопросы геометрии имели отношение к человеческой выгоде, то они бы так же кроваво обсуждались, что и вопросы правильного и неправильного (Hobbes, 2012: 158; 79).

И.-Ш. Зарка утверждает, что тема безумца — это «проблема публичной со-лилоквии личности» (Zarka, 2018: 130). Такой человек трижды безумен: «Первое, потому что то, что он говорит, противоречиво. Второе, потому что его заявление противоречит всему, что он говорит; утверждение противоречит терминам. В-третьих, потому что он нуждается в сотрудничестве других, но его фразы исключают его из всего общества, даже из общества бандитов» (Ibid.: 130). Безумец предстает как индивид, который в гражданском состоянии ведет себя так же, как в естественном, но при этом у него нет понимания перспективности гражданского состояния, которое, по логике Гоббса, должно быть уже в естественном состоянии. Безумец демонстрирует ригидную версию естественного состояния.

Как пишет Гоббс, идиоты, дети и сумасшедшие из-за непонимания соглашений выведены из сферы различия справедливого/несправедливого и, в сущности, не являются частью гражданского общества: «Ни над природными безумцами, ни над детьми, ни над сумасшедшими нет Закона, как и над дикими зверями. Они также не могут быть названы справедливыми или несправедливыми, потому что у них никогда не было силы заключить какое-либо соглашение или понять его последствия. И, следовательно, они никогда не принимали авторитет действий какого-либо суперена, как они должны были сделать, чтобы создать для себя государство» (Hobbes, 2012: 422; 209–210). Разум и логическое требование непротиворечивости знания и рассуждений — условие различия справедливости: «...для Гоббса даже связующая сила справедливости проистекает не столько из какой-то внешней силы как таковой, сколько из нашего требования самосогласованности» (Martel, 2007: 164). Гоббс указывает, что несправедливость есть «нечто подобное тому, что в спорах схоластов называется *абсурдом*» (Hobbes, 2012: 202; 100). Говорить о справедливости или несправедливости людей и действий — значит говорить об их «соответствии или несоответствии разуму» (Hobbes, 2012: 226; 114).

низм, с помощью которого безумец может это сделать, ни того, как факт, который он совершил, может быть передан другим. Таким образом, ответ Гоббса безумцу остается неполным и в этом отношении неудовлетворительным. Но, по крайней мере, его можно сделать понятным в рамках его философской системы» (Lovett, 2019: 242).

Люди приобретают понятия о справедливости из Церкви и от знакомых (Hobbes, 2012: 532; 267), которые могут ошибаться. У рассуждений, приводящих людей к склонности нарушать законы и к неверному пониманию справедливости, есть три причины: ложные основания, то есть неверные принципы; неверные истолкования лжеучителей; и ошибочные логические выводы из правильных принципов (Hobbes, 2012: 458–460; 229–230). Гоббс пишет о неверности моральных рассуждений и выводов схоластов: «Если человек совершает несправедливое действие, то есть действие, противоречащее закону, то они говорят, что Бог является первопричиной закона, а также первопричиной этого и всех других действий, но не причиной несправедливости, которая является несоответствием действия закону. Это пустая философия» (Hobbes, 2012: 1090; 519).

Тем самым существование разных и по большей части ложных интерпретаций справедливостей в естественном состоянии, где «каждый человек — судья» (Hobbes, 2012: 214; 107), возможно благодаря наличию у человека естественного разума, который требует огранки. Такая огранка, безусловно, возможна.

В знаменитом фрагменте «Книги Иова» Левиафан описывается как уникальное по своей мощи существо: «Когда он поднимается, силачи в страхе, совсем теряются от ужаса. <...> Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным; на всём высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости» (Иов: 41:17–26). Как верно отмечает Дж. Ньюи, «смысл, передаваемый этим отрывком, — в абсолютной власти. Божественный аргумент Иову основан не на Его справедливости или праведности, а на том грубом факте, что он достаточно силен, чтобы сокрушить Иова, если захочет» (Newey, 2008: 23). Мощь Левиафана способствует фиксации верного понимания справедливости. Разница в представлениях о справедливости сокращается только тогда, когда суверен устанавливает единство в этих представлениях подданных. «До того, как имена справедливого и несправедливого могут иметь место, должна быть принудительная сила, побуждающая людей равным образом выполнять их соглашения при помощи страха наказания, превосходящего то благо, которого они ожидают» (Hobbes, 2012: 220; 110). Сила суверена кладет вариативности пониманий (как неопределенному множеству естественного состояния, так и дефинитивным претензиям «безумца») справедливости конец. Однозначная государственная справедливость (*justice*) может иметь место только благодаря принудительной власти суверена, которая делает реальным выполнение договоров. Тем самым содержательно определенная справедливость существует благодаря страху перед силой, заставляющей выполнять свои свободно данные обещания. И именно государственная власть делает эти соглашения «значимыми» (Hobbes, 2012: 220; 110).

Суверен выступает как воплощение справедливости (как *justice*, так и *equity*). По этой причине в справедливости нужно убеждать (Hobbes, 2012: 400; 199). Если суверен является собранием, и один из его членов убеждает других или даже подкупает в свою пользу других, это не может считаться несправедливостью (Hobbes, 2012: 372; 184–185) Поскольку в справедливости чего-либо можно убеждать, по-

стольку суверен обязан учить правильной справедливости свой народ (Hobbes, 2012: 530; 266). Суверены должны быть философами, а «наука о естественной справедливости (Science of Naturall Justice) есть единственная важная наука для суверенов и их главных служителей» (Hobbes, 2012: 574; 286).

Общественный договор создает справедливость и одновременно гражданский социальный порядок. Следовательно, гражданский социальный порядок и справедливость суть одно. Справедливость выступает как перформатив социального порядка, понятого как соглашение: «Performance of Covenant» (Hobbes, 2012: 220; 110). Понимание необходимости создавать социальный порядок возникает в сознании людей в естественном состоянии одновременно с его фактическим созданием. «Естественная» неопределенность справедливости в «Левиафане» находит корректирующее решение в «сильной руке» суверена, который устанавливает предел смысловой неопределенности и научает подданных тому, чем является справедливость.

И.-Ш. Зарка считает одним из важнейших вкладов Гоббса в современную политическую мысль его теорию знака, или «семиологию власти». Политика связана с бытованием амбивалентностей — справедливости/несправедливости, дружбы/вражды и т. д. Власть связана с установлением их значения. Недвусмысленный режим коммуникации в противоположность естественному «противоречивому» (contradictory regime of communication) (Zarka, 2016: 67): «...обеспечивается знаками, устанавливаемыми властью [rouvoir], причем общественная сила в принципе выполняет функцию только обеспечения законности. Таким образом, Гоббс перерабатывает понятие власти [rouvoir] таким образом, чтобы интегрировать в нем, помимо силы принуждения, измерения значения, ценности и права» (Ibid.: 248). Смысловое единство возможно только благодаря политической силе. Общественный договор: «...одновременно есть взаимность воли и взаимность речи» (Ibid.: 130).

М. Крамер показывает, что сложность нарратива и сложность социальных институтов взаимосвязаны. Определить, что предшествует чему, — серьезная проблема. Чтобы договор был возможен, нужно, чтобы существовал соответствующим образом развитый язык: «Без некоторых изощренных каналов социального общения никогда не могли бы развиться сложные и общие языковые модели, от которых зависит первичный договор. Однако эти каналы общения не могут возникнуть до тех пор, пока сам общественный договор не позволит им возникнуть. <...> Очевидно, Гоббс не понимал, что таким образом он определяет предпосылку социального контракта как его результат» (Kramer, 1997: 130–131). Однако в этом месте у Гоббса имеется серьезное противоречие. «Источником справедливости Гоббс считает... естественный закон, предписывающий соблюдение договоров. В то же время Гоббс утверждает, что справедливость и связанная с нею собственность находят для себя опору в государственной власти, которая угрозой наказания побуждает к соблюдению договоров» (Камбуров, 1906: 130). Государственная власть служит основанием договора и одновременно сама поконится на нем. Это

создает логический круг, вытекающий из того, что в социальных науках получило наименование «Гоббсовы проблемы» (проблемы существования социального порядка): «...как мы можем понимать те социальные связи, которые, согласно описанию самого Гоббса, но в противоречии с его основным тезисом, могут возникать даже в отсутствие порядка. Хотя Гоббс не признает это, он вынужден описывать людей в естественном состоянии таким образом, что между ними не только возможны, но и необходимы определенные социальные отношения» (Корбут, 2013: 12).

Одной из иллюстраций этой проблемы может служить «пример Гоббсова безумца», который демонстрирует ригидное, моносемантическое и контрадикторное гражданскому «естественное» понимание справедливости. Его понимание вырастает из полисемантического и богатого возможностями естественного состояния. Одна из этих возможностей впоследствии реализуется в гражданском виде благодаря политическому и педагогическому принуждению со стороны суверена. Это дает возможность понять, как возникает гражданская однозначность справедливости. По сути, любой определенный вариант справедливости, сформулированный вне дефинитивной власти суверена, но с претензией на общезначимость, будет трактоваться Гоббсом как «безумный». Попытки дать определение справедливости сугубо из естественного состояния оказываются несостоятельными, хотя и вполне возможны. Однако и гражданское прочтение справедливости в содержательном смысле может быть не единственным.

Сколько справедливостей?

Вариативность гражданской справедливости обнаруживается в результате обращения к международному контексту.

Цель установления всех государств — «сохранение мира и справедливости» (Hobbes, 2012: 278; 141). У Гоббса безопасность важнее свободы (Gauthier, 2000: 144), а внутренний гражданский мир важнее справедливости (Morris, 1987: 95). Суверен цементирует проблеск разумности (или, точнее сказать, божественную «искру» или совесть, включающие представления о справедливости и equity) у естественного «человеко-волка», когда последнего посещает мысль о разумности поиска гарантий для своей безопасности, — и делает этот проблеск искусственно вечным. Естественная (божественная и нереализованная на земле) справедливость благодаря суверену получает гарантии для своей реализации и превращения в государственную (искусственно бессмертную) справедливость.

Естественное состояние — это океан возможностей благодаря существованию множества воль. Переход к государственному состоянию связан с процессом концентрации воль, который в перспективе стремится к формированию единой воли. Д. Готье показал, что в ранних произведениях Гоббса говорится о формировании государства как последовательности трех шагов: 1) установление единственной воли, 2) установление принудительной власти «мечта справедливости», 3) уста-

новление власти, способной защитить членов сообщества от внешних угроз, Гоббс называет ее «мечом войны». При этом данный меч не является гарантией: «...институт суверенитета может быть достаточно эффективным для того, чтобы гарантировать безопасность людей от других членов их общества, но не для того, чтобы гарантировать безопасность от внешнего врага. Суверен может решить проблему внутренней, но не внешней безопасности» (Gauthier, 2000: 107). Гражданская безопасность не тождественна абсолютной безопасности, так как всегда есть возможность войны между государствами. Согласно Гоббсу, суверен не ограничен в своем праве инициировать наступательную войну: «Поскольку в системе Гоббса не может быть несправедливости между государствами, если они не заключили специальных соглашений друг с другом, все войны, не запрещенные предыдущими договорными соглашениями, будут справедливыми» (Lloyd, 2009: 126).

Не все трактовки справедливости применимы для мира международных отношений: «Распределительная справедливость не имеет большого значения для международных отношений. В отсутствие глобального законодательного учреждения никакие права не могут быть авторитетно переданы государствам через распределительные законы. Если справедливость действительно регулирует международные отношения, то это потому, что государства добровольно заключили соглашения или вступили в лиги» (Olsthoorn, 2015b: 32). То есть в международных взаимоотношениях аргумент соглашений (коммутативная справедливость) работать может, а аргумент собственности (распределительная справедливость) — нет.

Отметим, что естественное состояние нельзя понимать как сугубо индивидуальное. Естественное состояние вражды включает в себя общности разного объема, но действующие как индивиды. Можно говорить об одном «великом море», где плавают отдельные левиафаны, нахождение внутри которых безопаснее, чем снаружи; выпадение из Левиафана чрева и попадание индивида в открытое море чревато безнаказанным убийством. Тем самым мы можем выделить: 1) естественное состояние индивидов и групп, или, иначе, естественное докрэдитское состояние; 2) гражданское; 3) естественное международное, то есть естественное состояние суверенов. Разница между двумя естественными состояниями историческая. Первичное естественное состояние отличается от вторичного отсутствием крупных неестественных форм (то есть суверенов)⁸.

Суверен *per se* есть искусственная личность, результат авторизации граждан. Эта искусственная личность есть человек или группа людей со своей индивидуальностью и характером. Это обстоятельство может служить аргументом в пользу того, что суверены-левиафаны и их справедливости могут быть разными содер-жательно. Иными словами, если суверен создает справедливость и если возможно существование нескольких суверенов, то возможно и несколько содер-жательных гражданских справедливостей. Формально справедливость будет той же, то есть

8. Выделение «первичного» и «вторичного» естественных состояний на основании отсутствия или наличия там естественных законов см. в: Martinich, 1992: 76–79. Если следовать данному различию, то наше «первичное» естественное состояние необходимо разделить еще на два.

самосохранением ради безопасности, но содержательно, то есть по вопросам, какие именно соглашения следует выполнять, они будут отличаться. Возможно, поэтому Гоббс предпочитает монархию, а не демократию. В идеале для Гоббса, как можно предположить, должна быть максимальная беспримесность и «бесчеловечность» (в смысле минимизации естественной человеческой бессмысленности или многосмысленности) суверена.

Можно представить множественность гражданских справедливостей и по другому основанию. Поскольку, по Гоббсу, есть два способа создать общество и суверенитет: а) путем завоевания (*acquisition*) и б) путем учреждения или установления (*institution*), поскольку можно говорить о гражданской справедливости учреждения и гражданской справедливости завоевания. В этом случае у нас есть текстуальные основания выделять следующие виды справедливости: 1) естественную догоражданскую; 2) гражданскую-1 — завоевательную; 3) гражданскую-2 — учрежденную; 4) естественную международную.

Логически, но не текстуально, возможны также пятая и шестая разновидности справедливости — общая, тотальная, общегражданская справедливость, подразумевающая единого глобального суверена, фигуру которого мы должны представить и который должен будет либо 5) быть избранным левиафанами из взаимного страха, либо он 6) насильственно захватит власть, завоевав их всех. По понятным причинам Гоббс ничего об этом не пишет. Однако современные исследователи нередко обсуждают проблемы глобального суверенитета и глобальной справедливости, используя теоретические ресурсы «Левиафана».

Так, А. Джеймс утверждает, что вопросы глобальной справедливости «должны принять, по существу, интернациональную, а не „космополитическую“ форму» (James, 2012: 265, 275). При этом он, как и сам Гоббс, не считает необходимой фигуру «глобального суверена» (*Ibid.*: 265). А. Джеймс указывает, что нормативные принципы справедливости должны адресоваться не любым гипотетическим агентам, но «актуальному положению мирового урегулирования» (*Ibid.*: 275). Но поскольку ныне действующий порядок на глобальном уровне состоит из государств и его вполне можно усовершенствовать в разных направлениях, то и не стоит думать об ином порядке глобальной справедливости. В свою очередь, Т. Нагель высказал идею, что путь к глобальной справедливости возможен только при условии формирования глобальных властных структур. Это условие он считает более адекватным контексту глобальной справедливости, нежели взгляд, изложенный в «Законе народов» Дж. Ролза. Вне государства не может быть стандартов справедливости (Nagel, 2005).

Очевидно, что у реальных государств-левиафанов пока нет никакой перспективы получить общего суверена. Данная невозможность связана с перспективой взаимного уничтожения в ядерной войне и с большими сомнениями в возможности появиться единому суверену без действенных структур глобальной власти. Д. Готье пишет, что современным нациям, находящимся в перманентном состоянии войны всех против всех (в холодном или горячем виде), не хватает взрослого

партнерства, моральной взрослости, они суть эгоистические дети (Gauthier, 2000: 212).

Единственную текстуальную возможность для подлинно всеобщего Левиафана в теории Гоббса, объединяющего других левиафанов под своим началом, мы получаем, только если обратимся к фигуре Бога. Данная возможность связана с царством Бога после Второго пришествия. Слово Бога, как показывает Гоббс, может быть рациональным, что соответствует естественному царству Бога, и профетическим, что соответствует эсхатологическому царству Бога, где сам Бог будет сувереном (Hobbes, 2012: 556; 277). Став единственным сувереном, Бог одновременно отменит необходимость существования Левиафана как искусственной сущности, как вынужденной и неполноценной замены Бога в его временном отсутствии. К сожалению, Гоббс помимо краткого упоминания не уделил внимания этой теме, но сосредоточился на естественном царстве Бога.

Естественное царство Бога следует понимать как сферу естественных обязательств человека. Гоббс, по сути, является сторонником естественной религии, так как приоритетную ценность для него имеет именно естественное, а не теократическое государство. Новый завет не является каноном для граждан. Его предписания надлежит понимать как советы, они не имеют принудительной силы (Hobbes, 2012: 822; 400). Законы Бога — естественные законы. Иисус Христос лишь раскрыл и пересказал законы пророка Моисея. Законами государственными и, соответственно, обладающими принудительной силой, они становятся, только если их утверждает суверен (Hobbes, 2012: 932; 450). Гражданская власть, а не Римский Папа устанавливает то, что нравственно и справедливо (Hobbes, 2012: 886; 429). Суверен при этом не обязательно должен быть христианином, поскольку религиозная вера относится к вещам невидимым, к «сердечным» вопросам. Граждане, по Гоббсу, не авторизуют суверена судить о том, что необходимо для их личного спасения. Суверен может учить только естественному царству Бога, а профетическому — нет. Папа может давать только советы, он не издает законы (Hobbes, 2012: 898; 435). «Гоббс настаивает на том, что Писание является и должно быть основой любого понятия истины или справедливости, основой для эпистемологии. Он говорит нам, что Бог — автор естественного закона, без которого человеческий закон пуст. Гоббсу представляется, что мы не можем жить с Писанием в качестве основы для политики, и все же одновременно мы не можем жить и без него» (Martel, 2007: 3). Суверен является носителем как гражданской, так и церковной власти. К. Скиннер, анализируя изображения суверенов на фронтисписах двух произведений Гоббса, отмечает: «То, что образ Гоббса задуман как изображение неделимого суверенитета, подтверждается тем фактом, что глава государства несет в левой руке епископский посох (а не скипетр, как иногда говорят) в дополнение к мечу справедливости в правой» (Skinner, 2018: 286). В этой логике низлагать короля-еретика или иноверца несправедливо, даже если его избрание было несправедливым по процедуре (Hobbes, 2012: 920; 445).

Итак, сколько видов справедливости содержится в «Левиафане»? Международный контекст приводит к выделению шести видов справедливости — две естественных (догражданская и международная) и четыре гражданских (локальное государство, возникшее путем договора; локальное государство, возникшее путем завоевания; общемировое государство, возникшее путем договора, и общемировое государство, возникшее путем завоевания). В свою очередь, эсхатологический контекст дает седьмую разновидность справедливости, добавляющей к вышеперечисленным божественную справедливость Царства Божьего в результате Второго пришествия Иисуса Христа.

В описаниях естественного и гражданского состояний Гоббс в высокой степени эмпиричен⁹. Если естественная, гражданская и международная справедливости предполагают реальные фактические состояния вещей, то общемировая и эсхатологическая справедливости суть пока желаемые и ожидаемые, но не существующие в действительности. Более того, следует подчеркнуть, что темы глобального суверена и глобальной гражданской справедливости, в отличие от краткого упоминания эсхатологического контекста, в тексте «Левиафана» совершенно не затрагиваются. Обращение к этим темам, хотя и не имеет текстуального обоснования, однако является логически обоснованным. Не пытаясь модернизировать взгляды Гоббса, мы постарались показать, в каком смысле данные теоретические возможности его теории справедливости оказываются востребованными в текущих социально-политических и философских дискуссиях.

Заключение

Можно ли под эту выявленную множественность справедливости Гоббса подвести единый фундамент? В качестве гипотезы высажем соображение, которое основывается на названии трактата и одном пояснении в тексте, где Гоббс называет Левиафана «Смертным Богом»: «Это есть рождение того великого ЛЕВИАФАНА, или, скорее (говоря более благоговейно), того Смертного Бога, которому мы, находящиеся под Бессмертным Богом, обязаны нашим миром и защитой» (Hobbes, 2012: 260; 133). Ввиду этого единственное, что может объединить семь перечисленных видов справедливости — это их фоновая теологичность, хотя и не клерикальная. Таким образом, все виды справедливости в «Левиафане» Гоббса тесно связаны с божественной справедливостью (если даже и не являются ее манифестациями). Вполне обоснованными выглядят и следующие соответствия: 1) Естественное = всеобщее божественное природное (тотальная война). 2) Гражданское = локальное божественное искусственное (внутригосударственный мир). 3) Глобальное =

9. Современные деонтологические версии контрактуалистской справедливости стали возможными благодаря использованию кантинанства в теории Ролза, внесшего свежую струю в дискуссии о справедливости последней четверти XX века. Деонтология Гоббса черпает свое содержание исключительно из теологических смыслов. По этой причине модернизация идей Гоббса и попытка представить его как «теоретика гипотетического договора» (Kavka, 1986: 22) ролзианского типа будет наяжкой.

всеобщее божественное искусственное или эсхатологическое (тотальный мир под началом смертного или бессмертного Бога). Тем самым монистическое видение справедливости у Гоббса обосновано только в теологическом плане, а плюралистический взгляд валиден в международном и эсхатологическом контексте и приводит по меньшей мере к семи видам справедливости.

Неожиданно обнаружившийся теологический ракурс, однако, требует самостоятельного разбора и обоснования. Исследования с более широкой фокусированной на всем корпусе произведений английского философа помогли бы выявить необходимые элементы для прояснения всех, включая теологические, нюансов траектории мышления Томаса Гоббса о справедливости.

Литература

- Болтански Л., Тевено Л. (2013). Критика и обоснование справедливости: очерки социологии градов / Пер. с фр. О. В. Ковеневой под науч. ред. Н. Е. Копосов. М.: Новое литературное обозрение.
- Гоббс Т. (1936). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. А. Н. Гутермана. М.: Гос. соц.-экон. изд-во.
- Гоббс Т. (1991). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Пер. с англ. А. Н. Гутермана // Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль. С. 3–545.
- Камбуров В. Г. (1906). Идея государства у Гоббса. Киев: Печатня С. П. Яковлева.
- Кашников, Б. Н. (2001). Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт реконструкции // Этическая мысль. Вып. 2. М. С. 89–118.
- Корбут А. М. (2013). Гоббсова проблема и два ее решения: нормативный порядок и ситуативное действие // Социология власти. № 1–2. С. 9–26.
- Ролз Дж. (2010). Теория справедливости / Пер. с англ. В. В. Целищева. М.: ЛКИ.
- Рикёр П. (2005). Справедливое / Пер. с фр. Б. Скуратова и П. Хицкого. М.: Логос.
- Филиппов А. Ф. (2015). Актуальность философии Томаса Гоббса // Филиппов А. Ф. *Sociologia: наблюдения, опыты, перспективы*. Т. 2 / Под общ. ред. С. П. Баньковской. СПб.: Владимир Даль. С. 156–196.
- Шмитт К. (2006). Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / Пер. с нем. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль.
- Foisneau L. (2004). Leviathan's Theory of Justice // Sorell T., Foisneau L. (eds.). Leviathan after 350 Years. Oxford: Clarendon Press. P. 105–122.
- Gauthier D. (2000). The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes. Oxford: Clarendon Press.
- Hobbes T. (2012). Leviathan / Ed. N. Malcolm. Oxford: Clarendon Press.
- Hobbes T. (2005). Leviathan in Two Columns: A Critical Edition / Ed. G. A. J. Rogers and K. Schuhmann. L.: Continuum.
- Hoekstra K. (1997). Hobbes and the Foole // Political Theory. Vol. 25. № 5. P. 620–654.

- James A.* (2012). Hobbesian Assurance Problems and Global Justice // *Lloyd S. A.* (ed.). *Hobbes Today: Insights for the 21st Century*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 264–287.
- Kavka G. S.* (1986). *Hobbesian Moral and Political Theory*. Princeton: Princeton University Press.
- Kavka G. S.* (1995). The Rationality of Rule-Following: Hobbes's Dispute with the Fool // *Law and Philosophy*. Vol. 14. № 1. P. 5–34.
- Klimchuk D.* (2013). Hobbes on Equity // *Dyzenhaus D., Poole T.* (eds.). *Hobbes and the Law*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 165–185.
- Kramer M.* (1997). *Hobbes and the Paradoxes of Political Origins*. Basingstoke: Macmillan.
- Lloyd S. S.* (2009). *Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes: Cases in the Law of Nature*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lovett F.* (2019). Hobbes's Reply to the Fool and the Prudence of Self-Binding // *Hobbes Studies*. Vol. 32. № 2. P. 231–242.
- Newey G.* (2008). *Routledge Philosophy GuideBook to Hobbes and Leviathan*. L.: Routledge.
- Majeske A. J.* (2006). *Equity in English Renaissance Literature: Thomas More and Edmund Spenser*. L.: Routledge.
- Malcolm N.* (2002). *Aspects of Hobbes*. N.Y.: Oxford University Press.
- Martel J. R.* (2007). *Subverting the Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat*. N.Y.: Columbia University Press.
- Martinich A. P.* (1992). *The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mathie W.* (1987). Justice and Equity: An Inquiry into the Meaning and Role of Equity in the Hobbesian Account of Justice and Politics // *Walton C., Johnson P. J.* (eds.) *Hobbes's «Science of Natural Justice»*. Dordrecht: Kluwer. P. 257–276.
- May L.* (1987). Hobbes on Equity and Justice // *Walton C., Johnson P. J.* (eds.) *Hobbes's «Science of Natural Justice»*. Dordrecht: Kluwer. P. 241–252.
- Morris B.* (1987). Hobbes's Entanglement with the Excluded Middle in his Theory of Man and Politics // *Walton C., Johnson P. J.* (eds.) *Hobbes's «Science of Natural Justice»*. Dordrecht: Kluwer. P. 89–98.
- Nagel T.* (2005). The Problem of Global Justice // *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 33. № 2. P. 113–147.
- Olsthoorn J.* (2013). Hobbes's Account of Distributive Justice as Equity // *British Journal for the History of Philosophy*. Vol. 21. № 1. P. 13–33.
- Olsthoorn J.* (2015a). Hobbes on Justice, Property Rights and Self-Ownership // *History of Political Thought*. Vol. 36. № 3. P. 471–498.
- Olsthoorn J.* (2015b). Why Justice and Injustice have no Place Outside the Hobbesian State // *European Journal of Political Theory*. Vol. 14. № 1. P. 19–36.
- Pettit P.* (2009). *Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics*. Princeton: Princeton University Press.

- Raphael D. D. (2001). Concepts of Justice. Oxford: Clarendon Press.
- Robson G. J. (2015). Two Psychological Defenses of Hobbes's Claim Against the «Fool» // *Hobbes Studies*. Vol. 28. № 2. P. 132–148.
- Skinner Q. (2018). From Humanism to Hobbes: Studies in Rhetoric and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss L. (1952). The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis. Chicago: University of Chicago Press.
- Sreedhar S. (2010). Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sorell T. (2016). Law and Equity in Hobbes // Critical Review of International Social and Political Philosophy. Vol. 19. № 1. P. 29–46.
- Springborg P. (2011). Hobbes's Fool the Insipiens, and the Tyrant-King // *Political Theory*. Vol. 39. № 1. P. 85–111.
- Vanderschraaf P. (2010). The Invisible Foole // *Philosophical Studies*. Vol. 147. № 1. P. 37–58.
- Walzer M. (2008). Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality. N.Y.: Basic Books.
- Ward L. (2020). Equity and Political Economy in Thomas Hobbes // *American Journal of Political Science*. Vol. 64. № 4 P. 823–835.
- Zagorin P. (2010). Hobbes and the Law of Nature. Princeton: Princeton University Press.
- Zarka Y. Ch. (2016). Hobbes and Modern Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press.

How Many Types of Justice are in Thomas Hobbes' *Leviathan*?

Evgeniy Karchagin

Doctor of Philosophy, Professor, Philosophy, the Sociology and Psychology Department, Volgograd State Technical University

Address: Akademicheskaya str., 1, Volgograd, Russian Federation 400074

E-mail: evkarchagin@gmail.com

The article examines the problem of the multiplicity of justice in *Leviathan* by Thomas Hobbes. The *Leviathan* combines at least two understandings of justice; the civil one is connected with the keeping of covenants, while the natural one is a law of nature. We demonstrate that monistic views reducing civil justice to natural justice or natural justice to civil justice are as inadequately justified as denying justice at all. Hobbes uses two terms for justice, justice and equity. The latter is natural and binds the sovereign, while the former is created by the sovereign so that the sovereign is not accountable to the principle of justice. The natural poly-semanticism of justice postulated in *Leviathan* finds its solution in the power of the sovereign, which sets the limits of semantic uncertainty and teaches his subjects what justice is. The case of Hobbes' Foole shows that any definition of justice that goes against the definition of the sovereign will be interpreted as unacceptable. At the same time, there is a possibility for a number of other types of justice. Due

to the introduction of the global and eschatological contexts, we get two types of natural justice (pre-civil and international), four types of civil justice (two local-civil and two global-civil), and one global theological (eschatological) justice. This number of conceptions can be considered in a contentious unity, because of the theological foundation of theorizing about justice in *Leviathan* due to the coincidence of natural and divine laws and the understanding of the commonwealth as a mortal God.

Keywords: Thomas Hobbes, *Leviathan*, justice, equity, political semiology, global justice

References

- Boltanski L, Thévenot L. (2013) *Kritika i obosnovanie spravedlivosti: ocherki sociologii gradov* [Critique and Justification of Justice: An Essays on the Sociology of Cities], Moscow: New Literary Observer.
- Filippov A. F. (2015) *Aktual'nost' filosofii Tomasa Gobbsa* [Relevance of Hobbes's Philosophy]. *Sociologiya: nablyudenija, opyty, perspektivy. T. 2* [Sociologija: Observations, Experiences, Perspectives, Vol. 2], Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 156–196.
- Foisneau L. (2004) *Leviathan's Theory of Justice. Leviathan after 350 Years* (eds. T. Sorell, L. Foisneau), Oxford: Clarendon Press, pp. 105–122.
- Gauthier D. (2000) *The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes*, Oxford: Clarendon Press.
- Hobbes T. (1936) *Leviathan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo* [Leviathan; or, The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil], Moscow: Gosudarstvennoe social'no-ekonomicheskoe izdatelstvo.
- Hobbes T. (1991) *Leviathan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo* [Leviathan; or, The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil]. *Sochinenija. T. 2* [Selected Works, Vol. 2], Moscow: Mysl', pp. 3–545.
- Hobbes T. (2005) *Leviathan in Two Volumes: A Critical Edition* (eds. G. A. J. Rogers, K. Schuhmann), London: Continuum.
- Hobbes T. (2012) *Leviathan* (ed. N. Malcolm), Oxford: Clarendon Press.
- Hoekstra K. (1997) Hobbes and the Foole. *Political Theory*, vol. 25, no 5, pp. 620–654.
- James A. (2012) *Hobbesian Assurance Problems and Global Justice. Hobbes Today: Insights for the 21st Century*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 264–287.
- Kavka G. S. (1986) *Hobbesian Moral and Political Theory*, Princeton: Princeton University Press.
- Kavka G. S. (1995) The Rationality of Rule-Following: Hobbes's Dispute with the Foole. *Law and Philosophy*, vol. 14, no 1, pp. 5–34.
- Kamburov V. (1906) *Ideja gosudarstva u Gobbsa* [Idea of Commonwealth in Hobbes], Kiev: S. P. Yakovlev.
- Kashnikov B. (2001) Koncepcija obshhej spravedlivosti Aristotelja: Opyt rekonstrukcii [Aristotle's Concept of General Justice: An Attempt of Reconstruction]. *Ethical Thought*, vol. 2, pp. 89–117.
- Korbut A. (2013) Gobbsova problema i dva ee resheniya: normativnyy poryadok i situativnoe deystvie [The Hobbes' Problem and Its Two Solutions: Normative Order and Situated Action]. *Sociology of Power*, vol. 1–2, pp. 9–26.
- Klimchuk D. (2013) *Hobbes on Equity. Hobbes and the Law* (eds. D. Dyzenhaus, T. Poole), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 165–185.
- Kramer M. (1997) *Hobbes and the Paradoxes of Political Origins*, Basingstoke: Macmillan.
- Lloyd S. S. (2009) *Morality in the Philosophy of Thomas Hobbes: Cases in the Law of Nature*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lovett F. (2019) Hobbes's Reply to the Fool and the Prudence of Self-Binding. *Hobbes Studies*, vol. 32, no 2, pp. 231–242.
- Newey G. (2008) *Routledge Philosophy GuideBook to Hobbes and Leviathan*, London: Routledge.
- Majeske A. J. (2006) *Equity in English Renaissance Literature: Thomas More and Edmund Spenser*, London: Routledge.
- Malcolm N. (2002) *Aspects of Hobbes*, New York: Oxford University Press.

- Martel J. R. (2007) *Subverting the Leviathan: Reading Thomas Hobbes as a Radical Democrat*, New York: Columbia University Press.
- Martinich A. P. (1992) *The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mathie W. (1987) Justice and Equity: An Inquiry into the Meaning and Role of Equity in the Hobbesian Account of Justice and Politics. *Hobbes's "Science of Natural Justice"* (eds. C. Walton, P. J. Johnson), Dordrecht: Kluwer, pp. 257–276.
- May L. (1987) Hobbes on Equity and Justice. *Hobbes's "Science of Natural Justice"* (eds. C. Walton, P. J. Johnson), Dordrecht: Kluwer, pp. 241–252.
- Morris B. (1987) Hobbes's Entanglement with the Excluded Middle in his Theory of Man and Politics. *Hobbes's "Science of Natural Justice"* (eds. C. Walton, P. J. Johnson), Dordrecht: Kluwer, pp. 89–98.
- Nagel T. (2005) The Problem of Global Justice. *Philosophy and Public Affairs*, vol. 33, no 2, pp. 113–147.
- Olsthoorn J. (2013) Hobbes's Account of Distributive Justice as Equity. *British Journal for the History of Philosophy*, vol. 21, no 1, pp. 13–33.
- Olsthoorn J. (2015) Hobbes on Justice, Property Rights and Self-Ownership. *History of Political Thought*, vol. 36, no 3, pp. 471–498.
- Olsthoorn J. (2015) Why Justice and Injustice have no Place Outside the Hobbesian State. *European Journal of Political Theory*, vol. 14, no 1, pp. 19–36.
- Pettit P. (2009) *Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics*, Princeton: Princeton University Press.
- Raphael D. D. (2001) *Concepts of Justice*, Oxford: Clarendon Press.
- Rawls J. (2010) *Teoria spravedlivosti* [A Theory of Justice], Moscow: LKI.
- Ricoeur P. (2005) *Spravedlivoe* [The Just], Moscow: Gnozis, Logos.
- Robson G. J. (2015) Two Psychological Defenses of Hobbes's Claim against the "Fool". *Hobbes Studies*, vol. 28, no 2, pp. 132–148.
- Schmitt C. (2006) *Leviathan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbsa* [The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Skinner Q. (2018) *From Humanism to Hobbes: Studies in Rhetoric and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss L. (1952) *The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis*, Chicago: University of Chicago Press.
- Sreedhar S. (2010) *Hobbes on Resistance: Defying the Leviathan*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Sorell T. (2016) Law and Equity in Hobbes. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, vol. 19, no 1, pp. 29–46.
- Springborg P. (2011) Hobbes's Fool the Insipiens, and the Tyrant-King. *Political Theory*, vol. 39, no 1, pp. 85–111.
- Vanderschraaf P. (2010) The Invisible Foole. *Philosophical Studies*, vol. 147, no 1, pp. 37–58.
- Walzer M. (2008) *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, New York: Basic Books.
- Ward L. (2020) Equity and Political Economy in Thomas Hobbes. *American Journal of Political Science*, vol. 64, no 4, pp. 823–835.
- Zagorin P. (2010) *Hobbes and the Law of Nature*, Princeton: Princeton University Press.
- Zarka Y. Ch. (2016) *Hobbes and Modern Political Thought*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

«Онтологический поворот» в социальных науках: возвращение эпистемологии

Тандыг Керимов

Доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной философии,
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
Адрес: ул. Мира, 19, Екатеринбург, Российская Федерация 620002
E-mail: kerimovt@mail.ru

В последние десятилетия наблюдается значительный рост количества исследований в социальных науках, содержание и направленность которых описывается как «онтологический поворот». Эти исследования ставят своей главной задачей формирование новой социальной онтологии. В статье раскрываются основные принципы и содержание новой социальной онтологии, выявляются спорные моменты, присущие подобному способу ее обновления, и формулируются ориентиры возвращения эпистемологии для преодоления нежелательных последствий «онтологического поворота». Критика «онтологического поворота» и обоснование возвращения эпистемологии аргументируются следующим образом. В первом разделе статьи рассматриваются две возможности построения социальной онтологии — эссециалистской, характерной для мейнстримсоциологии и «плоской онтологии» сборки. Во втором разделе дается критический анализ трех последствий «онтологического поворота»: проблематизации идеи автономного социального; нейтрализации априорно-онтологического обоснования социальных исследований; отрицания реального за пределами сборки. В третьем разделе последствия «онтологического поворота» рассматриваются в контексте текущей дискуссии о роли онтологии в социальных науках, которая выражается в противопоставлении априорно-онтологического и инструментально-прагматического обоснований социальных исследований. Для преодоления нежелательных последствий «онтологического поворота» и тенденции к раздвоению между априорным онтологизмом и инструментальным прагматизмом формулируются ориентиры возвращения эпистемологии: «недоопределенность» реальности теориями; эпистемологическое различие между понятийной и онтологической реальностью объекта; равенство (ко-вариация) онтологии и эпистемологии.

Ключевые слова: мейнстримсоциология, эссециализм, «плоская онтология», сборка, актуализм, недоопределенность реальности, эпистемологическое различие

В последние десятилетия понятие онтологии стало предметом оживленных дискуссий в социальных науках. «Онтологический поворот» стал собирательным термином, обозначающим их содержание и направленность (Wan, 2011: 17). В 90-х годах прошлого века этот поворот носил спорадический характер и воспринимался как реакция на конструктивистскую «деонтологизацию реальности», но уже в начале XXI столетия потребность в онтологии и необходимость ее обновления

становятся определяющей чертой социальных наук (Pellizzoni, 2015: 72). Это обновление осуществляется посредством исследований, независимых друг от друга и тем не менее, по крайней мере частично, параллельных, связанных с акторно-сетевой теорией, новым материализмом, концепциями со-производства, теорией сборки, агентным реализмом, критическим реализмом (если ограничиться наиболее показательными направлениями). В конечном счете за всеми этими исследованиями стоит задача построения новой социальной онтологии, преодолевающей социальный конструктивизм и эссециализм мейнстримсоциологии в пользу подхода, который непосредственно касается природы и структуры социальной реальности как она есть. Наша главная цель в этой статье — раскрыть основные принципы и содержание новой социальной онтологии, а также выявить спорные моменты, присущие подобному способу ее обновления. На базе этого прояснения нами выдвигается гипотеза о необходимости сохранения эпистемологического анализа, который соответствовал бы сложности новой социальной онтологии и был бы способен перевести ее в обоснованные теоретические и эмпирические объяснения.

Статья начинается с критического анализа двух представлений социальной онтологии — эссециалистской онтологии мейнстримсоциологии и «плоской онтологии» сборки, разрабатываемой в рамках «онтологического поворота». Более того, и что не менее важно, такой анализ может служить отправной точкой для исследования двух различных трактовок социального. Во втором разделе дается критический анализ принципиальных последствий «онтологического поворота», которые проблематизируют как саму возможность социальной онтологии, так и дисциплинарный статус социологии. Далее мы рассмотрим последствия «онтологического поворота» в контексте текущей дискуссии о роли онтологии в социальных науках, которая обнажает общую проблему онтологического и эпистемологического релятивизма постпозитивистской социальной теории. Для преодоления нежелательных последствий «онтологического поворота» формулируются ориентиры эпистемологической оценки адекватности требований к знаниям.

Сделаем два замечания, чтобы просто обозначить границы нашего исследования. Для того чтобы избежать возможных недоразумений, мы хотели бы подчеркнуть, что хотя данная статья написана на материале социологии, сама онтологическая переориентация является широким теоретико-методологическим движением, возникшем для обсуждения проблем, волнующих многие социальные науки — экономику, антропологию, политологию и т. д. (Gullion, 2018; Holbraad, Pedersen, 2017; Lawson, 2003; Pellizzoni, 2015). Кроме того, в статье особое внимание мы уделяем наиболее характерным проектам «онтологического поворота» в социальных науках, учитывая значительный объем теоретических и философских дискуссий, им посвященных. Она не будет настаивать на очевидных важных отличиях этих проектов больше, чем это строго необходимо, поскольку наша цель — обратиться к тем концептуальным обязательствам, которые они разделяют, и к тем последствиям, к которым они приводят.

Две возможности построения социальной онтологии

До 1990-х годов прошлого столетия термин «онтология» принадлежал исключительно философскому словарю и представлялся чуждым социальным наукам. Даже у их склонных к высоким абстракциям теоретиков вряд ли можно найти какую-то связную систему онтологической аргументации. Наоборот, все происходит так, будто социальные науки пренебрегают онтологическими вопросами или рассматривают их как производные или второстепенные. Можно выделить две основные причины подобного пренебрежения. С одной стороны, подозрительное отношение к онтологии вызвано тем, что она традиционно отождествляется, пусть даже и опосредованно, с метафизикой, недоверие к которой являлось отличительной чертой формирующихся наук об обществе. Социальные науки должны были ограничиться описанием реальных и наблюдаемых событий и избегать метафизических способов обоснования знания. Изучение вещей самих по себе, бытия, субстанции — это проект не только чуждый, но и губительный для социальных наук: К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер сходятся в этом вопросе, несмотря на все их эпистемологические различия. С другой стороны, и это главное, если не может быть и речи об онтологической аргументации, то только потому, что социологическое теоретизирование сосредоточивается на само собой разумеющейся «социальной онтологии», а именно на внутренней природе всегда уже данной социальной реальности, не ставя под сомнение ее существование. В результате этого в большинстве концепций мейнстримсоциологии основное внимание уделяется эпистемологической проблеме, например, как возможна наука об обществе, т. е. каковы условия ее возможности. Преобладающий интерес к вопросам эпистемологического характера не менее очевиден и тогда, когда задача состоит в построении позитивной картины общественной жизни, но обязательно соизмеряемой с условиями возможности научного анализа. Мейнстримсоциология могла предложить разные, а иногда и совершенно противоречащие друг другу аналитические перспективы, но она не ставила под сомнение существование автономной, самодостаточной социальной реальности и сосредоточивалась на ее описании.

Мы здесь ограничимся тем, что отметим основные принципы характерной для мейнстримсоциологии имплицитной онтологии, чтобы вычленить ее содержание и лучше очертить ее пределы. Решающим принципом данной онтологии является субстантивизм/эссенциализм. Последний выделяет особый элемент, субстанцию в социальности («производство» у К. Маркса, «социальные факты» у Э. Дюркгейма или «социальные действия» у М. Вебера) и наделяет ее статусом объяснительного принципа или аналитической первопричины. То есть данная субстанция получает привилегию основания, сущности, или, если угодно, «всеобщего эквивалента» социального. В этой перспективе все объекты рассматриваются исследователем в качестве проявлений единой социальной сущности. Более того, благодаря этому основанию обеспечивается внешняя и внутренняя определенность социального. Во-первых, эссенциализм способствует онтологической идентификации социаль-

ного, его отграничению от других сфер реальности, например, от природы. Вторых, даже если социальное и признается в некотором отношении внутренне разделенным, неопределенным и динамичным, тем не менее рассматривается как обладающее сущностной общностью, преодолевающей все различия и множественности. Но субстантивизм/эссенциализм — это лишь необходимое, но недостаточное условие онтологии социального. Поскольку последняя в своем первом принципе предписывает в определенном смысле все понимать в качестве проявлений единой сущности, второй принцип редукционизма требует сведения всего многообразия социального к данной сущности. Но редукционизм в свою очередь возможен благодаря устраниению своеобразия объектов, в результате которого они лишаются своей индивидуальности, неповторимости, потенциальности и тем самым уравниваются между собой, что и позволяет индивидуальные различия reduцировать к единой сущности.

Эссенциализм характеризует не только раннюю социологию. Мы уже упоминали «социальные факты» Э. Дюркгейма или «социальные действия» М. Вебера. Эссенциализм преобладает и в более поздних теоретических подходах — в макро-, микро-, мезосоциологических описаниях социального, когда последнее редуцируется к структурам (в структурализме, структурном функционализме), к рутинам и категориям повседневной жизни (в феноменологической социологии, этноМетодологии и т. д.), к срединным факторам, опосредующим отношения микро- и макросоциального, — к практикам (Э. Гидденс), к габитусам (П. Бурдье), к коммуникациям (Ю. Хабермас). Э. Дюркгейм, М. Вебер или П. Бурдье предлагают исключающие друг друга социальные онтологии, но они сходятся в определении довольно четких границ социального. Это означает, что социальным явлениям можно приписывать разные качества и причинные механизмы, одновременно разделяя идею существования автономного, самодостаточного социального в структуре реальности.

Безусловно, подобная попытка сведения имплицитной онтологии мейнстрим-социологии к определенному числу принципов может показаться чрезмерно упрощенной. Но мы выделяем данные принципы не в качестве оправдания воображаемой идентификации целой социологической традиции, а как ее направляющую, регулирующую идею, без которой невозможно обосновать дисциплинарную определенность социологии как науки. Разумеется, социология формируется и развивается в результате взаимодействия множества независимых онтологических ориентаций. Приведем два примера. Хорошо известна оппозиция Габриеля Тарда социальной онтологии Э. Дюркгейма. Но Габриель Тард предлагал не просто альтернативную социальную онтологию. Его социология была основана скорее на космологической, чем на социальной онтологии (Делез, 1998: 102). Теория самореференциальных систем Н. Лумана также стирает границы социального, постулируя фундаментальную качественную общность между организмами, психическими и социальными системами. Онтология самореференциальных систем — это онтология не субстанции или сущности, а различий: система развивает свою

идентичность посредством различения (Luhmann, 2006: 41). Как мы увидим, данные онтологические ориентации в модифицированных формах предвосхищают, по крайней мере, в некоторых важных отношениях, актуальные версии «онтологического поворота».

Кроме того, надо принять в расчет, что эсценциализм мейнстримсоциологии подвергается критике и в социальном конструктивизме (и в целом в постструктурализме). Последний подчеркивает более сложный характер социальной реальности, ее несводимость к каким-либо сущностям, но, будучи частью культурного или лингвистического поворота, выдвигает на первый план текстуальный и дискурсивный анализ. Идея опосредованности реальности всевозможными дискурсивными образованиями — языком, текстом, культурными репрезентациями и символами — блокирует всякий доступ к ней: «социальное конструирование реальности — это не социальное конструирование всей реальности, а социальное конструирование социальной реальности» (Kissmann, van Loon, 2019: 12).

В противоположность мейнстримсоциологии и социальному конструктивизму некоторые характерные направления «онтологического поворота» постулируют антиэсценциалистскую «плоскую» или «монистическую» онтологию (Fox, Alldred, 2017: 7; DeLanda, 2002: 47; Латур, 2014: 232; Брайант, 2019: 251–298)¹. Уплощение онтологии происходит благодаря запрету на любые предварительные решения о природе реального, которые могли бы повлиять на сами объекты: «Мы не должны, как в старой спекулятивной метафизике, решать, как будет обустроена вселенная, а только определиться с оснащением, инструментами, полномочиями, компетенциями» (Латур, 2018: 156). Любые предположения о природе реального должны быть обоснованы на локальном уровне, причем самими акторами — человеческими и нечеловеческими: «единственно продуктивный лозунг — „идите за акторами“» (Латур, 2014: 313), за тем, что они делают, говорят или пишут.

Отныне никакая субстанция не может рассматриваться в качестве сущности социального. Ни одно понятие, которое до сих пор в социологии представлялось онтологической субстанцией/сущностью, не может быть использовано для обоснования социального: «Ни действие, ни актор, ни взаимодействие, ни индивид, ни символ, ни система, ни общество, ни их многочисленные сочетания» (Латур, 2007: 91). В отсутствие субстанции/сущности социального все объекты получают одинаковый онтологический статус. Устраняются любые априорные различия между культурой и природой, субъектом и объектом, человеческим и нечеловеческим. Утверждается безусловное их равенство без общей меры, или критерия, их сопоставления и сравнения.

1. Нужно уточнить, что рассматриваемые нами авторы (прежде всего М. ДеЛанда и Б. Латур, но и Л. Брайант, Г. Харман) разрабатывают свои версии «плоской онтологии», исходя из разных традиций и предположений. И все же они сходятся в нескольких важных аспектах: стирают границы социального, провозглашая открытую онтологическую вселенную; постулируют безусловное равенство объектов, их одинаковый онтологический статус; аксиоматизируют множественность, плюральность социального.

Поскольку «плоская онтология» нейтрализует априорные решения о природе реального, ей нужно «определить некий прожиточный минимум, „метафизический МРОТ“» (Латур, 2018: 80), «величина» которого выводится из принципа ирредукционизма: «Ничто само по себе ни редуцируемо, ни нередуцируемо ни к чему» (Latour, 1988: 158). Логика «двойной связи» уравновешивает два противоречащих друг другу утверждения редукции и нередукции: ни один объект не может быть полностью редуцирован к любому другому объекту или множеству объектов; любой объект частично может быть редуцирован к любому другому объекту или множеству объектов. Для прояснения этой логики нужно обратить внимание на то, что любой объект — это не субстанция, а множество, состоящее из множеств, состоящих из множеств, и так до бесконечности. Поскольку объекты — это не субстанции, невозможно редуцировать их к некоторой метафизической сущности, следовательно, невозможно объяснить их заранее. Но поскольку каждый объект состоит из множества других объектов, части этого объекта могут быть редуцированы к частям другого объекта. Первая часть принципа ирредукционизма блокирует тотализацию социального и операционализирует множественность, вторая его часть предписывает неограниченное связывание и коммуникацию объектов-множеств: «ничто ни к чему не сводится, ничто не выводится ни из чего другого, все может сочетаться со всем» (Latour, 1988: 163). Вместо двумерного плана эссециалистской онтологии, в которой объекты являются всего лишь эффектами или выражениями единой сущности, имеется безусловная и абсолютная, но конечная сочетаемость объектов-множеств.

В «плоской онтологии» первичной реальностью являются сборки (сети, ассоциации, множества, машины, социоматериальности — термины, обозначающие, по сути, одно и то же понятие)². Сборки определяются и характеризуются «отношениями экстериорности»: «компонент сборки может быть изъят из нее и помещен в другую сборку, в которой его взаимодействия будут иными» (DeLanda, 2006: 10). Например, компонент может стать «обучающимся телом», когда он является частью сборки, в которой взаимодействие с другими «обучающимися телами» определяют возможности сборки-школы или сборки-колледжа. Но включенное в другую сборку «обучающееся тело» проявляет совершенно иные способности (например, «рабочника» или «любовника»), когда оно взаимодействует с другими телами в сборке «рабочее место» или сборке «сексуальные отношения» (Fox,

2. Можно выделить две версии «плоской онтологии»: онтология процесса (Ж. Делез, М. Деланда, Б. Латур) подразумевает различия, текучесть и отношения; онтология объекта (Л. Брайант, Г. Харман) делает акцент на стабильности и структуре. Но даже при таком рассмотрении М. Деланда занимает промежуточную позицию, поскольку он, в отличие от Б. Латура, рассматривает сборки как контингентные, но исторически структурированные объекты, состоящие из других сборок. Кроме того, он использует концепцию эмерджентности для объяснения свойств сборок, которая сближает его с критическим реализмом и Г. Харманом (DeLanda, Harman, 2017: 23). В пользу этого сближения говорит и тот факт, что М. Деланда разрабатывает стратификационную модель сборки: измерения территориализации и кодировании призваны показать тенденцию стабилизации сборок в определенных формах и таким образом объяснить их устойчивость во времени.

Alldred, 2017: 37). Таким образом, социальное представляется в виде гетерогенной сети вложенных друг в друга сборок. Всякая сборка располагается в *medias res*, на линии восходящих и нисходящих частично пересекающихся сборок. Не существует ни верхнего, ни нижнего предела для множества, и ни один уровень, будь то макро-, микро- или мезо-, не может считаться более реальным или решающим, чем другие.

Антиэссенциализм влечет за собой утверждение гетерогенности, множественности социального, его несамодостаточность, размывание его границ. В такой социальности отношения между «частью» и «целым», «микро» и «макро» носят гетерархический характер (Kerimov, Krasavin, 2020: 1299). Целое — это целое частей, но оно их не объединяет; оно добавляется к ним как новая дополнительная часть: «целое производится... оно произведено в качестве части наравне с другими частями... оно не объединяет и не делает целым — наоборот, оно прилагается к ним» (DeLanda, 2016: 9). Поскольку любое движение сборки вызывает и выражает преобразование целого, последнее не совпадает с тотальностью или закрытостью, оно всегда открыто. Фундаментальной модальностью целого является непрестанное изменение или порождение чего-то нового. «Макро» не включает в себя «микро», оно ни выше, ни ниже взаимодействий, а «добавляется к ним как *еще одна связь*, подпитывающаяся ими и подпитывающая их» (Латур, 2014: 249). Если всякое множество состоит из множеств, которые в свою очередь состоят из множеств, и так до бесконечности, тогда в таких множествах отсутствует место интеграции, соединения, объединения, т. е. место целого. «Понятие „макро“ уже описывает не *более широкое* или *более обширное* место, куда на манер русской матрешки вставляется „микро“, а другое, такое же локальное и такое же „микро“-место, *связанное* со множеством других мест» (Латур, 2014: 245).

«Онтологический поворот» ставит немало проблем и несет в себе довольно много двусмысленностей, которые серьезно осложняют возможности обновления социальной онтологии. Поэтому следующий раздел статьи мы посвятим выявлению основных спорных моментов, присущих, как нам кажется, подобному способу обновления социальной онтологии, происходящих главным образом из позиции, нацеленной на размывание границ автономного социального, проблематизацию самой этой идеи.

Онтология сборки и ее границы

Прежде всего следует отметить удивительную двусмысленность, на которой покоятся «онтологический поворот» в социальных науках: по иронии судьбы обновление онтологии происходит ценой антиреалистского признания полной, предельной конечности, а следовательно, и всеобщего соответствия реального и наших познавательных возможностей. Каждый объект является тем, что он есть. Все объекты покоятся на одном и том же основании: и большие, и маленькие, как человеческие, так и нечеловеческие. В силу абсолютной конкретности объекта его

реальность обнаруживается не в какой-то сущности или субстрате, а в его совершенно определенном месте в мире с совершенно определенными ассоциациями, или сборками, в любой данный момент. Все имманентно миру; ничто не выходит за пределы конечного и актуального. В любой данный момент объект полностью актуализирован, встроен без остатка в текущую связь сборки. Р. Бхаскар называет подобное представление онтологии «актуализмом» (Bhaskar, 2008: 54).

Для прояснения этой двусмысленности нужно обратить внимание на то, что если вопрос об обновлении онтологии совпадает с классическими вопросами о реальности, объективности социальности, то он совпадает с ними постольку, поскольку они сформулированы в социальных науках довольно парадоксальным образом: «онтологический поворот» в социальных науках исключает само понятие социальной онтологии со всеми сопутствующими предметностями социального, социальной реальности, объективности социальности. Данное замечание имеет точное содержание: поворот к онтологии в социальных науках подразумевает главным образом преодоление онтологического фундаментализма с целым рядом понятий эсценциализма, субстанциальности, причинности, которые и выступали определениями реальности, объективности социального. То есть необходимым условием обновления онтологии становится отказ именно от тех понятий, референциальная определенность которых и обеспечивала состоятельность социальной онтологии.

Причины подобного онтологического обесценения очевидны. Понятие социальной онтологии имеет смысл только при условии признания существования социального с четко определенными границами. Для того чтобы определить социальное, мы должны выявить его границы и тем самым отличить его от того, чем оно не является. Задаваемые эсценциализмом мейнстримсоциологии ориентиры постулируют существование самотождественной, автономной, самодостаточной социальности и ее отличие, например, от природы. Но понятия социального и социальной онтологии утрачивают свою значимость и становятся проблематичными в тот момент, когда существование их границ и, соответственно, автономии ставится под сомнение, когда устанавливаются отношения пересечения или даже общности между различными онтологическими областями. Поэтому неудивительно, что в «плоской онтологии» общество представляет собой не что иное, как ошибочное с аналитической точки зрения определение большого числа взаимосвязанных сборок: «В плоской онтологии индивидуальных сущих нет места для реифицированных тотальностей, особенно для „общества“ или „культуры“ вообще» (ДеЛанда, 2017: 43). Акторно-сетевая теория выдвигает еще более радикальное требование: «Общества нет, социальной сферы нет, социальных связей нет, *а есть переводы между посредниками, которые могут порождать прослеживаемые ассоциации*» (Латур, 2014: 153). Это требование, олицетворяющее то, что Б. Латур

называет «социологией ассоциаций», обнажает конститутивный лейтмотив «онтологического поворота»: единое не есть, существуют множества³.

Как только социальное лишается автономии и объективного существования, остается неограниченное количество объектов-множеств, которые признаются реальными, но только в пределах корреляционной связи с конечностью нашего познания. Социальному теоретику остается только прославлять объекты во всей их множественности, лишив себя возможности любого дальнейшего понимания этой множественности, помимо констатации ее простого присутствия. «Плоская онтология» отвергает любые ограничения во имя фундаментальной множественности реального и не видит различий между отдельными объектами. Одинаковый онтологический статус объектов до странности легко преображается в «насыщенную имманентность»: «Все остается внутри, без всякой надежды на выход... даже когда мы говорим о глобализации, сетях, потоках и гибридизации, кажется неизбежным, что у всего есть место, идентичность, временное местоположение, переносимая субстанция и строгая территория, которые усиливают идею насыщенной имманентности в ущерб всем экзистенциальным разделениям» (Neyrat, 2018: 4–5). Если мы отрицаем не просто иерархию объектов, но и внутренние различия между ними, то тогда мы остаемся с нейтральным, безразличным, бесформенным и некатегориальным миром, исключающим саму возможность различия.

В «плоской онтологии», как уже было сказано, первичной реальностью являются сборки (ассоциации, сети), и основная задача состоит в разработке ее концепции, как исчерпывающей, так и непротиворечивой. Но различные определения сборки, которые лежат в основе этих концепций, объединяет тенденция к номинализму и отказ от общих онтологических спекуляций. Отсюда их принципиально негативный характер: они стремятся представить бесконечную серию возможных определений и расширений в соответствии с потребностями эмпирического исследования, но в конце концов довольствуются либо бессодержательными тавтологиями, либо общими гипотезами. Рассмотрим один пример. Н. Фокс и П. Оллред описывают «сборку-поцелуй» двух лиц, А и В, которая включает в себя «как минимум» (подчеркивают авторы) следующие компоненты: «Губы А — губы В — прошлый опыт и обстоятельства — социальные и сексуальные нормы — личные качества А и В (например, физические характеристики, личность, работа, запахи и вкусы) — свидания — непосредственные материальные контексты» (Fox, Alldred, 2017: 100). Но даже если согласиться с таким описанием «сборки-поцелуя», сомнительно, что подобная «инвентаризация», перечисление ризоматически умножающихся компонентов, поможет нам определить, например, сборку-капитализм или

3. Справедливости ради надо заметить, что в своих последних работах Б. Латур, пытаясь выйти из тупиков акторно-сетевой теории, разрабатывает мультиреалистскую онтологию модусов существования (политика, право, мораль, религия, технология и т. д.). Модусы существования историчны, обладают собственными условиями истинности, существуют и взаимодействуют друг с другом. Б. Латур, возможно признавая критику «плоской онтологии», описывает механизмы, позволяющие не только отслеживать сети связей между человеческими и нечеловеческими акторами, но и различать и объяснять типы соединений и ассоциаций между модусами (Latour, 2013).

сборку-Французская революция. Кроме того, данный пример показывает противоречивость понятия сборки как базовой онтологической единицы, поскольку оно обречено на переход от неявно ограничивающего определения (в силу временного единства и наличия какого-то содержания, как в примере со «сборкой-поцелуем») к конкретным приложениям, которые размывают его границы, растворяя его до неузнаваемости. В самом деле, поскольку за пределами данной сборки могут быть только другие сборки и, следовательно, невозможно определить, являются ли они внешними или внутренними в отношении рассматриваемой сборки, сама возможность ее идентификации представляется принципиально невозможной.

Неопределенность понятия сборки, безусловно, является камнем преткновения для «онтологического поворота». Непосредственное последствие этого тупика, а именно девальвация реального, еще более проблематично. Если мир состоит из сборок, в которых материальные вещи неразрывно связаны с исторически обусловленными человеческими, субъективными представлениями о них, существует ли реальное за пределами этих сборок? Актуализм «плоской онтологии» неизбежно влечет за собой то, что Р. Бхаскар называет «эпистемической ошибкой», согласно которой утверждения о бытии могут быть редуцированы к утверждениям о знании: «Идея о том, что бытие всегда можно анализировать с точки зрения нашего знания о бытии, что для философии достаточно „рассматривать только сеть, а не то, что ею описывается“, приводит к систематическому разрушению идеи мира (которую я здесь метафорически характеризую как онтологическую область), независимого от науки, но исследуемого ею. И это проявляется в запрете любых трансцендентных сущностей» (Bhaskar, 2008: 26–27).

Д. Элдер-Васс показывает на основе «разборки» акторно-сетевой теории, как эта «ошибка» получила у Б. Латура и Дж. Ло поразительное выражение через взаимосвязь актуализма и антиреализма: «„Внешнее“ не существует, пока оно не будет идентифицировано и описано. Таким образом, отрицается существование, независимое от нашего знания о нем» (Elder-Vass, 2008: 461). Несколько приведенных им примеров демонстрируют, что отрицание независимого реального полностью согласуется с онтологией сборки. Когда Галилей наблюдает и объясняет фазы Венеры, возникает новая сборка, потому что она включает в себя не только то, что привычно рассматривается в качестве независимого астрономического явления, но и объяснение Галилея, самого Галилея и новые телескопические методы, необходимые для их наблюдения. «Реалист мог бы сказать, что в 1600 году существовали сами фазы Венеры, но не человеческое знание о них. Но Латуру кажется, что этот реалистский разговор уже включает в себя время самого разговора, и он не желает допустить, что мы можем говорить о референте (в данном случае о времени в прошлом), имеющем независимую от акта обращения значимость» (Elder-Vass, 2015: 109). Аналогичные аргументы можно обнаружить и в ряде других случаев, включая несуществование ферментов до их открытия Пастером или утверждение, что мы не можем сказать, что Рамзес II умер от туберкулеза, поскольку такого заболевания не существовало в Древнем Египте.

Отрицание независимого от сборки внешнего реального наблюдается и в отношении социальных явлений: «Для социологов ассоциаций любое исследование любой группы любым социологом — это часть того, что определяет существование группы, ее сохранение, распад и исчезновение. В развитом мире нет такой группы, к которой бы ни был прикреплен хоть какой-нибудь инструмент социологического исследования» (Латур, 2014: 51). Здесь речь идет не том, что теории и результаты социологических исследований встраиваются в описываемые явления и изменяют их. Латур заявляет, что любое исследование социальной группы является частью ее существования независимо от того, насколько оно влияет на ее поведение. То есть «социальная группа не существует отдельно от наших описаний, а то, что мы называем социальной группой, представляет собой сборку, состоящую как из референта, так и из референций» (Elder-Vass, 2015: 108).

Центральная проблема «онтологического поворота» может быть резюмирована следующим образом: помимо неоспоримых последствий, которые влечет за собой «онтологический поворот» в социальных науках, предложенное «плоской онтологией» обновление не предусматривает или даже отрицает возможность самостоятельного онтологического обоснования природы и структуры социальной реальности, которое затем должно было бы развиваться в интерактивном режиме параллельно с конкретным предметным исследованием. Следовательно, некоторые особенно характерные направления «онтологического поворота» не предлагают онтологию, необходимую как для обновления социальной онтологии, так и для поддержки их собственных исследовательских проектов. Кроме того, «плоская онтология» структурно не способна придать содержание понятию реальности за пределами сборки, обеспечиваемому практиками и конкретными контекстами ее функционирования.

Возвращение эпистемологии

В связи с таким обесценением социального, нейтрализацией его априорно-онтологического обоснования возникает ряд вопросов: какова онтологическая «система координат», в соответствии с которой определяются «единицы» социального анализа? Существует ли вообще такая «система координат»? Является ли она универсальной, а если меняется, то по какой логике? Постановка этих вопросов, по сути, выводит исследование и его перспективы в плоскость текущей дискуссии о роли онтологии в социальных науках, которая выразилась, в частности, в противопоставлении априорно-онтологического и инструментально-прагматического обоснований социальных исследований (Lohse, 2017: 7; Lauer, 2019). В наши намерения не входит обсуждение дискуссии в целом, мы остановимся лишь на принципиальных ее установках, наиболее существенных для наших целей.

Аргумент о том, что социальную реальность невозможно объяснить, не уделяя должного внимания ее онтологическому обоснованию, является одним из наиболее характерных утверждений критического реализма. Основной упрек

критического реализма, адресованный конструктивистским, постмодернистским и интерпретативным подходам, состоит именно в отсутствии в них подобного обоснования практики научного исследования и формы научного познания. Однако онтологическое обоснование будет полагаться не на устаревшие позитивистские представления о научной деятельности, а на реалистские принципы, установленные в анализе естествознания Р. Бхаскаром (Bhaskar, 2008). С точки зрения критического реализма поиск универсальных закономерностей не может быть целью научной деятельности, поскольку события не следуют друг за другом в неумолимой последовательности причин и следствий, будучи детерминированы множеством влияний. В этом и заключается смысл научного эксперимента, позволяющего изолировать работу определенной структуры, контролируя или исключая другие влияния. Отсюда и необходимость в онтологическом различии между нетранзитивными объектами, или порождающими механизмами, с одной стороны, и событиями, с другой (Bhaskar, 2008: 11–14). Необходимость в экспериментальной деятельности вызвана тем, что порождающие механизмы неактивны, могут находиться в состоянии покоя или прикрываться другими объектами или порождающими механизмами. Именно потому, что порождающие механизмы могут быть вне связи с событиями, необходимо проводить эксперименты в закрытых системах, в которых отношение между первыми и вторыми становится более чем очевидным.

Но возникает важный вопрос: возможно ли локализовать нетранзитивные объекты в социальных науках? Социологические исследования происходят в «открытой системе», т. е. в ситуации, когда регулярности случайны и не могут быть установлены искусственно. В результате ключевая задача критического реализма заключается в разработке метода выявления нетранзитивных объектов или порождающих механизмов в области социального. Без такого метода научная обоснованность социального исследования становится спорной.

Предложение Д. Элдер-Васса, опирающегося на работы Р. Бхаскара и М. Арчера, состоит в том, чтобы приспособить общую онтологию эмерджентизма, заимствованную из области естественных наук, к объяснению социальных явлений⁴. В основе общей онтологии эмерджентизма, выраженной в мереологических терминах, лежит идея о том, что взаимодействующие части целого производят эмерджент-

4. Проблема онтологического обоснования научного исследования в равной мере, а возможно и острее, встает в «плоских онтологиях». Но поскольку в них запрещены априорные решения о природе реального, то здесь возникает чрезвычайная двусмысленность. Б. Латур предлагает онтологию 15 модусов существования, которые распределяются по пяти группам и определяются с помощью четырех критериев (Latour, 2013: 488–489). Но это не априорная онтологическая система, а следствие и инструмент эмпирической работы в областях науки, технологий, политики, религии и т. д. Апофатическая онтология объектов Г. Хармана очерчивает определенные формальные или структурные характеристики объектов в целом, но не в состоянии отличить реальные качества объектов от их случайных, или чувственных, качеств (Харман, 2015). То же самое справедливо и в отношении «онтокартографии» Л. Брайанта, в которой и математическое уравнение, и собака — это в равной степени машины, в том смысле, что они являются объектами, достигшими определенной степени внутренней консистентности и оперативной закрытости по отношению к внешней среде (Bryant, 2014).

ные свойства, т. е. каузальные силы, принадлежащие исключительно этому целому. Для критических реалистов подлинное научное объяснение — это объяснение с точки зрения каузальных механизмов. Конкретные явления можно объяснить после того, как определены порождающие их механизмы и каузальные силы. Если естественные науки объясняют природные явления таким образом, то логично предположить, что социальная онтология, способная идентифицировать части механизмов и каузальные силы, порождающие явления, значительно повысит объяснятельные возможности социальных наук. Д. Элдер-Васс, по сути, разрабатывает своего рода универсальный каталог каузальных сил, действующих в социальной реальности, начиная с социальных структур (организаций и того, что он называет «кругами норм») и их эмерджентных свойств. Его оригинальность как раз и заключается в выявлении этих механизмов и присущих им каузальных сил, следовательно, в обосновании социально-научного объяснения. Структурные элементы общей онтологии эмерджентизма кратко сформулированы в следующем отрывке:

Сущности, состоящие из частей (которые сами по себе являются сущностями), организованные особыми *отношениями* между частями и обладающие *эмерджентными свойствами* благодаря этим отношениям. Чтобы объяснить эти сущности, отношения и свойства, нам необходимо определить *механизмы*, с помощью которых части и отношения производят свойства, *морфогенетические причины*, которые в первую очередь превращают эту совокупность частей в эту совокупность отношений, и *морфостатические причины*, которые сохраняют их в таком состоянии. И как только мы вооружимся этими элементами, мы сможем продолжить объяснение *событий* и, возможно, их *регулярностей* или частичных регулярностей, показывая, каким образом взаимодействия эмерджентных свойств или причинных сил соответствующих сущностей *сообществуют* актуальные события. (Elder-Vass, 2007: 230)

Разумеется, признание того факта, что исследование и онтология взаимосвязаны так, что мы не можем изучать какое-то социальное явление без онтологических обязательств относительно его природы и структуры, не требует каких-либо онтологических предписаний к практике эмпирического исследования. Можно согласиться с тем, что «все научные исследования должны проводиться на основе некоторых онтологических предположений (например, „мир существует независимо от исследователя“)» и что онтология может как ограничивать, так и способствовать исследовательским проектам (Wan, 2012: 22). Но это совершенно не означает, что онтология гарантирует или обосновывает успешность исследования. Тем не менее в работах Д. Элдер-Васса универсальный каталог социальных сущностей с эмерджентными свойствами выступает именно в качестве подобной гарантии. Разумеется, никто не будет оспаривать ценность каталогизации социальных сущностей даже с учетом того, что она должна генерироваться итеративно, а ее результаты являются временными и преходящими, но вызывает сомнение именно

возможность фундаментальной и строго определенной спецификации «единиц» социальной реальности и их взаимоотношений.

В анализе эмерджентности кроется еще один пункт, вызывающий недоразумение. С одной стороны, эмерджентность рассматривается как фундаментальная характеристика социальности. Любое явление во взаимодействии с другими явлениями может формировать сущность с эмерджентными свойствами. При таком подходе эмерджентность обуславливает сложность и множественность социальной реальности, особенно если иметь в виду переплетение таких сущностей на уровне как целого, так и частей в рамках открытой социальной системы. С другой стороны, эмерджентность отождествляется со строго определенными типами социальных сущностей, состоящих из строго определенных частей и характерным типом отношений между ними. Неудивительно, что в конце концов онтологические обязательства в отношении сложности и множественности социальной реальности редуцируются к абстрактному каталогу социальных сущностей. Здесь нетрудно усмотреть возможные аналогии с эссенциализмом мейнстримсоциологии, пусть и в форме «умеренного эссенциализма», как в этом признается сам Д. Элдер-Васс (Elder-Vass, 2017: 92).

Инструментально-прагматическая альтернатива утверждает, что априорно-онтологическое обоснование не может гарантировать успех эмпирических исследований. Л. Цилипакос не исключает возможности систематизации онтологических сущностей, если только последнюю воспринимать не в качестве обоснования исследований, а скорее как методическое разъяснение понятий. Социальная реальность не нуждается в извне навязанном концептуальном порядке, даже если он заимствован из области науки. «Вместо тог чтобы соглашаться с кажущейся самоочевидностью онтологических проектов, у нас нет причин не спрашивать, почему мы должны поддаваться мистификации и, что особенно важно, есть ли смысл сетовать на отсутствие какого-либо онтологического основания для социальных наук (или для любой другой формы исследования, если на то пошло), когда на самом деле теоретические процедуры... не обеспечивают и не могут обеспечить такое обоснование» (Tsiliopoulos, 2014: 771). С. Кемп, который, без сомнения, вторит Б. Латтуру, утверждает, что онтологические характеристики социальной реальности невозможно идентифицировать до эмпирических исследований, отсюда их сомнительная ценность для регулирования последних. Онтологические обоснования критического реализма во многих отношениях убедительны в естественных науках, но их убедительность зависит от эмпирического (экспериментального) успеха научных аргументов, на которых они основаны. В области социальных наук онтология критического реализма не столь оправданна, поскольку полагается не на анализ успешных эмпирических исследований, а на определенные предположения здравого смысла о социальной реальности, которые невозможно синтезировать в непротиворечивую систему понятий (Kemp, 2005: 173). В некоторых отношениях О. Кивинен и Т. Пиироинен пошли в этом направлении еще дальше. Все онтологии реализма — как реляционные, так и эссенциалистские — представляют собой

результаты соглашений исследовательского сообщества по вопросам онтологии в контексте философской языковой игры. Соответствующие онтологии раскрывают не структуру реальности или необходимые условия научных исследований, а лишь априорные метафизические позиции их изобретателей: «Притворяться, будто эти позиции каким-то образом обеспечивают необходимую основу исследований, слишком часто ведут ни к чему иному, как к порочным кругам, к бесконечным битвам интуиций в ущерб методологически плодотворным дебатам, которые могли бы улучшить наши соционаучные практики» (Kivinen, Piirainen, 2006: 8).

Но если социальная онтология не может регулировать исследование, то как мы должны понимать ее роль? Этот вопрос обнажает общую проблему постпозитивистской социальной теории, связанную прежде всего с ее приверженностью к онтологическому и эпистемологическому релятивизму. Постпозитивизм — в отличие от позитивизма — допускает включение в социальную теорию онтологических предпосылок, благодаря которым восполняется брешь, создаваемая недоопределенностью, «недодетерминированностью» теории эмпирическими данными (Куайн, 2003: 45). То есть социальная теория включает в себя «сеть убеждений» (Куайн, 2003: 45), серию внутренне непротиворечивых положений о сверхисторических потенциалах исследуемых явлений, о фундаментальных процессах и свойствах, которые могут быть актуализированы в эмпирических условиях. Важно подчеркнуть, что онтологические предпосылки неопровергимы, поскольку формулируются безотносительно к их манифестиации в эмпирических условиях. Именно теория призвана объяснить, каким образом социальные явления реализуют собственные онтологические потенциалы, и в отличие от онтологических предпосылок она эмпирически опровергима. С учетом данного различия — онтологической рефлексии, формирования теории и эмпирического исследования — формулировка онтологических предпосылок допускает широкий спектр возможностей развития социальных явлений, разработку множества различных субстантивных теорий, относящихся к одному и тому же предмету.

Но поскольку вопросы об эпистемологическом доступе к реальности и о самой реальности неотделимы друг от друга, т. е. эпистемология — это всего лишь локальная версия онтологии, не только онтологические предпосылки, но и концептуальные допущения, встроенные в требования к знаниям, так же как и критерии, согласно которым они оцениваются, оказываются имманентными предмету исследования и релятивизируются. Таким образом, исключается не только онтологический, но и эпистемологический фундаментализм, т. е. возможность определения общих критериев для оценки требований к знаниям, поскольку они устанавливаются в результате исторического развития исследовательских сообществ так, что последние имеют свои собственные критерии оценки требований к знаниям, более того, одно и то же сообщество может иметь разные критерии для разных видов знаний.

Критический реализм видит выход из тупиков постпозитивистского релятивизма в постулировании сущностей за пределами нашего онтологического и эпи-

стемологического доступа к миру. Он настаивает на том, что онтологическая аргументации является необходимой предпосылкой научного познания реальности и что эмпирические исследования помогают уточнить и конкретизировать ее. Но гетерогенность, контингентность и пластичность социальности допускают множество соперничающих теорий, так что ее онтология не может быть ни полной, ни окончательной. Цель социальной онтологии не может заключаться в поиске и обосновании элементарных сущностей социального. В то же время антифункционалистская направленность эмпирических исследований без онтологических предпосылок представляется, во-первых, наивной, поскольку понятия и объяснительные структуры, используемые в этом исследовании, уже подразумевают какую-то, пусть и неявную, онтологию, во-вторых, догматичной, поскольку она странным образом привязана к позитивистской концепции познавательной деятельности, заключающейся в вере в непосредственно данное, во все то, что делают, говорят или пишут акторы-информанты. Онтология становится неотличимой от догмы: вместо того чтобы решать вопросы о том, как мы можем познать природу и структуру реальности, или определить, являются ли утверждения о мире истинными или ложными, достаточно ограничиться простым описанием непосредственно данного, практиковать «добровольную слепоту», как об этом заявляет Б. Латур (Латур, 2014: 82).

Конечно, возможность генерации «системы координат», пусть даже минимальной, в рамках которой мы могли бы начать говорить о социальной онтологии, остается открытым вопросом: как осмыслить само ее понятие, избегая нежелательных последствий «онтологического поворота» и не впадая в дилемму априорно-онтологического и инструментально-прагматического обоснований эмпирических исследований? Иными словами, что может служить ориентиром при формулировании такой онтологии? Если какой-нибудь теоретик, лучше осведомленный в перипетиях онтологического поворота в социальных науках, и должен поднять вопрос о роли онтологии, то три ориентира, объединенные под знаком возвращения эпистемологии, помогут лучше очертить ту область, в рамках которой можно вести дискуссию по поводу построения новой социальной онтологии.

Прежде всего это ориентир на гетерогенность и контингентность социального. Как мы уже предположили, первое, минимальное выражение этого ориентира в отношении к онтологии может быть сформулировано в терминах избыточности социального относительно любых его описаний. Этот ориентир представляет собой инверсию упомянутого нами принципа «недоопределенности» теории эмпирическими данными, выдвинутого У. В. О. Куайном, и выражает «недоопределенность» реальности теориями, т. е. ее избыточность относительно возможных описаний. Идея здесь состоит в том, чтобы исключить возможность тотализации, закрытия гетерогенного, контингентного социального. Таким образом удается избежать эссенциализма, поскольку никакая форма систематизации, каталогизации сущностей не в состоянии кодировать избыточное социальное. Очевидным образом мы выходим здесь за пределы эссенциализированной социальной онтологии

и вступаем в множественную, контингентную реальность, ни одно из описаний которой не будет адекватным именно в силу того, что они являются единичными или частичными формами, выполняющими функцию репрезентации невозможной тотальности социального.

Второй ориентир состоит в постулировании эпистемологического различия между познанием и реальностью, понятийной реальностью объекта и его онтологической реальностью, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы обеспечить критическую оценку и постоянный пересмотр первого от имени последней. Без эпистемологического различия все дискурсы о реальном оказываются в равной степени легитимными и несводимыми друг к другу. Радикально описательный подход не оставляет места для суждений относительно истинности объяснительных структур, нормативных суждений о желательности какого-либо конкретного результата. Эпистемологическое различие позволяет избежать «актуализма», сохранить пространство для априорного теоретизирования и категориального пересмотра, без отнесения его в отдельную или трансцендентную область реальности. С одной стороны, подобная перспектива предполагает онтологический монизм, т. е. имманентное и контингентное отношение познания к реальности. С другой стороны, такое представление ведет к установлению эпистемологического различия между ними, обеспечивающего критическое размыщение о реальности, частью которой оно является.

Наконец, выдвижение онтологических аргументов о природе и устройстве реальности может осуществляться только в единстве с эпистемологическим обоснованием объяснительных структур. Если мейнстримсоциология редуцировала онтологию к абстрактным вопросам эпистемологии, то «онтологический поворот» демонстрирует очевидную тенденцию подчинить эпистемологию онтологии, постулируя догматическое единство реальности и познания. Представляется маловероятным построение социальной теории исключительно на онтологических предпосылках, не полагаясь на эпистемологические и эмпирические проверки. Равенство онтологии и эпистемологии гарантирует, что связь между ними постоянно оценивается, критически анализируется и пересматривается исследовательским сообществом. Многих недоразумений, присущих, например, акторно-сетевой теории, можно было бы избежать, если поставить их в контекст эпистемологических целей и вопросов. Эпистемологическое суждение из догматического становится регулятивным. Выразимся яснее: если эпистемологическое суждение является принципом рефлексии, то отношение между объяснительными структурами и реальностью не регулируется заранее, а их согласие, если такое возможно, может проявиться только как предположение и ни в коем случае как догматическое утверждение.

Возвращение эпистемологии не тождественно восстановлению концептуальных споров мейнстримсоциологии. Это, несомненно, трюизм, но о нем следует напомнить, чтобы предупредить некоторые недоразумения. За последние несколько десятилетий эпистемология значительно усложнилась, она обогатилась целой

историей (в том числе благодаря «онтологическому повороту»), исключающей возможность того, чтобы ее возвращение принимало форму возврата эссециализма. С другой стороны, и это не менее важно, сегодня проблема эпистемологии встает перед нами в совершенно другом контексте. Преимущественный интерес к эпистемологии в мейнстримсоциологии был обусловлен необходимостью критики метафизики и самоопределения социальных наук. Если сегодня концепция эпистемологии должна быть создана заново, то только благодаря двойной критике эссециализма мейнстримсоциологии и тупиков «онтологического поворота». Это смещение контекста в значительной степени меняет саму формулировку проблемы, и все это происходит в тех пределах, которые еще предстоит изучить.

Заключение

В этой статье мы размышляли о масштабах и границах «онтологического поворота». Включение онтологии в концептуальный и методологический аппарат социальных наук предоставляет им богатую и разнообразную палитру представлений, постулирующих гетерогенность и множественность социального. Отказ от априорно-онтологического обоснования социального ведет к чему-то вроде эпистемологического агностицизма и, как следствие, к теоретическому плюрализму, неспособному придать содержание понятию реального за пределами социальных практик.

«Онтологический поворот», будучи истолкован подобным образом, обнаруживает ряд ограничений, проистекающих главным образом из невозможности построения общезначимой концепции эпистемологии, соответствующей новой ситуации в социальной онтологии. Предложенные ориентиры построения новой социальной онтологии тесно связаны с эпистемологическими требованиями, роль которых состоит прежде всего в деконструкции и ограничении явных и неявных онтологических допущений в свете постулируемого объяснительного подхода, в оценке отношений между различными объяснительными подходами в социальных науках.

Признание границ «онтологического поворота» не снижает, с нашей точки зрения, привлекательности новых онтологий, которые тем не менее нуждаются в эпистемологических инструментах концептуализации адекватности и значения требований к знаниям. Перед социальными науками стоит задача разработки эпистемологических и методологических принципов, достаточно сложных и чувствительных в отношении достижений «онтологического поворота». Более того, в решении этой задачи они могут в равной степени использовать новые онтологии, потенциал которых все еще находится в тисках противоречий между эмпирической ортодоксией и формирующими постэмпирическими альтернативами.

Литература

- Деланда М. (2017). Новая онтология для социальных наук / Пер. с англ. М. Потапова и С. Гавриленко // Логос. Т. 27. № 3. С. 35–56.
- Делез Ж. (1998). Различие и повторение / Пер. с фр. Н. Б. Маньковской и Э. П. Юровской. СПб.: Петрополис.
- Куайн У. В. О. (2003). С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков / Пер. с англ. В. А. Ладова и В. А. Суровцева. Томск: Изд-во Том. ун-та.
- Латур Б. (2007). Об интеробъективности / Пер. с англ. А. Смирнова // Социологическое обозрение. Т. 6. № 2. С. 79–96.
- Латур Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской. М.: ВШЭ.
- Латур Б. (2018). Политики природы: как привить наукам демократию / Пер. с фр. Е. Блинова. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Харман Г. (2015). Четвероякий объект. Метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозова и О. Мышкина. Пермь: Гиле Пресс.
- Bhaskar R. (2008). A Realist Theory of Science. L.: Routledge.
- Bryant L. R. (2014). Onto-Cartography: An Ontology of Machines and Media. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- DeLanda M. (2002). Intensive Science and Virtual Philosophy. L.: Continuum.
- DeLanda M. (2006). A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. L.: Continuum.
- DeLanda M. (2016). Assemblage Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- DeLanda M., Harman G. (2017). The Rise of Realism. Cambridge: Polity Press.
- Elder-Vass D. (2007). A Method for Social Ontology // Journal of Critical Realism. Vol. 6. № 2. P. 226–249.
- Elder-Vass D. (2008). Searching for Realism, Structure and Agency in Actor Network Theory // British Journal of Sociology. Vol. 59. № 3. P. 455–477.
- Elder-Vass D. (2015). Disassembling Actor-Network Theory // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 45. № 1. P. 100–121.
- Elder-Vass D. (2017). Material Parts in Social Structures // Journal of Social Ontology. Vol. 3. № 1. P. 89–105.
- Fox N. J., Alldred P. (2017). Sociology and the New Materialism: Theory, Research, Action. L.: SAGE.
- Gullinon J. S. (2018). Diffractive Ethnography: Social Sciences and the Ontological Turn. L.: Routledge.
- Holbraad M., Pedersen M. A. (2017). The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kemp S. (2005). Critical Realism and the Limits of Philosophy // European Journal of Social Theory. Vol. 8. № 2. P. 71–191.

- Kerimov T. Kh., Krasavin I. V. (2020). Ontology of the Multitude and Hierarchy of the Common // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. Vol. 13. № 8. P. 1298–1309.*
- Kissmann U. T., van Loon J. (2019). New Materialism and Its Methodological Consequences: An Introduction // Kissmann U. T., van Loon J. (eds.). Discussing New Materialism: Methodological Implications for the Study of Materialities. Wiesbaden: Springer. P. 3–18.*
- Kivinen O., Piiroinen T. (2006). Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 36. № 3. P. 1–27.*
- Latour B. (1988). The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard University Press.*
- Latour B. (2013). An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns. Cambridge: Harvard University Press.*
- Lauer R. (2019). Is Social Ontology Prior to Social Scientific Methodology? // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 49. № 3. P. 171–189.*
- Lawson T. (2003). Reorienting Economics. L.: Routledge.*
- Lohse S. (2017). Pragmatism, Ontology, and Philosophy of the Social Sciences in Practice // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 47. № 1. P. 3–27.*
- Luhmann N. (2006). System as difference // Organization. Vol. 13. № 1. P. 37–57.*
- Neyrat F. (2018). Atopias: Manifesto for a Radical Existentialism. N.Y.: Fordham University Press.*
- Pellizzoni L. (2015). Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature. Farnham: Ashgate.*
- Tsiliopoulos L. (2014). Theoretical Procedures and Elder-Vass's Critical Realist Ontology // Philosophy of the Social Sciences. Vol. 44. № 6. P. 752–773.*
- Wan P. Y. Z. (2011). Reframing the Social: Emergentist Systemism and Social Theory. Farnham: Ashgate.*

The “Ontological Turn” in the Social Sciences: The Return of Epistemology

Tapdyg Kerimov

Doctor of Philosophical Sciences, Head of the Chair of Social Philosophy, Ural Federal University

Address: Mira str. 19, Ekaterinburg, Russian Federation 620002

E-mail: kerimovt@mail.ru

In recent decades, there has been a significant increase in ontological research in the social sciences, the content and direction of which are described as an “ontological turn”. These studies set the formation of a new social ontology as their main goal. The article reveals the basic principles and content of this new social ontology, identifies controversial issues inherent in such

a method of its renewal, and formulates guidelines for the return of epistemology to overcome the undesirable consequences of the "ontological turn". Criticism of the «ontological turn» and the rationale for the return of epistemology are argued as follows; in the first section of the article, two possibilities of constructing a social ontology are considered, those of the essentialist ontology of mainstream sociology and the "flat ontology" of assemblage. The second section provides a critical analysis of three consequences of the "ontological turn": the problematization of the idea of the autonomous social; the neutralization of the a priori ontological reasoning of social research; and the denial of the real outside beyond the assemblage. In the third section, the consequences of the "ontological turn" are considered in the context of the current discussion about the role of ontology in the social sciences, which is expressed through the opposition of a priori ontological and instrumental-pragmatic justification of social research. To overcome such consequences, the following guidelines for the return of epistemology are formulated: the "underdetermination" of reality by theories; the epistemological difference between the conceptual reality of an object and its ontological reality; and the equality (covariation) of ontology and epistemology.

Keywords: mainstream sociology, essentialism, flat ontology, assembly, actualism, underdetermination of reality, epistemological difference

References

- Bhaskar R. (2008) *A Realist Theory of Science*, London: Routledge.
- Bryant L. R. (2014) *Onto-Cartography: An Ontology of Machines and Media*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- DeLand M. (2002) *Intensive Science and Virtual Philosophy*, London: Continuum.
- DeLand M. (2006) *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity*, London: Continuum.
- DeLand M. (2016) *Assemblage Theory*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- DeLand M. (2017) Novaja ontologija dlja social'nyh nauk [A New Ontology for the Social Sciences]. *Logos*, vol. 27, no 3, pp. 35–56.
- DeLand M., Harman G. (2017) *The Rise of Realism*, Cambridge: Polity Press.
- Deleuze G. (1998) *Razlichie i povtorenje* [Difference and Repetition], Saint Peterburg: Petropolis.
- Elder-Vass D. (2007) A Method for Social Ontology. *Journal of Critical Realism*, vol. 6, no 2, pp. 226–249.
- Elder-Vass D. (2008) Searching for Realism, Structure and Agency in Actor Network Theory. *British Journal of Sociology*, vol. 59, no 3, pp. 455–477.
- Elder-Vass D. (2015) Disassembling Actor-Network Theory. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 45, no 1, pp. 100–121.
- Elder-Vass D. (2017) Material Parts in Social Structures. *Journal of Social Ontology*, vol. 3, no 1, pp. 89–105.
- Fox N. J., Alldred P. (2017) *Sociology and the New Materialism: Theory, Research, Action*, London: SAGE.
- Gullion J. S. (2018) *Diffractive Ethnography: Social Sciences and the Ontological Turn*, London: Routledge.
- Harman G. (2015) *Chetverojakij object: metafizika veshhej posle Hajdegera* [The Quadruple Object: Metaphysics of Things after Heidegger], Perm: Gile Press.
- Holbraad M., Pedersen M. A. (2017) *The Ontological Turn: An Anthropological Exposition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Kemp S. (2005) Critical Realism and the Limits of Philosophy. *European Journal of Social Theory*, vol. 8, no 2, pp. 71–191.
- Kerimov T., Krasavin I. (2020) Ontology of the Multitude and Hierarchy of the Common. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*, vol. 13, no 8, pp. 1298–1309.
- Kissmann U. T., van Loon J. (2019) New Materialism and Its Methodological Consequences: An Introduction. *Discussing New Materialism: Methodological Implications for the Study of Materialities* (eds. U. T. Kissmann, J. van Loon), Wiesbaden: Springer, pp. 3–18.

- Kivinen O., Piiroinen T. (2006) Toward Pragmatist Methodological Relationalism: From Philosophizing Sociology to Sociologizing Philosophy. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 36, no 3, pp. 1–27.
- Kuajn U. B. O. (2003) *S tochki zrenija logiki: 9 logiko-filosofskih ocherkov* [From a Logical Point of View: 9 Logico-Philosophical Essays], Tomsk: TSU.
- Latour B. (1988) *The Pasteurization of France*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (2007) Ob interobjektivnosti [On Interobjectivity]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 2, pp. 79–96.
- Latour B. (2013) *An Inquiry into Modes of Existence: An Anthropology of the Moderns*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (2014) *Peresborka social'nogo: vvedenie v aktorno-setevuju teoriju* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory], Moscow: HSE.
- Latour B. (2018) *Politiki prirody: kak privit' naukam demokratiju* [Politics of Nature: How to Bring the Sciences into Democracy], Moscow: Ad Marginem Press.
- Lauer R. (2019) Is Social Ontology Prior to Social Scientific Methodology?. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 49, no 3, pp. 171–189.
- Lawson T. (2003) *Reorienting Economics*, London: Routledge.
- Lohse S. (2017) Pragmatism, Ontology, and Philosophy of the Social Sciences in Practice. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 47, no 1, P. 3–27.
- Luhmann N. (2006) System as Difference. *Organization*, vol. 13, no 1, P. 37–57.
- Neyrat F. (2018) *Atopias: Manifesto for a Radical Existentialism*, New York: Fordham University Press.
- Pellizzoni L. (2015) *Ontological Politics in a Disposable World: The New Mastery of Nature*, Farnham: Ashgate.
- Tsilipakos L. (2014) Theoretical Procedures and Elder-Vass's Critical Realist Ontology. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 44, no 6, pp. 752–773.
- Wan P. Y. Z. (2011) *Reframing the Social: Emergentist Systemism and Social Theory*, Farnham: Ashgate.

Феномен атмосферы как объект междисциплинарного исследования

Майя Мазаева

Магистр социологии, преподаватель кафедры всемирной истории и социально-политических

дисциплин, Западно-Казахстанский университет им. Махамбета Утемисова

Адрес: пр. Нурсултана Назарбаева, д. 162, г. Уральск, Республика Казахстан 090000

E-mail: maykanami@gmail.com

В статье рассматриваются особенности взаимодействия человека с атмосферой как феноменом, обретающим в современных исследованиях самостоятельный концептуальный и онтологический статус. Автор исследует существующие философские концепции атмосферы, которые актуализируют вопрос о введении новой категории «квазивещь» для определения явлений, не укладывающихся в традиционные представления о «вещи» и «предмете». Атмосферы как квазивещи познаются чувствующим телом (felt-body, Leib) и возбуждают чувственно-телесный резонанс, что, в свою очередь, затрагивает психофизиологическую проблему, имеющую междисциплинарный характер. В этой связи делается попытка комплексного обзора перспективных философских, социологических, психологических и физиологических предметных аспектов взаимосвязи между субъективным состоянием человека и объективной атмосферой. Особое место среди них занимает проблема создания и генерирования атмосфер, которая издавна изучалась разными видами искусства и на настоящий момент требует эстетико-теоретической концептуализации.

Ключевые слова: атмосфера, квазивещь, чувственное познание, чувствующее тело, физическое тело, психофизиологическая проблема, эмоции

В настоящее время феномен атмосферы находится в области интересов философии, социальных и гуманитарных наук (Griffero, 2019; Riedel, Torvinen, 2019; Trigg, 2021). В самих общих чертах «атмосфера»¹ представляет собой «эмоционально на-

1. Изначально понятие «атмосфера» (от неолат. *atmosphaera* [*atmos* — пар, *sphaera* — шар]) означало газовую оболочку, окружающую Землю. В научный оборот оно было введено в XVII в. и использовалось в рамках естественных наук (в физике, химии; затем в XVIII в. в астрономии, оптике, гидрографии). С середины XVIII в. «атмосфера» употреблялась уже не только в научном дискурсе, но и в эстетическом; в частности, Д. Дидро одним из первых применил его к описанию пейзажей в «Салонах» (Дидро, 1989: 94–95). В XIX в. понятие «атмосфера» приобрело новые культурные оттенки и стало использоваться искусствоведами и поэтами-символистами для описания отношений различного характера (социальных, психологических, сентиментальных и этических) не только между двумя или более людьми, но и между человеком и его физическим окружением. В начале XX в. понятие «атмосфера» становится частью архитектурного дискурса на фоне существенных изменений эстетических условий городской жизни в Европе вследствие урбанизации и индустриализации (Gaudin, Le Calvé, 2018: 7–8), однако в течение XX столетия оно используется скорее спонтанно и в редких работах (Сапера et al., 2019: 3). После 1960-х проблема атмосферы начинает рассматриваться более углубленно и систематически в трудах Хубертуса Телленбаха (Tellenbach, 1968), Германа Шмитца (Schmitz, 1969, 2011, 2014), Гернота Бёме (Böhme, 1993), Тонино Грифферо (Griffero, 2014b, 2017, 2019) и др. Следует отметить, что начиная с 2000-х интерес к феномену атмосферы вновь усиливается в контексте архитектуры и дизайна (Zumthor, 2006; Pallasmaa, 2014; Borch, 2014; Griffero, 2019), вместе с тем постепенно расширяется проблематика изучения атмосферы, охватывая области исследования горо-

сыщенное пространство», доступное субъективному восприятию. Как отмечает немецкий философ Гернот Бёме, атмосфера означает нечто неопределенное и расплывчатое, но вместе с тем определенное по своему *характеру*, что позволяет нам охарактеризовать атмосферу с помощью обширного набора слов, таких как безмятежная, меланхоличная, угнетающая, возвышенная и т. п. (Böhme, 2003: 113–114). Внимание научного сообщества к данному феномену в своей сути обусловлено интересом к механизму *взаимодействия* человека и атмосферы. Исследование данного механизма оказывается актуальным по нескольким причинам. Во-первых, фундаментальные знания об атмосфере способствуют более глубокому пониманию ее природы и несут ценность для дальнейшего развития философской мысли, в частности, эстетики, феноменологической философии, а также социальных и гуманистических наук, например, психологии, социологии, этнографии и др. Во-вторых, знания о том, как конкретно атмосфера может создаваться, оказываются чрезвычайно востребованы в *искусстве и практических сферах* деятельности: архитектуре, театральном искусстве, музыке, литературе, киноискусстве, дизайне, а также маркетинге, туризме, организации различных событий и т. д. В-третьих, в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с разными атмосферами, в некотором смысле это представляется *само собой разумеющимся*: люди свободно употребляют это понятие в своей речи, сравнивают «атмосферы» разных мест и мероприятий, пытаются создавать свою атмосферу дома и т. п. Контраст «самоочевидного» существования атмосферы в повседневной жизни и отсутствия четкой категории атмосферы в научной литературе вызывает по меньшей мере интерес. В этой связи необходимо тематизировать атмосферу, произвести ее рефлексию и сделать ее «самоочевидность» темой научного дискурса (Филиппов, 2009: 13). При этом и в повседневной жизни *рефлексия* нашего взаимодействия с атмосферой может помочь нам стать более *чуткими* к собственным состояниям, научиться анализировать воздействие определенных атмосфер, в конечном счете пытаться контролировать этот процесс, по крайней мере, в отношении самих себя.

Основная проблема в изучении атмосферы — в *неопределенном* онтологическом статусе этого феномена (Böhme, 1993: 114). Иными словами, среди исследователей до сих пор нет консенсуса относительно того, что представляет собой атмосфера и «где ее искать». Трудность однозначного ответа на данный вопрос связана с тем, что атмосфера пространственна, невещественна, невидима, тесно связана с чувственным опытом, эмоциональными реакциями. Пространственность атмосферы предполагает ее тесную связь с определенным пространством или объектом в нем. Невещественность атмосферы означает, что она воплощена не в качестве оформленной вещи, имеющей явные количественные свойства (длина, ширина, высота, объем и т. п.), но в *ином* состоянии. Ее нельзя буквально потрогать. Невидимость атмосферы подразумевает, что мы не можем непосредственно ее наблюдать. В то же время мы способны *субъективно переживать* атмосферу: чувствовать ее, полу-

дов (Anderson, 2009; Adey, 2014), домашнего пространства (Pink, Leder Mackley, 2014), музыки (Riedel, Torvinen, 2019) и др.

чать эмоции, сохранять воспоминания о ней, а также выражать «чувство атмосферы», как правило, с помощью языка (Griffero, 2020: 46).

Данные особенности атмосферы бросают ряд вызовов для ученых и философов. Невещественность и невидимость как свойства атмосферы рождают претензии к *реальности* ее существования. Эта позиция изначально исходит от естественных наук, в частности, физики и биологии, которые сосредотачиваются на экспериментальном изучении явлений физического мира и отвергают возможность существования любых феноменов, не подпадающих под известные науке объективные законы (Гуссерль, 2004: 99). Наука, преобразив материальный мир, ограничилась им, сделав упор прежде всего на его легко измеряемые и наблюдаемые физические свойства, но вместе с тем многие специфические явления вроде атмосферы остались без внимания. К слову, те же газы, хотя и являются несколько «расплывчатыми» сущностями и имеют особые свойства, сегодня являются обыденностью для науки и людей. Например, некоторые газы (окиси углерода, гелий, азот и др.) невидимы, не имеют вкуса и запаха, их можно обнаружить только с помощью специальных детекторов, при этом они кардинальным образом способны воздействовать на человеческий организм, что было доказано опытным путем в процессе развития науки, следовательно, сегодня в их существовании не остается сомнений. Специфика свойств атмосферы еще *не является доказательством* того, что она не существует, а скорее указывает на то, что природа атмосферы требует более тонких исследовательских подходов, пусть это — и вопрос времени. В целом же на сегодняшний момент сама методологическая установка естественных наук и философских направлений вроде физикализма и, соответственно, отсутствие адекватных исследовательских методов делают для них *недоступным* изучение таких феноменов, как атмосфера.

Ключом к пониманию данного феномена может стать *субъективное переживание атмосферы*, и начать стоит с *признания реальности* этого переживания. И хотя на сегодняшний момент существует немного эмпирических исследований, посвященных атмосфере и ее восприятию (Dekel, Vinitzky-Seroussi, 2017; Ольденбург, 2014; Бредникова, Запорожец, 2016; Санера et al., 2019), тем не менее такие исследовательские поиски и повседневное «само собой разумеющееся» полагание атмосферы позволяют утверждать, что *подобное переживание реально*, соответственно, атмосферы реальны. Это побуждает нас двигаться дальше.

Именно *чувственное познание* представляется наиболее оптимальным (если не единственным) способом взаимодействия с атмосферой в силу специфики ее свойств. Но и здесь мы сталкиваемся с дискуссионностью междисциплинарных проблем чувственного познания и психофизиологии. Когда мы спрашиваем о том, что значит чувствовать окружающий мир, как взаимосвязаны тело и психика, тело и сознание, мы получаем больше вопросов, чем ответов. Философия, психология и физиология предлагают несколько десятков разных концепций, но научный спор о проблематике физиологического — психического — сознательного до сих пор не решен, хотя присутствует понимание того, что любой односторонний под-

ход к изучению психики оказывается малопродуктивным (Ноздрачев, Щербатых, 2021: 160). Пока же физиологические понятия (нейроны, нервные импульсы, возбуждение и т. д.) очень слабо сопрягаются с психологическими терминами (восприятие, мысли, чувства, воображение и т. д.) (Там же: 169). Проблема восприятия атмосферы представляется комплексной, т. к. актуализирует широкий круг вопросов, относящихся к области философии, психологии, физиологии и др., ответы на которые следует искать сообща. Постараемся проиллюстрировать хотя бы малую часть из них.

Начнем с философии, где на сегодняшний момент сделаны первые шаги. Здесь в основе разработки темы атмосферы находится *проблематика живого чувствующего тела (Leib) и материально-анатомического тела (Körper)*², а также *вещи и «квазивещи»*. Концептуальное различие между понятиями *Leib* и *Körper* было разработано Э. Гуссерлем в «Идеях II» (Husserl, 1989). Гуссерль рассматривает *Körper* как физическое тело, а *Leib* как *одушевленное тело*, которое а) человек осознает как «свое» и которым он вправе *сам* распоряжаться; оно б), передавая ощущения от окружающего мира посредством *Körper*³ (Гуссерль, 2005: 390), является носителем (*medium*) всякого восприятия и перцептивного опыта (Husserl, 1989: 61). И *Leib* и *Körper* не даны нам как таковые, но оба конституируются сознанием. Различие данных понятий оказывается существенным для исследования феномена атмосферы, которое одним из первых осуществил немецкий философ Герман Шмитц⁴, основатель проекта «Новая феноменология» (Neue Phaenomenologie). Новая феноменология (Schmitz, 1969), с одной стороны, следует феноменологической и фундаментально-онтологической традиции, а с другой — предлагает новый подход к интерпретации телесности и фокусирует внимание на *непроизвольном жизненном опыте* (Шмитц, 2014: 200–201). Последний Шмитц рассматривает как «все, что происходит с человеком в чувственной форме без его сознательного конструирования» (Griffero, 2019: 11). Непроизвольный жизненный опыт находился на периферии философского интереса, если не в полном забвении, в течение приблизительно 2400 лет, начиная с V в. до н.э. в Древней Греции, вследствие преобладания в философии (а затем и в психологии) *парадигмы, характеризую-*

2. В немецком языке *Leib* связан с глаголами *leben* (жить) и *erleben* (испытывать, переживать), а также прилагательным *lebendig* (живой); *Körper* происходит от латинского *corpus* и обозначает физическое тело человека, а также небесные и геометрические тела. В английском языке для обозначения тела используется только слово *body*, поэтому для передачи более точного смысла понятий *Leib* и *Körper* в переводах используются *physical/material body* и *lived/animated body*, а также *objective body* и *subjective body* (Slatman, 2019: 204).

3. «Я воспринимаю, кинестетически ощупывая посредством рук, так же точно визуально воспринимая посредством глаз и т. д., и в любой момент могу так воспринимать; причем эти кинестетические ощущения органов протекают в Я делаю и подчинены моему Я могу; далее, я могу, введя в игру эти кинестетические ощущения, толкать, двигать и т. д., и потому действовать телесно, непосредственно, а затем опосредованно» (Гуссерль, 2005: 390).

4. Герман Шмитц (1928–2021) — немецкий философ, основатель проекта «Новая феноменология» (Neue Phaenomenologie), автор 5-томного труда «Система философии» (System der Philosophie), написанного с 1964 по 1980 г. и содержащего более 5000 страниц.

щейся психологизмом, редукционизмом и интроверсией (*Innenweltdogma*). Ее суть состоит в том, что эмоции и чувства сводятся к психике индивида, его «закрытой» внутренней сфере, соответственно, внешний мир представляется семантически и аффективно пустым, лишенным всего, что могло бы *извне* оказывать влияние на эмоциональное состояние индивида, «завладеть» им. Опыт человека превращается в «черный ящик», из которого пять чувств «выходят» во внешний мир только «под честное слово» (*on parole*), слабо свидетельствуя о нем. При этом необъяснимо, как субъект может покинуть такую закрытую для внешнего мира «коробку» (Griffero, 2019: 22–23), неясно, что происходит во внешнем мире «между» двумя «закрытыми» субъектами (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 247). Кроме того, Шмитц указывает на *физиологизм*, сыгравший большую роль в чрезмерном акценте на *Körper* в ущерб *Leib*. Под физиологизмом он понимает «учение, согласно которому послания из внешнего мира достигают человека лишь при посредстве определенных частей тела, таких как глаз, ухо, кожа, нос, периферийная нервная система и мозг, и лишь в той мере, в какой эти части тела принимают, получают и пропускают определенные раздражения» (Шмитц, 2014: 203). *Innenweltdogma*, а также физиологизм — своего рода непроходимая преграда, которая не позволяла приблизиться к изучению феноменов, в т. ч. таких как атмосфера, являющихся частью бытия, но в то же время не укладывающихся в рамки подобной парадигмы, что в итоге привело к глубокому искажению восприятия мира и нас в нем (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 244).

В этой связи Шмитц предлагает теперь сосредоточиться на *Leib* или «чувствующем теле», способном воспринимать более обширный спектр переживаний, которые нельзя свести сугубо к физиологическому восприятию с помощью органов чувств (*Körper*). Чувствующее тело можно определить как «носителя (medium) эмоциональной жизни» (Böhme, 2003: 130). Нашему чувствующему телу доступно восприятие *предразмерного* (*pre-dimensional*), *бесповерхностного* (*surfaceless*) пространства. Предразмерность подразумевает, что оно «существует до» измеримого трехмерного физического пространства, которое есть уже производное от него, теоретически устоявшаяся конструкция (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 244). Бесповерхность означает, что такое пространство не поддается восприятию с помощью зрения и осязания и не включает вещественные объекты, имеющие поверхность границы. Это пространство наполнено явлениями, которые Шмитц онтологически определяет как «полувещь» (*Halbding*) (*Ibid.*: 246); еще один термин «квазивещи» (*quasi-things*) предложил итальянский философ Тонино Грифферо, последователь Шмитца (Griffero, 2017: 7). Концептуальный ход Шмитца состоит в том, чтобы ввести понятие «полувещь», уравняв его с понятием вещи (имеющей «полную сущность») (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 246). Если вещи характерны для физического трехмерного пространства, то полувещи не имеют вещественной основы и представлены в бесповерхностном пространстве. В отличие от вещей, полувещи появляются и исчезают, но мы не можем здраво сказать, куда они ушли и как существовали все это время (Griffero, 2017: 12); они вневременны и не имеют

поверхностных границ (Ibid.: 16). Примеры полувещей — атмосферы, звуки (голоса, мелодии и т. п.), время, свет и т. п. (Ibid.: 18).

Шмитц переосмысливает сущность чувств и эмоций, «освобождает» их от интроекции и переносит в бесповерхностное пространство, наделяя самостоятельным онтологическим статусом (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 25)⁵. Эмоциональное становится квазивещным (Griffero, 2017: 24), оформляется в атмосферы. Тем самым, благодаря методологическому акценту на чувствующем теле, открытию бесповерхностного пространства и введению понятия «полувещь», нам становится доступным изучение атмосфер.

Атмосферы есть полувещи в форме определенных чувств и эмоций, находящиеся в бесповерхностном пространстве *вне* субъекта. Например, атмосфера веселого праздника, похорон, дома, переполненного метро, храма, природы т. д. Атмосферы *пространственны* в том смысле, что они *пронизывают* физическое пространство, *насыщают* его определенными чувствами и эмоциями и *излучаются* (radiate) вещами, событиями, окружающей средой (Ibid.: 26), людьми и даже целыми народами, культурами и т. д. (Ibid.: 70). При этом атмосферы несводимы полностью к объектам пространства, но, по мнению Грифферо, представляют собой *нечто большее, je-ne-sais-quoi* (Griffero, 2014b: 6).

Атмосферы содержат в себе определенное *значение* (meaning) (Griffero, 2014b: 6), имеют *индивидуальность*, которая делает их в определенных пределах *узнаваемыми* и *лингвистически выражаемыми* (Griffero, 2020: 46). В этой связи уместнее говорить об атмосферах во *множественном* числе, имея в виду совокупность их разного эмоционального тона и смыслового содержания, и об атмосфере в *единственном* числе, подразумевая какую-то конкретную. Например, перемещаясь физически в пространстве, из дома в театр, мы можем почувствовать по пути множество разных атмосфер: свой дом, затем улицы, метро и, наконец, театр. Рассказывая об атмосфере любимого кафе своему другу, мы имеем в виду как бы «одну» определенную атмосферу. И хотя в силу своих свойств она не имеет совершенно точного физического местоположения, которое мы обычно подразумеваем в географических координатах, все же она *может быть локализована*, связана с определенным местом или объектом. В этой связи атмосферы *обладают и границами* в бесповерхностном пространстве, только опять-таки не в физическом смысле, но более «расплывчатыми» (Griffero, 2017: 61). Это особенно остро чувствуется, например, в студенческом общежитии, где в комнатах у каждого студента есть свой «угол», его атмосферно насыщенное место.

Атмосферы *объективны*, находятся *вне* субъекта. Добавим, что Шмитц придерживается практически полной десубъективизации эмоций; мы же склонны к точке зрения Тонино Грифферо (Ibid.: 14), который признает наличие и субъективных

5. Шмитц приводит пример, демонстрирующий, что чувства субъекта не приватны, но объективны: «Если в зале, в котором теснятся 100 человек, начнется пожар, позднее скажут, что вспыхнула паника, а не вспыхнули сто паник, а под паникой в любом случае понимается (слепой, коллективный) страх, а не только стремительное хаотическое движение» (Шмитц, 2014: 207).

эмоций, и объективной атмосферы. Так, мы можем испытывать эмоции и чувства непосредственно, наблюдать за ними с «отстраненным отношением» (*distanced attitude*), говорить о них с другими и почти полностью понимать друг друга, а также размышлять об их эффективности с помощью контрафактических утверждений и искусственных ситуационных манипуляций (*Ibid.*: 24). В целом такой подход открывает более широкую перспективу изучения природы эмоций и чувств, атмосфер, а также дает методологическую основу для исследования *взаимодействия* между субъектом и атмосферой, между носителями определенных эмоциональных состояний.

Наше чувствующее тело находится в постоянной непосредственной вибрирующей/пульсирующей *сонастроенности* (*vibrant attunement*) с бесповерхностным пространством, состоящим из атмосфер (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 244). Сонастроенность предполагает взаимосвязь между субъективным состоянием человека и объективной атмосферой. Проиллюстрируем этот процесс.

Атмосфера воздействует на человека: она сталкивается с его чувствующим телом и возбуждает чувственно-телесный резонанс (отклик) (Griffero, 2017: 23). Последний может проявляться в изменении эмоционального состояния, двигательных впечатлениях (*motor suggestion*) и синестетических впечатлениях (*synesthetic impressions*) субъекта (*Ibid.*: 37). Атмосферы, несущие определенный эмоциональный заряд, тон (радости, восторга, умиротворения, грусти, тревоги и др.), вызывая резонанс у субъекта, способны настраивать его эмоциональное состояние под «свой» тон. Поэтому, например, человек, пришедший на встречу к друзьям в шумное и веселое кафе, скорее всего, проникнется этой атмосферой дружелюбия и веселья и его настроение улучшится. В этой связи характерно исследование американского социолога Рэя Ольденбурга (Ольденбург, 2014), автора концепции «третьего места» («первое» — дом, «второе» — работа). «Третье место» может являться местом досуга в форме развлечений и общения, местом рекреации и отдыха, где важнейшую роль играет атмосфера. В качестве таких мест Ольденбург называет английские пабы, французское кафе, американскую таверну, классические кофейни, немецко-американские «пивные сады» и т. п. Взаимодействия (в частности, общение), которые творят эту атмосферу, имеют определенный эмоциональный тон, совмещающий несколько качеств: радость, оживленность и легкость. Радость — это эмоция, которую вызывает благополучие; оживленность предполагает достаточно подвижный темп; легкость подразумевает освобождение от обязательств или нарушение монотонности (Там же: 109). Такой эмоциональный тон задается благодаря смеху и свободе самовыражения. Здесь люди могут выпустить наружу свои эмоции, чувства и мысли, которые приходится держать внутри в других ситуациях. Таким образом, атмосфера здесь — мощный магнит, притягивающий людей в эти места, т. е. существенный фактор, влияющий на поведение.

Резонанс проявляется и в *двигательных впечатлениях*, под которыми подразумеваются «внутреннее воспроизведение движения» (Griffero, 2014b: 48), идеомоторный эффект. Так, организм реагирует на атмосферы, а также и на образы (внешние

и ментальные), звуки, запахи посредством *физиологических процессов и мышечных воздействий* (возбуждение и дрожь, пульсация сердца и т. д.) (Ibid.: 50). Например, как отмечает Грифферо, вполне оправданно, что темный лес, не позволяющий свободно передвигаться или наблюдать (темнота, туман, плохо очерченные предметы, такие как листва, кусты и т. д.) и наполненный неразборчивыми звуками неизвестного происхождения, рождает беспокойство и чувство слежки, что эмоционально и телесно ощущаются любым, кто разделяет такой опыт (Ibid.: 52). Другой двигательной реакцией является *расширение и сжатие тела*, связанное с дыханием. Характерными примерами телесного расширения являются созерцание красивого пейзажа, первые вдохи свежего воздуха на улице после душного помещения и т. п.; телесное сокращение же происходит в состоянии шока, паники или стыда, в атмосфере общественного порицания и т. п. (Schmitz, Müllan, Slaby, 2011: 245). *Синестетические впечатления*, вызываемые атмосферой, представляют, на наш взгляд, большой научный интерес. Синестетические качества выходят за рамки выделения отдельных видов восприятия (цвета, температура, свет и т. д.). Так, цвет воспринимается не только как красный или коричневый, но и как яркий (светлый) или теплый (температурный). Звуки вызывают ассоциации как тяжелые, плотные или твердые (масса), но также как темные (свет), холодные (температура) или быстрые (скорость) (Julmi, 2016: 4). То же справедливо и для атмосфер: они могут быть восприняты как «светлые» или «темные», «теплые» или «холодные», «тихие» или «шумные» и т. д.⁶

Воздействуя на нас, атмосфера обладают *властью*, способностью «завладевать нами», изменять наше состояние. Интересной, на наш взгляд, представляется идея о том, что *атмосферы* бывают *различными по своей силе вовлечения* (Грифферо 2016: 242): одни влияют на нас сильнее, другие слабее. Более того, между атмосферами может происходить как *единение*, так и *противостояние*, в котором побеждает та, что наделена большей властью. Единение атмосфер происходит в совместной сонастроенности, своего рода эмоциональной синтонии (Там же: 252). Метафорой атмосферного единения, по нашему мнению, может служить хор, где человеческие голоса сливаются воедино в гармонию, а их совместное звучание становится значительно громче, чем один человеческий голос. В качестве примера можно привести атмосферу мужества воинов, несущихся с решимостью навстречу противнику, массовые празднества и торжества, в т. ч. в честь Нового года, Дня Победы и т. д. Противостояние атмосфер же образуется в несовпадении такой эмоциональной синтонии. Например, как отмечает Т. Грифферо, «побеждающей» атмосферой может оказаться символически глубокая торжественность, подействовавшая на того, кто вошел в церковь случайно или во власти дурных намерений» (Там же: 252).

6. Так, например, синестетические качества активно используются для создания *атмосферы Рождества* в различных магазинах, где ароматы сосны, корицы и глинтвейна сочетаются со звуками традиционных гимнов и праздничных поп-мелодий; здесь конечная цель — привлечение покупателей в магазины благодаря «теплой» и «радушной» атмосфере (Julmi, 2016: 7).

Почему и как именно так происходит — этот вопрос концептуально еще мало разработан. Стоит особое внимание уделить *факторам восприятия атмосфер*, которые обуславливают как единство, так и разнообразие реакций. Так, все могут чувствовать атмосферы, этот процесс *интерсубъективен и публичен* (Griffero, 2017: 4). Благодаря этому атмосферы многих мест, событий, вещей и т. п. воспринимаются схожим образом. Например, атмосфера величественных пейзажей волнует и притягивает многих людей по всему миру. Вместе с тем такие факторы как личная биография субъекта, его установки, текущее эмоциональное, физиологическое состояние, контекст ситуации, осознаваемый или нет, накладывают отпечаток на *восприимчивость* к атмосферам, их *узнавание* и *отношение* к ним. Собственное эмоциональное состояние субъекта может служить либо «завесой», закрывающей и не впускающей внешнюю атмосферу, либо, наоборот, способствовать большему вовлечению в нее. Примечательным является пример ситуации у Шмитца (Schmitz, 2003: 47–48), когда веселый человек, встречая печального (по «серьезным» причинам) человека, стремится не подбодрить его, побудить вернуть себе силу духа, но вместо этого сдерживает или совсем скрывает свою радость из уважения к личному пространству другого. Так происходит потому, что атмосферная печаль, исходящая от людей или вещей, наделена большей властью, чем атмосферная радость. Поэтому человек в печали обычно чувствует себя более вправе, чем человек веселый, погружаться в атмосферу, которая от него исходит и окружает его; и он не только ощущает резкий атмосферный контраст, соприкасаясь с радостной атмосферой (что усугубляет его печаль), но также и считает себя вправе более или менее явно протестовать против того, что он рассматривает как неоправданное (несправедливое?) счастье других (Грифферо, 2016: 251).

Еще одним фактором является *физиологическое состояние субъекта*, которое также оставляет след на восприятии атмосфер. Даже самая радостная атмосфера праздника может оказаться не воспринятой в полной мере субъектом, у которого вдруг сильно заболел зуб. Или, к примеру, как пишет М. Хайдеггер, «расстройство желудка может вызвать мрачное отношение ко всему на свете. Все, что обычно воспринималось равнодушно, внезапно начинает раздражать и мешать» (Хайдеггер, 2006: 101–102). В зависимости от *контекста* ситуации, а также понимания смысла, значения атмосферы, можно почувствовать ее более или менее глубоко. Грифферо приводит в пример сравнение — пребывание в церкви в качестве туристов, ожидающих автобуса, который отвезет их в другое место, и пребывание там верующих, ожидающих встречи с Богом (Griffero, 2014а: 30). Предполагается, что вторые глубже понимают значение атмосферы в церкви и больше вовлечены в происходящее. Или, например, если раньше атмосфера больницы вызывала страх, то начав там работать, субъект может почувствовать, что ему уже не страшно там, больница даже становится вторым домом, т. е. он привыкает к этой атмосфере (Griffero, 2018: 84).

Взаимосвязь атмосферы и субъекта предполагает и обратное влияние: *сам субъект может влиять на атмосферу*. Иными словами, действующий субъект

способен определять характер окружающего пространства. Подобный процесс взаимодействия может не казаться таким уж невероятным, т. к. даже физиологически организмы тесно связаны с окружающей средой посредством дыхания, теплообмена, иммунитета и т. д. Так и чувствующее тело, пребывая в бесповерхностном пространстве, способно *выделять* туда эмоции и чувства, *заполнять* его ими, создавать атмосферу, а также *вовлекать* туда других людей (Griffero, 2014b: 74). В этой связи Шмитц вводит понятие *инкорпорации*, означающее процесс, при котором «телесное самочувствие индивида выходит за пределы его тела» и «динамично-коммуникативным образом соединяется с партнерами или предметами». Инкорпорация призвана объяснить, как человек устанавливает чувственную связь с другими людьми и как благодаря этому процессу между ними возникает *общая (совместная) атмосфера*. В качестве примеров, иллюстрирующих инкорпорацию, он приводит общий труд (греблю, пиление, совместное музенирование), а также вечеринку, где люди вместе постепенно создают атмосферу веселья, раскованности и возбуждения (Шмитц, 2014: 218).

Мы выделяем чувства и эмоции из чувствующего тела в окружающее бесповерхностное пространство как *бессознательно*, так и *сознательно*. *Бессознательность* предполагает, что человек не контролирует, какие конкретно эмоции он выделяет в окружающую среду, это своего рода фоновый процесс, оставляющий их «следы» в бесповерхностном пространстве. В этой связи не зря употребляют выражение «выплеснуть эмоции». Как замечает Ян Слаби, грустный человек, излучающий «облако» печали, или человек, вспыхнувший от ярости, излучающий волны агрессии, представляют собой примечательные аффективные присутствия (presence) в сфере межличностного общения и даже вдохновляют на лингвистические изобретения — «cringeworthy» в английском языке или «Fremdschämen» в немецком (Slaby, 2019: 279). *Сознательное* выделение эмоций подразумевает управление ими, фокусировку определенного состояния в окружающее бесповерхностное пространство. Ярким примером может служить театр, где актеры *по сценарию* проецируют свое эмоциональное состояние вовне, тем самым создавая определенную атмосферу, которую чувствует зритель (Griffero, 2020: 180). Также атмосфера может создаваться как *индивидуально*, так и *коллективно*. В первом случае решающую роль играет одиничный субъект, во втором — группы, причем такая аффективная составляющая может способствовать *связи* участников пространственного взаимодействия, рождать у них чувство сопричастности и единения (d'Hauteserre, 2015; Duff, 2010).

Проблема *создания* и *генерирования* атмосферы имеет, на наш взгляд, серьезную теоретическую перспективу. Это своего рода краеугольный камень для искусства и практических сфер деятельности. Эту проблему разрабатывал Гернот Бёме в своем теоретическом проекте «Новая эстетика» (neue Ästhetik). Немецкий философ стремится переосмыслить суть эстетики как теории чувственного опыта и переориентировать ее на проблематику *создания атмосфер*, причем не только в сфере искусства, но и в повседневной жизни, политике, экономике. «Атмосфера» — клю-

чевое понятие новой эстетики. Бёме опирается на концепцию атмосферы Г. Шмитца, в частности, описывая основные свойства данного феномена (пространственность, невещественность, невидимость, связь с чувственным опытом субъекта), присутствие атмосферы у людей, вещей или пространств, но вместе с тем, рассматривает ее онтологию в отличной от Шмитца перспективе. Так, в трактовке Бёме атмосфера есть нечто промежуточное между объектом и субъектом (Böhme, 1993: 122)⁷. Он также указывает на понятие ауры Вальтера Беньямина (Беньямин, 1996), которое считает предтечей концепции атмосферы в эстетике, поскольку свойства ауры объектов во многом соответствуют свойствам атмосферы; например, для обоих понятий характерно определенное естественное впечатление или настроение и телесное восприятие его субъектом. Что касается создания атмосфер, то оно представляет собой целенаправленное использование *различных средств и способов* в работе с объектом (Böhme, 1993: 123). В качестве таких средств могут выступать звуки, запахи, свет, материалы, конструкции и др., при этом в каждой сфере деятельности есть свои особенности. Например, в *ландшафтном дизайне* с помощью сочетания воды, света и тени, цвета, деревьев, камней, строений, скал и т. д. можно создать пространства, где преобладает определенная атмосфера — безмятежная, героическая, меланхолическая или серьезная (Ibid.: 124)⁸. В целом идеи новой эстетики Бёме стали толчком для развития с начала 2000-х гг. проблематики атмосферы, в особенности в архитектуре (Canepa et al., 2019: 4; Böhme, 2017).

В контексте проблемы создания атмосфер актуальным становится и вопрос о том, *как* достигнуть *задумываемой* атмосферы, действительно ли только сочетание тех или иных средств и способов дает желаемый результат? Какую роль играет тот, кто непосредственно создает атмосферу? Исходя из концепции атмосферы Шмитца, «творение» атмосферы можно рассматривать как целенаправленную деятельность человека или групп людей, наполненную определенными смыслами и эмоциями разной силы. Например, в *музыке* существуют различные средства музыкальной выразительности, такие как ритм, темп, лад, регистр, динамика и т. д., которые имеют определенные функции⁹, символическое значение¹⁰, а также спец-

7. Согласно Бёме, с одной стороны, атмосфера представляет пространство, в котором вещи ярко выражают свое присутствие через «экстазы» (термин Бёме, означающий «исход вещи из себя», то, что вещь выделяет из себя вовне). Атмосфера подобным образом связана с вещами, они ее излучают. С другой стороны, атмосфера связана с субъектом, поскольку сообщает ему его расположность (Befindlichkeit), особое чувство того пространства, в котором он пребывает (Böhme, 2013: 16).

8. В качестве примера можно назвать пятитомный труд К. Хиршфельда (Hirschfeld, 2001), немецкого теоретика садоводства, философа и искусствоведа.

9. Так, например, *функция темпа* как скорости движения музыкального произведения состоит в упорядочивании его структуры, состоящей из соразмерных отрезков времени (Холопова, 2002: 109).

10. Символическое значение музыкальных средств выразительности проявляется в фиксации определенных смыслов, ассоциаций и образов, культурно и исторически обусловленных. К примеру, развитие звуковысотной линии приобретает у И. С. Баха следующее значение: «Мотив грехопадения Адама» в хорале «Durch Adams Fall ist ganz verderbt» изображает нисходящее движение, а в пасхальном пении «Erstanden ist der heilige Christ» воскресение изображается движением мелодии вверх (Лазутина, 2007: 57).

ифически влияют на физиологическое¹¹ и эмоциональное состояние¹² слушающего. Несмотря на то что музыкальные средства диктуют некоторые особенности их восприятия, они не исчерпывают сложности и глубины передаваемых чувств и эмоций. Особое значение здесь приобретает *атмосфера музыки*, которая всегда представляет собой *нечто большее, чем определенное сочетание звуков*. Атмосфера музыки есть чувства, эмоции и смысл, вложенные автором произведения и его исполнителем. Великие композиторы отличаются от всех остальных во многом именно способностью *создавать мощную атмосферу* в своих произведениях, а великие исполнители — способностью ее *передать, вовлечь* в нее слушателя. Значение атмосферы в музыке проявляется также в том, что атмосфера — *первое*, что ощущает субъект при восприятии музыки; после этого он различает свойства музыки (темы, мотивы, структуры, ритмы и т. д.) и интерпретирует фиксированные символические значения (Vaden, Torvinen, 2019: 47). В музыке, «фундаментальном атмосферном искусстве», по выражению Гернота Бёме (Böhme, 2000: 16), вопрос создания атмосферы является одним из самых важных и получает двоякое выражение в проблемах композиции и исполнения.

Конечно, обозначенные выше с точки зрения проблемы чувственного познания особенности атмосфер не исчерпывают всего многообразия философских аспектов данного феномена. Также и вопрос о создании и генерировании атмосфер является гораздо более обширным, чем это можно представить в ограниченных рамках статьи. Коль скоро проблема атмосферной эстетики многосложна, обратимся теперь к возможностям ее исследования с точки зрения социологии, психологии и физиологии.

Социологии оказывается доступным исследование лингвистически выражаемого результата чувственного переживания атмосферы, а именно — выявление субъективного «чувства атмосферы», а также представлений о ней. Люди могут выражать «чувство атмосферы», используя различные смыслы, ассоциации, имеющие эмоциональную окраску. С учетом того, что процесс восприятия атмосфер интерсубъективен, предполагается, что возможности социологии охватывать как достаточно большие, так и малые социальные группы позволят сформировать некоторые типичные аспекты выражения различными группами «чувства атмосферы»¹³. Исследование «чувств атмосферы», а также различных практик

11. Так, быстрый темп вызывает у слушателя эффект возбуждения, способствует учащению дыхания, сердечных сокращений, артериального давления; медленный темп — наоборот (Bernardi, Porta, Sleight, 2006) и т. д.

12. Например, быстрый темп в мажоре вызывает радость, медленный темп в миноре — грусть и т. п. (Hunter, Schellenberg, Schimmack, 2010: 47).

13. В этой связи можно исследовать социальные группы, различающиеся по полу, возрасту, семейному положению, образованию, материальному положению, этнической принадлежности, профессии (особенно в сфере искусства) и др. Основными исследовательскими вопросами, на наш взгляд, являются следующие: а) какие чувства и эмоции испытывают индивиды при переживании той или иной атмосферы (можно изучать как их «непосредственное переживание», так и воспоминания об атмосфере); б) как атмосфера влияет на их практики и решения (например, в контексте досуга, работы, дома, путешествий и т. п.); в) как атмосфера влияет на отношения с людьми; г) как атмосфера влияет

с ним связанных, позволит перевести их повседневную самоочевидность в дискурс социальной науки. Любое отношение людей к пространству, к атмосферам, коль скоро оно имеет значение для наблюдений, следует принимать в расчет (Филиппов, 2008: 255).

Выявление «чувств атмосферы» под силу *качественной социологии*, направленной на выяснение глубинных состояний индивидов и смыслов, придаваемых ими различным явлениям. Акцент на эмоциях и чувствах индивидов требует более тонких (не количественных) исследовательских методов, таких как глубинное интервью, включенное наблюдение, автоэтнография и т. п., чувствительных к мельчайшим подробностям подобного опыта. Качественный же подход можно применить для измерения и сравнения долей респондентов с тем или иным мнением относительно определенных атмосфер, а также степени удовлетворенности, согласия с теми или иными утверждениями об атмосферах и т. д.

Что касается теоретико-методологической базы социологического изучения атмосфер, на сегодняшний момент наиболее подходящими, на наш взгляд, являются феноменологическая философия, новая феноменология Германа Шмитца, концепция атмосферы Гернота Бёме, теория квазивещей и концепция атмосферы Тонино Гриффера и др., рассматривающие чувственный опыт, переживание жизненного мира, особенности атмосфер и их восприятие. Одним из немногих социологических подходов, в котором большое внимание уделено атмосфере, является неофеноменологическая социология (neophenomenological sociology), разработанная Робертом Гугутцером (Robert Gugutzer). Приставка «нео» демонстрирует ее альтернативность традиционной феноменологической социологии, базирующейся на идеях Э. Гуссерля и А. Шюца. Неофеноменологическая социология стремится выявить и проанализировать эмпирические явления, которым социология уделяет относительно мало внимания, но которые, как показывает Гугутцер, имеют важное значение для понимания социального мира (Gugutzer, 2020: 3). Речь идет об аффективной вовлеченности субъекта (affective involvement), чувствующем теле (felt-body) и атмосфере. Согласно Гугутцеру, *аффективную вовлеченность* следует рассматривать как априорную форму социальности, поскольку она всегда относится к кому-либо или к чему-нибудь и создает основу для телесно-чувственной коммуникации с другими людьми, животными¹⁴, вещами, атмосферами. Основной субъект рассматривается как *pathētēr*¹⁵, т. е. индивид, не как рационально действующий, но как чувственно-телесно вовлеченный в социальные события (Ibid.: 5). В этой

на отношение к тем или иным местам, вещам, событиям и т. п.; д) практики создания задумываемой атмосферы (дома, на работе, в процессе досуга, путешествий, а также в процессе различных видов деятельности). Конечно, список может быть продолжен, но это требует отдельного и более подробного рассмотрения.

14. В этой связи чувственно-телесная коммуникация между человеком и животным также может быть подвергнута социологическому исследованию. Например, взгляд собаки может о многом «рассказать» человеку и даже повлиять на его дальнейшее поведение (Gugutzer, 2020: 12). Кто не наблюдал печальных взглядов своих питомцев, «говорящих», что уже давно пришло время подкрепиться?

15. Термин *pathētēr* Гугутцер заимствует у немецкого географа Юргена Хассе (Hasse, 2010).

связи Гутуцер делает акцент на категории социального действия как *пассивно-переживаемого*, что, в свою очередь, позволяет конкретизировать социологическую перспективу изучения взаимодействий людей с *атмосферами* в чувственно-телесном аспекте. Немецкий философ также предлагает решение проблемы *intersubjektivnosti* с помощью чувственно-телесной коммуникации, а именно за счет взаимной инкорпорации, позволяющей преодолеть разрыв между *эго* и *альтер* *эго*. Взаимная инкорпорация предполагает чувственно-телесное взаимовлияние взаимодействующих участников, «инстинктивно уверенных, что имеют дело с другим сознательным субъектом» (Ibid.: 8). В качестве примера Гутуцер приводит обмен взглядами в ситуации стыда. Еще одним ключевым понятием в неофеноменологической социологии, выступающим в качестве онтологической основы форм и практик социальной жизни, являются *совместные ситуации* (*gemeinsame Situationen*), в рамках которых осуществляется чувственно-телесная коммуникация индивидов. Здесь фундаментом для описания понятия, структуры и видов ситуаций для Гутуцера служит теория ситуаций Шмитца, которую он адаптирует для социологии, что позволяет, по его мнению, решить проблемы сравнения личности и общества и устранить разрыв между теорией действия и теорией структуры. Совместные ситуации могут выступать в качестве основного уровня анализа, а чувственно-телесное общение — как его наименьшая единица (Ibid.: 12). Тем самым неофеноменологическая социология, предлагая методологию исследования чувственно-телесной коммуникации субъекта, предоставляет возможности для разработки конкретных эмпирических исследований, в том числе проблемы «чувств атмосферы». В целом же социологическое исследование атмосферы представляется нам перспективным направлением, способным эмпирически раскрыть многообразие аспектов взаимосвязи людей и атмосфер.

Феномен атмосферы рассматривается также в *психологии* с точки зрения *групповой динамики*, а также как *маркетинговый инструмент*. В рамках первого направления понятие атмосферы не является четко установленным (Julmi, 2017: 8), но в целом представляет собой характер эмоций, возникающих во *взаимоотношениях индивидов*. Здесь атмосфера полностью субъективна, не является объективной характеристикой группы и именно поэтому может по-разному восприниматься разными ее участниками (Ibid.: 9). Атмосфера как психологическая переменная измеряется количественно с помощью шкал. Так, например, Шкала групповой атмосферы (Group Atmosphere Scale) имеет 12 подшкал, каждая из которых содержит по 10 утверждений «верно-неверно» о групповом поведении (Silbergeld et al., 1975). Еще одним выражением идеи атмосферы в психологии выступает концепция *социально-психологического климата*. Терминологически данное понятие имеет различные выражения: морально-психологический климат, социально-нравственная атмосфера, психологический настрой, социально-психологическая обстановка и т. п. Изучение подобного климата основывается на выявлении особенностей поведения участников коллективов, их самостоятельной оценки, а также внешних параметрах (например, текучесть кадров, производительность, качество труда

и т. д.). Подчеркивается важность формирования «правильной» атмосферы в семье, в трудовых, научных, педагогических (особенно) и детских коллективах (Левин, 2000; Бойко, Ковалев, Панферов, 1983; Johannesson, 1973).

Исследования атмосферы в *маркетинге* рассматривают ее, например, в контексте торговых площадей, изучая влияние различных стимулов окружающей среды (например, цвета, температуры, света, акустики, запаха, вкуса) на восприятие. Такие исследования имеют прикладное значение, поскольку: а) демонстрируют влияние атмосферы на имидж предприятия, события, продукта (Kotler, 1973; Bitner, 1990; Turley, Milliman, 2000); б) позволяют выявить конкретные приемы и способы создания атмосфер, формирующих необходимое потребительское поведение (Spence et al., 2014). Основная парадигма, используемая в подобных исследованиях атмосферы — «Стимул — Организм — Реакция» (S-O-R). Организм (в данном случае покупатель) подвергается воздействию различных внешних стимулов окружающей среды, обрабатывает их и затем реагирует соответствующим образом. Однако среди ученых дискуссионным остается вопрос о том, к чему относится атмосфера — к внешнему стимулу или внутреннему состоянию (Julmi, 2017: 7). В поисках разрешения подобного дуализма некоторые психологи обращаются к концепциям Г. Шмитца, Г. Бёме, Р. Мюллана, Я. Слаби (Ibid.: 14), предлагающих *иное* видение проблемы субъективности-объективности и в целом *сущности* атмосфер.

В этой связи психология может *расширить* существующую проблематику и исследовать: а) субъективные чувственные ощущения различных атмосфер; б) особенности индивидуального поведения в атмосферах различных мест, событий и т. д.; в) субъективные впечатления и отношение к различным средствам создания атмосферы. Например, итальянскими учеными было проведено исследование атмосферы отдельных архитектурных пространств (Canepa et al., 2019), основой которого стала феноменологическая теория и теория воплощенного познания. Основная гипотеза исследования состояла в том, что человеческое тело может установить эмпатическую связь с окружающей искусственной средой (*built environment*), внутренне моделируя (*interiorly simulating*) ее некоторые архитектурные особенности (форму, пропорции, ритм, материалы, свет и тень, температуру, звуки). Предполагалось, что именно атмосфера способствует активизации и определению эмпатической связи между индивидом и архитектурной средой (Ibid.: 7)¹⁶. В результате исследования авторы определили четкое соответствие между предполагаемой индивидуальной способностью сопереживать опыту дру-

16. Авторами был проведен эксперимент, где 205 участникам предлагалось наблюдать в виртуальной реальности 21 вариант коридора, разделенный на 5 категорий в зависимости от дизайна. Для чистоты эксперимента категории различались только по одной атмосферной переменной дизайна. Предварительно участники заполнили анкету «Interpersonal Reactivity Index» (B-IRI) для оценки склонности к эмпатической отзывчивости. После просмотра коридоров кандидатам было предложено заполнить анкету, включающую вопросы для самооценки по шкале эмоционального возбуждения (*emotional arousal*) и эмоционального тона, валентности (*hedonic valence*) от 1 до 9 баллов. В результате была выявлена прямая корреляция между показателями индекса B-IRI и показателями возбуждения и валентности участников.

гого человека и потенциальной эмпатической реакцией на определенные конфигурации архитектурного окружения (*Ibid.*: 22).

Важной проблемой в контексте исследования атмосфер является *изучение и регистрация состояний индивида* в момент его взаимодействия с атмосферой. Этим занимаются *физиологи*¹⁷. Так, например, в 2005–2006 гг. японские ученые провели исследование физиологических эффектов прогулок «синрин-йоку» (Shinrin-yoku) (Park et al., 2010), подразумевающих контакт с лесной атмосферой и погружение в нее. В ходе исследований было выявлено, что встреча с атмосферой леса благотворно влияет на физиологическое и психическое состояние человека: снижается концентрация кортизола, частота пульса, кровяное давление, повышается активность парасимпатического нерва и т. п. (*Ibid.*: 25). На наш взгляд, подобные исследования в природной среде и в других пространствах, способные предоставить количественные данные об особенностях изменения состояний индивида в разных местах, могут послужить отправной точкой для своего рода «картографии атмосфер», хотя это пока гипотеза.

Подводя итоги, отметим, что феномен атмосферы открывает перед исследователями широкий горизонт разнообразных теоретических и практических проблем. Вместе с тем в дальнейшем уточнении и прояснении нуждается онтологический статус понятия атмосферы. Это, в свою очередь, создаст основу для систематического исследования его многообразных аспектов: чувственно-телесного резонанса при столкновении с определенными атмосферами, силы их воздействия, факторов их восприятия и, наконец, целенаправленного создания и генерирования атмосфер. Последнее позволит поставить вопрос о возможности управления атмосферами в разных сферах жизни, особенно в искусстве. Осмысленный подход к феномену атмосферы невозможен без объединения усилий разных дисциплин. Комплексное изучение атмосфер позволит нам обратить внимание на новые аспекты нашего существования и даст импульс развитию новых областей знания.

Литература

- Беньямин В. (1996). Произведение искусства в эпоху его технической воспроизведимости / Пер. с нем. С. А. Ромашко М.: Медиум.
- Бойко В. В., Ковалев А. Г., Панферов В. Н. (1983). Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: Мысль.
- Бредникова О. Е., Запорожец О. Н. (2016). Ветер, усталость и романтика ночи (об особенностях новых жилых массивов) // Laboratorium. № 2. С. 103–119.

17. Исследовательскими вопросами, вызывающими, по нашему мнению, интерес, могут стать следующие: а) как переживание разных атмосфер отражается на нашем теле физиологически (активность мозга, частота пульса, температура и т. п.); б) как при разных условиях (различные архитектурные пространства, время года/дня, природные явления, в т. ч. погода и т. п.) одна и та же атмосфера места может восприниматься человеком; в) как организм человека физиологически реагирует на различные архитектурные, музыкальные, изобразительные, театральные и прочие средства создания атмосферы.

- Гуссерль Э. (2004). Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую философию / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Владимир Даль.
- Гуссерль Э. (2005). Избранные работы / Сост. В. А. Куренной. М.: Территория будущего.
- Грифферо Т. (2016). Кто боится атмосфер (и их власти)? / Пер. с англ. Д. А. Павловой, А. В. Полякова, Ю. А. Щёкотова под ред. С. С. Хоружего // Фонарь Диогена. № 2. С. 240–263.
- Дидро Д. (1989). Салоны. Т. 2 / Пер. с фр. И. Я. Волевич и др. М.: Искусство.
- Лазутина Т. В. (2007). Символотворчество в музыке И. С. Баха // Вестник Томского государственного университета. № 1. С. 55–60.
- Левин К. (2000). Разрешение социальных конфликтов / Пер. с англ. И. Ю. Авидон. СПб.: Речь.
- Ноздрачев А. Д., Щербатых Ю. В. (2021). Физиология и психология — диалектика взаимодействия при решении психофизиологической проблемы // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. Т. 107. № 2. С. 154–176.
- Ольденбург Р. (2014). Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Пер. с англ. А. А. Широкановой. М.: Новое литературное обозрение.
- Филиппов А. Ф. (2009). Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. Т. 8. № 3. С. 3–15.
- Филиппов А. Ф. (2008). Социология пространства. СПб.: Владимир Даль.
- Шмитц Г. (2014). Феноменология телесности / Пер. с нем. К. Лошевского // Социология власти. Т. 1. С. 200–235.
- Хайдеггер М. (2006). Ницше. Т. 1 / Пер. с нем. А. П. Шурбелева. СПб.: Владимир Даль.
- Холопова В. Н. (2010). Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. СПб.: Лань.
- Adey P. (2014). Security Atmospheres or the Crystallisation of Worlds // Environment and Planning D: Society and Space. Vol. 32. № 5. P. 834–851.
- Anderson B. (2009). Affective Atmospheres // Emotion, Space and Society. Vol. 2. № 2. P. 77–81.
- Bernardi L., Porta C., Sleight P. (2006). Cardiovascular, Cerebrovascular, and Respiratory Changes Induced by Different Types of Music in Musicians and Non-musicians: The Importance of Silence // Heart. Vol. 92. № 4. P. 445–452.
- Bitner M. J. (1990). Evaluating Service Encounters; The Effects of Physical Surroundings and Employee Responses // Journal of Marketing. Vol. 54. № 2. P. 69–82.
- Böhme G. (1993). Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics // Thesis Eleven. Vol. 36. P. 113–126.
- Böhme G. (2000). Acoustic Atmospheres: A Contribution to the Study of Ecological Aesthetics // Soundscape. Vol. 1. № 1. P. 14–18.
- Böhme G. (2003). Leibsein als Aufgabe: Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht. Kusserdingen: Die Graue.

- Borch C. (ed.). (2014). Architectural Atmospheres: On the Experience and Politics of Architecture. Basel: Birkhäuser.*
- Böhme G. (2017). Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces. L.: Bloomsbury.*
- Canepa E., Scelsi V., Fassio A., Avanzino L., Lagravinese G., Chiorri C. (2019). Atmospheres: Feeling Architecture by Emotions // Ambiances. Vol. 5. P. 1–29.*
- d'Hauterive A. M. (2015). Affect Theory and the Attractiveness of Destinations // Annals of Tourism Research. Vol. 55. P. 77–89.*
- Dekel I., Vinitzky-Seroussi V. (2017). A Living Place: on the Sociology of Atmosphere in Home Museums // European Journal of Cultural and Political Sociology. Vol. 4. № 3. P. 336–362.*
- Duff C. (2010) On the Role of Affect and Practice in the Production of Place // Environment and Planning D: Society and Space. Vol. 28. № 5. P. 881–895.*
- Gaudin O., Le Calvé M. (2018). La traversée des Ambiances // Communications. Vol. 1. P. 5–23.*
- Griffero T. (2014a). Atmospheres and Lived Space // Studia Phaenomenologica. Vol. 14. P. 29–51.*
- Griffero T. (2014b). Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces. Farnham: Ashgate.*
- Griffero T. (2017). Quasi-things: The Paradigm of Atmospheres. Albany: SUNY Press.*
- Griffero T. (2018). Something More. Atmospheres and Pathic Aesthetics // Griffero T., Moretti G. (eds.). Atmosphere/Atmospheres: Testing a New Paradigm. Milan: Mimesis International. P. 75–89.*
- Griffero T. (2019). Places, Affordances, Atmospheres: A Pathic Aesthetics. L: Routledge.*
- Gugutzer R. (2020). Beyond Husserl and Schütz. Hermann Schmitz and Neophenomenological Sociology // Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol. 50. № 2. P. 184–202.*
- Hasse J. (2010). Raum der Performativität: «Augenblicksstätten» im Situationsraum des Sozialen // Geographische Zeitschrift. Vol. 98. № 2. P. 65–82.*
- Hirschfeld C. C. L. (2001). Theory of Garden Art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.*
- Hunter P. G., Schellenberg E. G., Schimmack U. (2010). Feelings and Perceptions of Happiness and Sadness Induced by Music: Similarities, Differences, and Mixed Emotions // Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol. 4. № 1. P. 47–56.*
- Husserl E. (1989). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy. Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution. Dordrecht: Kluwer.*
- Johannesson R. E. (1973). Some Problems in the Measurement of Organizational Climate // Organizational Behavior and Human Performance. Vol. 10. № 1. P. 118–144.*
- Julmi C. (2016). Conquering New Frontiers in Research on Store Atmospheres: Kinetic and Synesthetic Qualities // Ambiances. Art. 723.*
- Julmi C. (2017). The Concept of Atmosphere in Management and Organization Studies // Organizational Aesthetics. Vol. 6. № 1. P. 4–30.*

- Kotler P. (1973). Atmospherics as a Marketing Tool // Journal of Retailing. Vol. 49. № 4. P. 48–64.*
- Pallasmaa J. (2014). Space, Place and Atmosphere. Emotion and Peripherical Perception in Architectural Experience // Lebenswelt: Aesthetics and Philosophy of Experience. Vol. 4.*
- Park B. J., Tsunetsugu Y., Kasetani T., Kagawa T., Miyazaki Y. (2010). The Physiological Effects of Shinrin-yoku (Taking in the Forest Atmosphere or Forest Bathing): Evidence from Field Experiments in 24 Forests across Japan // Environmental Health and Preventive Medicine. Vol. 15. № 1. P. 18–26.*
- Pink S., Leder Mackley K. (2016). Moving, Making and Atmosphere: Routines of Home as Sites for Mundane Improvisation // Mobilities. Vol. 11. № 2. P. 171–187.*
- Riedel F., Torvinen J. (eds.). (2019). Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds. L.: Routledge.*
- Schmitz H. (1969) System der Philosophie. Bd. III: Der Raum. Bonn: Bouvier.*
- Schmitz H. (2003). Was ist Neue Phänomenologie? Rostock: Koch.*
- Schmitz H., Müllan R., Slaby J. (2011). Emotions Outside the Box: The New Phenomenology of Feeling and Corporeality // Phenomenology and the Cognitive Sciences. Vol. 10. № 2. P. 241–259.*
- Schmitz H. (2019). New Phenomenology: A Brief Introduction. Milan: Mimesis International.*
- Slaby J. (2019). Atmospheres–Schmitz, Massumi and Beyond // Riedel F., Torvinen J. (eds.). Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds. L.: Routledge. P. 274–285.*
- Spence C., Puccinelli N. M., Grewal D., Roggeveen A. L. (2014). Store Atmospherics: A Multisensory Perspective // Psychology & Marketing. Vol. 31. № 7. P. 472–488.*
- Slatman J. (2019). The Körper-Leib Distinction // Weiss G., Murphy A., Salamon G. (eds.). 50 Concepts for a Critical Phenomenology. Illinois: Northwestern University Press. P. 203–209.*
- Silbergeld S., Koenig G. R., Manderscheid R. W., Meeker B. F., Hornung C. A. (1975) Assessment of Environment-Therapy Systems: The Group Atmosphere Scale // Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 43. № 4. P. 460–469.*
- Tellenbach H. (1968). Geschmack und Atmosphäre: Medien menschlichen Elementarkontaktes. Salzburg: O. Müller.*
- Trigg D. (ed.). (2021). Atmospheres and Shared Emotions. L.: Routledge.*
- Turley L. W., Milliman R. E. (2000). Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence // Journal of Business Research. Vol. 49. № 2. P. 193–211.*
- Vaden T., Torvinen J. (2019). Musical Meaning in Between: Ineffability, Atmosphere and a Subjectivity in Musical Experience // Riedel F., Torvinen J. (eds.). Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds. L.: Routledge. P. 43–59.*
- Zumthor P. (2006). Atmospheres: Architectural Environments — Surrounding Objects. Basel: Birkhäuser.*

The Phenomenon of the Atmosphere as an Object of Interdisciplinary Research

Maya Mazayeva

Master of Sociology, Lecturer, Department of World History and Socio-political Subjects, Makhambet Utemisov West Kazakhstan University

Address: Nursultan Nazarbayev ave., 162, Oral, Republic of Kazakhstan 090000

E-mail: maykanam1@gmail.com

The article examines the features of human interaction with the atmosphere as a phenomenon, acquiring an independent ontological status in modern concepts of the atmosphere. The author explores the existing philosophical concepts of atmosphere which actualize the adoption of a new category, that is, a "quasi-thing", to define phenomena similar to the atmosphere that do not fit into the "thing" concept. Atmospheres as quasi-things are perceived through the felt-body (*Leib*) in which they excite sensory-bodily resonance, which in turn is linked to a mind-body problem which is now of an interdisciplinary nature. In this regard, an attempt is made to comprehensively review the perspective philosophical, sociological, psychological, and physiological aspects of the relationship between the subjective state of mind and the objective atmosphere. The atmosphere creation problem, which has long been studied in arts and currently requires a conceptualization through aesthetic theory, has a special value.

Keywords: atmosphere, quasi-thing, sensual cognition, felt-body, material body, mind-body problem, emotions

References

- Adey P. (2014) Security Atmospheres or the Crystallisation of Worlds. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 32, no 5, pp. 834–851.
- Anderson B. (2009) Affective Atmospheres. *Emotion, Space and Society*, vol. 2, no 2, pp. 77–81.
- Benjamin W. (1996) *Proizvedenie iskusstva v jepohu ego tehnicheskoy vosproizvodimosti* [The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction], Moscow: Medium.
- Bernardi L., Porta C., Sleight P. (2006) Cardiovascular, Cerebrovascular, and Respiratory Changes Induced by Different Types of Music in Musicians and Non-musicians: The Importance of Silence. *Heart*, vol. 92, no 4, pp. 445–452.
- Bitner M. J. (1990) Evaluating Service Encounters; the Effects of Physical Surroundings and Employee Responses. *Journal of Marketing*, vol. 54, no 2, pp. 69–82.
- Böhme G. (1993) Atmosphere as the Fundamental Concept of a New Aesthetics. *Thesis Eleven*, vol. 36, pp. 113–126.
- Böhme G. (2000) Acoustic Atmospheres: A Contribution to the Study of Ecological Aesthetics. *Soundscape*, vol. 1, no 1, pp. 14–18.
- Böhme G. (2003) *Leibsein als Aufgabe: Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht*, Kusterdingen: Die Graue.
- Böhme G. (2017). *Atmospheric Architectures: The Aesthetics of Felt Spaces*, London: Bloomsbury.
- Bojko V., Kovalev A., Panferov V. (1983) *Social'no-psihologicheskij klimat kollektiva i lichnost'* [Socio-psychological Climate of the Collective and Personality], Moscow: Mysl.
- Borch C. (ed.). (2014) *Architectural Atmospheres: On the Experience and Politics of Architecture*, Basel: Birkhäuser.
- Brednikova O., Zaporozhets O. (2016) Veter, ustalost' i romantika nochi (ob osobennostyah novykh zhilyh massivov) [Wind, Fatigue, and Romance of the Night (on Peculiarities of New Residential Areas)]. *Laboratorium*, no 2, pp. 103–119.
- Canepa E., Scelsi V., Fassio A., Avanzino L., Lagravinese G., Chiorri C. (2019) Atmospheres: Feeling Architecture by Emotions. *Ambiances*, no 5.

- d'Hautesserre A. M. (2015) Affect Theory and the Attractiveness of Destinations. *Annals of Tourism Research*, vol. 55, pp. 77–89.
- Dekel I., Vinitzky-Seroussi V. (2017) A Living Place: on the Sociology of Atmosphere in Home Museums. *European Journal of Cultural and Political Sociology*, vol. 4, no 4, pp. 336–362.
- Diderot D. (1989) *Salony. T. 2* [Salons, Vol. 2], Moscow: Iskusstvo.
- Duff C. (2010) On the Role of Affect and Practice in the Production of Place. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 28, no 5, pp. 881–895.
- Filippov A. (2008) *Sociologija prostranstva* [Sociology of Space], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Filippov A. (2009) *Prikladnaja sociologija prostranstva* [The Applied Sociology of Space]. *Russian Sociological Review*, vol. 8, no 3, pp. 3–15.
- Gaudin O., Le Calvé M. (2018) La traversée des Ambiances. *Communications*, vol. 1, pp. 5–23.
- Griffero T. (2014) Atmospheres and Lived Space. *Studia Phaenomenologica*, vol. 14, pp. 29–51.
- Griffero T. (2014) *Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces*, Farnham: Ashgate.
- Griffero T. (2016) Kto boitsja atmosfer (i ih vlasti)? [Who is Afraid of Atmospheres (and Their Power)]. *Diogenes' Lantern*, vol. 2, no 2, pp. 240–263.
- Griffero T. (2017) *Quasi-things: The Paradigm of Atmospheres*, Albany: SUNY Press.
- Griffero T. (2018) Something More: Atmospheres and Pathic Aesthetics. *Atmosphere/Atmospheres: Testing a New Paradigm* (eds. T. Griffero, G. Moretti), Milan: Mimesis International, pp. 75–89.
- Griffero T. (2019) *Places, Affordances, Atmospheres: A Pathic Aesthetics*, London: Routledge.
- Gugutzer R. (2020) Beyond Husserl and Schütz: Hermann Schmitz and Neophenomenological Sociology. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 50, no 2, pp. 184–202.
- Hasse J. (2010) Raum der Performativität: "Augenblicksstätten" im Situationsraum des Sozialen. *Geographische Zeitschrift*, vol. 98, no 2, pp. 65–82.
- Heidegger M. (2006) *Nietzsche. T. 1* [Nietzsche, Vol. 1], Saint Petersburg: Vladimir Dal.
- Hirschfeld C. C. L. (2001) *Theory of Garden Art*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Hunter P. G., Schellenberg E. G., Schimmack U. (2010) Feelings and Perceptions of Happiness and Sadness Induced by Music: Similarities, Differences, and Mixed Emotions. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, vol. 4, no 1, pp. 47–56.
- Husserl E. (1989) *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, Second Book: Studies in the Phenomenology of Constitution*, Dordrecht: Kluwer.
- Husserl E. (2004) *Krizis evropejskikh nauk i transcendental'naja fenomenologija: Vvedenie v fenomenologicheskiju filosofiju* [The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Husserl E. (2005) *Izbrannye raboty* [Selected Works], Moscow: Territoria budushchego.
- Johannesson R. E. (1973) Some Problems in the Measurement of Organizational Climate. *Organizational Behavior and Human Performance*, vol. 10, no 1, pp. 118–144.
- Julmi C. (2016) Conquering New Frontiers in Research on Store Atmospheres: Kinetic and Synesthetic Qualities. *Ambiances*, art. 723.
- Julmi C. (2017) The Concept of Atmosphere in Management and Organization Studies. *Organizational Aesthetics*, vol. 6, no 1, pp. 4–30.
- Kholopova V. (2010) *Teorija muzyki: melodika, ritmika, faktura, tematizm* [Music Theory: Melody, Rhythm, Texture, Thematism], Saint Petersburg: Lan'.
- Kotler P. (1973) Atmospherics as a Marketing Tool. *Journal of Retailing*, vol. 49, no 4, pp. 48–64.
- Lazutina T. (2007) Simvolotvorchestvo v muzyke I. S. Baha [The Symbol Creation in Music of I. S. Bach]. *Bulletin of the Tomsk State University*, no 1, pp. 55–60.
- Lewin K. (2000) *Razreshenie social'nyh konfliktov* [Resolution of Social Conflicts], Saint Petersburg: Rech'.
- Nozdrachev A., Scherbatykh Y. (2021) Fiziologija i psihologija — dialektika vzaimodejstvija pri reshenii psihofiziologicheskoy problem [Physiology and Psychology-Dialectics of Interaction in Solving a Psychophysiological Problem]. *Russian Journal of Physiology*, vol. 107, no 2, pp. 154–176.
- Oldenburg R. (2014) *Tret'e mesto: kafe, kofejni, knizhnye magaziny, bary, salony krasoty i drugie mesta "tusovok" kak fundament soobshhestva* [Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the "Great Good Places" at the Heart of Our Communities], Moscow: New Literary Observer.

- Pallasmaa J. (2014) Space, Place and Atmosphere. Emotion and Peripherical Perception in Architectural Experience. *Lebenswelt*, vol. 4.
- Park B. J., Tsunetsugu Y., Kasetani T., Kagawa T., Miyazaki Y. (2010) The Physiological Effects of Shinrin-yoku (Taking in the Forest Atmosphere or Forest Bathing): Evidence from Field Experiments in 24 Forests across Japan. *Environmental Health and Preventive Medicine*, vol. 15, no 1, pp. 18–26.
- Pink S., Leder Mackley K. (2016) Moving, Making and Atmosphere: Routines of Home as Sites for Mundane Improvisation. *Mobilities*, vol. 11, no 2, pp. 171–187.
- Riedel F., Torvinen J. (eds.) (2019) *Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds*, London: Routledge.
- Schmitz H. (1969) *System der Philosophie, Bd. III: Der Raum*, Bonn: Bouvier.
- Schmitz H. (2003) *Was ist Neue Phänomenologie?*, Rostock: Koch.
- Schmitz H. (2014) Fenomenologija telesnosti [The Phenomenology of Corporeality]. *Sociology of Power*, no 1, pp. 200–235.
- Schmitz H. (2019) *New Phenomenology: A Brief Introduction*, Milan: Mimesis International.
- Schmitz H., Müllan R., Slaby J. (2011) Emotions Outside the Box: The New Phenomenology of Feeling and Corporeality. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 10, no 2, pp. 241–259.
- Silbergeld S., Koenig G. R., Manderscheid R. W., Meeker B. F., Hornung C. A. (1975) Assessment of Environment-therapy Systems: The Group Atmosphere Scale. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 43, no 4, pp. 460–469.
- Slaby J. (2019) Atmospheres: Schmitz, Massumi and Beyond. Music as Atmosphere. *Collective Feelings and Affective Sounds* (eds. F. Riedel, J. Torvinen), London: Routledge, pp. 274–285.
- Slatman J. (2019) The Körper-Leib Distinction. *50 Concepts for a Critical Phenomenology* (eds. G. Weiss, A. Murphy, G. Salamon), Illinois: Northwestern University Press, pp. 203–209.
- Spence C., Puccinelli N. M., Grewal D., Roggeveen A. L. (2014) Store Atmospherics: A Multisensory Perspective. *Psychology & Marketing*, vol. 31, no 7, pp. 472–488.
- Tellenbach H. (1968) *Geschmack und Atmosphäre: Medien Menschlichen Elementarkontaktes*, Salzburg: O. Müller.
- Trigg D. (ed.) (2021) *Atmospheres and Shared Emotions*, London: Routledge.
- Turley L. W., Milliman R. E. (2000) Atmospheric Effects on Shopping Behavior: A Review of the Experimental Evidence. *Journal of Business Research*, vol. 49, no 2, pp. 193–211.
- Vaden T., Torvinen J. (2019) Musical Meaning in Between: Ineffability, Atmosphere and Asubjectivity in Musical Experience. *Music as Atmosphere: Collective Feelings and Affective Sounds* (eds. F. Riedel, J. Torvinen), London: Routledge, pp. 43–59.
- Zumthor P. (2006) *Atmospheres: Architectural Environments — Surrounding Objects*, Basel: Birkhäuser.

Натурализация культуры: когнитивизм против прагматизма

Дмитрий Шариков

Аспирант департамента социологии, Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: ddsharikov@hse.ru

В данной статье рассматриваются интегративные концепции культуры, разрабатываемые на стыке когнитивных и социальных наук. Утверждается, что программа «культурной нейронауки», занимающая доминирующие позиции в когнитивистских исследованиях культуры, исходит из ошибочных теоретических предположений о природе культурных феноменов. Для сравнительного анализа предлагаются две альтернативные теоретико-методологические стратегии, способные продуктивно интегрировать ресурсы когнитивных и социальных наук. Первая опирается на постулаты традиционного «вычислительного» подхода к познанию в философии сознания и когнитивных науках. Согласно этой стратегии, культуру необходимо рассматривать как процессы распространения и трансформации информации — ментальных и публичных представлений. Вторая стратегия опирается на конкурирующую теоретико-методологическую традицию в философии сознания и когнитивных науках — так называемые Е-подходы, или неопрагматистские подходы. Она исходит из того, что культура состоит прежде всего из конкретных взаимодействий индивидов в общей материальной среде. Автор считает, что первая, «когнитивистская» стратегия сталкивается с рядом логических и содержательных проблем. В частности, утверждается, что концепции информации и содержания ментальных состояний (mental content), на которые опирается данный подход, обладают неоднозначным научным статусом. При этом, по мнению автора, вторая, «неопрагматистская» стратегия лишена упомянутых трудностей, хотя и является менее зрелой и концептуально проработанной. В заключении автор рассматривает основные отличия двух стратегий и их связь с социологией культуры, а также формулирует аргументы за и против принятия каждой из них.

Ключевые слова: культура и познание, когнитивная социология, социология культуры, культурные практики, натурализм, прагматизм

Когнитивные нейронауки — один из самых амбициозных междисциплинарных проектов нашего времени. Некоторые авторы небезосновательно полагают, что именно когнитивная наука способна сыграть ключевую роль в наведении мостов между социальными и естественнонаучными дисциплинами (Kaidesoja et al., 2019). Хотя проблематика социальных отношений и культуры долгое время оставалась второстепенной для когнитивных исследователей, в последние десятилетия ситуация резко изменилась (Фаликман, Коул, 2014). На научную арену вышли масштабные исследовательские программы, изучающие взаимосвязи между социальной

жизнью, культурой и познанием: например, проекты «социальной нейронауки» (Adolphs, 2010) и «культурной нейронауки» (Han et al., 2013).

Приверженцы традиционных исследовательских подходов в социальных науках отнеслись к появлению таких проектов с обоснованной настороженностью (Coulter, 2008). Высказываются опасения, что когнитивистские объяснительные модели не отдают должного всей сложности и разнообразию культурных феноменов, неоправданно сводя культуру к наборам нейронных связей в головном мозге (Vidal, Ortega, 2018). Действительно, перед когнитивными учеными, занимающимися вопросами культуры, сегодня стоит непростая задача: найти адекватный язык для описания культурных феноменов, совместимый с привычным языком естественных наук, но в то же время избегающий редукционизма и упрощенчества. Необходимо прояснить, в каких отношениях находятся социокультурные и биофизические аспекты реальности, не становясь при этом на позиции наивного редуктивного физикализма.

Разумеется, не все справляются с этими задачами одинаково успешно. Покательна в этом отношении программа культурной нейронауки (Chiao, Ambady, 2007), унаследовавшая большинство базовых предположений от своей «старшей сестры» — кросс-культурной психологии (Hofstede, 2001). Для кросс-культурных подходов характерно представление о «культурах» как о гомогенных социальных группах, члены которых разделяют общие ценности, нормы, убеждения, образцы поведения и т. п. (Lehman et al., 2004: 695; Han et al., 2013: 339–340). При этом для идентификации подобных «культурных групп» при построении выборки в эмпирических исследованиях зачастую используются довольно проблематичные критерии: такие, например, как национальная или этническая принадлежность, определяемая на основе воспринимаемого внешнего сходства респондентов (цвет кожи, черты лица и т. д.)¹ (Mateo et al., 2012: 157–159). Базовая исследовательская стратегия таких подходов — это сравнение сходств и различий в реакциях на определенные стимулы у представителей разных «культурных групп» (например, сходств и различий в паттернах активации нейронов при просмотре определенного изображения) (*Ibid.*: 157).

Как справедливо отметили Ф. Ортега и Ф. Видаль, культура в кросс-культурных подходах фактически предстает не как отдельный объект исследования, а как некоторая независимая переменная, на которую опираются другие зависимые переменные (Vidal, Ortega, 2018: 381). По мнению авторов, кросс-культурная психология продвигает образ культуры, в котором последняя сводится к фиксированному набору «культурных идентичностей» (например, «западной» и «восточной»), различающихся по степени выраженности определенных ценностных ориентаций (например, индивидуализм — коллективизм) (*Ibid.*). Культурная нейронаука же окончательно биологизирует эти различия, представляя их как продукт активно-

1. Некоторые авторы высказывают опасения, что «культура», понимаемая таким образом, выступает концептуальным заменителем дискредитированного понятия «расы». См.: Heinz et al., 2014.

сти головного мозга и игнорируя комплексные социально-исторические процессы конструирования идентичностей (*Ibid.*: 383–385).

Ограниченнная объяснительная ценность подобных концептуализаций культуры становится очевидной и при изучении эмпирических данных. Так, например, в 2011 году основатель одного из крупнейших международных проектов по кросс-культурному исследованию ценностей Ш. Шварц решил проверить, насколько вариативность ценностных ориентаций внутри стран отличается от межстрановой вариативности (Fischer, Schwartz, 2011). К своему удивлению, он обнаружил, что лишь очень незначительная доля дисперсии ценностей объясняется страновыми различиями: оказалось, что ценности гораздо сильнее варьируются между индивидами внутри одной страны, нежели между странами (*Ibid.*: 1137). Иными словами, вместо ожидаемого «ценностного консенсуса» внутри стран («культур») и межстрановой («кросс-культурной») изменчивости исследователь получил совершенно противоположную картину (*Ibid.*: 1140). Исходя из этих результатов, Шварц сделал вывод, что концепция «культур» как гомогенных групп индивидов, объединенных разделяемыми «системами смыслов», с высокой вероятностью базируется на ложных теоретических предположениях, которые нуждаются в корректировке (*Ibid.*).

Хотя парадигма культурной нейронауки, безусловно, является одним из самых влиятельных направлений исследования культуры в когнитивных науках, она однозначно не безальтернативна. На наш взгляд, существуют более продуманные и теоретически фундированные когнитивистские концепции, которые отдают должное комплексности и гетерогенности культурных феноменов, но при этом в значительной степени опираются на естественнонаучные стандарты теоретической работы (Шариков, 2019, 2020). Такие подходы разрабатываются на стыке естественнонаучных, поведенческих и социальных дисциплин и ставят своей целью продуктивную интеграцию объяснительных ресурсов — вместо избирательного «переописания» концептов одной дисциплины на языке другой. Именно такие альтернативные стратегии теоретизирования о культуре и культурных феноменах станут предметом рассмотрения и критического анализа в нашей статье.

Мы исходим из того, что любая подлинно интегративная концепция культуры, объединяющая объяснительные ресурсы когнитивных и социальных наук, должна основываться на натуралистической онтологии (Девятко, 2003: 70–72). Хотя мы и оптимистично оцениваем перспективы интегративного междисциплинарного проекта когнитивной социальной науки, задачей статьи не является доказательство превосходства когнитивно-ориентированных объяснений над традиционными моделями объяснения в социальных науках. Основная цель этого текста — познакомить читателя с новыми перспективными направлениями, пока относительно слабо представленными в русскоязычной литературе (однако см.: Куракин, 2018, 2020; Быков, Настина, 2020: 68–69), а также пригласить к дискуссии широкий круг исследователей, заинтересованных в проблемах современного культурного теоретизирования.

В данной статье мы критически анализируем и сравниваем друг с другом два широких теоретико-методологических подхода к изучению культуры и познания. Эти подходы опираются на конкурирующие философско-теоретические традиции в когнитивных науках: традиционный когнитивизм и так называемые Е-подходы (также известные как неопрагматистские подходы). Ключевой вопрос, по которому наблюдаются расхождения между двумя семействами подходов, касается базовых единиц культуры: для одного из семейств таковыми являются информационные единицы (ментальные и публичные репрезентации), в то время как для другого — поведенческие единицы (привычки и практики).

В первом разделе данной статьи мы попытаемся восстановить теоретическую логику «эпидемиологического» подхода к изучению культуры, предложенного антропологом Д. Спербером, а также продемонстрируем, как эта перспектива может быть продуктивно интегрирована с некоторыми концепциями когнитивной культурсоциологии и распределенных (distributed) подходов в когнитивных науках. Мы также объясним, каким образом онтология материальных динамических систем Т. Каидесой вместе с механистической философией науки способны представить унифицирующую онтологическую, эпистемологическую и методологическую рамку для интеграции различных уровней объяснения.

Во втором разделе текста мы критически проанализируем философские основания «эпидемиологической/распределенной» стратегии теоретизирования о культуре и укажем на основные трудности, с которыми сталкивается эта стратегия. В частности, обсудим проблемы натурализации семантической информации и содержания ментальных состояний, а также проблемы интенциональных объяснений действия и научного статуса понятий «народной психологии» (folk psychology).

На основании этой критики в третьем разделе мы попытаемся дать набросок альтернативной когнитивно-ориентированной натуралистической стратегии теоретизирования, которая не сталкивается с упомянутыми ранее трудностями. На наш взгляд, такая стратегия должна базироваться на постулатах так называемых Е-подходов к познанию, а также философии прагматизма. Мы продемонстрируем, что взаимодействия индивидов в материальной среде, а также связанные с ними нейрокогнитивные механизмы и эвристики представляют адекватную объяснительную альтернативу информационно-ориентированным моделям эпидемиологического подхода. В заключении мы еще раз рассмотрим основные отличия двух стратегий и их связь с классическими исследовательскими программами в социологии культуры, а также попытаемся сформулировать аргументы за и против принятия каждой из них.

Натурализация культуры: когнитивистская стратегия

Первая стратегия, с рассмотрения которой мы начнем обзор, основывается на «эпидемиологической модели культуры», также известной в когнитивной антре-

нологии под именем «теории культурной аттракции (CAT)» (Scott-Phillips et al., 2018).

Основные идеи эпидемиологического подхода были изложены когнитивным антропологом Д. Спербером в серии статей и лекций в 1980-е и 1990-е годы и обобщены в его книге «Объясняя культуру: натуралистический подход» (Sperber, 1996). По мнению Спербера, эпидемиология занимается тем, что описывает и объясняет распределение некоторого признака (например, заболевания) в определенной популяции (например, группе людей) (*Ibid.*: 2). В случае с культурной эпидемиологией, утверждает Спербер, роль этого признака должны выполнять репрезентации (*Ibid.*: 24). Говоря о репрезентациях, Спербер вводит ключевое различие между ментальными репрезентациями² (например, индивидуальными убеждениями, намерениями или предпочтениями) и публичными репрезентациями (сигналами, высказываниями, текстами, изображениями и другими артефактами) (*Ibid.*).

Культурная динамика, таким образом, сводится к постоянной трансформации ментальных и публичных презентаций в процессе коммуникации: «отправители» переводят свои идеи (т. е. ментальные репрезентации) в слова или тексты (т. е. публичные репрезентации), а «получатели» интерпретируют полученную информацию и трансформируют публичные репрезентации в собственные ментальные репрезентации (*Ibid.*: 25). При этом в данных процессах речь не идет о копировании или репликации элементов: сформированные адресатами коммуникации ментальные репрезентации не являются точными копиями ни произведенных коммуникатором публичных репрезентаций, ни его оригинальных ментальных репрезентаций, хотя между ними и можно установить достаточную степень «семейного сходства» (Витгенштейн, 2018: 59–60), чтобы считать экземплярами одного и того же класса культурных элементов (Sperber, 1996: 82).

Цепочки подобных трансформаций Спербер и его последователи называют культурными когнитивными каузальными цепочками (CCCC's) (Sperber, 2011). Разумеется, масштабы этих цепочек могут различаться: одни культурные репрезентации циркулируют лишь в пределах узкой группы индивидов и в короткие временные отрезки, в то время как другие могут иметь миллионы «экземпляров» и демонстрируют высокую стабильность распределения во времени и пространстве (Sperber, 1996: 25–26). Чтобы объяснить, почему одни культурные репрезентации являются более устойчивыми и распространенными, чем другие, Спербер вводит понятия «культурной аттракции» и «культурных аттракторов»³ (*Ibid.*: 106–112). По мнению Спербера, определенные психологические и экологические факторы могут оказывать влияние на распространение и распределение тех или иных культурных репрезентаций (*Ibid.*: 111–112). Факторы, которые влияют на ча-

2. Спербер утверждает, что ментальные репрезентации обладают материальной природой и могут быть описаны в терминах паттернов нейронных связей и нейронной активности в головном мозге (Sperber, 1996: 13–14). Однако подробнее на этом вопросе он не останавливается.

3. В данном разделе приводится лишь краткое изложение этих понятий. Прочитать больше о культурной аттракции можно в работах: Sperber, 1996: Глава 5; Claidière, Sperber, 2007; Scott-Phillips et al., 2018. См. также критику многозначности этого понятия: Buskell, 2017.

стоту проявления того или иного культурного элемента в популяции, он называет факторами культурной аттракции (*Ibid.*).

Излюбленным примером Спербера, демонстрирующим работу эпидемиологической модели, является сказка о Красной Шапочке (Sperber, 1996: 33–34; Scott-Phillips et al., 2018: 164–165). В устной и письменной традициях существует поистине неисчислимое множество вариаций этой европейской сказки — с различными мотивами, деталями сюжета и персонажами (Orenstein, 2002). В памяти миллионов людей по всему Земному шару бытуют миллионы версий сказки, закодированных в виде ментальных репрезентаций. Человек, рассказывающий своему ребенку сказку о Красной Шапочке, трансформирует свои ментальные репрезентации этой истории, хранящиеся в памяти⁴, в публичные лингвистические репрезентации (слова). В то же время ребенок, интерпретируя и запоминая услышанное, формирует в памяти свою собственную версию истории, которая может незначительно отличаться от услышанного рассказа. Однако несмотря на возможные различия, ментальные репрезентации сказки в памяти ребенка и в памяти родителя обладают достаточной степенью сходства, чтобы их можно было назвать двумя версиями одной и той же истории.

При этом, несмотря на все богатство и разнообразие существующих вариантов, некоторые версии сказки о Красной Шапочке более популярные и распространенные, чем другие. Фактором, влияющим на популярность определенной версии этой сказки (т. е. фактором культурной аттракции), может быть, например, распространность той или иной литературной версии истории. Очевидно, что литературные изложения сказки от Шарля Перро и братьев Гримм, печатающиеся миллионными тиражами по всему миру, оказывают более значимое влияние на распределение определенных версий этой сказки в человеческих популяциях, чем, допустим, литературное изложение Итalo Кальвино в сборнике «Итальянские народные сказки». Именно поиск и описание факторов, вероятно, воздействующих на распространение и трансформацию тех или иных культурных репрезентаций, является ключевой задачей когнитивных антропологов, работающих в эпидемиологической традиции (Scott-Phillips et al., 2018).

Кроме когнитивной антропологии эпидемиологическая модель культуры вдохновила ряд теоретических и эмпирических программ в когнитивной культурологии: например, предложенный Дж. Фостером подход к компьютерному моделированию культуры (Foster, 2018). Однако наиболее заметное влияние эта модель оказала на предложенное О. Лизардо аналитическое разделение публичной и личностной, а также декларативной и недекларативной форм культуры (Lizardo, 2017: 93–97; см. также: Шариков, 2019: 190–193). На первый взгляд различие «публичная — личностная культура» является калькой с ключевого для культурно-эпидемиологического подхода различия ментальных и публичных репрезентаций: в частности, Лизардо относит к публичной культуре нарративы, публичные сим-

4. При условии, что родитель пересказывает сказку именно по памяти, а не читает вслух одну из многочисленных литературных версий.

волы, тексты, институты (всё это фигурирует как примеры публичных репрезентаций в работах Спербера), а к личностной — ценности, убеждения, ориентации (т. е. обладающие содержанием ментальные состояния) (Lizardo, 2017: 93–94). Однако разделение личностной культуры на декларативные и недекларативные формы позволяет существенно расширить исходную классификацию, добавив к дескриптивным формам культурного знания, выраженным преимущественно в виде пропозициональных установок, также неявные и телесные (Ignatow, 2007; Lizardo, 2015).

В то время как декларативные формы личностной культуры, как уже упоминалось выше, преимущественно состоят из ментальных репрезентаций с пропозициональным содержанием, т. е. убеждений, ценностей, мировоззрений и т. п., недекларативные формы также включают в себя телесное (*embodied*) и процедурное знание — в частности, навыки, техники, умения и др. (Lizardo, 2017: 93–95). Последние выражены не в форме амодальных ментальных репрезентаций, абстрагированных от чувственного опыта, а в форме сенсорных и (сенсо)моторных репрезентаций, тесно связанных с перцептивными, телесными и эмоциональными состояниями индивидов (Barsalou, 1999; Ignatow, 2007). Хотя на первый взгляд это дополнение и может показаться незначительным, на деле оно открывает дорогу к трансформации открыто монистической концепции культуры Спербера в более плюралистическую (Lizardo, 2020a): признается, что культура может состоять не только из символических элементов (ментальных или публичных), но и из имплицитных телесных рутин, процедурных диспозиций и воплощенных способов (взаимо)действия (Soliman, Glenberg, 2014).

Приверженность репрезентации как центральному объяснительному понятию в эпидемиологической модели культуры делает возможной ее интеграцию с перспективой «распределенного познания» (*distributed cognition*) (Hutchins, 1995; см. также: Шариков, 2020: 116–118; Norton, 2020) и с базирующейся на ней социальной онтологией «натурализованного критического реализма» Т. Каидесоя (Kaidesoja, 2013; см. также: Шариков, 2020: 114–118). Согласно концепции распределенного познания, локусом когнитивных процессов являются не индивиды с их телами и популяциями нейронов в головном мозге, а распределенные когнитивные системы, состоящие как из индивидуальных агентов, так и из социокультурных артефактов и иных гетерогенных элементов (Hutchins, 1995). Основной происходящий в таких системах процесс — распространение и трансформация репрезентаций (*representational states*) (Hutchins, 1995: 373; Norton, 2020: 54). Опираясь на эти идеи, Каидесоя предлагает рассматривать культуру в терминах «телесных и ситуативных практик, включающих распространение и обработку репрезентаций различных типов в распределенных когнитивных системах» (Kaidesoja, 2013: 170). В социальной онтологии Каидесоя распределенные когнитивные системы являются динамическими материальными системами (Bunge, 2003), которые обладают эмерджентными каузальными силами, возникающими благодаря взаимодействию частей системы друг с другом (Kaidesoja, 2013: 151–153). Процессы, благодаря которым

системы могут функционировать и обладать каузальными силами, Каидесойя, вслед за М. Бунге, предлагает анализировать в терминах механистической философии науки (*Ibid.*: 146–150).

Особенно важным в этом свете представляется тот факт, что Спербер также является приверженцем механистической онтологии: основной задачей объяснения в социальных науках он считает «выявление устойчивых каузальных паттернов и каузальных механизмов, производящих закономерности в когнитивных каузальных цепочках» (Sperber, 2011: 75). Именно фокус на механизмах и механистических объяснениях — как альтернативе дедуктивно-номологическим объяснениям (Hempel, 1965) — позволяет интегрировать культурную эпидемиологию и «распределенную» концепцию культуры — а в конечном счете и когнитивные науки с социальными — на базе общей онтологической, эпистемологической и методологической рамки (Sarkia et al., 2020).

Взгляд на культуру как на каузальные цепочки распространения и трансформации репрезентаций в распределенных когнитивных системах позволяет дать достаточно правдоподобное натуралистическое описание культурных феноменов, учитывающее их комплексность и гетерогенный характер. Однако этот подход, к сожалению, не лишен значительных трудностей, о которых мы подробно поговорим в следующем разделе.

Ограничения когнитивистской стратегии: информация и интенциональность

Представленная в предыдущем разделе стратегия натурализации культуры целиком основывается на базовых теоретических предпосылках традиционного «вычислительного» подхода к познанию в когнитивных нейронауках. Этот подход предполагает, что человеческое познание сводится к «обработке информации в системе физических символов» (Newell, 1980) или «вычислительным действиям с репрезентациями» (Fodor, 1975). Сознание в этом подходе уподобляется компьютеру — вычислительной машине, способной производить операции с символами в соответствии с некоторыми правилами (Turner, 2018: 55–56). Кроме того, утверждается, что репрезентации являются лингвистическими или квазилингвистическими по форме и обладают семантическими свойствами — то есть отсылают к объектам и положениям вещей во внешнем мире (референция) и имеют условия истинности или достоверности (Hutto, Myin, 2013: 67; Turner, 2018: 98–99). Наконец, хотя отдельные авторы и считают ментальные репрезентации «полезными фикциями», большинство когнитивистов, работающих в рамках традиционного подхода, настаивают на их реальности и каузальной значимости, а также на принципиальной возможности установить соответствие репрезентаций состояниям мозга (паттернам нейронных связей и нейронной активности).

Таким образом, как справедливо отметил Д. Куракин, культура и культурные феномены в подходах, вдохновленных традиционным когнитивизмом, фактиче-

ски сводятся к процессам передачи информации между когнитивными агентами, которые описываются кибернетическими моделями коммуникации (Kurakin, 2020: 74–80). И именно здесь возникает первая серьезная проблема с представленным эпидемиологическим подходом: натуралистский статус существующих теорий информации и содержания ментальных состояний является предметом ожесточенных споров в философии сознания и философии психологии (Hutto, Myin, 2018; Hutto, Satne, 2015). Представители наиболее радикальных позиций в философии сознания настаивают на принципиальной невозможности натурализации содержания ментальных состояний: так, например, А. Розенберг полагает, что ни одна подлинно натуралистская теория не способна объяснить, как «сгустки материи (цепочки связанных нейронов) могут представлять (represent) факты о других сгустках материи (внешнем мире)» (Rosenberg, 2014: 25). Представители более умеренных позиций, в свою очередь, не отрицают саму возможность натурализации информации и содержания ментальных состояний, однако считают, что существующие теории плохо справляются с этой задачей (Hutto, Myin, 2013, 2017).

Философы-энактивисты Д. Хатто и Э. Мийин настаивают на том, что единственной заслуживающей доверия натуралистской концепцией информации является «информация-как-ковариация» (Hutto, Myin, 2013: 66). Согласной этой концепции, определенное положение вещей в мире несет информацию о другом положении вещей, если первое находится с последним в отношениях законоподобной ковариации: так, например, количество колец на спиле дерева сообщает нам информацию о его возрасте, а уровень ртутного столбика в домашнем градуснике указывает на температуру тела (*Ibid.*). Тем не менее понятия «информации-как-ковариации» оказывается недостаточно, чтобы объяснить содержание ментальных состояний: у такой информации отсутствуют семантические свойства, которыми с необходимостью должны обладать ментальные репрезентации, а именно — условия истинности и референция (*Ibid.*: 67). Для того чтобы стандартная модель коммуникации, базирующаяся на представлениях о «кодировании» и «декодировании» сообщений, работала, необходимо выйти за пределы концепции «информации-как-ковариации» и постулировать существование семантической информации, или «информации-как-содержания» (*Ibid.*). Однако многочисленные попытки философов и теоретиков построить такую концепцию, по мнению Хатто и Мийина, уже долгие годы не приводят к позитивным результатам (Hutto, Myin, 2018: 106). На наш взгляд, отсутствие правдоподобной натуралистической концепции информации ставит под вопрос обоснованность акцента на информационных единицах как ключевых структурных элементах культуры, характерного для эпидемиологического/распределенного подхода.

С проблемами содержания ментальных состояний, репрезентаций и информации самым тесным образом связана проблематика интенциональности, «народной психологии»⁵ (*folk psychology*) и интенциональных концепций действия (Девятко,

5. В русскоязычной литературе также встречаются варианты перевода: обыденная психология, житейская психология, фолк-психология и психология здравого смысла.

2003: 274–288). В социальных науках объяснения действия обычно носят интенциональный характер: предполагается, что причинными детерминантами действий индивидов являются состояния их сознания, преимущественно выраженные в виде пропозициональных установок, — убеждений, желаний, намерений и т. д. (*Ibid.*: 87–97). Как мы могли убедиться в предыдущем разделе, подобные психологические конструкты занимают важное (если не центральное) место в эпидемиологическом подходе к объяснению культуры: Спербер однозначно не считает их «полезными фикциями» или «терминологическими инструментами», настаивая на их реальности и причинной действенности (Sperber, 1996: 14–15). Однако статус интенциональных ментальных состояний в натуралистической философии когнитивных и социальных наук также является значимой теоретической проблемой и предметом для горячих дискуссий: остается неясным, соответствуют ли этим понятиям какие-либо реальные когнитивные и мозговые процессы, а также могут ли рассматриваться основанные на этих конструктах объяснения как научные.

Серьезной логической проблемой для всех приверженцев интенционалистских объяснений является проблема установления причинной связи между ментальными событиями и поведением. Как отмечает С. Тёрнер, сегодня философы характеризуют отношение между интенцией и актом скорее как нормативное, нежели причинное, так как в интенционалистском объяснении невозможно описать причины независимо от следствий (Turner, 2018: 111). На эту же логическую проблему указывает и И. Девятко, подчеркивая, что для установления причинной связи между некоторыми событиями требуется, чтобы эта связь носила возможный, контингентный характер, а не была логически необходимой (Девятко, 2003: 275–276). Однако интенционалистские объяснения исходят из того, что связь между ментальными событиями и поведением является логической, зависящей от самого определения действия, т. е. допускают дефинитивную редукцию (*Ibid.*). Из этого, по мнению И. Девятко, также следует, что интенциональные объяснения нефальсифицируемы или обладают очень ограниченным эмпирическим содержанием: «Если интенции или убеждения агента не получают независимой от описания самого действия характеристики, эмпирическое содержание подобного объяснения в лучшем случае сводится к тому, что «Х сделал А, потому что хотел сделать А» (*Ibid.*: 277).

Впрочем, каким бы ни был научный статус интенций, в повседневных социальных взаимодействиях убеждения, желания, намерения и другие аналогичные конструкты, очевидно, играют важную роль: они являются частью нашего словаря «народной психологии», с помощью которого мы публично объясняем, оправдываем и рационализируем как поведение других людей, так и свое собственное⁶

6. Существенная оговорка: под словом «мы» в данном случае подразумеваются преимущественно представители вестернизированных, промышленных, демократических обществ. В некоторых обществах приписывание ментальных состояний другим индивидам считается табуированным, а соответствующие лингвистические конструкты попросту отсутствуют: Robbins, Rumsey, 2008; Schieffelin, 2008.

(Turner, 2018: 97–98). Индивиды как активные участники социальной жизни постоянно используют конструкты «народной психологии» для координации действий, вынесения моральных суждений, понимания других, оправдания поступков, регуляции поведения и многих других целей (Ibid.: 97). Кроме критикуемых выше интерналистских подходов, рассматривающих «народную психологию» как «способ презентации содержания когнитивных процессов (знаний)» (Девятко, 2003: 286), существуют и экстерналистские подходы, настаивающие на том, что «народная психология» «встроена в поверхностную структуру речевых высказываний и отражает определенный способ описания (поведения)» (Ibid.).

Так, например, философ Д. Хатто выдвинул гипотезу нарративных практик (NPH) (Hutto, 2008), согласно которой объяснение и рационализация действий агентов путем приписывания им ментальных состояний является специальным навыком (компетенцией), приобретаемым индивидами в результате участия в социокультурных практиках «рассказывания историй» (story-telling) (Hutto, Kirchhoff, 2015: 9). Это подразумевает смену статуса понятий «народной психологии»: вместо внутренних ментальных состояний они становятся публичными лингвистическими репрезентациями — т. е. культурными артефактами (Ibid.: 10). Разумеется, такой подход переворачивает с ног на голову теоретическую модель культуры, в которой ментальные состояния, обладающие семантическим содержанием, являются основными структурными элементами и обеспечивают связь культуры с действием. Принятие экстерналистской перспективы с неизбежностью влечет за собой отказ от классического репрезентационализма, традиционных когнитивистских теорий информации и коммуникации, а также стандартных интенциональных концепций действия. В следующем разделе мы попробуем дать краткий очерк того, как могла бы выглядеть альтернативная натуралистическая концепция культуры, учитывающая все представленные выше критические замечания и лишенная упомянутых недостатков культурно-эпидемиологической модели.

Натурализация культуры: неопрагматистская стратегия

Итак, если представленная критика эпидемиологической концепции культуры обоснована и редукция культурных процессов к процессам распространения информации в когнитивных системах является неоправданной, следует задаться вопросом: возможно ли представить себе альтернативную концепцию культуры, которая основывается на убедительной натуралистической онтологии, но избегает упомянутых логических и содержательных проблем?

Очевидно, что такая альтернативная концепция должна опираться не на постулаты традиционного вычислительно-информационного подхода к познанию, критикуемого в предыдущем разделе, а на идеи его главных теоретических оппонентов в когнитивной науке — так называемых Е-подходов (Menary, 2010). Е-подходы не являются единой исследовательской программой или структурированной мета-

теоретической рамкой, а представляют собой довольно разнородный набор перспектив, фокусирующихся на воплощенном (embodied), расширенном (extended), экологическом (ecological), ситуативном (embedded) и активном (enactive) аспектах познания (Hutto, Myin, 2017: 1–3). Несмотря на существование разногласий по многим значимым вопросам, все эти подходы объединяет скептическое отношение к догматам традиционного когнитивизма⁷, а также выраженный акцент на динамическом, (интер)активном и телесном характере когнитивных процессов (*Ibid.*). Единицей анализа в Е-подходах выступает не индивидуальный агент с его набором связей и паттернов активации нейронов в головном мозге, а единая неразделимая система мозга, тела и окружающей среды (Chemero, 2011).

Для многих Е-подходов также характерна приверженность философии прагматизма (Caruana, Testa, 2020), поэтому их часто именуют «неопрагматистскими». Приверженность прагматистским объяснительным моделям представляет особую важность в контексте обсуждения альтернативной концепции культуры, ведь именно прагматизм предлагает одну из наиболее перспективных альтернатив интенциональным объяснениям действия, а именно — объяснения, основанные на понятии «привычки» (habit-based explanation) (Testa, 2017, 2020; Turner, 2020; Lizardo, 2021). Как отметил философ Б. Поллард, вместо приписывания ментальных состояний агентам такие объяснения работают путем указания на «паттерны определенных действий, которые выполняются в типичных обстоятельствах и которые стали для агента автоматическими в силу неоднократного повторения» (Pollard, 2006: 57). О. Лизардо подчеркивает, что, объясняя действия привычками, мы помещаем единичный акт в более широкий контекст истории действий индивида: иными словами, привычка понимается как диспозиция к совершению определенных действий в определенных обстоятельствах, приобретенная вследствие совершения этих действий при аналогичных обстоятельствах в прошлом (Lizardo, 2021: 394).

Именно привычки и иные поведенческие единицы (или связанные системы таких единиц) могут стать основным «строительным материалом» культуры в альтернативном подходе — в противовес ментальным репрезентациям и другим единицам информации. Разумеется, подобная реконцептуализация не означает, что мы должны отказаться вообще от всех инструментов эпидемиологического/распределенного подхода: мы по-прежнему можем изучать распределение и распространение культурных элементов в человеческих популяциях, однако теперь речь идет уже в первую очередь не о ментальных конструктах, а о наблюдаемом поведении: о взаимодействиях агентов с окружающей средой — включая артефакты материальной культуры — и другими агентами. При этом из-за смены концептуальной оптики дилемма «публичной — личностной культуры», очевидно, становится менее четкой и нуждается в переосмыслинии: опираясь на типологию

7. В первую очередь — к представлению о познании как процессе обработки информации, а также о ведущей роли нейронов головного мозга в этом процессе.

культурных практик Лизардо⁸, мы предлагаем разделить эту дихотомию на два аналитически различимых дополнительных измерения — степень распространенности в популяции (от высокой к низкой) и степень зависимости от материальных артефактов (Lizardo, 2022: 8–10).

Содержание первого измерения представляется довольно очевидным, однако здесь важно отметить следующий нюанс: хотя наиболее распространенные в популяции поведенческие единицы мы и можем называть «культурными практиками», с этим понятием следует обращаться с осторожностью. Если мы будем опираться на традиционную неокантианскую концепцию практик, т. е. рассматривать их как разделяемые «скрытые предположения» (Turner, 1994), мы неизбежно столкнемся с рядом проблем, обозначенных Тёрнером в его критике теорий практик⁹, а именно — с проблемами трансмиссии и тождества содержания (Turner, 2014: 67–70). Чтобы избежать этих трудностей, представляется целесообразным рассматривать культурные практики как «индивидуальные привычки, [телесные] навыки, способности не-репрезентационного характера, являющиеся продуктом истории научения и личного опыта» (Lizardo, 2020b). Иными словами, как и в случае с ментальными репрезентациями в классической эпидемиологической модели, мы можем установить лишь «семейное сходство» (Scott-Phillips et al., 2018) индивидуальных поведенческих единиц и на этом основании говорить об их широкой распространенности в популяции (и, следовательно, называть их «практиками»); однако в реальности они все же продолжают оставаться индивидуальными по характеру (Schatzki, 2021: 79–80).

Второе аналитическое измерение типологии, предложенной Лизардо, описывает степень, в которой те или иные поведенческие единицы зависят от внешних ресурсов в виде материальных артефактов или же, напротив, довольствуются личностными (соматическими) ресурсами (Lizardo, 2022: 9–10). В то время как некоторые типы практик полностью локализованы в человеческом мозге и теле, другие типы нуждаются в вынесенных во внешний мир вспомогательных «подпорках» («сcaffolding»¹⁰), предоставляемых (социо)материальной средой (*Ibid.*). Как проницательно отметил Тёрнер, общность материальной среды играет важную роль в концепциях общества и культуры, которые не опираются на общность ментальных состояний (Turner, 2018: 188–189). Когнитивные процессы всегда происходят в мире физических объектов, которые индивиды активно используют¹¹ и в от-

8. Подчеркнем, что О. Лизардо — как следует из первого раздела статьи — не является приверженцем Е-подходов. Однако в последние годы его взгляды на культуру демонстрируют сближение с pragmatistскими позициями. Поэтому новая таксономия культурных практик, предложенная им в статье 2022 года и опирающаяся на некоторые идеи С. Тёрнера, совместима с альтернативным неопрагматистским взглядом на культуру.

9. См. также: Turner, 1994, 2002, 2007, 2014; Девятко, 2003: 289–304; Шариков, 2019: 194–198.

10. От англ. *scaffolding* — строительные леса, подмостки. Труднопереводимый психологический термин, первоначально использовавшийся для описания помощи, предоставляемой ребенку со стороны взрослых в процессе обучения. См. также: Turner, 2018: 140–145.

11. Для описания отношений индивидов с объектами материальной среды Тёрнер использует термин «аффордансы», заимствованный из экологической психологии Дж. Гибсона. Подробнее

ношении которых у них формируются опривыченные реакции (*Ibid.*: 188). Кроме того, объекты могут становиться фокусом совместного внимания (*joint attention*) индивидов — факт, который представляется Тёрнеру ключевым в объяснении как общности внешне наблюдаемого поведения (практик), так и ментального опыта (*Ibid.*: 187–188).

Различие традиционного и неопрагматистского подходов к роли объектов можно проиллюстрировать на примере такого очевидно культурного по природе феномена, как деньги. Показательны здесь, в частности, взгляды философа Дж. Сёрля — одного из видных апологетов традиционного когнитивизма и стандартной модели социальной онтологии (Epstein, 2015: 51–53). Сёрля считает, что для наделения статусом денег физических объектов — цветных кусков бумаги с печатью банка — необходимо, чтобы члены сообщества коллективно приняли особое правило, устанавливающее этот статус (Searle, 1995). Для того чтобы это стало возможным, члены сообщества должны сформировать особые ментальные состояния — «мы-установки» (*Ibid.*). В отличие от Сёрля, сторонник неопрагматистских подходов Тёрнер полагает, что для объяснения культурного феномена денег не нужно привлекать коллективные намерения или иные ментальные состояния — достаточно указать на диспозиции индивидов к обращению с кусками бумаги как с ценными объектами и к использованию их в качестве средств обмена (Turner, 2018: 188–189). Согласно Тёрнеру, коллективный характер культурных феноменов гораздо лучше объясняется не «разделяемыми» рамками, схемами и неявными предположениями (коллективными состояниями сознания), а общими физическими объектами в окружающей среде и нашими опривыченными способами их использования и реакциями на них — а также ожиданиями реакций от других индивидов относительно тех же объектов (*Ibid.*).

Отдельно стоит подчеркнуть, что, несмотря на выраженный акцент на поведении и взаимодействии агентов с материальной средой, позиции Е-подходов все же не следует рассматривать как антименталистские или радикально бихевиористские¹². Безусловно, большинство представителей Е-подходов отвергает стандартную когнитивистскую картину познания как обработки информации — вычислительных операций с амодальными внутренними символами, обладающими семантическими свойствами и пропозициональным содержанием (Gallagher, 2017: 83–84). Однако отказ от постулатов классического репрезентационализма, разумеется, не подразумевает полной элиминации ментального или автоматической редукции всех когнитивных процессов и механизмов к поведению.

Тёрнер выделяет по меньшей мере два не-репрезентационных когнитивных механизма, имеющих ключевое значение для культуры. Это, во-первых, механизмы имитации и «отзеркаливания», важную роль в реализации которых играют зер-

о значении концепции аффордансов в объяснении природы социокультурных практик. См: Rietveld, Kieverstein, 2014.

12. Хотя это и является одним из самых распространенных упреков в сторону Е-подходов от придерживавших традиционного когнитивизма. См., например: Aizawa, 2017.

кальные нейроны (Turner, 2018: 117–118). Именно эти механизмы помогают взаимодействующим индивидам достигать базовых форм эмпатического понимания и, как следствие, успешно координировать совместные действия, подстраиваясь друг под друга (Ibid.). В конечном счете, по мнению Тёрнера, такая взаимная настройка поведения индивидами и позволяет наблюдателю распознать последнее как некоторую (культурную) практику (Turner, 2014: 361).

Во-вторых, с точки зрения Тёрнера, не менее важными для культуры являются когнитивные эвристики распознавания и заполнения паттернов (pattern recognition) (Turner, 2019), т. е. выученные автоматизированные навыки распознавания сходств и закономерностей¹³ в сенсорных данных — и заполнения «пропусков» в них. Здесь Тёрнер опирается на идеи когнитивного психолога Л. Барсалу о «ситуативных концептуализациях» (Ibid.: 252–253), приводя следующую иллюстрацию: когда мы идем по улице и замечаем по ту сторону дороги друга, машущего нам рукой, мы распознаем в новых сенсорных данных уже привычный нам паттерн (Barsalou, 2013: 2951). Мы концептуализируем окружающую обстановку как «улицу», человека по ту сторону дороги — как «друга», его действие — как «махание рукой», а его эмоциональные и ментальные состояния — как «дружелюбные» (Ibid.). Важно отметить, что это распознавание и заполнение паттерна происходит быстро и автоматически, без сложной вычислительной работы и обработки презентаций (Turner, 2019: 253).

По мнению Тёрнера, взаимодействие индивидов в общей (социо)материальной среде, включающее совместное фокусирование внимания на значимых объектах, приводит к тому, что их навыки распознавания и заполнения паттернов со временем становятся схожими, «синхронизируются» (Turner, 2014: 166). На формирование навыков распознавания паттернов, согласно позиции Тёрнера, также оказывают существенное влияние конструируемые в социальных целях нарративы (в первую очередь — нормативные «народные» теории и идеологии), которые имеют тенденцию к хабитуализации (Turner, 2018: 212–213). Например, как уже упоминалось ранее, склонность индивидов в современных западных обществах описывать действия других в терминах убеждений и желаний может объясняться хабитуализацией нарративов «народной психологии» — формированием соответствующих привычек распознавания и заполнения паттернов¹⁴ (Ibid.). В то время как базовые нейрокогнитивные механизмы имитации и «отзеркаливания», с точки зрения Тёрнера, лежат в основе того то, что Вебер называл «непосредственным пониманием» (Turner, 2019: 245), комбинация их с культурно приобретенными способами распознавания и заполнения паттернов может служить ключом к полноценному эмпатическому пониманию в значении *Verstehen* (Ibid.: 253–254) — одному из необходимых условий социального взаимодействия и социальной жизни в целом.

13. В том числе социально значимых

14. Альтернативой такому объяснению, разумеется, будет утверждение о реальности и причинной действенности соответствующих состояний.

В итоге мы получаем картину, в которой когнитивные и культурные факторы тесно переплетаются, оказывая взаимное влияние друг на друга. С одной стороны, культурные практики — и социальные взаимодействия в широком смысле — немыслимы без некоторых врожденных, эволюционно сформированных нейрокогнитивных механизмов (например, механизмов «отзеркаливания», связанных с работой зеркальных нейронов). С другой стороны, само участие в культурных практиках фундаментальным образом преобразует наши познавательные процессы — влияет на то, как мы видим окружающий мир в целом и как воспринимаем конкретные ситуации¹⁵ (Roepstorff et al., 2010). Подстраиваясь под требования социального взаимодействия и условия (социо)материальной среды, мы приобретаем новые — или трансформируем существующие — когнитивные навыки (например, навыки распознавания паттернов и иные когнитивные эвристики). Такой фундаментально интеракционистский подход к пониманию культуры представляется нам убедительной альтернативой моделям, рассматривающим взаимодействия и практики исключительно как часть цепочек передачи информации. На наш взгляд, альтернативная неопрагматистская модель культуры, опирающаяся на идеи Е-подходов в когнитивных науках, позволяет сохранить некоторые преимущества эпидемиологической оптики, преодолев при этом множество ограничений, характерных для информационно-вычислительных моделей.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели две когнитивно-ориентированные, натуралистические стратегии теоретизирования о культуре и культурных феноменах. Одна из них базируется на философско-теоретических предпосылках традиционного когнитивизма и механистической философии науки, а другая — на предпосылках Е-подходов и прагматистской философии действия. В центре одной из них находятся процессы распространения и трансформации информационных единиц, в центре другой — взаимодействия индивидов в материальной среде. Одна из них опирается на интенционалистские объяснения действия и оперирует конструктами «народной психологии», другая предпочитает объяснять действия с помощью привычек и диспозиций, а также базовых нейрокогнитивных механизмов. И та, и другая обладают несомненными преимуществами — равно как и неоспоримыми недостатками.

На наш взгляд, главным преимуществом обеих стратегий является их способность преодолеть проблемы и ограничения, характерные для доминирующих в поведенческих науках подходов к изучению культуры: в частности, для исследовательской программы «культурной нейронауки» и ее «старшей сестры» — кросскультурной психологии (Vidal, Ortega, 2018). При этом, однако, остается неочевидным, насколько рассматриваемые стратегии совместимы с другими подходами

15. При этом, как неоднократно подчеркивалось выше, для объяснения этого влияния нам не требуется постулировать скрытые «разделяемые» ментальные структуры.

к изучению культуры в социальных науках — в частности, с исследовательскими программами в социологии культуры. Несложно заметить, что культурно-эпидемиологическая и неопрагматистская стратегии, описанные в статье, являются выражено индивидуалистскими — как на онтологическом, так и на методологическом уровне¹⁶. В то же время многие классические и современные социологические подходы к изучению культуры демонстрируют приверженность позициям методологического — а зачастую и онтологического — холизма¹⁷: культура нередко определяется в терминах коллективно разделяемых «значений» или «коллективных представлений» (Alexander, 2004: 530).

Мы исходим из того, что онтологический холизм в отношении культуры и культурных феноменов в корне несовместим с представленными в статье подходами, так как противоречит основополагающим предпосылкам философского натурализма. В то же время мы легко можем представить себе позицию, сочетающую методологический холизм с индивидуалистской социальной онтологией. В одной из предыдущих работ мы уже указывали на концепции социального эмерджентизма¹⁸ как на один из возможных источников для обоснования такой позиции (Шариков, 2019: 200–203). Например, опираясь на эмерджентистскую концепцию «нередуктивного индивидуализма» Р. К. Сойера (Sawyer, 2002a, 2003), мы можем рассматривать свойства культуры на коллективном уровне как эмерджентные свойства, которые супервентны¹⁹ на индивидуальных — психологических и нейробиологических — свойствах, но в то же время нередуцируемы к ним (Sawyer, 2002a: 553–554).

Безусловно, культурно-эпидемиологическая модель с ее акцентом на ментальных репрезентациях оказывается здесь в выигрышном положении. Инструменты агентного моделирования в компьютерных науках (Shaw, 2019) позволяют продемонстрировать, как из индивидуальных цепочек передачи ментальных репрезентаций возникают эмерджентные культурные феномены коллективного уровня.

16. Позиция онтологического индивидуализма в социальных науках подразумевает, что реальны только индивиды: социальные объекты и свойства являются лишь комбинациями индивидов и их свойств. Методологический индивидуализм настаивает на том, что все социальные явления и события могут быть объяснены в индивидуальных (в т. ч. психологических или нейробиологических) терминах. Кратко о различиях между онтологическим и методологическим индивидуализмом см.: Epstein, 2015: 18–22.

17. Онтологические холисты (коллективисты) исходят из представлений о реальности социальных объектов и свойств. Методологические холисты, в свою очередь, настаивают на том, что социальные объекты и явления должны описываться в социологических терминах, несводимых к индивидуальным (в т. ч. психологическим). При этом методологический холизм ничего не утверждает о реальности социальных объектов и свойств, поэтому в принципе совместим как с онтологическим холизмом, так и с онтологическим индивидуализмом. Подробнее о холизме в социальных науках см.: Zahle, 2016.

18. Подробнее об эмерджентизме в социологии культуры см.: Куракин, 2018: 40–44; Kurakin, 2020: 71–74.

19. Термин «супервентность» заимствован Р. К. Сойером из философии, где тот описывает особое нередуктивное отношение онтологической зависимости между двумя наборами свойств. Например, такие свойства воды как прозрачность и текучесть несводимы к свойствам суммы молекул H_2O (Юлина, 2009: 946).

В частности, в одной из работ Л. Шоу описываются результаты компьютерной симуляции, в которой взаимодействия индивидуальных агентов привели к возникновению эмерджентного социального порядка с четко идентифицируемыми на макро-уровне подгруппами агентов, обладающих схожими по содержанию ментальными репрезентациями («разделяемыми» смыслами) (Shaw, 2015). На наш взгляд, несмотря на характерные для компьютерных симуляций ограничения и упрощения, эта и другие аналогичные работы дают нам ключ к пониманию того, как информационно-ориентированные когнитивистские подходы могут быть продуктивно интегрированы с исследовательскими программами традиционной социологии культуры.

Несмотря на активное использование сторонниками Е-подходов в когнитивных науках инструментов математического моделирования, в частности, теории динамических систем (Lamb, Chemero, 2018), пока остается неочевидным, как эти инструменты могут быть использованы для моделирования эмерджентных культурных феноменов коллективного уровня²⁰. При этом в социологии культуры существуют традиции, которые — подобно неопрагматистскому подходу — предлагаю рассматривать культуру как систему социальных практик. К сожалению, последние зачастую опираются на стандартные неокантианские предпосылки о коллективных ментальных структурах как основе социальных практик (Turner, 1994), поэтому несовместимы с рассматриваемой в третьем разделе тёрнерианской концепцией.

С другой стороны, существуют традиции, которые предлагают перевернуть классическую культурсоциологическую картину с ног на голову и рассматривать практики как первопричины представлений и верований. К ним относится, например, трактовка дюргеймовской теории знания, предложенная американской исследовательницей Э. Роулз (Роулз, 2005). Согласно интерпретации Роулз, в поздних работах Э. Дюргейма приоритетной единицей анализа выступают конкретные разыгрываемые практики — наблюдаемые звуки и движения, способные вызывать у участников практики «определенные базовые переживания или эмоциональные отклики» (Роулз, 2005: 5). Формирование коллективных «представлений» и «понятий» является следствием разыгрывания конкретных практик, производящих общие переживания: вопреки классическим идеалистическим трактовкам дюргеймовского аргумента, верования и символы на самом деле вторичны по отношению к коллективным действиям (*Ibid.*: 10–11). Как мы указывали ранее, Тёрнер также склонен объяснять общность психоэмоционального опыта индивидов конкретными коллективными действиями, включающими использование конкретных физических объектов, в общей материальной среде (Turner, 2018: 187–188). На наш взгляд, такое сходство позиций неслучайно и спо-

20. Разумеется, сама по себе возможность построить математическую модель ничего не говорит об истинности или предпочтительности того или иного подхода.

собно проложить дорогу для интеграции неопрагматистских когнитивистских подходов с некоторыми перспективами в социологии культуры²¹.

Не вызывает сомнений, что культурно-эпидемиологический подход опирается на более длительную, устойчивую и эмпирически успешную исследовательскую традицию в когнитивных науках, чем его неопрагматистский оппонент. В то время как Е-подходы вышли на научную арену сравнительно недавно, за плечами у традиционного когнитивизма имеется как огромный массив эмпирических исследований, так и поистине колоссальный запас философско-теоретического знания. Не менее очевидно и то, что эпидемиологический подход обладает лучшей совместимостью с традиционными исследовательскими программами в социологии культуры, в то время как неопрагматистская альтернатива в теории совместима лишь с отдельными, не слишком распространенными перспективами.

Однако цена, которую приходится заплатить сторонникам эпидемиологического подхода за приверженность постулатам традиционного когнитивизма, все же весьма высока. На наш взгляд, проблемы с натурализацией информации и содержания ментальных состояний, подробно описанные во втором разделе данной статьи, серьезно подрывают авторитет традиционного когнитивизма — а вместе с ним и эпидемиологического подхода к изучению культуры. Несмотря на то, что альтернативная — неопрагматистская — стратегия пока является менее «зрелой» и концептуально проработанной, в перспективе она представляется нам более убедительным кандидатом на роль подлинно интегративной натуралистической концепции культуры, объединяющей объяснительные возможности когнитивных, поведенческих и социальных наук. Впрочем, какая из представленных стратегий окажется успешнее, покажет лишь время.

Литература

- Быков А. В., Настина Е. А. (2020). Взаимосвязи ценностных установок и карьерных достижений (по данным исследования молодежи) // Социологические исследования. № 8. С. 67–77.
- Витгенштейн Л. (2018). Философские исследования / Пер. с нем. Л. Добросельского. М.: АСТ.
- Девятко И. Ф. (2003). Социологические теории деятельности и практической рациональности. М.: Аванти плюс.
- Куракин Д. Ю. (2018). Предисловие к русскому переводу «Элементарных форм религиозной жизни» // Дюркгейм. Э. Элементарные формы религиозной жизни / Пер. с фр. В. В. Земской под ред. Д. Ю. Куракина. М.: Элементарные формы. С. 15–80.

21. Особенno в свете интерпретации Р. К. Сойером дюркгеймiанского синтеза *sui generis* как эмпирентистской концепции, совместимой с нередуктивным индивидуализмом (Sawyer, 2002b). См. также: Kurakin, 2020.

- Куракин Д. Ю. (2020). Трагедия неравенства: расчеловечивая «тотального человека» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 167–231.
- Роулз Э. (2005). Дюркгеймовская трактовка практики: альтернатива конкретных практик и представлений как оснований разума / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. 2005. Т. 4. № 1. С. 3–30.
- Фаликман М. В., Коул М. (2014). «Культурная революция» в когнитивной науке: от нейронной пластиичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта // Культурно-историческая психология. Т. 10. № 3. С. 4–18.
- Шариков Д. Д. (2019). Новая социология культуры: от «ящиков с инструментами» к когнитивным процессам // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 22. № 3. С. 179–210.
- Шариков Д. Д. (2020). Культура и познание: в поисках не-редукционистского подхода // Социология власти. Т. 32. № 2. С. 104–124.
- Юлина Н. С. (2009). Супервентность // Касавин И. Т. (ред.). Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон+. С. 946–947.
- Adolphs R. (2010). Conceptual Challenges and Directions for Social Neuroscience // Neuron. Vol. 65. № 6. P. 752–767.
- Aizawa K. (2017). Cognition and Behavior // Synthese. Vol. 194. № 11. P. 4269–4288.
- Alexander J. C. (2004). Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy // Sociological Theory. Vol. 22. № 4. P. 527–573.
- Barsalou L. W. (1999). Perceptual Symbol Systems // Behavioral and Brain Sciences. Vol. 22. № 4. P. 577–660.
- Barsalou L. W. (2013) Mirroring as Pattern Completion Inferences within Situated Conceptualizations // Cortex. Vol. 49. № 10. P. 2951–2953.
- Bunge M. (2003). Emergence and Convergence: Qualitative Novelty and the Unity of Knowledge. Toronto: University of Toronto Press.
- Buskell A. (2017). What are Cultural Attractors? // Biology & Philosophy. Vol. 32. № 3. P. 377–394.
- Caruana F., Testa I. (eds.). (2020). Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chemero A. (2011). Radical Embodied Cognitive Science. Cambridge: MIT Press.
- Chiao J. Y., Ambady N. (2007). Cultural Neuroscience: Parsing Universality and Diversity across Levels of Analysis // Kitayama S., Cohen D. (eds.) Handbook of Cultural Psychology. N.Y.: Guilford. P. 237–254.
- Claidière N., Sperber D. (2007). The Role of Attraction in Cultural Evolution // Journal of Cognition and Culture. Vol. 7. № 1–2. P. 89–111.
- Coulter J. (2008). Twenty-Five Theses against Cognitivism // Theory, Culture & Society. 2008. Vol. 25. № 2. P. 19–32.
- Epstein B. (2015). The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences. Oxford: Oxford University Press.
- Fischer R., Schwartz S. (2011). Whence Differences in Value Priorities? Individual, Cultural, or Artifactual Sources // Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol. 42. № 7. P. 1127–1144.

- Fodor J. A. (1975). The Language of Thought. Cambridge: Harvard University Press.*
- Foster J. G. (2018). Culture and Computation: Steps to a Probably Approximately Correct Theory of Culture // Poetics. Vol. 68. P. 144–154.*
- Gallagher S. (2017). Enactivist Interventions: Rethinking the Mind. Oxford: Oxford University Press.*
- Han S., Northoff G., Vogeley K., Wexler B. E., Kitayama S., Varnum M. E. W. (2013). A Cultural Neuroscience Approach to the Biosocial Nature of the Human Brain // Annual Review of Psychology. Vol. 64. P. 335–359.*
- Heinz A., Müller D. J., Krach S., Cabanis M., Kluge U. P. (2014). The Uncanny Return of the Race Concept // Frontiers in Human Neuroscience. Vol. 8. Art. 836.*
- Hempel C. G. (1965). Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. N.Y.: Free Press.*
- Hofstede G. (2001). Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage.*
- Hutchins E. (1995). Cognition in the Wild. Cambridge: MIT Press.*
- Hutto D. D. (2008). Folk Psychological Narratives. Cambridge: MIT Press.*
- Hutto D. D., Kirchhoff M. D. (2015). Looking beyond the Brain: Social Neuroscience Meets Narrative Practice // Cognitive Systems Research. Vol. 34. P. 5–17.*
- Hutto D. D., Myin E. (2013). Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content. Cambridge: MIT Press.*
- Hutto D. D., Myin E. (2017). Evolving Enactivism: Basic Minds Meet Content. Cambridge: MIT Press.*
- Hutto D. D., Myin E. (2018). Going Radical // Newen A., De Bruin L., Gallagher S. (eds.). The Oxford Handbook of 4E Cognition. Oxford: Oxford University Press. P. 94–116.*
- Hutto D. D., Satne G. (2015). The Natural Origins of Content // Philosophia. Vol. 43. № 3. P. 521–536.*
- Ignatow G. (2007). Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology? // Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol. 37. № 2. P. 115–135.*
- Kaidesoja T. (2013). Naturalizing Critical Realist Social Ontology. N.Y.: Routledge.*
- Kaidesoja T., Sarkia M., Hyryläinen M. (2019). Arguments for the Cognitive Social Sciences // Journal for the Theory of Social Behaviour. Vol. 49. № 4. P. 480–498.*
- Kurakin D. (2020). Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture // American Journal of Cultural Sociology. Vol. 8. № 1. P. 63–89.*
- Lamb M., Chemero A. (2018). Interacting in the Open // Newen A., De Bruin L., Gallagher S. (eds.). The Oxford Handbook of 4E Cognition. Oxford: Oxford University Press. P. 94–116.*
- Lehman D. R., Chiu C., Schaller M. (2004). Psychology and Culture // Annual Review of Psychology. Vol. 55. P. 689–714.*
- Lizardo O. (2015). Culture, Cognition and Embodiment // Wright J. D. (ed.). International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. P. 576–581.*

- Lizardo O.* (2017). Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in Its Declarative and Nondeclarative Modes // *American Sociological Review*. Vol. 82. № 1. P. 88–115.
- Lizardo O.* (2020a). Ontic Monism versus Pluralism in Cultural Theory. URL: <https://culturecog.blog/2020/12/19/ontic-monism-versus-pluralism-in-cultural-theory/> (дата доступа: 24.03.2021)
- Lizardo O.* (2020b). A Typology of Cultural Practices. URL: <https://culturecog.blog/2020/01/05/a-typology-of-cultural-practices/> (дата доступа: 24.03.2021).
- Lizardo O.* (2021). Habit and the Explanation of Action // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 53. № 3. P. 391–411.
- Lizardo O.* (2022). What is Implicit Culture? // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. In press.
- Mateo M. M., Cabanis M., de Echeverría Loebell N. C., Krach S.* (2012). Concerns about Cultural Neurosciences: A Critical Analysis // *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. Vol 36. № 1. P. 152–161.
- Menary R.* (2010). Introduction to the Special Issue on 4E Cognition // *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. Vol. 9. № 4. P. 459–463.
- Newell A.* (1980). Physical Symbol Systems // *Cognitive Science*. Vol. 4. № 2. P. 135–183.
- Norton M.* (2020). Cultural Sociology Meets the Cognitive Wild: Advantages of the Distributed Cognition Framework for Analyzing the Intersection of Culture and Cognition // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 45–62.
- Orenstein C.* (2002). Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, and the Evolution of a Fairy Tale. N.Y.: Basic Books.
- Pollard B.* (2006). Explaining Actions with Habits // *American Philosophical Quarterly*. Vol. 43. № 1. P. 57–69.
- Rietveld E., Kiverstein J.* (2014). A Rich Landscape of Affordances // *Ecological Psychology*. Vol. 26. № 4. P. 325–352.
- Robbins J., Rumsey A.* (2008). Introduction: Cultural and Linguistic Anthropology and the Opacity of Other Minds // *Anthropological Quarterly*. Vol. 81. № 2. P. 407–420.
- Roepstorff A., Niewöhner J., Beck S.* (2010). Enculturing Brains through Patterned Practices // *Neural Networks*. Vol. 23. № 8–9. P. 1051–1059.
- Rosenberg A.* (2014). Disenchanted Naturalism // *Bashour B., Muller H. D. (eds.)*. Contemporary Philosophical Naturalism and Its Implications. N.Y.: Routledge. P. 17–36.
- Sarkia M., Kaidesoja T., Hyyryläinen M.* (2020). Mechanistic Explanations in the Cognitive Social Sciences: Lessons from Three Case Studies // *Social Science Information*. Vol. 59. № 4. P. 580–603.
- Sawyer R. K.* (2002a). Nonreductive Individualism, Part I: Supervenience and Wild Disjunction // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 32. № 4. P. 537–559.
- Sawyer R. K.* (2002b). Durkheim's Dilemma: Toward a Sociology of Emergence // *Sociological Theory*. Vol. 20. № 2. P. 227–247.
- Sawyer R. K.* (2003). Nonreductive Individualism, Part II: Social Causation // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 33. № 2. P. 203–224.

- Schatzki T. R.* (2021). What Is in an Account of Practices? // *Adair-Toteff C.* (ed.) Stephen Turner and the Philosophy of the Social. Leiden: Brill Rodopi. P. 71–89.
- Schieffelin B. B.* (2008). Speaking Only Your Own Mind: Reflections on Talk, Gossip and Intentionality in Bosavi (PNG) // *Anthropological Quarterly*. Vol. 81. № 2. P. 431–441.
- Scott-Phillips T. C., Blancke S., Heintz C.* (2018). Four Misunderstandings about Cultural Attraction // *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*. Vol. 27. № 4. P. 162–173.
- Searle J.* (1995). *The Construction of Social Reality*. N.Y.: Free Press.
- Shaw L.* (2015). Mechanics and Dynamics of Social Construction: Modeling the Emergence of Culture from Individual Mental Representation // *Poetics*. Vol. 52. P. 75–90.
- Shaw L.* (2019). Charting the Emergence of the Cultural from the Cognitive with Agent-Based Modeling // *Brekhus W.H., Ignatow G.* (eds.). *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology*. Oxford: Oxford University Press. P. 403–421.
- Soliman T., Glenberg A. M.* (2014). The Embodiment of Culture // *Shapiro L.* (ed.). *The Routledge Handbook of Embodied Cognition*. N.Y.: Routledge, P. 207–219.
- Sperber D.* (1996). Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Oxford: Blackwell.
- Sperber D.* (2011). A Naturalistic Ontology for Mechanistic Explanations in the Social Sciences // *Demeulenaere P.* (ed.). *Analytical Sociology and Social Mechanisms*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 64–77.
- Testa I.* (2017). Dewey's Social Ontology: A Pragmatist Alternative to Searle's Approach to Social Reality // *International Journal of Philosophical Studies*. Vol. 25. № 1. P. 40–62.
- Testa I.* (2020). A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences // *Caruana F., Testa I.* (eds.). *Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 395–416.
- Turner S. P.* (1994). *The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Pre-suppositions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Turner S. P.* (2002). *Brains/Practices/Relativism: Social Theory after Cognitive Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Turner S. P.* (2007). Mirror Neurons and Practices: A Response to Lizardo // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 37. № 3. P. 351–371.
- Turner S. P.* (2014). *Understanding the Tacit*. N.Y.: Routledge.
- Turner S. P.* (2018). *Cognitive Science and the Social: A Primer*. N.Y.: Routledge.
- Turner S. P.* (2019). Verstehen Naturalized // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 49. № 4. P. 243–264.
- Turner S. P.* (2020). Habit is Thus the Enormous Flywheel of Society // *Caruana F., Testa I.* (eds.). *Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 320–336.
- Vidal F., Ortega F.* (2018). On the Neurodisciplines of Culture // *Meloni M., Cromby J., Fitzgerald D., Lloyd S.* (eds.). *The Palgrave Handbook of Biology and Society*. L.: Palgrave Macmillan. P. 371–390.
- Zahle J.* (2016). Methodological Holism in the Social Sciences. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/holism-social/> (дата доступа: 12.02.2022).

Naturalizing Culture: Cognitivism vs. Pragmatism

Dmitrii Sharikov

PhD Student, School of Sociology, HSE University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: ddsharikov@hse.ru

This paper focuses on the integrative models of culture and cultural phenomena developed at the intersection of the cognitive and social sciences. It is argued that the leading research program of "cultural neuroscience" rests on the erroneous presuppositions with regard to the nature of cultural phenomena. Two alternative theoretical strategies are subsequently proposed for consideration. The first builds on the traditional computational approach in the philosophy of mind and cognitive sciences. According to this strategy, culture consists of information units as mental and public representations that are disseminated and transformed in the process of communication. The second strategy builds on a family of competing cognitivist approaches, namely the "4E" approaches. It asserts that culture is best explained in terms of individuals interacting in the shared material environment. The paper argues that the first strategy faces a number of substantial problems. It is claimed that the notions of information and mental content employed within this approach are scientifically questionable. In addition, it is maintained that the second strategy, although less conceptually mature and elaborate, does not face the same kinds of problems as the first one. In the concluding paragraph, the advantages and disadvantages of both theoretical strategies are, once again, weighed up.

Keywords: culture and cognition, cognitive sociology, cultural sociology, cultural practices, naturalism, pragmatism

References

- Adolphs R. (2010) Conceptual Challenges and Directions for Social Neuroscience. *Neuron*, vol. 65, no 6, pp. 752–767.
- Aizawa K. (2017) Cognition and Behavior. *Synthese*, vol. 194, no 11, pp. 4269–4288.
- Alexander J. C. (2004) Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy. *Sociological Theory*, vol. 22, no 4, pp. 527–573.
- Barsalou L. W. (1999) Perceptual Symbol Systems. *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 22, no 4, pp. 577–660.
- Barsalou L. W. (2013) Mirroring as Pattern Completion Inferences within Situated Conceptualizations. *Cortex*, vol. 49, no 10, pp. 2951–2953.
- Bunge M. (2003) *Emergence and Convergence: Qualitative Novelty and the Unity of Knowledge*, Toronto: University of Toronto Press.
- Buskell A. (2017) What are Cultural Attractors?. *Biology & Philosophy*, vol. 32, no 3, pp. 377–394.
- Bykov A., Nastina E. (2020) Vzaimosvjazi cennostnyh ustyanovok i kar'ernyh dostizhenij (po dannym issledovanija molodezhi) [Interconnections between Value Attitudes and Career Achievements (Based on a Survey of Youth)]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 67–77.
- Caruana F., Testa I. (eds.) (2020) *Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Chemero A. (2011) *Radical Embodied Cognitive Science*, Cambridge: MIT Press.
- Chiao J. Y., Ambady N. (2007) Cultural Neuroscience: Parsing Universality and Diversity across Levels of Analysis. *Handbook of Cultural Psychology* (eds. S. Kitayama, D. Cohen), New York: Guilford, pp. 237–254.
- Claidière N., Sperber D. (2007) The Role of Attraction in Cultural Evolution. *Journal of Cognition and Culture*, vol. 7, no 1–2, pp. 89–111.
- Coulter J. (2008) Twenty-Five Theses against Cognitivism. *Theory, Culture & Society*, vol. 25, no 2, pp. 19–32.

- Deviatko I. (2003) *Sociologicheskie teorii dejatel'nosti i prakticheskoy racional'nosti* [Sociological Theories of Action and Practical Rationality], Moscow: Avanti Plus.
- Epstein B. (2015) *The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences*, Oxford: Oxford University Press.
- Falikman M., Cole M. (2014) "Kul'turnaja revoljucija" v kognitivnoj nauke: ot nejronnoj plastichnosti do geneticheskikh mehanizmov priobretenija kul'turnogo opyta ["Cultural Revolution" in Cognitive Science: From Neuropasticity to Genetic Mechanisms of Acculturation]. *Cultural-Historical Psychology*, vol. 10, no 3, pp. 4–18.
- Fischer R., Schwartz S. (2011) Whence Differences in Value Priorities? Individual, Cultural, or Artifactual Sources. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 42, no 7, pp. 1127–1144.
- Fodor J. A. (1975) *The Language of Thought*, Cambridge: Harvard University Press.
- Foster J. G. (2018) Culture and Computation: Steps to a Probably Approximately Correct Theory of Culture. *Poetics*, vol. 68, pp. 144–154.
- Gallagher S. (2017) *Enactivist Interventions: Rethinking the Mind*, Oxford: Oxford University Press.
- Han S., Northoff G., Vogeley K., Wexler B. E., Kitayama S., Varnum M. E. W. (2013) A Cultural Neuroscience Approach to the Biosocial Nature of the Human Brain. *Annual Review of Psychology*, vol. 64, pp. 335–359.
- Heinz A., Müller D. J., Krach S., Cabanis M., Kluge U. P. (2014) The Uncanny Return of the Race Concept. *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 8, art. 836.
- Hempel C. G. (1965) *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*, New York: Free Press.
- Hofstede G. (2001) *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*, Thousand Oaks: Sage.
- Hutchins E. (1995) *Cognition in the Wild*, Cambridge: MIT Press.
- Hutto D. D. (2008) *Folk Psychological Narratives*, Cambridge: MIT Press.
- Hutto D. D., Kirchhoff M. D. (2015) Looking beyond the Brain: Social Neuroscience Meets Narrative Practice. *Cognitive Systems Research*, vol. 34, pp. 5–17.
- Hutto D. D., Myin E. (2013) *Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content*, Cambridge: MIT Press.
- Hutto D. D., Myin E. (2017) *Evolving Enactivism: Basic Minds Meet Content*, Cambridge: MIT Press.
- Hutto D. D., Myin E. (2018) Going Radical. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (eds. A. Newen., L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 94–116.
- Hutto D. D., Satne G. (2015) The Natural Origins of Content. *Philosophia*, vol. 43, no 3, pp. 521–536.
- Ignatow G. (2007) Theories of Embodied Knowledge: New Directions for Cultural and Cognitive Sociology?. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 37, no 2, pp. 115–135.
- Kaidesoja T. (2013) *Naturalizing Critical Realist Social Ontology*, New York: Routledge.
- Kaidesoja T., Sarkia M., Hyyryläinen M. (2019) Arguments for the Cognitive Social Sciences. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 49, no 4, pp. 480–498.
- Kurakin D. (2018) Predislovie k russkomu perevodu "Jelementarnykh form religioznoj zhizni" [Preface to the Russian translation of The Elementary Form of Religious Life]. Durkheim E., *Jelementarnye formy religioznoj zhizni* [The Elementary Forms of Religious Life], Moscow: Elementary Forms Press, pp. 15–80.
- Kurakin D. (2020) Tragedija neravenstva: raschelovechivaja "total'nogo cheloveka" [Tragedy of Inequality: Dehumanizing "L'Homme Total"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 167–231.
- Kurakin D. (2020) Culture and Cognition: The Durkheimian Principle of Sui Generis Synthesis vs. Cognitive-Based Models of Culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 63–89.
- Lamb M., Chemero A. (2018) Interacting in the Open. *The Oxford Handbook of 4E Cognition* (eds. A. Newen., L. De Bruin, S. Gallagher), Oxford: Oxford University Press, pp. 94–116.
- Lehman D. R., Chiu C., Schaller M. (2004) Psychology and Culture. *Annual Review of Psychology*, vol. 55, pp. 689–714.
- Lizardo O. (2015) Culture, Cognition and Embodiment. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (ed. J. D. Wright), Amsterdam: Elsevier, pp. 576–581.
- Lizardo O. (2017) Improving Cultural Analysis: Considering Personal Culture in Its Declarative and Nondeclarative Modes. *American Sociological Review*, vol. 82, no 1, pp. 88–115.

- Lizardo O. (2020) Ontic Monism versus Pluralism in Cultural Theory. Available at: <https://culturecog.blog/2020/12/19/ontic-monism-versus-pluralism-in-cultural-theory/> (accessed 24 March 2021).
- Lizardo O. (2020) A Typology of Cultural Practices. Available at: <https://culturecog.blog/2020/01/05/a-typology-of-cultural-practices/> (accessed 24 March 2021).
- Lizardo O. (2021) Habit and the Explanation of Action. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 53, no 3, pp. 391–411.
- Lizardo O. (2022) What is Implicit Culture?. *Journal for the Theory of Social Behaviour*. (In press)
- Mateo M. M., Cabanis M., de Echeverría Loebell N. C., Krach S. (2012) Concerns about Cultural Neurosciences: A Critical Analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, vol 36, no 1, pp. 152–161.
- Menary R. (2010) Introduction to the Special Issue on 4E Cognition. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 9, no 4, pp. 459–463.
- Newell A. (1980) Physical Symbol Systems. *Cognitive Science*, vol. 4, no 2, pp. 135–183.
- Norton M. (2020) Cultural Sociology Meets the Cognitive Wild: Advantages of the Distributed Cognition Framework for Analyzing the Intersection of Culture and Cognition. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 45–62.
- Orenstein C. (2002) *Little Red Riding Hood Uncloaked: Sex, Morality, and the Evolution of a Fairy Tale*, New York: Basic Books.
- Pollard B. (2006) Explaining Actions with Habits. *American Philosophical Quarterly*, vol. 43, no 1, pp. 57–69.
- Rawls A. (2005) Djurkgejmovskaja traktovka praktiki: al'ternativa konkretnyh praktik i predstavlenij kak osnovaniy razuma [Durkheim's Treatment of Practice: Concrete Practice vs Representations as the Foundation of Reason]. *Russian Sociological Review*, vol. 4, no 1, pp. 3–30.
- Rietveld E., Kiverstein J. (2014) A Rich Landscape of Affordances. *Ecological Psychology*, vol. 26, no 4, pp. 325–352.
- Robbins J., Rumsey A. (2008) Introduction: Cultural and Linguistic Anthropology and the Opacity of Other Minds. *Anthropological Quarterly*, vol. 81, no 2, pp. 407–420.
- Roepstorff A., Niewöhner J., Beck S. (2010) Enculturing Brains through Patterned Practices. *Neural Networks*, vol. 23, no 8–9, pp. 1051–1059.
- Rosenberg A. (2014) Disenchanted Naturalism. *Contemporary Philosophical Naturalism and Its Implications* (eds. B. Bashour, H. D. Muller), New York: Routledge, pp. 17–36.
- Sarkia M., Kaidesoja T., Hyryläinen M. (2020) Mechanistic Explanations in the Cognitive Social Sciences: Lessons from Three Case Studies. *Social Science Information*, vol. 59, no 4, pp. 580–603.
- Sawyer R. K. (2002) Nonreductive Individualism, Part I: Supervenience and Wild Disjunction. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 32, no 4, pp. 537–559.
- Sawyer R. K. (2002) Durkheim's Dilemma: Toward a Sociology of Emergence. *Sociological Theory*, vol. 20, no 2, pp. 227–247.
- Sawyer R. K. (2003) Nonreductive Individualism, Part II: Social Causation. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 33, no 2, pp. 203–224.
- Schatzki T. R. (2021) What Is in an Account of Practices?. *Stephen Turner and the Philosophy of the Social* (ed. C. Adair-Toteff), Leiden: Brill Rodopi, pp. 71–89.
- Schieffelin B. B. (2008) Speaking Only Your Own Mind: Reflections on Talk, Gossip and Intentionality in Bosavi (PNG). *Anthropological Quarterly*, vol. 81, no 2, pp. 431–441.
- Scott-Phillips T.C., Blancke S., Heintz C. (2018) Four Misunderstandings about Cultural Attraction. *Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews*, vol. 27, no 4, pp. 162–173.
- Searle J. (1995) *The Construction of Social Reality*, New York: Free Press.
- Sharikov D. (2019) Novaja sociologija kul'tury: ot "jashhikov s instrumentami" k kognitivnym processam [The New Sociology of Culture: From Toolkits to Cognitive Processes]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 22, no 3, pp. 179–210.
- Sharikov D. (2020) Kul'tura i poznanie: v poiskah ne-reduktionistskogo podhoda [Culture and Cognition: In Search of a Non-reductionist Framework]. *Sociology of Power*, vol. 32, no 2, pp. 104–124.
- Shaw L. (2015) Mechanics and Dynamics of Social Construction: Modeling the Emergence of Culture from Individual Mental Representation. *Poetics*, vol. 52, pp. 75–90.

- Shaw L. (2019) Charting the Emergence of the Cultural from the Cognitive with Agent-Based Modeling. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), Oxford: Oxford University Press, pp. 403–421.
- Soliman T., Glenberg A. M. (2014) The Embodiment of Culture. *The Routledge Handbook of Embodied Cognition* (ed. L. Shapiro), New York: Routledge, pp. 207–219.
- Sperber D. (1996) *Explaining Culture: A Naturalistic Approach*, Oxford: Blackwell.
- Sperber D. (2011) A Naturalistic Ontology for Mechanistic Explanations in the Social Sciences. *Analytical Sociology and Social Mechanisms* (ed. P. Demeulenaere), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 64–77.
- Testa I. (2017) Dewey's Social Ontology: A Pragmatist Alternative to Searle's Approach to Social Reality. *International Journal of Philosophical Studies*, vol. 25, no 1, pp. 40–62.
- Testa I. (2020) A Habit Ontology for Cognitive and Social Sciences. *Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory* (eds. F. Caruana, I. Testa), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 395–416.
- Turner S. P. (1994) *The Social Theory of Practices: Tradition, Tacit Knowledge, and Presuppositions*, Chicago: University of Chicago Press.
- Turner S. P. (2002) *Brains/Practices/Relativism: Social Theory after Cognitive Science*, Chicago: University of Chicago Press.
- Turner S. P. (2007) Mirror Neurons and Practices: A Response to Lizardo. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 37, no 3, pp. 351–371.
- Turner S. P. (2014) *Understanding the Tacit*, New York: Routledge.
- Turner S. P. (2018) *Cognitive Science and the Social: A Primer*, New York: Routledge.
- Turner S. P. (2019) Verstehen Naturalized. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 49, no 4, pp. 243–264.
- Turner S. P. (2020) Habit is Thus the Enormous Flywheel of Society. *Habits: Pragmatist Approaches from Cognitive Science, Neuroscience, and Social Theory* (eds. F. Caruana, I. Testa), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 320–336.
- Vidal F., Ortega F. (2018) On the Neurodisciplines of Culture. *The Palgrave Handbook of Biology and Society* (eds. M. Meloni, J. Cromby, D. Fitzgerald, S. Lloyd), London: Palgrave Macmillan, pp. 371–390.
- Wittgenstein L. (2018) *Filosofskie issledovaniya* [Philosophical Investigations], Moscow: AST.
- Yulina N. (2009) Superventnost' [Supervenience]. *Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki* [Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science] (ed. I. Kasavin), Moscow: Kanon+, pp. 946–947.
- Zahle J. (2016) Methodological Holism in the Social Sciences. Available at: <https://plato.stanford.edu/entries/holism-social/> (accessed 12 February 2022).

Литература «не для всех» и феномен guilty pleasure: литературные классификации как пространство создания различения

Надежда Соколова

Старший преподаватель, департамент социологии, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 190121
E-mail: nasokolova@hse.ru

Екатерина Михайлова

Студентка, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 190121
E-mail: eyumikhaylova_1@edu.hse.ru

В статье публикуются результаты пилотного исследования литературных классификаций в России на примере группы студентов. Создание художественных классификаций представляет интерес, поскольку конструируемые символические иерархии практик потребления приводят к созданию социальных границ между группами. Границы между группами проявляются в социальном исключении тех индивидов, чьи практики маркируются как нелегитимные в установившейся системе. В тексте обсуждаются две основные категории, структурирующие читательские практики студентов, — «классическая литература» и «бульварные романы». Потребление классической литературы относят к «хорошему вкусу» (аналог highbrow taste в российском контексте), при этом отмечая, что эти произведения являются общезвестными для всех слоев населения. Потребление «бульварных романов» для изучаемой группы студентов возможно только как guilty pleasure — с учетом выстраивания дистанции с объектом потребления, маркируемым как что-то нелегитимное. В статье также поставлен вопрос об универсальности такой иерархии потребительских практик. Одну группу информантов можно отнести к тем, кто поддерживает норму, предполагающую, что образованный человек включает в свои литературные предпочтения только классику — объект потребления, приносящий символические выгоды, при этом избегает любых контактов с нелегитимными объектами потребления. Тогда как другие ставят под вопрос основания такого деления, при котором классическая литература находится выше бульварных романов.

Ключевые слова: социология потребления, социальная стратификация, литературные классификации, практики чтения в России, социология культуры, литературный вкус

* Авторы выражают благодарность М. М. Соколову и Т. А. Третьяковой за помощь и конструктивные комментарии на всех этапах проводимого исследования.

Знаешь, вот эти всякие романы, они ширпотребные, как будто написаны по шаблону одному. Вот такое я бы точно не стала читать... Названия я не назову, но вот книжки, которые мама перед сном читает, в поезде они продаются в киосках. Я как бы не имела ничего общего с такой литературой, я с ней не знакомилась, но я почему-то примерно представляю, что там. Мне кажется, это какие-то фанфика для женщин средних лет. Они очень странные... Про какую-то любовь, про какие-то душевные терзания, как сериалы на «России 1», мне кажется, только еще более хуже. (Интервью, ж., 20 лет)

В социологическом исследовании культурного потребления основной вопрос будет разворачиваться вокруг объяснения измерений, структурирующих досуг индивидов. Ожидаем ли мы найти 1) гомологию между пространством позиций и досуговыми практиками, когда индивиды с большим объемом культурного и экономического капитала будут выбирать только объекты высокой культуры (Bourdieu, 1984) или 2) всеядность — преобладание высокой и низкой культуры в потребительском наборе индивидов, занимающих высокую позицию в статусной иерархии (Peterson, 1992). Т. Чан и Дж. Голдторп добавляют к этим моделям третий аргумент — индивидуализацию, предполагая, что в современных обществах индивиды могут свободно выбирать уникальные стили жизни в зависимости от собственных пожеланий (Chan, Goldthorpe, 2007: 170). Аргумент индивидуализации можно встроить в более широкую дискуссию о том, как изменились практики потребления в современных обществах в результате распространения доступа к высшему образованию (DiMaggio, 1987: 447), появления технологических инноваций и размывания границ между высокой и массовой культурой (Holt, 1998: 5).

В связи с этой международной дискуссией об изменениях в культурном потреблении интересно, что в России мы, во-первых, наблюдаем взаимосвязь между социально-экономическим статусом индивида и практиками потребления (Захарова, 2005; Ечевская, 2011; Илле, Соколов, 2018), во-вторых, можем отметить, что деление на высокую и низкую культуру не потеряло своей актуальности (Sokolov, 2019). Михаил Соколов показывает, что образ жизни, ассоциированный с такой группой, как интеллигенция, все еще является привлекательным, несмотря на период экономического кризиса, когда эта группа потеряла свои выгодные рыночные позиции.

Однако все приведенные здесь исследования российского случая реализованы при помощи опросной методологии, которая становится объектом критики по нескольким причинам. Стандартные опросы в исследованиях культурного потребления направлены на воссоздание системы координат, где группировки потребляемых индивидом культурных продуктов будут связаны с его атрибутами (например, образованием или занятостью). Методологически такие работы основаны на следующем ряде утверждений. Во-первых, предполагается, что потребительские практики (например, посещение музея) или установки (например, позитивное отношение к абстрактному искусству) могут стать переменной, разделяющей социальные группы. Во-вторых, используя в качестве основы опросник, состав-

ленный П. Бурдье (Coulangeon, Lemel, 2007; Van Eijck, 2001; Lopes-Sintas, Katz-Gerro, 2005), исследователи вслед за ним считают, что достаточно задать вопрос только об определенных практиках и культурных продуктах. Например, вопрос о частоте посещения респондентом кинотеатров, художественных музеев или оперы предполагает (если гипотеза Бурдье верна), что выборка разделится на группы, в которых предпочтение посещению музея и оперы будут отдавать индивиды с большими культурными компетенциями. В этом случае зачастую интерпретация строится на допущении, что принципы построения символической классификации, разделяющей объекты на «высокую» и «массовую» культуру, остаются такими же, как в исследовании Бурдье. Однако мы знаем, что использование художественных классификаций обусловлено контекстом¹. Например, М. Ламон (Lamont, 1992) в своем исследовании выяснила, что американский средний класс, в противоположность французскому среднему классу, не придает такого большого значения вкусовым предпочтениям. Потребители в том числе могут переосмысливать границы жанров (Vlegels, Lievens, 2017) и создавать собственные системы классификации искусства. В более современных работах большее внимание направлено на вариативность потребительских практик: не только то, какие объекты потребляет индивид, но и как их потребляет (Jarness, 2015; Holt, 1997; Lizardo, 2016).

Таким образом, возвращаясь к опросной методологии исследований потребления в России, в результате мы можем назвать предикторы участия в культурной жизни, но описать, каким значением наделяют практики потребления индивиды и как деление на высокую и массовую культуру может быть использовано для построения границ между группами, мы не можем. Соколов делает вывод о том, что участие в статусной культуре все еще значимо для индивидов, в том числе молодых когорт, что отличает российский случай от европейского: здесь опросная методология позволяет зафиксировать феномен, однако остается открытым вопрос о сигнальных функциях участия в высокой культуре — принадлежность к какой группе обозначает этот выбор досуговых практик (Sokolov, 2019: 12).

В данной статье мы хотели обратиться к вопросу о том, какое значение имеет классификация искусства для индивидов, что позволит нам предположить, к каким последствиям для построения границ между группами это может приводить². Учитывая обозначенную выше критику предзданного деления объектов на высокую и массовую культуру, мы решили обратиться к эмным категориям, предполагая, что это поможет лучше понять механизмы социального исключения, связанные с практиками потребления. Представленное здесь исследование носило пилотный характер. Мы ограничили исследование классификаций в искусстве одной сферой — литературой. И также выбрали только одну группу — студентов.

1. Мы не предполагаем, что символические классификации больше не будут включать категорий «высокой» и «популярной» культуры. Вопрос скорее касается того, какие объекты информанты вносят в каждую из категорий.

2. Мы считаем, вслед за М. Ламон и В. Молнар (Lamont, Molnar, 2002), что изучение символических классификаций — это первый шаг к изучению социальных границ.

В разделе «Методология» содержится обсуждение возможностей и ограничений, которые у нас появились в результате такого выбора. Основной целью для нас было изучение символических границ в литературном потреблении: нас интересовало, как студенты будут классифицировать различные литературные произведения и их потенциальную аудиторию. Таким образом, чтение попадает в поле нашего внимания как пример досуговой практики, в рамках которого мы можем поговорить с информантами об их представлении о «хорошем» и «плохом» вкусе. Следующий раздел посвящен краткому обзору исследований, прослеживающих появление классификаций в искусстве и использования этих конструктов для создания групповых границ.

«Высокая» и «массовая» культура

Сейчас, когда мы обсуждаем, например, книги или фильмы, нам кажется естественным приписывание культурных объектов к категориям «высокой» и «массовой» культуры³, однако на примере проведенных исследований мы можем увидеть, что исторически эти категории были сконструированы относительно недавно. Классическими исследованиями дифференциации искусства в результате процесса конструирования классификаций является работа П. Димаджио (DiMaggio, 1982) и Л. Левина (Levine, 1990). Рассматривая американский пример создания категорий «высокого» и «популярного» искусства, они показывают, как на протяжении XIX века происходила постепенная трансформация в восприятии художественных произведений. В новой системе классификации, которая формируется к началу XX века, элементы «высокого» и «популярного» искусства разделяются. Так, в филармонии исполнение классической музыки уже не перемешиваются с выступлениями цирковых акробатов⁴.

Похожий пример из книги Левина — это трансформация восприятия пьес Шекспира. В Америке XIX века посещение постановок Шекспира не воспринималось аудиторией как высокоинтеллектуальный досуг, скорее как популярное развлечение: его работы представляли так же, как выступления комиков и акробатов (Levine, 1990: 23). Однако позднее, в XX веке, его пьесы начинают описывать как что-то сложное для понимания, классику театрального искусства, стоящую в одном ряду с Ибсеном, Чеховым и греческими трагедиями (Levine, 1990: 32). Приписывание к категории «высокого» искусства означало не только изменение в манере представления — отделение пьес Шекспира от выступлений музыкантов и акробатов, но также и новые правила поведения для публики, что способствовало закреплению сакрального статуса «высокого» искусства.

3. При этом обозначенное деление встраивается в иерархию престижа, где «высокая» культура располагается выше «массовой» или «популярной» культуры.

4. Здесь мы говорим о наблюдаемом изменении в американском опыте, работа Димаджио и Левина не охватывает случай Европы.

Левин стремился показать, что появившаяся в XX веке категория «высокого» искусства маркировала также и аудиторию, его потреблявшую, как высокообразованных (идея о том, что образование необходимо для восприятия искусства) и цивилизованных индивидов. Категория «*highbrow*», применяемая к определенным культурным объектам, буквально означала «интеллектуальное или эстетическое превосходство», тогда как «*lowbrow*», наоборот, — отсутствие этих качеств. Эти понятия, впервые использованные в 1880-х, как пишет Левин, «получены из френологических терминов „*highbrowed*“ и „*lowbrowed*“», которые были представлены в распространенной в XIX веке практике определения расовых типов и интеллекта путем измерения формы и размера черепа» (Levine, 1990: 221–222). С течением времени эти понятия стали использоваться для передачи представлений об иерархическом характере разделения культурных объектов. Для Димаджио ключевой также является идея о возможности использования систем классификации искусства для обозначения групповых границ. В его исследовании отделение элементов «высокого» искусства от «популярного» представлено как результат намеренных усилий высшего класса, стремившегося подчеркнуть групповую эксклюзивность (DiMaggio, 1982).

Концептуальные различия, которые индивиды проводят между объектами потребления (как, например, деление на «высокую» и «популярную» культуру), ведут к созданию социальных границ между группами потребителей (Bourdieu, 1984; Veblen, 1899; Warner et al., 1963; Weber, 1978). Начиная с работы Т. Веблена, социологи культуры говорят, что индивиды используют культурное потребление как средство обозначения групповой идентичности: создаваемые различия в стилях жизни должны подчеркивать разницу занимаемых в социальном пространстве позиций. Функционирование этого механизма различия на основании потребления возможно за счет существования статусных символов⁵ (Goffman, 1951). Символические классификации, разделяющие объекты на «высокую» и «массовую» культуру, проявляются, таким образом, в паттернах социального исключения: культурное потребление становится сигналом, который помогает индивидам определять «своих» и избегать «чужих» (как потребление связано с построением дружеских и брачных связей см.: DiMaggio, Mohr, 1985; DiMaggio, 1987; Erickson, 1996; Lizardo, 2006а).

Методология

Анализируя литературные классификации, мы старались учесть несколько ключевых моментов. *Первое* — это границы изучаемой группы. Мы предполагали, что создаваемые концептуальные схемы будут отличаться, во-первых, в случаях интервьюирования производителей и потребителей. Например, эксперты в поле литературы — критики, писатели и редакторы будут классифицировать лите-

5. В данном случае практики потребления становятся типом информации, который позволяет индивидам относить собеседника к определенной категории.

турные произведения иначе, чем читатели без специального литературного образования. Мы отказались от идеи интервьюировать экспертов, так как это не соответствовало нашим исследовательским задачам. Во-вторых, у нас было предположение (которое затем не подтвердилось), что литературные классификации как элементы культуры, используемые с коммуникативными целями, могут отличаться внутри малых групп с сильными связями (Fine, 1979). Например, школа как канал трансляции знаний о литературных классификациях приписывает высокий статус классическим произведениям, однако внутри малой группы старшеклассников (или, если мы перенесем эту логику на наше исследование — группы студентов с сильными дружескими связями) средством идентификации «своих» может стать, наоборот, отрицание этого статуса классики. Поэтому при отборе информантов мы хотели учесть это деление на малые группы.

В итоге мы сделали выбор в пользу студентов одного Санкт-Петербургского университета⁶. У нас была необходимая информация о дружеских связях этого потока студентов, поэтому мы посчитали эту группу наиболее доступной для проведения предварительного анализа. Мы старались учесть деление на малые группы с сильными (дружескими) связями и отобрать для интервью представителей разных малых групп. В итоге было собрано 15 интервью — по 3 представителя из каждой малой группы (список информантов представлен в Приложении 1).

Основной возраст наших информантов — 20–21 год. Интервью были построены вокруг тематики проведения досуга (в основном чтения), что, как мы описывали выше, связано с построением символических границ и паттернами исключения, поэтому необходимо поговорить отдельно о возможном влиянии позиции интервьюера⁷. Один из авторов этой статьи, интервьюировавший студентов, на момент проведения исследования находился в той же возрастной группе, что и наши информанты. Мы полагаем, что это помогло минимизировать возможное влияние интервьюера на получение социально одобряемых ответов, какие мы могли ожидать в ситуации разницы в возрасте. Следует оговорить и наблюдаемый гендерный дисбаланс — среди 15 интервью 4 были проведены со студентами и 11 со студентками. Это объясняется прежде всего особенностью образовательной программы, где в каждом новом потоке среди обучающихся преобладают девушки. Мы учитывали, что, согласно исследованиям, женщины обычно более активны в потреблении (Lizardo, 2006b), однако у нас не было гипотезы о том, что механизм формирования художественных классификаций будет отличаться в случае мужчин и женщин, поэтому в ситуации отбора информантов для интервью мы уделили больше внимания границам малых групп, чем гендерному балансу, так как у нас было предположение о влиянии сильных дружеских связей на форми-

6. При выборе университета и факультета для исследования у нас был только один критерий: информанты не должны были обучаться по таким специальностям, как филология и литературоведение, потому что в наши задачи не входило изучение экспертных классификаций.

7. Авторы благодарят рецензента за то, что обратил внимание на необходимость уточнения возможного влияния позиции интервьюера и обсуждения наблюдаемого гендерного дисбаланса среди отобранных случаев.

рование классификаций в искусстве. Необходимость учитывать дружеские связи информанта появляется не только в исследованиях коммуникации, но также и в связи с феноменом гомофилии, обсуждаемом в сетевом анализе (McPherson *et al.*, 2001). Применительно к изучению потребления мы видим, что дружеские связи объединяют индивидов с похожими вкусами (Erickson, 1996; Lizardo, 2006a), отсюда мы также делаем предположение, что внутри групп с сильными связями могут формироваться разные системы классификаций.

Второе — это выбор сферы исследования — в нашем случае это литература. Почему именно эта сфера? Ламон и Молнар пишут, что социальные границы появляются в том случае, когда у индивидов есть согласие по поводу существующих символических границ (Lamont, Molnar, 2002: 168–169). Мы считаем, что для осуществления пилотного исследования анализ литературных классификаций подходит больше всего, так как все наши информанты прошли первичное знакомство с литературными классификациями в рамках школьной программы, тогда как музыкальное образование или киноведение не являлось обязательным для каждого из них. Как мы увидим далее, школьная программа — влиятельный источник трансляции используемых нашими информантами категорий, хотя не единственный. Мы предполагали, что студенты могут использовать школьную программу как основу, создавая новые системы классификации с учетом требований нового социального пространства, в котором потребительские практики будут использоваться для создания статусных границ⁸.

Обсуждая с нашими информантами литературные классификации, мы приняли решение добавить в качестве стимульного материала к интервью карточки с фамилиями авторов. Во время интервью мы просили информантов разложить эти карточки по группам, объединив тех авторов, чьи произведения кажутся похожими. Задача формулировалась следующим образом: «Разложите, пожалуйста, эти карточки по группам. Положите карточки, которые кажутся вам похожими в одну группу. Если вы не знаете кого-то из авторов или не уверены, положите их в отдельную группу. Если вы считаете, что какая-то карточка подходит больше, чем в одну категорию, положите ее в обе группы». Мы не утверждали начальную логику раскладывания карточек, предлагая информантам создать свои классификации. После этого мы просили дать характеристику каждой группе и описать ее возможную читательскую аудиторию. На этапе анализа мы использовали получившиеся группы, чтобы обобщить классификации из всех 15 интервью.

Выбирая авторов для карточек, мы преследовали две цели: 1) выбрать авторов, которые будут знакомы большинству информантов, и 2) выбрать авторов произведений разных жанров. Чтобы достичь первой цели, мы использовали материа-

8. Исследования, где студенты являются ключевой группой, имеют ряд недостатков и преимуществ. Помимо того что нам хотелось учсть информацию о наличии малых групп с сильными связями, мы руководствовались похожей логикой, что и коллеги, проводившие исследование художественных вкусов студентов. М. Соколов, М. Сафонова и Г. Чернецкая (Соколов, Сафонова, Чернецкая, 2017: 161–162) пишут о том, что студенческое сообщество может быть рассмотрено как «интерактивная арена», где индивиды «занимаются выстраиванием статусных границ».

лы другого исследования — данные читателей и их литературных предпочтений из библиотечной базы за 2015 год⁹. Библиотеки Санкт-Петербурга подключены к единой системе, которая объединяет данные, получаемые с читательских билетов. В момент регистрации нового читателя библиотекарь вносит информацию в следующие колонки — год рождения, пол, образование и тип занятости. Записи о книгах, которые читатель берет за указанный период времени, например за 2015 год, также попадают в эту базу данных. Так как мы располагали данными о читательских предпочтениях и типе занятости, мы отобрали все художественные книги (для определения художественной литературы использовалась библиотечная кодировка), которые брали в течение 2015 года студенты. На основании этих данных мы составили список самых популярных у студентов авторов в области художественной литературы, и отобрали из них 49 авторов — представителей разных жанров, для чего использовали сайты издательств «ЭКСМО», «АСТ» и «Литрес». В итоге в нашем списке авторов оказались те, чьи произведения относят к следующим жанрам: русская классика, зарубежная классика, современная русская, современная зарубежная, фантастика, фэнтези, русские детективы, зарубежные детективы, любовные романы (список авторов представлен в Приложении 2).

У нас было три возможных пути создания карточек: спрашивать информантов о жанрах, об авторах или о конкретных произведениях. Мы решили, что уровень произведений слишком узкий и искали что-то, что будет знакомо большинству. В то же время мы отказались от жанров, потому что жанровое деление — это классификация производителей поля литературы, тогда как мы хотели дать возможность нашим информантам самостоятельно охарактеризовать произведения. Из опубликованных исследований мы знаем, что читатели мыслят иными категориями, чем эксперты или производители книг. Например, читательницы любовных романов наделяют эту категорию совсем другими характеристиками, чем те, кто связан с системой распространения книг данного жанра (цит. по: DiMaggio, 1987: 442). Мы хотели, чтобы процедура раскладывания карточек стимулировала наших информантов порефлексировать о категориях, которые они используют при оценке своего и чужого литературного вкуса. При этом нам нужно было убедиться, что список категорий, привязанных к конкретным авторам и их произведениям, будет общим для всех информантов. Нашей итоговой целью было получить описание групп, составляемых информантами, и характеристики потенциальной аудитории, которую представляют информанты в связи с полученными группами.

Интервью строилось по следующей схеме: сначала интервьюер задавал вопросы о книгах, которые читает информант, и просил дать им характеристику, затем предлагалось разложить карточки и порефлексировать о получившихся группах. Нас интересовало, какие категории-группы выделяют информанты, например «бульварная литература», и как они характеризуют книги этой категории. Из-за ситуации пандемии все 15 интервью были собраны в онлайн-формате. Для раскла-

9. Подробнее об исследовании и использовавшейся базе данных можно посмотреть здесь: Sokolov, Sokolova, 2019.

дывания карточек информантам предлагалось войти в Google Документы и самостоятельно создать таблицу с количеством колонок, соответствующих группам, которые они выделяли. Мы не использовали заранее созданный шаблон, чтобы информанты сами могли решить, сколько групп они хотят создать из предложенных 49 авторов. Также интервьюер просил дать каждой группе какое-то название. Так как интервью проводились онлайн, интервьюер дополнитель но просил информантов при раскладывании карточек не сверяться ни с какими внешними источниками, если, к примеру, информант не уверен в том, что написал автор или в какую группу его определить.

Результаты

Этот раздел содержит две части. В самом начале мы опишем общую логику раскладывания карточек информантами, чтобы в целом обозначить, какие концептуальные схемы они использовали при обсуждении литературных произведений. После этого описательного этапа мы поговорим о двух категориях, которые привлекают наше внимание в связи с дискуссией о создании символических границ, так как нашей целью было узнать, как студенты могут использовать литературные классификации для создания границ между группами. Мы используем понятия «группа» и «категория» как синонимы. Многие категории, например, «классика» или «бульварные романы», появлялись в интервью еще до момента раскладывания карточек, а затем информанты подтверждали, что какая-то из групп соответствует названной ранее категории.

Так как мы не задавали информантам начальной логики раскладывания карточек, мы получили в результате разнообразные классификации, в которых, однако, присутствуют общие паттерны. Деление литературы на русскую и зарубежную, а также на классическую и современную можно увидеть в большинстве интервью. В группу авторов, которых информанты не знают, попали в основном те, чьи произведения сайты «Эксмо», «АСТ» и «Литрес» относят к жанру «любовные романы» и «русские детективы». Мы предполагаем, что наши информанты не смогли отнести эти произведения в отдельную группу, так как потребление такого типа литературы не входит в список их литературных предпочтений, а также было описано ими как неодобряемая сообществом практика, не приносящая символических выгод, о чем мы подробно поговорим ниже.

Увидеть постоянство присутствия классики (русской и зарубежной), а также деления литературы по временными периодам, и разнообразие других категорий в классификационных схемах можно и в названиях, которые информанты давали группам (исключая группу неизвестных авторов).

Таблица 1. Названия групп, выделенных информантами среди 49 карточек¹⁰

Категория литературы	Число информантов, упомянувших категорию
Русская классика	6
Зарубежная классика	5
Детективы	5
Философия	4
Фэнтези	3
Классика	3
Современная русская	2
Современная зарубежная	2
Современная	2
Школьная литература	2
Современные писатели	1
Французы	1
Антиутописты	1
Фамилии, которые моя русичка произносила каждый урок	1
Современные авторы, по книгам которых сняты модные экранизации	1
Фамилии, которые я видела в «Читай-городе»	1
Стивен Фрай	1
То, что я бы перечитала	1
Зарубежная попса	1
Российская попса???	1
Зарубежные авторы, которых мало кто читал	1
Интересные русские классики	1
Зарубежные авторы, которых я знаю, но не читала	1
Нравятся	1
Еще не читала	1
Не могу четко сказать, нравятся или нет	1
Не нравятся	1
Умные люди для умных людей	1

10. Для удобства представления мы объединили в одну категорию схожие названия, например, «Философы», «Экзистенциализм/философское», «что-то философское» и «Философия» стали одной группой «Философия». «Детективчики», «детективистки», «специфические/домашние детективы» и «детективы» объединены в группу «детективы». Орфография и пунктуация переданы без изменений из таблиц, которые заполняли информанты.

Низкокачественное что-то	1
Книги моего 15-летнего становления	1
Хорошие авторы классической литературы	1
Школьная программа. Скука смертная	1
Мой третий приоритет	1
Два загадочных лебедя в средневековом мире	1
Для сына-озорника	1
Пьеса	1
Масс-маркет ++	1
классика закоренелая	1
Классика XX века	1
Хорошая литература для отдыха	1
low brow литература	1
Литература, что можно почитать в поезде (если ничего другого нет)	1
Фантастика, антиутопия и литература середины — конца XX века	1
Иностр., классич./чит.	1
Русское, классич./чит.	1
Иностр., совр./чит.	1
Русское, совр./не чит.	1
Иностр., классич./не чит.	1
Иностранные, современное/не чит.	1
Есть в списке	1
На слуху, значительное/не чит.	1
На слуху, незначит./не чит.	1
Любимые авторы	1
XX век	1
Что хотел бы прочитать	1
Глубоко уважаю	1
Слишком сладко	1
Проблема брака в викторианской Англии	1
Классные русские	1
Мой любимчик	1
Американцы	1
Русская	1
Читал	1

Легкое чтivo	1
Относительно поп-культура	1
Романы/ периодичности	1
Приключенческая фантастика	1
Бульварная литература	1
То, что нравилось лично мне	1
То, что очень любили мои друзья	1
То, что будто бы любили все (лично я не читала)	1

В таблице 1 мы можем обнаружить, что некоторые информанты выделяли дополнительные группы, основанные на идее «качества» произведений и оценке их потенциальной аудитории, например, «бульварная литература», «низкокачественное что-то», «умные люди для умных людей», «low brow литература», «литература, что можно почитать в поезде (если ничего другого нет)», «легкое чтivo». Также некоторые информанты стремились подчеркнуть их личное отношение к произведениям какого-то автора, создавая классификации на основании их личных приоритетов, сравнивая школьную программу и собственные предпочтения. Деление литературы на «женскую» и «мужскую» тоже появлялось в некоторых наших интервью, но у нас недостаточно данных, чтобы делать об этом выводы.

Для нас важно скорее не то, как много групп выделяли информанты и как они называли эти группы, а то, какую характеристику авторам и их произведениям они давали. Сконцентрировавшись на этой информации, мы можем увидеть пересечения между группами, что позволяет нам говорить о том, что деление на зарубежные/русские и современные/классические преобладает. В пользу существования общей системы классификации также говорит тот факт, что, раскладывая карточки, информанты во многих случаях не были лично знакомы с произведениями авторов, которых они относили в разные группы, однако это не помешало им выносить суждения о характере этих литературных произведений. Выяснение истоков происхождения полученного деления не было целью исследования, поэтому мы не останавливаемся на этом подробно, нас скорее интересовало, какие литературные категории использовали наши информанты в разговоре о «хорошем» и «плохом» вкусе в литературе, поэтому далее мы остановимся подробно на двух категориях — «классика» и «бульварные романы».

Категории и границы

Карточки использовались как стимульный материал: помогали структурировать обсуждение литературных произведений, что дало нам возможность в результате получить от каждого информанта описание категорий, в которые объединялись авторы. Так как мы изучаем классификации, которые становятся основанием для

создания групповых границ, две категории (обобщенно) «классика» и «бульварные романы» представляли для нас особенный интерес, так как 1) являлись общепринятыми для всей группы и 2) информанты говорили о наличии механизма социального контроля, связанного с литературой, приписываемой к этим категориям.

Основные авторы, чьи произведения составляют категорию русской классики, — это Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Михаил Лермонтов, Лев Толстой, Антон Чехов (зарубежная классика — Александр Дюма, Уильям Шекспир и Джек Лондон). Поговорим о характеристиках, которые позволяют информантам отнести произведения к этой категории. Для наших информантов классика = школьная программа. Этот вывод мы делаем непосредственно на основании анализа интервью, в которых информанты, объясняя свое представление о классике и опыте знакомства с авторами-классиками, делали ссылки к школьной программе. Мы также решили добавить информацию об авторах, входящих в список обязательных для изучения по литературе (стандарт основного общего образования и стандарт среднего (полного) общего образования) в соответствии с приказом Минобрзования РФ (Минобрзования РФ, 2004) в Приложение 2. Это позволяет нам увидеть, что большинство авторов, которых информанты отнесли к категории «классика», действительно упомянуты в школьной программе.

Основные характеристики классики — это 1) всеми одобрена как «хорошая литература», 2) обладает высокими литературными качествами — например, раскрывает важные темы, «учит чему-то важному» в жизни, «образец для поведения».

Условно конвенциональная классическая литература, то есть всемирно признанная. То есть когда я хотела начать читать зарубежную классическую литературу, я открыла список BBC 100 лучших или 200 лучших книг, по-моему, так он называется. И за все время там были такие титаны типа Джейн Остин, Томаса Гарди, Шарлотты и Эмили Бронте, и так далее. (Ж., 20 лет)

Классическая литература, она как бы учит людей, как поступать, какие чувства испытывать... Скорее всего, мы воспринимаем классическую литературу как то, что нужно знать, вот так. Да, мне может что-то нравиться, но я не оперирую такими индивидуальными характеристиками, что мне понравилось это или не понравилось. Вот я читаю, я могу наслаждаться этим, но в основном, наверно, у меня ощущение долга есть, что я должна. (Ж., 21 год)

Например, Толстой — это классик. Это то, что обществом нашим считается, что это такая классическая фундаментальная литература, которая влияет или повлияла, или которая отражает очень хорошо наше общество. (Ж., 20 лет)

Ну знаешь, ты когда думаешь, что бы почитать. Ты не хочешь читать то, что не проверено, ты не хочешь брать книжку и думаешь, вот сейчас я прочитаю, а она окажется не очень, она мне не понравится. Поэтому ты берешь книгу, которую уже читали деды, прабабки, все. И ты думаешь, если они сказали, что это нормально, то и мне прочитать не стыдно. (Ж., 21 год)

Набоков — это российский классик, мы все знаем его произведение «Лолита». Культурное наше, как это называется, наследие. Сейчас очень пафосно прозвучало. Это автор, который очень известен. (Ж., 20 лет)

Категория «бульварные романы» или «легкое чтivo» определяется как антитеза к «классике» — это что-то низкокачественное и легкое в понимании. Когда мы здесь говорим про «бульварные романы», мы объединяем книги двух жанров — русские детективы (например, Дарья Донцова) и любовные романы (например, Даниела Стил): информанты давали им похожее описание, объединяя в одну категорию. Интересно, что категория легкости/сложности чтения и понимания появляется в противопоставлении с «классикой», тогда как «классика» как категория не определяется через легкость/сложность.

Мне, наверно, не очень приятно читать бульварные романы. Такие, которые, типа Дарьи Донцовой или еще что-нибудь. Хотя я никогда этого не читала... Произведения, которые считаются, желтая пресса это называется. Ну не такие значимые фигуры литературы, блин, как я перечислила тебе классиков практических жанра. А какие-то такие вещи, которые, возможно, противоречивые или не нашли подтверждения широкого общественного. (Ж., 21 год)

Это просто какие-то книги, чтобы занять время, чтобы просто прочитать, не вынести никакое новое знание, не научиться ничему. Тупо как эти мобильные игры: вроде ты себя занимаешь, играешься, но это не настоящее погружение, впечатления. И тут так же. Книги, чтобы просто потратить время. (М., 20 лет)

Я не читала бабушкины романы. Это такие романы, которые ты можешь купить в переходе. Которые ты покупаешь, когда не знаешь. Все перечитал, не знаешь, что тебе почитать. И ты садишься, идешь на вокзал, заходишь в киоск и просишь: а дайте мне какую-нибудь книжечку. И они дают тебе «Вампирский поцелуй». И вот как бы вот такое я не читала, потому что слишком много такого хорошего всего, что я не прочитала. Я не буду читать книжку, чтобы испытать скоротечные эмоции. Я, наверно, буду читать книжку, я ее захочу перечитать. (Ж., 21 год)

Бульварная литература, мне кажется, люди с, ну кому, я даже не хочу называть таких людей глупыми, потому что на самом деле, например, моя учительница по литературе, она говорила, что иногда читает Дарью Донцову, но важно, она читает ее, просто чтобы разгрузить мозг. Это как сидеть раскраски по номерам раскрашивать, то есть ты такой ля-ля-ля, особо мозг не напрягается, что-то чем-то занят, мозг отдыхает. Но много такого, мне кажется, прочитать сложно, потому что повторяется. Это литература не чтобы понять что-то, не чтобы найти какие-то смыслы для себя, не чтобы потом руководствоваться этими книгами, не чтобы понять какой-то там культурный момент, бэкграунд какого-то там общества, а чтобы мозг разгрузить и все. Прочитал и прочитал. (Ж., 21 год)

У меня ассоциируется с русскими сериалами на ТВ, Пятом канале. Мне такое абсолютно не интересно. И кажется чем-то дешевым, сделать триста книг в год в дешевой мягкой обложке с абсолютно одинаковым сюжетом, но разными именами. Для меня это как-то так. (Ж., 21 год).

Из цитат можно заметить, что информанты, классифицируя литературу, выстраивают книги в иерархию, где классика стоит выше бульварных романов. Иерархия строится на идее признания и в том числе на качествах, которые информанты приписывают этим книгам. В этом описании мы видим черты, схожие с разделением объектов на «высокое» и «массовое» искусство и типов потребления — *highbrow* и *popular taste*¹¹. Первый отсылает к потреблению объектов «высокой эстетической ценности», тогда как второй обозначает стремление получить удовольствие от развлекательной функции объекта (Lizardo, 2006a: 782). При этом нужно обратить внимание, что «высокое искусство» противопоставляется «массовому».

Здесь мы хотели бы подробней обсудить, почему практики потребления «высокого» и «массового» искусства противопоставляются. В работе «*Distinction*» (Bourdieu, 1984) Бурдье строит модель, где положение индивида в социальном пространстве зависит от объема капитала, которым он обладает: культурного, экономического и социального. Культурное потребление становится механизмом выражения социальных различий, так как классы, по словам Бурдье, обладают различным навыком различения, или, другими словами, навыком дешифровки произведений искусства. В практиках доминирующих классов этот навык культивируется с момента рождения индивида, соответственно, представители таких классов способны понимать, обсуждать и наслаждаться объектами искусства, которым нужен «сложный» код дешифровки. Например, чтобы понять смыслы, заложенные автором артхаусного кино в свое произведение, нужна определенная подготовка. Таким образом, представителям доминирующего класса будет скорее свойственно потребление какого-то редкого объекта, потому что в этом случае они смогут продемонстрировать свои качества квалифицированного потребителя. В мире искусства происходит символическая борьба за классификацию объектов и практик их потребления: доминирующий класс побеждает в установлении иерархии художественных предпочтений, в которой только определенные объекты обладают легитимным статусом и могут маркировать потребителя как обладателя хорошего вкуса. В нашем исследовании не стояла задача проследить связь классовой позиции и практик потребления: отсылка к Бурдье здесь нужна, чтобы показать традицию изучения символических иерархий, разделяющих объекты и практики потребления на легитимные и нелегитимные для создания границ между группами.

11. В российском контексте аналогом, скорее всего, может быть деление на «хороший» и «плохой» вкус, так как *highbrow* и *popular taste* получают название от характеристик потребления определенных объектов.

Помимо существования символического разделения объектов искусства, создаваемого доминирующим классом, мы должны обратить внимание на характер функционирования культурных объектов как сигналов принадлежности к определенной социальной группе. И. Гоффман (Goffman, 1951) и Г. Зиммель (Simmel, 1957) в своих работах обсуждают феномен циркуляции символов. Так, группа, которая вводит определенный символ в использование, заинтересована в том, чтобы 1) ограничить ситуации его мошеннического использования, например, когда индивид использует символ, который не отсылает к его/ее реальному статусу (ограничения, которые обсуждает Гоффман), и 2) отказаться от использования символа в ситуациях, когда его начинают широко использовать другие группы (пример использования моды элитами у Зиммеля).

В нашем случае, обсуждая с информантами потенциальных читателей каждой категории, мы зафиксировали противоречие (в описанном выше механизме создания различия): классика — это «сложная» литература с высоким эстетическим потенциалом, которая при этом является общеизвестной. Информанты в большинстве отвечали, что не могут выделить какую-то конкретную аудиторию для авторов этой категории — классика является литературой, с которой «все знакомы» («все знакомы с этим, все более-менее знают о чем»). Это то, что все читают и знают. Некоторые отмечали в качестве наиболее вероятной категории читателей школьников или пожилых людей, но при этом все сходились на том, что у каждого читателя есть представление об основных произведениях, которые относят к классике. Конечно, когда мы здесь говорим о том, что классика является общеизвестной категорией, мы опираемся на высказывания наших информантов, а целью нашего исследования было как раз узнать, как наши информанты будут конструировать литературные классификации. Однако в то же время проведенное исследование о предпочтениях читателей санкт-петербургских библиотек (Sokolova, Sokolov, 2020)¹² позволяет говорить о том, что именно классические произведения являются своеобразным общим знаменателем для всех читателей.

Изучая символические границы, которые в нашем случае проявляются в литературной классификации, важно обратить внимание на свойство, которое Ламон и Молнар называют «constraining character» (Lamont, Molnar, 2002: 168): символические границы, создаваемые индивидами, способны оказывать влияние на социальное взаимодействие. Например, если потребление указывает на групповую идентичность, обсуждение объектов культуры — сериалов или театральных постановок — может открывать или закрывать для индивида вход в различные группы (DiMaggio, 1987; Lizardo, 2016). Да, мы отметили, что потребление классических произведений, казалось бы, не определяет конкретную группу, так как для наших

12. Анализ предпочтений читателей санкт-петербургских библиотек показал, что классическая литература является тем объектом потребления, который находится на пересечении потребительских интересов представителей разных социальных групп. Здесь можно увидеть, вслед за Димаджио (DiMaggio, 1987), что структура потребления и создаваемые классификации отражают процессы, происходящие в социальной структуре.

информантов они являются широко распространенными. Однако при этом наши информанты отмечали, что если «бульварные романы» — это легкое чтиво, guilty pleasure, что-то, в чем стыдно признаться, то в случае классических произведений чем-то стыдным будет, наоборот, признание в том, что индивид не знаком с этими произведениями¹³. Таким образом, в высказываниях информантов мы видим наличие механизма социального контроля, связанного с потреблением определенных литературных произведений¹⁴.

Guilty pleasure — концепт, который кажется нам подходящим для описания потребления «бульварных романов», так как мы обнаруживаем 1) признание информантами нелегитимного статуса этого объекта в символической иерархии потребительских практик и 2) создание дистанции по отношению к объекту, «несерьезное» потребление, позволяющее поиронизировать над таким объектом (о похожих стилях потребления см.: McCoy, Scarborough, 2014; Peters, van Eijck, Michael, 2018). Гайд не включал отдельных вопросов о guilty pleasure, мы используем этот концепт для анализа уже полученных данных, так как видим пересечения с уже описанными исследователями практиками потребления. При этом, как следует из цитат, некоторые наши информанты сами использовали этот концепт для обозначения своего отношения к потреблению определенного объекта (что не кажется удивительным, так как guilty pleasure является широко употребляемым и за пределами академии концептом), в этом случае их описание практики потребления также соотносится с традицией использования этого концепта в перечисленных статьях.

Цитаты показывают, что, обсуждая литературу, наши информанты сталкиваются с нормой, которую можно описать как «каждый образованный человек читал классическую литературу» и «каждый образованный человек должен избегать бульварных романов». Не все наши информанты поддерживают эти утверждения, однако они отмечают наличие ожиданий, связанных с их литературными вкусами.

Говоря о литературных предпочтениях как о норме, мы можем описать поведение информантов в соответствии с моделью из исследования Д. Сентолы, Р. Уиллера и М. Мэйси (Centola, Willer, Macy, 2005). Эти авторы изучали феномен распространения в группе непопулярной нормы: их интересовали ситуации, в которых большинство членов группы отрицательно относятся к существующей норме, однако публично ее поддерживают, создавая иллюзию всеобщего согласия. Пытаясь смоделировать механизм распространения этой нормы в группе, они выделили три типа поведения (Centola, Willer, Macy, 2005: 1016): (1) True believers — те, кто ис-

13. Когда в этом тексте обсуждаются «классические» произведения и «бульварные романы», мы делаем отсылки к легитимным и нелегитимным объектам потребления. Концепт легитимности появляется здесь, так как мы обсуждаем, вслед за Бурдье, сложившуюся символическую иерархию объектов потребления (Bourdieu, 1984).

14. В приведенных цитатах также можно увидеть, что чтение «бульварных романов» может ассоциироваться с более взрослыми (по сравнению с нашими информантами) группами читателей, однако основной характеристикой выделения этой литературы в отдельную категорию была характеристика легкости/сложности в сравнении с классикой.

крепне верит и поддерживает нормативное высказывание; (2) True disbelievers — те, кто искренне против нормы; и (3) False disbelievers — те, кто публично поддерживает норму, но в частном порядке может ее отрицать.

Наших информантов можно отнести к первому и третьему типам. Цитаты, приведенные выше, демонстрируют мнение первого типа. Третий тип — это те, кто не согласен поддерживать легитимный статус «классики» и нелегитимный статус «бульварных романов», однако отмечает, что «большинство» ожидает от них согласия с существующей литературной иерархией. Ниже несколько цитат должны проиллюстрировать высказывания первого (1) и третьего (3) типов.

- 1) Если это не говно. Бывают книги, ты читаешь Донцову, например. Я не понимаю, какие люди вообще это могут читать, потому что это не интересно, это скучно. Это Obvios очень сильно. (Ж., 20 лет)

Как бы сказать, чтобы никого не обидеть. Какие-то такие книжки, которые читают женщины средних лет. Знаешь, вот эти всякие романы, они ширпотребные, как будто написаны по шаблону одному. Вот такое я бы точно не стала читать. (Ж., 20 лет)

- 3) Вот так как я сейчас отрицаю снобизм в любых проявлениях, я считаю, что это было на тот момент, я тогда считала, что это такое guilty pleasure. Сейчас я считаю, что у меня были полные права на то, чтобы одновременно быть, так сказать, региональной олимпиадницей по литературе и читать романчики за 50 рублей. Но тогда мне это казалось таким guilty pleasure, потому что они всегда простые и очень ненапряжные. И когда у тебя напрягается мозг от прочтения важной и морально сложной литературы, когда ты читаешь романчики за 50 рублей, тебе дышать становится легче. И поэтому я считаю, что такие романы нужны как раз для того, чтобы не думать. Когда тебе хочется что-то почитать, но не думать. (Ж., 20 лет).

Мне нравится что-то такое свободное, отрещенное от литературных норм, от классического. Потому что я не очень люблю классику. Я не хочу перечислять авторов, потому что я покажусь не очень умным человеком. То, что входит примерно в школьную программу, кажется мне немного скучновато. (М., 20 лет).

Не назвать Шекспира классикой — это себе дороже (М., 20 лет).

У них есть знакомые произведения, которые считаются шедеврами, которые считаются обязательными для прочтения вне зависимости от того, где ты родился, где пригодился. В общем, это такие фундаментальные авторы международной литературы, которых считается условно, да, если читал, то ты как бы такой, массовый интеллигентный читатель. Конечно, это не так, но почему-то такое мнение есть. (Ж., 20 лет).

Наверно, это не то чтобы мне будет стыдно, а то что если ты скажешь, что ты читаешь Дарью Донцову публично, люди скажут, ну посмеются, наверное. Или подумают, что это шутка, потому что Дарья Донцова так воспринимается. Она сейчас уже центр шуток. Если ты как бы скажешь Дарью Донцова, никто не воспринимает это всерьез. И наверно, из-за этого это как будто *Guilty pleasure*, потому что это не воспринимается серьезно. И из-за того, что люди не воспринимают это серьезно, ты уже тоже не относишься к этому серьезно, ты думаешь, что не можешь реально наслаждаться этим, поэтому это *guilty pleasure*. (Ж., 21 год).

К сожалению, наших данных недостаточно, чтобы проверить гипотезы о том, какой тип потребителя будет поддерживать или, наоборот, отрицать существующую норму. Мы можем ожидать, что индивиды с большим объемом культурного капитала, чье потребление характеризуется всеядностью, будут обращать меньше внимания на существующие классификации (Peterson, 1992; Warde, Wright, Gayo-Cal, 2007), разделяющие литературу на «легитимную» и «нелегитимную». В нашем исследовании все информанты обладают примерно одинаковым уровнем культурного капитала — практически для всех характерно раннее знакомство с миром искусства — 14 из 15 информантов посещали в детстве художественную, музыкальную или танцевальную школы. Однако среди них есть те, кто поддерживает устоявшиеся классификации, и те, кто их отрицает. Это же касается и вопроса поддержания или отрицания нормы в среде студентов и студенток. В нашем случае и среди студентов, и среди студенток наблюдались как те, кто поддерживает норму, разделяющую литературу на «легитимную» и «нелегитимную», так и те, кто ее отрицает. Вопрос связи определенной гендерной социализации с практиками потребления требует дополнительного изучения, так как наш материал не позволяет сделать обобщенных выводов. Интерпретируя результаты, мы также должны учитывать специфику группы, выбранной для нашего пилотного исследования. В разделе «Методология» мы говорили, что у нас было предположение, связанное со спецификой создания художественных классификаций в малых группах, согласно которому мы ожидали увидеть вариативность в классификации литературы. Однако это предположение не нашло подтверждения. Мы надеемся, что расширение нашего исследования и изучение создания символических границ в других группах поможет нам ответить на оставшиеся вопросы.

В данном исследовании мы показали, на основе интервью, наличие социального контроля, связанного с потреблением определенных литературных произведений: в среде студентов «классика» (или классические произведения) рассматривается как легитимный объект потребления, свидетельствующий о «хорошем» вкусе, тогда как «бульварные романы» — нелегитимный объект потребления, который может маркировать потребителя как обладателя «плохого» литературного вкуса. Не все информанты однозначно высказываются в поддержку такой системы классификации, однако все говорят о наличии нормативных ожиданий, связанных с этими категориями. Поскольку целью исследования не было выяснение проис-

хождения этих категорий, мы можем только предположить, что они — результат школьного образования и социализации в семьях с большим объемом культурного капитала. На это указывает в том числе свидетельство наших информантов о том, что школьный период был для большинства из них временем наиболее активного вовлечения в потребление литературы.

Приложение 1. Список информантов

Студентка 1	20 лет	Посещала музыкальную школу, танцевальную и курсы рисования
Студентка 2	21 год	Посещала художественную школу, хор
Студентка 3	21 год	Посещала художественную школу
Студентка 4	21 год	Посещала художественную школу
Студент 5	20 лет	Посещал музыкальную школу, учился в гимназии с музыкальным уклоном
Студентка 6	21 год	Посещала художественные кружки
Студент 7	20 лет	Посещал музыкальную школу
Студентка 8	21 год	Посещала художественные кружки
Студент 9	20 лет	—
Студентка 10	20 лет	Посещала художественную школу
Студентка 11	21 год	Посещала танцевальный кружок
Студентка 12	20 лет	Посещала танцевальный кружок
Студентка 13	20 лет	Посещала музыкальную школу
Студентка 14	20 лет	Посещала художественную школу
Студент 15	20 лет	Посещал музыкальную школу

Приложение 2. Список авторов, использовавшийся для процедуры раскладывания карточек

Автор	Жанр	Входят в список произведений, обязательных для изучения в школе
1 Федор Достоевский	Русская классика	+
2 Эрих Мария Ремарк	Зарубежная классика	Входит в список авторов, откуда учитель должен выбрать не менее трех для обсуждения в классе
3 Рэй Брэдбери	Фантастика и фэнтези	Входит в список авторов, откуда учитель должен выбрать не менее трех для обсуждения в классе

4	Стивен Кинг	Фантастика и фэнтези	
5	Лев Толстой	Русская классика	+
6	Владимир Набоков	Зарубежная классика	
7	Борис Акунин	Современная русская	
8	Харуки Мураками	Современная зарубежная	
9	Михаил Булгаков	Русская классика	+
10	Дарья Донцова	Иронический детектив	
11	Уильям Шекспир	Зарубежная классика	+
12	Чак Паланик	Современная зарубежная	
13	Пауло Коэльо	Современная зарубежная	
14	Братья Стругацкие	Фантастика и фэнтези	Входит в список авторов, откуда учитель должен выбрать не менее трех для обсуждения в классе
15	Антон Чехов	Русская классика	+
16	Виктор Пелевин	Современная русская	
17	Макс Фрай	Фэнтези	
18	Анна Гавальда	Современная зарубежная	
19	Борис Пастернак	Русская классика	+
20	Михаил Лермонтов	Русская классика	+
21	Наталья Александрова	Русские детективы	
22	Татьяна Полякова	Русские детективы	
23	Анна Литвинова	Русские детективы	
24	Марсель Пруст	Зарубежная классика	
25	Сандра Браун	Любовные романы	
26	Даниела Стил	Любовные романы	
27	Евгений Замятин	Русская классика	
28	Людмила Улицкая	Современная русская	
29	Шарлотта Бронте	Зарубежная классика	
30	Мария Метлицкая	Любовные романы	
31	Михаил Веллер	Современная русская	
32	Стивен Фрай	Современная зарубежная	
33	Ю Несбё	Зарубежные детективы	
34	Виктория Токарева	Современная русская	
35	Джейн Остин	Зарубежная классика	
36	Екатерина Вильмонт	Детективы для подростков	
37	Александра Маринина	Русские детективы	

38	Дина Рубина	Современная русская	
39	Герман Гессе	Зарубежная классика	
40	Олег Рой	Любовные романы	
41	Франц Кафка	Зарубежная классика	Входит в список авторов, откуда учитель должен выбрать не менее трех для обсуждения в классе
42	Альбер Камю	Современная зарубежная	Входит в список авторов, откуда учитель должен выбрать не менее трех для обсуждения в классе
43	Джек Лондон	Зарубежная классика	+
44	Януш Вишневский	Современная зарубежная	
45	Александр Солженицын	Русская классика	+
46	Александр Дюма	Зарубежная классика	
47	Джордж Мартин	Фантастика и фэнтези	
48	Агата Кристи	Зарубежные детективы	
49	Терри Пратчетт	Фантастика и фэнтези	

Литература

- Ечевская О. (2011). Потребление и различие: социальные значения и практики потребительского поведения горожан. Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук.
- Захарова Ю. (2005). Формирование практик потребления продуктов питания в современном российском обществе // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т. С. 93–110.
- Илле М. Е., Соколов М. М. (2018). Статусная культура во времена экономической трансформации: аутребление высокой культуры в Петербурге, 1991–2011 // Мир России. Т. 27. № 1. С. 159–182.
- Минобразования РФ (2004). Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования: приказ Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г.
- Соколов М.М., Сафонова М. А., Чернецкая Г. А. (2017). Культурный капитал, пространство вкусов и статусные границы среди российских студентов // Мир России. Т. 26. № 1. С. 152–179.
- Bourdieu P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.

- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2007). Social Stratification and Cultural Consumption: The Visual Arts in England // Poetics. Vol. 35. № 2–3. P. 168–190.*
- Centola D., Willer R., Macy M. (2005). The Emperor's Dilemma: A Computational Model of Self-enforcing Norms // American Journal of Sociology. Vol. 110. № 4. P. 1009–1040.*
- Cou langeon P., Lemel Y. (2007). Is «Distinction» Really Outdated? Questioning the Meaning of the Omnivorization of Musical Taste in Contemporary France // Poetics. Vol. 35. № 2–3. P. 93–111.*
- DiMaggio P. (1982). Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston: The Creation of an Organizational Base for High Culture in America // Media, Culture & Society. Vol. 4. № 1. P. 33–50.*
- DiMaggio P., Mohr J. (1985). Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital Selection // American Journal of Sociology. Vol. 90. № 6. P. 1231–1261.*
- DiMaggio P. (1987). Classification in Art // American Sociological Review. Vol. 52. № 4. P. 440–455.*
- Erickson B. H. (1996). Culture, Class, and Connections // American Journal of Sociology. Vol. 102. № 1. P. 217–251.*
- Goffman E. (1951). Symbols of Class Status // British Journal of Sociology. Vol. 2. № 4. P. 294–304.*
- Holt D. B. (1997). Distinction in America? Recovering Bourdieu's Theory of Tastes from Its Critics // Poetics. Vol. 25. № 2–3. P. 93–120.*
- Holt D. B. (1998). Does Cultural Capital Structure American Consumption? // Journal of Consumer Research. Vol. 25. № 1. P. 1–25.*
- Jarness V. (2015). Modes of Consumption: From «What» to «How» in Cultural Stratification Research // Poetics. Vol. 53. P. 65–79.*
- Lamont M., Molnár V. (2002). The Study of Boundaries in the Social Sciences // Annual Review of Sociology. Vol. 28. P. 167–195.*
- Levine L. W. (1990). Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America. Cambridge: Harvard University Press.*
- Lizardo O. (2006a). How Cultural Tastes Shape Personal Networks // American Sociological Review. Vol. 71. № 5. P. 778–807.*
- Lizardo O. (2006b). The Puzzle of Women's «Highbrow» Culture Consumption: Integrating Gender and Work into Bourdieu's Class Theory of Taste // Poetics. Vol. 34. № 1. P. 1–23.*
- Lizardo O., Skiles S. (2012). Reconceptualizing and Theorizing «Omnivorousness» Genetic and Relational Mechanisms // Sociological Theory. Vol. 30. № 4. P. 263–282.*
- Lizardo O. (2016). Why «Cultural Matters» Matter: Culture Talk as the Mobilization of Cultural Capital in Interaction // Poetics. Vol. 58. P. 1–17.*
- López-Sintas J., Katz-Gerro T. (2005). From Exclusive to Inclusive Elitists and Further: Twenty Years of Omnivorousness and Cultural Diversity in Arts Participation in the USA // Poetics. Vol. 33. № 5–6. P. 299–319.*
- McCoy C. A., Scarborough R. C. (2014). Watching «Bad» Television: Ironic Consumption, Camp, and Guilty Pleasures // Poetics. Vol. 47. P. 41–59.*

- McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J. M.* (2001). Birds of a Feather: Homophily in Social Networks // *Annual Review of Sociology*. Vol. 27. № 1. P. 415–444.
- Peters J., van Eijck K., Michael J.* (2018). Secretly Serious? Maintaining and Crossing Cultural Boundaries in the Karaoke Bar through Ironic Consumption // *Cultural Sociology*. Vol. 12. № 1. P. 58–74.
- Peterson R. A.* (1992). Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass to Omnivore and Univore // *Poetics*. Vol. 21. № 4. P. 243–258.
- Simmel G.* (1957). Fashion // *American Journal of Sociology*. Vol. 62. № 6. P. 541–558.
- Sokolov M.* (2019). Cultural Capital and Social Revolution: Arts Consumption in a Major Russian City, 1991–2017 // *Poetics*. Vol. 72. P. 1–16.
- Sokolov M., Sokolova N.* (2019). Do Low-Brow Tastes Demonstrate Stronger Categorical Differentiation? A Study of Fiction Readership in Russia // *Poetics*. Vol. 73. P. 84–99.
- Sokolova N., Sokolov M.* (2020). Does Popular Culture Bridge Cultural Holes? A Study of a Literary Taste System Using Unimodal Network Projections // *Poetics*. Vol. 83. Art. 101472.
- Van Eijck K.* (2001). Social Differentiation in Musical Taste Patterns // *Social Forces*. Vol. 79. № 3. P. 1163–1185.
- Veblen Th.* (1899). *The Theory of the Leisure Class*. N.Y.: Macmillan.
- Vlegels J., Lievens J.* (2017). Music Classification, Genres, and Taste Patterns: A Ground-Up Network Analysis on the Clustering of Artist Preferences // *Poetics*. Vol. 60. P. 76–89.
- Warde A., Wright D., Gayo-Cal M.* (2007). Understanding Cultural Omnivorousness; or, The Myth of the Cultural Omnivore // *Cultural Sociology*. Vol. 1. № 2. P. 143–164.
- Warner W. L. et al.* (1963). *Yankee City*. New Haven: Yale University Press.
- Weber M.* (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

The Literature “Not for Everyone” and the Phenomenon of the Guilty Pleasure: Classifications in Literature as a Space for Distinction

Nadezhda Sokolova

Lecturer, HSE University at Saint Petersburg

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: nasokolova@hse.ru

Ekaterina Mikhaylova

Bachelor Student, HSE University at Saint Petersburg

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: eyumikhaylova_1@edu.hse.ru

This article presents the results of the pilot study in the sphere of literature classifications in Russia in the case of a group of students. The creation of artistic classifications is the focus of research, as the constructed symbolic hierarchies of consumption practices lead to the creation of social boundaries between groups. The boundaries between groups are manifested in the social exclusion of those individuals whose practices are marked as illegitimate in the established system. The results discuss two main categories that structure the reading practices of students, those of "classical literature" and "dime novels". The consumption of classics is referred to "good taste" (the analogue of highbrow taste in the Russian context), while noting that these books are generally known to all segments of the population. The consumption of "dime novels" for our informants is possible only as a guilty pleasure, a consumption practice that takes a creation of distance with an object of consumption marked as something illegitimate into account. The results also discuss the universality of such a hierarchy of consumer practices. One group of informants can be attributed to those who support the norm that an educated person includes only the classics in his literary preferences, an object of consumption that brings symbolic benefits while avoiding any contact with illegitimate objects of consumption, while others question the grounds for such symbolic hierarchy.

Keywords: sociology of consumption, social stratification, classifications in literature, reading practices in Russia, sociology of culture, taste in literature

References

- Bourdieu P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Cambridge: Harvard University Press.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2007) Social Stratification and Cultural Consumption: The Visual Arts in England. *Poetics*, vol. 35, no 2–3, pp. 168–190.
- Centola D., Willer R., Macy M. (2005) The Emperor's Dilemma: A Computational Model of Self-enforcing Norms. *American Journal of Sociology*, vol. 110, no 4, pp. 1009–1040.
- Coulangeon P., Lemel Y. (2007) Is "Distinction" Really Outdated? Questioning the Meaning of the Omnivorization of Musical Taste in Contemporary France. *Poetics*, vol. 35, no 2–3, pp. 93–111.
- DiMaggio P. (1982) Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston: The Creation of an Organizational Base for High Culture in America. *Media, Culture & Society*, vol. 4, no 1, pp. 33–50.
- DiMaggio P., Mohr J. (1985) Cultural Capital, Educational Attainment, and Marital Selection. *American Journal of Sociology*, vol. 90, no 6, pp. 1231–1261.
- DiMaggio P. (1987) Classification in Art. *American Sociological Review*, vol. 52, no 4, pp. 440–455.
- Echevskaya O. (2011) *Potreblenie i razlichie: social'nye znacheniya i praktiki potrebitel'skogo povedeniya gorozhan* [Consumption and Distinction: Social Meanings and Consumer Behavior of Citizens], Novosibirsk: IEIE.
- Erickson B. H. (1996) Culture, Class, and Connections. *American Journal of Sociology*, vol. 102, no 1, pp. 217–251.
- Goffman E. (1951) Symbols of Class Status. *British Journal of Sociology*, vol. 2, no 4, pp. 294–304.
- Holt D. B. (1997) Distinction in America? Recovering Bourdieu's Theory of Tastes from Its Critics. *Poetics*, vol. 25, no 2–3, pp. 93–120.
- Holt D. B. (1998) Does Cultural Capital Structure American Consumption? *Journal of Consumer Research*, vol. 25, no 1, pp. 1–25.
- Ille M., Sokolov M. (2018) Statusnaya kul'tura vo vremena ekonomicheskoy transformacii. *Potreblenie vysokoj kul'tury v Peterburge, 1991–2011* [Status Culture in the Time of Economic Transformation: Cultural Participation in Saint Petersburg, 1991–2011]. *Universe of Russia*, vol. 27, no 1, pp. 159–182.
- Jarness V. (2015) Modes of Consumption: From "What" to "How" in Cultural Stratification Research. *Poetics*, vol. 53, pp. 65–79.
- Lamont M., Molnár V. (2002) The Study of Boundaries in the Social Sciences. *Annual Review of Sociology*, vol. 28, pp. 167–195.
- Levine L. W. (1990) *Highbrow/Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America*, Cambridge: Harvard University Press.

- Lizardo O. (2006a) How Cultural Tastes Shape Personal Networks. *American Sociological Review*, vol. 71, no 5, pp. 778–807.
- Lizardo O. (2006b) The Puzzle of Women's "Highbrow" Culture Consumption: Integrating Gender and Work into Bourdieu's Class Theory of Taste. *Poetics*, vol. 34, no 1, pp. 1–23.
- Lizardo O., Skiles S. (2012) Reconceptualizing and Theorizing "Omnivorousness" Genetic and Relational Mechanisms. *Sociological Theory*, vol. 30, no 4, pp. 263–282.
- Lizardo O. (2016) Why "Cultural Matters" Matter: Culture Talk as the Mobilization of Cultural Capital in Interaction. *Poetics*, vol. 58, pp. 1–17.
- López-Sintas J., Katz-Gerro T. (2005) From Exclusive to Inclusive Elitists and Further: Twenty Years of Omnivorousness and Cultural Diversity in Arts Participation in the USA. *Poetics*, vol. 33, no 5–6, pp. 299–319.
- McCoy C. A., Scarborough R. C. (2014) Watching "Bad" Television: Ironic Consumption, Camp, and Guilty Pleasures. *Poetics*, vol. 47, pp. 41–59.
- McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J. M. (2001) Birds of a Feather: Homophily in Social Networks. *Annual Review of Sociology*, vol. 27, no 1, pp. 415–444.
- Ministry of Education of the Russian Federation (2004) Ob utverzhdenii federal'nogo komponenta gosudarstvennyh obrazovatel'nyh standartov nachal'nogo obshchego, osnovnogo obshchego i srednego (polnogo) obshchego obrazovaniya: prikaz № 1089 [On Approval of the Federal Component of State Educational Standards for Primary General, Basic General, and Secondary (Complete) General Education: Bill № 1089].
- Peters J., van Eijck K., Michael J. (2018) Secretly Serious? Maintaining and Crossing Cultural Boundaries in the Karaoke Bar through Ironic Consumption. *Cultural Sociology*, vol. 12, no 1, pp. 58–74.
- Peterson R. A. (1992) Understanding Audience Segmentation: From Elite and Mass to Omnivore and Univore. *Poetics*, vol. 21, no 4, pp. 243–258.
- Simmel G. (1957) Fashion. *American Journal of Sociology*, vol. 62, no 6, pp. 541–558.
- Sokolov M. (2019) Cultural Capital and Social Revolution: Arts Consumption in a Major Russian City, 1991–2017. *Poetics*, vol. 72, pp. 1–16.
- Sokolov M., Safonova M., Chernetskaya G. (2017) Kul'turnyj kapital, prostranstvo vkusov i statusnye granicy sredi rossijskih studentov [Cultural Capital, Artistic Tastes and Status Boundaries among Russian University Students]. *Universe of Russia*, vol. 26, no 1, pp. 152–179.
- Sokolov M., Sokolova N. (2019) Do Low-Brow Tastes Demonstrate Stronger Categorical Differentiation? A Study of Fiction Readership in Russia. *Poetics*, vol. 73, pp. 84–99.
- Sokolova N., Sokolov M. (2020) Does Popular Culture Bridge Cultural Holes? A Study of a Literary Taste System Using Unimodal Network Projections. *Poetics*, vol. 83, art. 101472.
- Van Eijck K. (2001) Social Differentiation in Musical Taste Patterns. *Social Forces*, vol. 79, no 3, pp. 1163–1185.
- Veblen Th. (1899) *The Theory of the Leisure Class*, New York: Macmillan.
- Vlegels J., Lievens J. (2017) Music Classification, Genres, and Taste Patterns: A Ground-Up Network Analysis on the Clustering of Artist Preferences. *Poetics*, vol. 60, pp. 76–89.
- Warde A., Wright D., Gayo-Cal M. (2007) Understanding Cultural Omnivorousness; or, The Myth of the Cultural Omnivore. *Cultural Sociology*, vol. 1, no 2, pp. 143–164.
- Warner W. L. et al. (1963) *Yankee City*, New Haven: Yale University Press.
- Weber M. (1978) *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley: University of California Press.
- Zakharova Y. (2005) Formirovanie praktik potrebleniya produktov pitaniya v sovremennom rossiskom obshchestve [Formation of Food Consumption Practices in Modern Russian Society]. *Lyudi i veshchi v sovetskoi i postsovetskoj kul'ture* [Humans and Things in Soviet and Post-Soviet Culture], Novosibirsk: NSU, pp. 93–110.

Медали, барьеры, отцы и карьеры: институциональная инерция и изменения в российском художественном мире конца XIX — начала XX века*

Мария Сафонова

Кандидат социологических наук, доцент, департамент социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190121
E-mail: msafonova@hse.ru

Опираясь на историко-социологические работы о культурном производстве и традицию количественных биографических исследований, данный текст описывает стартовые позиции, профессиональные практики и достижения трех поколений российских художников, участвовавших в выставочной деятельности в 1871–1917 годах. Тестируются тезисы о переходе художественного мира к «институциализации аномии» (Бурдье) и «режиму сингулярности» (Эник). Анализируется влияние стартовых ресурсов и карьерных инвестиций на шансы художников на признание при жизни и музейную сакрализацию после смерти. Исследование позволяет увидеть, как российские художники, создававшие первую художественную инновацию, называемую сегодня «русский авангард», отличались от предшествующих поколений. Учитываются такие параметры, как класс и статус отца художника, принадлежность к этническому меньшинству, принадлежность отца к художественной среде, гендер, признание при жизни. Мы обнаруживаем, что, вопреки тезисам о «режиме сингулярности», художники, работы которых больше представлены в главных российских художественных музеях, не были непризнанными при жизни асоциальными одиночками. Полученное при жизни признание от Академии художеств, учеба в зарубежных художественных мастерских и в одном из главных в стране учреждений высшего художественного образования, участие в институциональном строительстве значимо усиливали шансы художника быть причисленным музеями к лицу подлинных творцов и увеличивало число его произведений, представленных на обозрение потомкам.

Ключевые слова: социология искусства, культурное производство, институциализация аномии, режим сингулярности, русский авангард, карьеры художников

В этом тексте представлены результаты решения двух исследовательских задач. Первая — на количественном материале проверить утверждения классиков социологии искусства — П. Бурдье, Х. и С. Уайтов и Н. Эник о переходе к новой системе художественного производства (White, White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Если в предшествующей системе доминирующим институтом, дающим статусы

* Автор выражает признательность своим коллегам и студентам, без бесценного участия которых этот текст не мог бы появиться на свет, — Татьяне Третьяковой, Михаилу Соколову, Маргарите Кулевой, Анне Прищак, Анастасии Зайцевой и Полине Климовичкой.

Публикация подготовлена по результатам исследования (№ 20-04-029) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2020 г. и государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

и распределяющим ресурсы, была Академия художеств, созданная при финансово-организационном и идеологическом контроле государства, то в новой системе многочисленные посреднические институты и агенты — галереи и дилеры, музеи, меценаты и кураторы, журналы и критики — конкурируют за определение того, что есть подлинное искусство (White, White, 1993). Эта конкуренция рождает требование постоянной инновации и непрерывной художественной революции. Бурдье называет такое состояние художественного мира «институционализацией аномии», Эник — «режимом сингулярности» (Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Эта система, предположительно, организует судьбы художников до настоящего времени (Becker, 1978; Heinich, 1997).

Вторая взаимосвязанная с ней и подсказанная классической историко-социологической работой Питера Берка (Burke, 1974) задача: посмотреть на социальные корни той, первой в истории искусства художественной инновации, которая создавалась российскими художниками, а именно тех течений, которые называют сегодня «российским авангардом». Эти две взаимосвязанные задачи легли в основу количественного биографического исследования, которое позволяет увидеть, во-первых, как менялись социальные и профессиональные характеристики художников в России второй половины XIX — начала XX века, и, во-вторых, какие факторы, упомянутые в их биографиях, связаны с их признанием в начале XXI века.

Выбор временного периода определен обеими задачами. Бурдье, Уайты и Эник указывают на последнюю треть XIX века, когда было оспорено идеологическое и институциональное доминирование Академии художеств во Франции (White, White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997), как на период, когда сформировались основные институты и механизмы функционирования современной художественной системы. Основными эмпирическими признаками перехода к новой системе были: появление альтернативных (академическим) институтов организации карьеры, таких как художественные группировки и объединения, независимые от государства групповые выставки (Galenson, Jensen, 2002), появление новых типов патронов (DiMaggio, 1982) и создание (индивидуом-творцом или узкой творческой группой) собственной художественной идеологии, развивающейся вместе с критиками или вопреки им (White, White, 1993).

Период, который открывается появлением в 1871 году Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) в художественной жизни Российской империи, идеальным образом подходит под имеющиеся у классиков описания перехода к новой художественной системе. Так, 1) независимые выставочные объединения (ТПХВ) создали первую серьезную и успешную альтернативу контролируемым государством выставкам, организуемым Императорской Академией художеств (далее — Академия или ИАХ), Обществом поощрения художеств (ОПХ)¹

1. Как утверждают и Уайты, и Бурдье, новая система художественного мира прежде всего подорвала экономическую монополию государства в области художественного производства (White, White, 1993; Bourdieu, 1993). В российском случае и ИАХ и ИОПХ, которые регулярно проводили выставки, не просто находились под идеологическим и финансовым контролем государства, но брали

в Петербурге и Московским обществом любителей художеств (Никольский, 2001; Шабанов, 2015: 11); 2) усиливается роль новых (негосударственных) патронов — меценатов и коллекционеров²; 3) к началу XX века появляются многочисленные художественные течения и художественные идеологии, известные как термины с окончанием «-изм»; 4) развивается³ критика — появляются новые художественные журналы («Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства» и другие).

Данное исследование построено на анализе кратких (словарных) биографий⁴ художников, профессиональная активность которых пришлась на 1871–1917 годы (см. Приложение). За индикатор профессиональной художественной активности берется участие в групповых выставках художественных объединений (Северюхин, Лейкинд, 1992). Согласно тезисам Уайтов и последовавшим за их работой многочисленным комментариям, групповые независимые выставки стали одним из ключевых институтов, создававших видимость и репутацию художника и позволявших ему получать доход (White, White, 1993; Galenson, Jensen, 2002). Принципы отбора работ на выставки различались: некоторые объединения допускали и любителей, а другие не брали дилетантские работы; принципы отбора менялись вместе с развитием групп. Стратегии отбора на выставки могут стать увлекательным объектом анализа для отдельной работы, но для данного исследования важно, что, каковы бы ни были принципы отбора, те, кто не выставлялся, имели меньше шансов считаться в глазах современников художниками. Художественные объединения интересуют нас еще и потому, что являются альтернативой как источникам доходов, связанных с Императорской академией и государственными заказами, так и получению средств на образование или в виде премий от благотворительных обществ (например, Общества поощрения художеств). Мы начинаем с 1871 года, с первой выставки ТПХВ, так как это была первая 1) выставка художественного объединения, 2) альтернативная тем, которые проводились с той или иной мерой контроля государства (в отличие от ИАХ и ОПХ), 3) не-ученическая выставка и 4) на ней были представлены только новые работы, то есть те, которые ранее не выставлялись. Появление ТПХВ повлекло за собой волну создания конкурирующих

комиссию за продажу картин. Революция передвижников — экономическая революция, поскольку они создали первое успешное частное художественное предприятие (Шабанов, 2015), о чём нам и говорит заглавное слово в названии группы («Товарищество»).

2. Меценаты и коллекционеры — главные герои институциализации высокого искусства в работах П. ДиМадджио (DiMaggio, 1982).

3. Развитие критики репрезентируется появлением новых культурных героев, например, противоречивой и влиятельной фигуры Стасова.

4. При опоре на словари и справочники мы зависим от отбора информации автором справочника; соответственно, если в глазах автора информация о формальном образовании перестала быть актуальной для каких-то поколений, то мы ее и не найдем. К сожалению, от смещений этого типа нельзя избавиться в ситуации, когда нужно производить количественный анализ биографий. Тем не менее в социологии на использовании словарей и справочников основано много классических работ (Collins, 2009; White, White, 1993).

обществ и объединений, сначала академической направленности, потом тех, что противопоставляли себя и передвижникам, и Императорской академии.

Этот текст представляет исследование в процессе развития, поэтому для отбора объединений и их выставок установлен условный рубеж — 1917 год, после которого появилась целая плеяда новых художественных течений, были радикально трансформированы как образовательные и экономические художественные институты, так и институты представления искусства публике. База данных периода с 1917 по 1932 год (когда было издано постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций») сейчас находится в стадии сбора.

Выборка и данные

Выборка для данного исследования строилась на основе анализа данных о профессиональной активности художников — участия в выставках художественных объединений и групп. Была создана база, куда заносились имена из каталогов выставок художественных объединений, существовавших в 1871–1917 годах⁵ (всего 1034 имени). Далее для этих имен было подсчитано число появлений на выставках. Если имя появлялось в каталоге только одного общества, предполагалось, что художник не был активно вовлечен в художественную деятельность, и персоналия исключалась из последующего анализа⁶. Таким образом, первоначальный список был сокращен до 687 имен. Для 86 имен из этих 687 не удалось получить необходимые биографические данные: если отсутствовала информация об имени и отчестве, где рождения, и хотя бы еще одной анализируемой переменной, кроме гендера, случай изымался из анализа. Таким образом, число случаев, включенных на данный момент в базу, сократилось до 601⁷. Из-за неполноты информации количество наблюдений меняется от анализа к анализу.

5. Выставки следующих объединений и групп: Товарищество передвижных художественных выставок, Общество выставок художественных произведений, Общество русских акварелистов, Санкт-Петербургское общество художников, Московское товарищество художников, Общество художников исторической живописи, «Мир искусства», Новое общество художников, «36 художников», Союз русских художников, Союз молодежи, «Алая роза», «Голубая роза», «Венок-Стефанос», «Бубновый валет», «Ослиный хвост», Община художников, «Свободное искусство», «Свободное творчество», Товарищество независимых художников, Общество московских художниц, «о,ю». Вклад обществ и кружков, (1) для которых основной деятельностью была благотворительность и в составе которых была весома доля меценатов (ОПХ, МОЛХ, Первый дамский художественный кружок, Еврейское общество поощрения художеств), или которые не вели выставочной деятельности (Общество русских аквафортистов), при составлении выборки не учитывались.

6. Сейчас составляется база на основе каталогов с 1918 по 1932 год. Часть имен молодых художников, родившихся около 1900 года (например, Дейнека, Пименов или Тышлер), которые были исключены из базы данных на текущем этапе, будут введены в анализ по завершении сбора данных.

7. Полученная выборка смещена в сторону тех, чьи работы покупались коллекционерами и попали в справочники, а значит, в какой-то мере были признаны при жизни, и, как показывает дальнейший анализ, происходили из семей высших и средних слоев. Поэтому мы можем предполагать, что в одномерных распределениях доля соответствующих групп будет избыточной. Однако поскольку

В анализ были включены следующие переменные: занятость и сословие отца, гендер, звание художника (аналог современного диплома или степени), этническая принадлежность, звание академика Императорской Академии художеств, обучение в художественных мастерских за границей, число работ на постоянных экспозициях в двух крупнейших российских музеях изобразительного искусства, поколение. Принцип конструирования переменных описан ниже в разделах, где будет обсуждаться их влияние; здесь мы остановимся только на разделении выборки на поколения.

Поскольку с 1871 по 1917 год в развитии художественного поля произошли серьезные институциональные изменения, из которых наиболее значимо появление многочисленных выставочных объединений и реформирование системы преподавания, и эти изменения было важно зафиксировать, художники, которые попали в выборку, были условно разделены на три поколения: старшее (родились до 1855 года), среднее (родились с 1856 по 1875 год), и младшее (родились с 1875 по 1895 год). Поколения выделялись, ориентируясь на структуру возможностей на момент начала профессиональной (не-ученической) артистической карьеры, то есть начало участия в выставочной и организационной деятельности⁸. По мере того как мы движемся к XX веку, возраст институционального строительства смещается⁹.

Первыми успешными строителям альтернативных государственным институтов были художники, создавшие ТПХВ, что привело к рождению других обществ, товариществ и объединений тех, кто хотел повторить успех, но не входил в Товарищество. Товарищество было институциональной инновацией, и прежде всего экономического свойства¹⁰, поскольку отличалось от академий, благотворительных организаций (например, ОПХ или Московского художественного общества), артелей. Оно перенесло форму организации (коммерческое партнерство)

корреляции обычно довольно устойчивы, мы не предполагаем, что избыточная представленность некоторых групп влияет на наблюдаемые силы эффектов.

8. Для нас важно, что относительно молодые люди, которые участвуют в институциональном строительстве, имеют большие шансы связать институт со своим именем, чем старшие участники групп и объединений. Так, мы ассоциируем название «Передвижники» с именами Перова (ему на момент создания Товарищества — 38), Мясоедова (37), Крамского (34), Прянишникова (31), или даже Репина (на момент вступления — 34), Сурикова (на момент вступления — 33), но не с именами Амона, Ге, Лемоха или Гуна.

9. Те, кто основал ТПХВ, создали свою выставочную машину, когда им было за тридцать. На момент рождения «Мира искусства» его основателям было около тридцати. Тем, кто пытался заниматься институциональным строительством в 1910-х годах, может не быть тридцати: выставку «о,10» собирают, помимо старших Малевича и Татлина, 26-летний Альтман и 23-летние Богуславская и Пуни.

10. В социологии искусства экономическая природа художественных институтов является одним из центральных аргументов. Так, Флорентийская академия художеств появилась как попытка избавиться от гильдейских ограничений и найти форму организации, которая лучше бы продавала «товар» элитам (Hughes, 1986), Парижская академия есть продукт конкуренции гильдейских и негильдейских художников (White, White, 1993), а появление импрессионистов устранило неэффективную академическую систему генерации доходов от живописи (Bourdieu, 1993).

из делового мира в художественный¹¹. Как многие новые институты¹², ТПХВ на первом этапе было довольно инклюзивным объединением; Товариществу следовало создать себе репутацию и для этого привлекать в первую очередь «продаляемых» участников. Как условную круглую дату, когда ТПХВ становится более закрытым, мы взяли 1885 год — год, когда мы можем обнаружить, что накопились формальные признаки эксклюзивности института. Во-первых, ТПХВ не приняло ни одного нового члена¹³, хотя при этом в 1884 и 1883 годах принимали по одному, а до этого по несколько человек в год, во-вторых, в общественном мнении Товарищество стало прочно ассоциироваться с реалистической критической жанровой живописью, хотя до 1880-х годов картины, представлявшиеся на выставках, жанрово и тематически были очень разнородными (Шабанов, 2015). От этой условной даты — 1885 — мы отнимаем 30 лет, поскольку те, кто был моложе тридцати, не принимались в Товарищество, и получаем дату, по которой отсекали старшее поколение, — те, кто родился не позже 1855 года.

От 1855 года отсчитываются 20-летние периоды, задающие следующие поколения (среднее — 1856–1875 гг., и младшее — 1876–1895 гг.). Мы отсчитываем двадцатилетние периоды, предполагая, на основании анализа избранных биографий известных художников, что значима структура возможностей, доступная между 20 и 40 годами¹⁴.

Нам важно, что поколение 1856–1875 годов отвечает за следующую институциональную инновацию; они создали не только художественное объединение, но и собственный журнал: «Мир искусства» с его высоким качеством печати стал новой формой и новым средством постоянной презентации художников. Эти форма и средства, отличные от выставок, открыли ворота новым жанрам — книж-

11. Когда мы говорим о том, что определенная организационная форма была перенесена из коммерческого мира в художественный, мы не предполагаем какого-то фундаментального противопоставления между этими двумя мирами. Нам тем не менее важно, что к этому моменту художники в Российской империи уже более 50 лет существуют в рамках правил академической системы, которая создала новую позицию (профессора) и новый социальный образ (чиновника, служащего) для художника. И позиция, и образ предполагали «изъятие» художника из финансовых потоков предпринимательской деятельности. Художник получал средства от заказов или продажи собственных полотен, но он не торговал своей продукцией в той же форме, в которой ею торговал булочник, или мясник, или портной. Возможность получать доходы для художника существенным образом регулировалась нетрадиционными для сферы предпринимательства механизмами — государственным финансированием и частным меценатством.

12. Парижская Академия художеств здесь типичный и интересный пример. К середине XIX века она является очень закрытым институциональным телом, но в период развития — в XVII–XVIII вв. — она старалась привлекать много новых членов — и меценатов, и художников (White, White, 1993).

13. В 1884 и 1883 годах Товарищество приняло по одному новому члену, 1881 год был последним, когда было принято сразу несколько новых художников, в 1879-м усложнилась процедура вступления.

14. Одни художники, в особенности из творческих семей, входят в профессию очень рано. Другие пробуют себя на не-художественных карьерных путях и входят в художественный мир на более поздней стадии жизненной траектории (так, Врубель учится на юридическом и репетиторствует, и упоминания о том, что он оказывается на регулярных занятиях в ИАХ, относятся к его 26 годам, т. е. почти на 10 лет позже, чем, например, упоминание о первых художественных шагах Серова; Кандинский становится на художественный карьерный путь после тридцати).

ной и журнальной графике, и создали профессиональные связи между художниками и представителями словесности. Поэтому мы дали поколению 1856–1875 гг. условное название «миризкусники». На 1885–1905 гг. приходится 30-летие, начало и развитие карьер тех, кто будет строить «Мир искусства»¹⁵ и «36 художников», и позднее — Союз русских художников.

На годы после 1905 года приходится новая волна возникновения группировок и выставочных объединений (самые известные — выставки «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», кубофутуристов), многие из которых представляют только что родившийся художественный авангард; эти объединения возглавляются очередной группой молодых людей — теми, кто родился между 1876 и 1895 годом¹⁶.

Социальное происхождение

Стартовая позиция индивида в индустриальных и переходных к индустриальным обществах определяется семьей, которая и задает два параметра, с точки зрения которых мы можем говорить о профессиональных траекториях. Первый параметр — доступность, второй — привлекательность. Под доступностью мы понимаем прежде всего стартовые семейные ресурсы; под привлекательностью — соотношение престижа профессии и статуса, достигнутого семьей интересующего нас индивида.

Начнем с измерения, заданного доступностью. В исследованиях культурного производства нам важно, что семья может дать людям три типа ресурсов: экономический, культурный и социальный капиталы (Бурдье). В данном параграфе речь пойдет о последствиях обладания экономическим капиталом. Значительный экономический капитал позволяет индивиду перераспределить время в пользу занятости, не дающей непосредственных финансовых выигрышней. В контексте исследования траекторий художников важно, что существенные семейные экономические ресурсы могут давать молодым людям два типа возможностей. Первый — длительное обучение профессиональным навыкам, как в Российской империи, так и за рубежом. Второй — время, которое можно инвестировать в первые шаги, в том числе неудачные, на профессиональных рынках. Отсутствие возможностей второго типа будет создавать препятствия для молодых людей из семей с ограниченными ресурсами, так как для них первые профессиональные заработки будут важны с точки зрения простого физического выживания, а неудачи могут побуждать их искать успеха в профессиональных областях, отличных от искусства. Иными словами, для них профессия художника может быть привлекательной, но недоступной, а для молодых людей из очень состоятельных семей она, наоборот, может быть доступной, но не привлекательной. В современных социологических исследованиях коррелятом экономических возможностей (и классо-

15. На момент создания «Мира искусства», например, Бенуа было 28, Баксту — 32, Сомову — 29.

16. На момент создания новых групп и объединений Кончаловскому — 35, Машкову — 30, Ларионову — 31. Самые молодые авангардисты остались пока за рамками данного исследования.

вой позиции) является занятость¹⁷ (Chan, Goldthorpe, 2007; Goldthorpe, 2007). Мы можем использовать этот коррелят для создания соответствующей переменной на основе информации, доступной в биографиях: конкретные категории, упомянутые в биографиях, были собраны в группы с целью, с одной стороны, сохранить разнообразие, но, с другой, сделать их достаточно многочисленными, чтобы можно было обсуждать тренды¹⁸ (для 405 случаев из выборки доступна информация о занятости отца).

На материалах биографий художников мы видим (см. табл. 1), что от старшего к младшему поколению снижается доля представителей старых типов занятости, имевших доступ к сословным привилегиям, — доля помещиков, чиновников, духовенства. Увеличивается доля типов занятости, связанных с городской и индустриальной экономикой (управляющих частными предприятиями, профессионалов, мелких клерков), и низших городских слоев. А доля крестьянства и сельских ремесленников уменьшается. При интерпретации этих цифр необходимо учитывать, что в этот период в России изменялась абсолютная численность категорий: городское население росло, сельское сокращалось, индустриальные классы — буржуазия и пролетариат — росли, доиндустриальные — сокращались.

Наблюдаемая динамика удивительным образом хорошо описывается тезисом П. Бёрка о социальном происхождении художников Итальянского Ренессанса, когда для высших и низших слоев работает негативная селекция. Для детей высших слоев профессия художника может быть непривлекательной, либо они могут испытывать воздействие со стороны семьи и близкого круга, которые не одобряют позицию художника как нынешнюю мобильность. Для низших слоев, в особенности крестьянства, будут ограничены финансовые и временные возможности по-

17. На данный момент самая влиятельная, хотя и критикуемая, классовая схема, используемая в исследованиях неравенства и мобильности — схема Эрикссона–Голдторпа–Портокареро (Eriksson–Goldthorpe–Portocarero (EGP)) — основана на занятости (Christoph and Matthes, 2020; Scott, 2010).

18. В категорию (1) «Помещики» включались те, у кого, кроме описания «помещик» или «предводитель дворянства», не было никакой дополнительной информации о занятости; категория «помещик» в данной переменной отображает именно занятость, а не сословие. В категорию (2) «Чиновники» включались, например, землемеры, герольдмейстеры, управляющий конторой императорских театров, дипломаты, директор Публичной библиотеки. Индикатором для отнесения в эту категорию было упоминание о наличии классного чина. Категории (3) — «Военные и флотские офицеры» и (4) — «Духовенство» содержат только виды занятости, вынесенные в заголовок. В категорию (5) «Буржуазия» были включены купцы, владельцы предприятий, откупщики. В категорию (6) «Менеджмент» — управляющие, руководство частных компаний, приказчики. В категорию (7) «Профессионалы» помещались занятия, требующие специального образования: врачи, юристы, бухгалтеры, инженеры, художники, архитекторы, агрономы, писатели, фотографы, переводчики, музыканты, нотариусы. В категорию (8) «Преподаватели» — учёные и преподаватели университетов, гимназий, учителя (включая семейных). В категорию (9) «Мелкие клерки»: писари, мелкие служащие (не имеющие чина), торговые агенты. В категорию (10) «Низшие городские слои»: ремесленники (плотники, столяры, портные, сапожники), булочники, цеховые, мелкие торговцы, лавочники, помощники аптекаря, рабочие. В категорию (11) «Крестьяне и сельские ремесленники» кроме видов занятости, помещенных в заголовок, входили лесничие. Переменная сконструирована таким образом, что категории не пересекаются.

Таблица 1. Соотношение видов занятости отцов в разных художественных поколениях*

Занятость	% внутри поколения				Всего случаев
	Старшее	Мирискусники	Авангардисты	Всего, %	
Помещики	6,8%	4,5%	2,1%	4,2%	17
Чиновники	14,6%	15,4%	11,0%	13,6%	55
Офицеры	10,7%	9,6%	8,9%	9,6%	39
Духовенство	4,9%	4,5%	1,4%	3,5%	14
Буржуазия	8,7%	16,7%	7,5%	11,4%	47
Менеджеры	1,0%	2,6%	5,5%	3,2%	13
Профессионалы	18,4%	19,9%	26,7%	22,0%	89
Преподаватели	6,8%	1,9%	7,5%	5,0%	20
Мелкие клерки	2,9%	0,6%	5,5%	3,0%	12
Низшие городские слои	10,7%	12,8%	15,8%	13,4%	54
Крестьяне и сельские ремесленники	14,6%	11,5%	8,2%	11,1%	45
Всего случаев	103	156	144		405
Всего %	100%	100%	100%	100%	

* Проценты даны по столбцам.

лучения профессионального образования. Для средних слоев, наоборот, работает позитивная селекция (Burke, 1974).

В целом важно, что и доля всех «благополучных» групп — старых привилегированных, средних городских, и доля низших городских групп — непропорционально велика относительно доли этих групп в составе населения России, где на момент переписи 1897 года 77,5% жителей были крестьянами.

Особый и очень интересный тренд можно наблюдать для детей буржуазии. Так, в поколении мирискусников значимо больше доля выходцев из буржуазных семей, а в поколении авангардистов эта доля падает. Мы вернемся к обсуждению этого тренда позже, после того как введем в оборот еще один объяснительный параметр, связанный с занятостью, — привлекательность.

Привлекательность занятости можно описать в категориях соотношения между статусом семьи и престижем занятости. Классификацию типов соотношений мы заимствовали у Дж. Голдторпа и К. Хоуп: уважение, принятие, приуменьшение (deference, acceptance, derogation) (Goldthorpe, Hope, 1972: 20). Представители низших слоев могут рассматривать профессию как привлекательную, но малодоступную, представители средних принимать позицию художника как равную, представители высших слоев — принижать ее престиж и ценность. И первые, и вторые, и третьи могут транслировать свои представления детям или даже навязывать их,

поскольку дети на определенных этапах жизненного цикла финансово зависят от родителей.

Из имеющихся у нас случаев хорошую иллюстрацию принижающего взгляда на художественную профессию дают отцы — офицеры высоких рангов, которые предпочитали, чтобы их сыновья также становились военными (Ярошенко и Дубовской начинали свои жизненные траектории в кадетских корпусах). Для большинства семей богатых дворян, крупных чиновников, высших офицеров художественная профессия в версии конца XIX века может не быть привлекательным типом занятости для сына, хотя, как мы увидим далее, занятие живописью или графикой приемлемо для дочери.

Иллюстрацию отношений принятия дает случай Юлия Клевера, отец которого преподавал в Ветеринарном институте в Дерпте и, видя склонность сына к рисованию, настоял на его обучении в Академии художеств. Мы предполагаем, что для детей представителей низших городских слоев профессия художника может быть привлекательна как в конце XIX, так и в начале XX века; кроме того, сыновья бедных родителей могут мечтать о поступлении на казенный счет. Для большинства детей крестьян и сельских ремесленников профессия художника может быть просто за пределами видимости.

Статусные отношения, однако, осложняются трансформациями статуса и облика самой художественной профессии, которые приходятся на наблюдаемый нами период. Мы можем предположить нечто аналогичное происходившему во Франции. В первой половине XIX века Академия художеств там находилась под контролем и покровительством государства, ее престиж был очень высок, а позиция аттестованного государством художника могла представляться престижной для представителей средних, или даже высших средних слоев. Уайты, например, приводят в пример случай Эдуарда Мане, отца которого они классифицировали как представителя высшего среднего класса. Отец Мане готов был согласиться поддержать профессиональные планы сына только в том случае, если сын пойдет по предлагаемой Академией художеств карьерной траектории — к позиции академика и профессора (White, White, 1993). Однако к рубежу XIX — началу XX века престиж Академии художеств оспаривается как во Франции, так и в России, и, что самое важное, появляется новый облик и, предположительно, новый стиль жизни художника. Вместо профессора с чином и шансами на личное или даже по-томственное дворянство — мятущийся представитель богемы, обреченный на не-понимание при жизни (Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Кроме того, как мы увидим на российских данных, к началу XX века произойдет существенный сдвиг в социальной композиции, влияющий на восприятие профессии: увеличится доля не-привилегированных (до 70%), представителей этнических меньшинств и женщин; уменьшится доля тех, кто идет по предлагаемому государством пути и получает звание художника.

Пользуясь предложенной классиками рамкой, можно переосмыслить описанный выше тренд. Итак, поколение мирикультурников есть поколение с более выра-

женными (в сравнении с другими поколениями) буржуазными корнями. Однако у поколения авангардистов доля буржуазных отцов снова уменьшается. Предположим, что представители буржуазии, чьи дети родились в третьей четверти XIX века, могли в официальной, открываемой Императорской академией карьере художника увидеть для них возможность получить высокий чин. Однако к концу XIX века наблюдаются два разнонаправленных сдвига: падение респектабельности художников и рост престижа крупных предпринимателей. Статусные сдвиги могли создать пренебрежительное отношение (*derogation*) буржуазных отцов к занятости художника.

В рассуждении о соотношениях между статусом семьи и статусом привлекательной для семьи профессии можно воспользоваться другой доступной биографической информацией: о сословиях (см. табл. 2), поскольку они создают в до-классовых или переходных обществах категории престижа. Данный признак был разделен на три категории: 1) привилегированные — потомственные дворяне и получившие чин, дающий потомственное дворянство; 2) полуправилегированные — имевшие основание претендовать на личное дворянство или почетное гражданство: купечество первой и второй гильдий, духовенство; 3) непривилегированные. Для 402 персонажей (67%) из 601 на данный момент имеется информация о принадлежности к сословию.

Таблица 2. Соотношение сословных категорий в разных художественных поколениях*

	Старшее	Мириискусники	Авангардисты	Всего, %	Всего случаев
Привилегированные	31,50%	22,60%	14,10%	22,10%	89
Полупривилегированные	21,30%	25,80%	14,80%	20,90%	84
Непривилегированные	47,20%	51,60%	71,10%	57,00%	229
Всего случаев	108	159	135		402

* Проценты даны по столбцам.

В старшем поколении в нашей выборке значимо больше художников из дворянских семей (Хи-квадрат = 19,813, df = 4, Sig. = 0,001). В поколении авангардистов уменьшается доля привилегированных семей (14% в младшем поколении против 31% — в старшем) и увеличивается доля непривилегированных (в нашей выборке 71% художников младшего поколения происходят из непривилегированных семей).

Еще одним показателем того, что к началу XX века границы профессии становятся более проницаемыми для групп с ограниченными ресурсами, становится увеличение числа представителей этнических меньшинств, например, в поколении авангардистов (см. табл. 3) значимо увеличивается число выходцев из еврейских семей (Хи-квадрат = 14,349, df = 2, Sig. = 0,001).

Таблица 3. Соотношение представителей этнических меньшинств
в разных художественных поколениях*

	Из еврейской семьи	Из этнически других семей	Всего случаев
Старшие	0,7%	99,3%	149
Мирикусники	4,2%	95,8%	263
Авангардисты	9,6%	90,4%	177
Всего случаев	29	560	589
Всего %	4,9%	95,1%	

* Проценты даны по строкам.

В то же время сами выходцы из меньшинств классифицируют свою представленность (как мы видим, значимо возросшую) как недостаточную — под самый занавес изучаемого периода, в 1915 году, образуется Еврейское общество поощрения художеств, которое, как более ранние благотворительные общества, имеет целью прежде всего открыть двери в профессию путем создания школ и рисовальных классов (организации, направленные на развитие карьеры, работают тогда, когда эти двери открыты определенным группам).

Образование и признание

Центральный вопрос данного исследования: наблюдаем ли мы следы тех институциональных трансформаций, которые, с точки зрения классиков, создали радикально новую систему художественного производства, характерную для современных обществ? Такими следами будет переход от традиционных форм художественного образования и признания, созданных государственной системой поддержки искусства и Академией, к новым формам. Мы продемонстрируем первые результаты анализа, в котором использованы формальные, а потому относительно легко фиксируемые характеристики образования и меры признания.

89% художников из тех 574 случаев, о которых доступна информация об образовании, обучались в частных мастерских или государственных училищах; 73% из них получили звание художника¹⁹, т. е. государственное свидетельство признания профессионального статуса.

Однако эти знаки государственного признания профессионального статуса художника неравномерно распределены по поколениям (см. табл. 4; Хи-квадрат = 37,126, df = 2, Sig. = 0,000): если в старшем поколении было значимо меньше тех, кто не получал звания художника (16% тех, кто не получал, против 84% тех, кто получал), то в младшем мы наблюдаем обратную тенденцию. В поколении авангардистов доля тех, кто получил звание художника, уменьшилась (до 55,5%), а доля тех, кто не получил, значимо увеличилась (44,5%).

19. Звание классного художника или просто звание художника после реформы 1893 года. Звание свободного художника не было включено в эту переменную.

Таблица 4. Соотношение художников без звания и обладателей званий в разных художественных поколениях*

	Не имели звания	Имели звание	Всего случаев
Старшие	15,9%	84,1%	145
Мирискусники	22,4%	77,6%	254
Авангардисты	44%	56%	175
Всего случаев	157	417	574
Всего %	27,4%	72,6%	

* Проценты даны по строкам.

Мы можем интерпретировать полученные данные в контексте институциональных изменений, зафиксированных в классических работах. Мы знаем, что Академия как институт легитимации и экономический институт теряет статус монополиста (Уайты и Бурдье). При этом, как говорят нам Уайты, поколение «импрессионистов» не успевает за этими экономическими и символическими изменениями: они довольно долго пытались получить признание от Академии, и только следующее поколение не ищет одобряемой государством легитимности. Можно наблюдать схожие тенденции в России: мы не видим резкого падения числа званий в среднем поколении, но наблюдаем настоящий провал в поколении авангардистов. Около половины представителей младшего поколения не получают официально одобренного государством звания художника.

Признание достижений художника при жизни является еще одним важным параметром, который активно обсуждается в социологии культурного производства. И Бурдье, и Уайты, и Эник пишут, что в новой системе художественного производства наблюдается переход от официального государственного признания к признанию узким кругом избранных: художники могут получать поддержку у товарищей по цеху, но не у государственных институтов.

В качестве традиционной меры признания при жизни можно использовать признание главной государственной организации, отвечающей за обучение художников, — звание академика или вольного общника Императорской академии. Первое получали, как правило, те, кто проходил по предписанной Императорской академией восходящей траектории получения медалей до самой высокой точки, дающей в конечном счете профессорский мундир. В начале XX века из этого правила было несколько значимых исключений. Например, один из самых востребованных портретистов, получавший заказы на портреты великих князей и императорской семьи, — Серов — довольно рано отказывается от традиционной траектории, предлагаемой Императорской академией, и не получает медалей и звания художника, однако ему присваивают звание академика. Второе звание — почетный вольный общник — носит, как в нем и указано, почетный характер, оно

давалось любителям или профессионалам, которые не могли пройти традиционного пути через многочисленные конкурсы (критикам, например, Стасову).

Таблица 5. Соотношение признанных и не признанных в качестве академика ИАХ в разных художественных поколениях*

	Не имели звания	Имели звание	Всего случаев
Старшие	37,3%	62,7%	150
Мирискусники	80,4%	19,6%	265
Авангардисты	95,7%	4,3%	186
Всего случаев	447	154	601
Всего %	74,4%	25,6%	

* Проценты даны по строкам.

В распределении званий академика по поколениям мы наблюдаем значимые трансформации (см. табл. 5; Хи-квадрат = 157,380, df = 2, Sig. = 0,000). Так, в старшем поколении 63% художников из выборки получили звание академика или вольного общника Императорской академии, а в поколении авангардистов эта доля драматически падает до 5%.

С государственным признанием связана и другая практика — учеба в зарубежных мастерских (см. табл. 6; Хи-квадрат = 20,037, df = 1, Sig. = 0,000). Значимой разницы в том, как поколения пользовались возможностями работы в заграничных мастерских, нет (58% художников старшего поколения работали в заграничных мастерских, 42% не работали; 49,4% среднего поколения работали, 50% не работали; 58% поколения авангардистов работали в заграничных мастерских, 42% не работали).

Таблица 6. Соотношение учившихся и не учившихся в зарубежных мастерских среди академиков и не-академиков*

	Не учились	Учились	Всего случаев
Не имели звания академика	51,00%	49,00%	431
Имели звание академика	30,10%	69,90%	153
Всего случаев	266	318	584
Всего %	45,50%	54,50%	

* Проценты даны по строкам.

Таким образом, мы видим одновременно и изменения, и константы. Художники продолжают ездить учиться к заграничным мастерам, однако число полученных степеней и число знаков высшего признания АХ от старшего поколения к поколению авангардистов снижается.

Гендер

Значительная часть социологических работ говорит о высокой степени гендерного неравенства в современных обществах; это неравенство касается распределения домашнего труда (Budig, England, 2001), заботы о близких (Hochschild, Machung, 2003), опыта в образовательных институтах (Raffalli, 1994; Sadker, Sadker, 1994), шансов на престижную высокооплачиваемую работу (Goldin, 2004) и благоприятные условия труда (Acker, 1990), а также шансов на профессиональное признание и славу (Braden, 2009).

Однако по сравнению с индустриализующимися обществами конца XIX — начала XX века современные общества существенно прогрессировали в вопросах гендерного равенства. Таким образом, задаваясь вопросом об участии и презентации женщин в профессиональной художественной жизни рубежа веков в России, мы не рассчитываем сделать невероятные открытия, сказав о том, что мало женщин имели шансы на профессиональную работу и успех. Очевидно, что входные барьеры в силу патриархального гендерного режима были для них высоки. Однако данная работа позволит увидеть, какое социальное происхождение делало для женщин вход в профессию доступным; как женские профессиональные траектории отличались от профессиональных мужских, как изменялось участие женщин и какие шансы на признание имели женщины в сравнении с мужчинами.

Всего в нашей выборке 511 художников (85%) и 90 художниц (15%). Для 339 художников и 66 художниц имеются данные о занятости отцов (см. табл. 7). К сожалению, для того, чтобы с уверенностью делать выводы, нам не хватает женских случаев: многие категории, классифицирующие занятость отцов, для художниц пустые или содержат меньше трех случаев. Поэтому мы представим высказывания о влиянии занятости отцов как сугубо описательные. Мы обнаруживаем две группы, которые дали Российской империи значительно больше художниц, чем все остальные: это, во-первых, офицеры (20%, что больше чем вдвое 8% художников-мужчин, которых восприяли офицерские семьи) и, во-вторых, профессионалы и преподаватели (41%), которых мы объединили в одну категорию, чтобы показать их роль. Кроме того, есть две категории занятости, которые создавали наименьшее число возможностей пройти входной барьер в художественную профессию: дочери представителей обоих низших классов (и сельского, и городского) почти не имели шансов.

Таблица 7. Соотношение видов занятости отцов художников и художниц*

	Художники	Художницы	Всего в категории занятости, %	Всего случаев
Помещики	3,5%	7,6%	4,2%	17
Чиновники	13,0%	16,7%	13,6%	55
Офицеры	7,7%	19,7%	9,6%	39

Духовенство	4,1%	0,0%	3,5%	14
Буржуазия	11,5%	10,6%	11,4%	46
Менеджеры	3,8%	0,0%	3,2%	13
Профессионалы и преподаватели	24,5%	40,9%	27,2%	110
Мелкие клерки	3,2%	1,5%	3,0%	12
Низшие городские слои	15,6%	1,5%	13,3%	54
Крестьяне и сельские ремесленники	13,0%	1,5%	11,1%	45
Всего случаев	339	66		405

* Проценты даны по столбцам.

Как говорят нам данные, для дочерей высокообразованных средних слоев, которые зарабатывают на жизнь интеллектуальным трудом (см. табл. 7), и дворянских дочерей (см. табл. 8; Хи-квадрат = 18,811, df = 2, Sig. = 0,000) шансы на вход были гораздо выше, чем для дочерей отцов из низших непривилегированных слоев, и на этом основании мы можем сделать вывод о финансовой доступности.

Таблица 8. Соотношение сословной принадлежности художниц и художников*

	Привилегированные	Полупривилегированные	Непривилегированные	Всего случаев
Художники	18,5%	21,2%	60,3%	340
Художницы	42,9%	19,0%	38,1%	63
Всего случаев	90	84	229	403
Всего % внутри гендерной категории	22,3%	20,8%	56,8%	

* Проценты даны по столбцам.

Была ли эта профессия привлекательна? Означают ли обнаруженные нами факты, что отцы из привилегированных сословий, офицеры, профессионалы и преподаватели поощряют своих дочерей писать обнаженную (в том числе мужскую) натуру²⁰ на последних годах обучения в художественных училищах? Разговор о привлекательности необходимо начать с напоминания о том, что в этом обществе за деньги работали только женщины из низших слоев. Деятельность представительниц высших слоев сделала их героями классического произведения о «праздном классе». На основе информации об участии женщин в выставках мы видим только то, что они занимались рисованием. Но рисование и участие в благотворительных обществах, поощряющих художества, было частью стиля жизни,

20. Как утверждает классический текст Линды Нохлин (Nochlin, 1988), одним из важных препятствий на пути к художественному совершенству для женщин был запрет на работу в натурных классах (спасибо Татьяне Третьяковой, которая напомнила об этом громком тезисе в ходе обсуждения данных).

поддерживающего высокий статус данного слоя. К сожалению, информацию об их отношении к профессии (хотели они ее получить или она им была не нужна как несоответствующая статусной культуре) можно найти не в статистических, а в мемуарных источниках, которые в силу ресурсных ограничений остались за пределами данной работы.

Тем не менее потенциально женщины могли оказаться на профессиональной стезе. С 1859 года в ИАХ разрешен доступ вольнослушателям, и с ними — формально — открываются двери для женщин как потенциальных учениц. С 1890-х годов женщины могут быть студентками Академии. Кроме того, художницы могли подавать работы на конкурс и получать медали, так что формальных препятствий, закрывающих им пути к сертифицированной государством квалификации и высшим званиям, в интересующий нас период у них не было. С 1890-х годов они могли быть студентками ИАХ, заручившись документом о согласии отца на обучение (согласие было необходимо как часть пакета документов при поступлении).

Дворяне, офицеры, профессионалы и преподаватели дали истории российского искусства больше женских имен, чем все остальные группы, но их дочери шли по пути получения профессионального образования гораздо реже, чем мужчины. В сравнении с мужчинами (см. табл. 9, блок «Звание художника»; Хи-квадрат = 32,393, df = 1, Sig. = 0,000), работавшими в этот же период, значимо меньше художниц получили звание, то есть аттестованную государством профессиональную квалификацию: только 45% художниц в сравнении с 78% художников.

Симптоматично, что сопоставимая с долей мужчин доля женщин получала образование в частных мастерских за границей (см. табл. 9, блок «Учились за границей»), вне российской системы государственного художественного образования.

Таблица 9. Гендер и профессиональные достижения*

		Художники	Художницы	Всего, %**	Всего случаев
Звание художника	Нет звания	23,2%	54,7%	27,4%	157
	Есть звание	76,8%	45,3%	72,6%	417
	Всего случаев	499	75		574
Учились за границей	Не учились	46,2%	41,5%	45,5%	266
	Учились	53,8%	58,5%	54,5%	318
	Всего случаев	502	82		584
Звание академика или вольного общника	Нет звания	70,5%	96,7%	74,4%	447
	Есть звание	29,5%	3,3%	25,6%	154
	Всего случаев	511	90		601
Награды	Не получали	58,9%	82,2%	61,9%	352
	Получали	41,1%	17,8%	38,1%	217
	Всего случаев	496	73		569

Институциональное строительство	Не участвовали	63,1%	76,1%	65,0%	387
	Участвовали	36,9%	23,9%	35,0%	208
	Всего случаев	507	88		595

* Проценты в рамках гендерной категории даны по столбцам.

** От всех случаев в выборке, для которых имеются данные по этой переменной.

Как было сказано выше, в качестве традиционной меры признания при жизни можно использовать присвоение звания академика ИАХ или звания вольного общника ИАХ. Звание вольного общника носило характер признания заслуг и не влекло за собой шансов на получение профессорского мундира. Три художницы получают высшее признание от ИАХ в форме звания вольного общника. В целом шансы художниц на получение самого высокого символа признания очень невелики (см. табл. 9, блок «Звание академика»; Хи-квадрат = 27,597, df = 1 Sig. = 0,000).

Кроме высшей меры признания ИАХ мы сконструировали переменную (как синтетическую меру прижизненного признания), включающую награды от российского или иностранных государств (ордена и дворянство), награды зарубежных Академий художеств и награды, полученные на художественно-промышленных выставках. С более широким профессиональным признанием дела у художниц обстояли чуть лучше: 13 героинь из нашей выборки получали медали и премии (см. табл. 9, блок «Награды»; Хи-квадрат = 14,669, df = 1, Sig. = 0,000). Тем не менее женские шансы на награды в сравнении с мужскими были незначительны.

Еще один тип деятельности, доступный художникам и не связанный с государственными институтами художественного производства, — участие в создании художественных групп, выставочных объединений, обществ помощи художникам, учреждений среднего художественного образования, участие в создании музеев и курирование коллекций. Эта деятельность легко могла быть препрезентирована как благотворительная работа и, видимо, не создавала статусного рассогласования и конфликтов между гендерной и другими идентичностями, поэтому здесь мы не видим разительных контрастов (см. табл. 9, блок «Институциональное строительство»; Хи-квадрат = 5,591, df = 1, Sig. = 0,018).

Институциональные трансформации конца XIX — начала XX века открыли двери в профессию многим женщинам: число художниц увеличивается от старшего поколения к младшему, и вырастает более чем в два раза в поколении авангардистов (см. табл. 10; Хи-квадрат = 20,251, df = 1, Sig. = 0,000). В нашей выборке в поколении передвижников 7% художниц, а в поколении авангардистов их 24%.

Таблица 10. Соотношение мужчин и женщин в разных художественных поколениях*

	Художники	Художницы	Всего случаев
Старшие	92,7%	7,3%	150
Мирискусники	87,2%	12,8%	265
Авангардисты	75,8%	24,2%	186
Всего случаев	511	90	601
% гендерной категории в поколении	85,0%	15,0%	

* Проценты даны по строкам.

Таким образом, несмотря на то что доля художниц в российском художественном мире осталась небольшой (24%), она тем не менее значительно выросла в сравнении со старшим поколением: тридцатилетие между 1871 и 1901 были годами, когда женщины стали видимой группой и сумели получить доступ как к основной профессиональной активности современных художников — выставочной, так и к организационному строительству. Однако больше половины художниц, которые преодолели входной барьер, не получили признанной государством квалификации и звания академика ИАХ. Признание Императорской академии было доступно единицам и в суррогатном виде — специального звания, которое было укоренено в старой французской практике привлекать в Академию почетных любителей. Шансы художниц на награды от других институтов и организаций были меньше, чем шансы художников.

Освящение: слава в веках

Классики — и Бурдье, и Уайты, и Эник — утверждают, что в конце XIX — начале XX века произошла серьезная институциональная трансформация, приведшая к появлению новой художественной системы, институтами и правилами которой мы пользуемся до сих пор. Бурдье называет этот новый порядок «институционализированной аномией» — это означает, что для преуспевания в поле художественного производства каждый новый индивид или группа должны оспаривать легитимность, то есть правила и практики, предшествующей доминирующей группы и бороться за установление собственных правил и новых художественных принципов. Поле культурного производства после Мане, говорит нам Бурдье, живет в состоянии постоянно назревающих и осуществляющихся революций (White, White, 1993; Bourdieu, 1993; Heinich, 1997). Уайты утверждают, что после импрессионистов ключевыми фигурами художественной системы стали дилеры и критики, которые заинтересованы в создании карьер художников и новых художественных теорий для того, чтобы зарабатывать репутации и деньги. Для них дисциплинированные школьники Академии не являются привлекательной инвестицией. Гораздо легче «продавать» скучающему среднему классу художественных

революционеров и социальных бунтарей (White, White, 1993). Эник называет возникший художественный режим «Режимом сингулярности». О его наступлении говорят пять типов переходов: «От работы к человеку, от нормальности к ненормальности, от конформности к редкости, от успеха к непониманию, от настоящего к последующим поколениям» (Heinich, 1997: 146). Бурдье и Эник утверждают, что современные искусствоведы, кураторы и критики²¹, которые выполняют для нас селективную работу, отделяя подлинное искусство от посредственности, до сих пор руководствуются этими же принципами.

Любая постоянная экспозиция музея изящных искусств наглядно демонстрирует работу по селекции и, пользуясь термином Л. Браден, «освящению» (consecration) (Braden, 2009). Эник утверждает, что художественный мир дал современным обществам значимых культурных героев — художников, которые стали альтернативой вытесненным секуляризацией святым. Художники как культурные герои сохранили некоторые черты,ственные святым, — нас прежде сего интересуют их жизненные цели, лежащие за пределами мирского, связанного с финансовым и символическим успехом (Heinich, 1997).

И Эник, и Браден сравнивают работу искусствоведов и кураторов с приписыванием церковью статуса святого. Как церкви делят святых по мере святости, так и музеи предлагают не только выделять имена знаменитых художников среди прочих, но и определять «меру значимости» каждого художника по числу представленных на экспозиции картин. В такой логике можно было бы оценивать художника по тому, сколько квадратных метров ему отведено, поскольку музею приходится взвешивать на одних весах монументальные полотна Репина и графику Башкирцевой; ведь одно такое полотно могло бы дать место для большего числа графических работ. Кроме того, это мера селективной работы, во-первых, значительно растянутой во времени, а во-вторых, основанной на вкусах первых составителей коллекций. Нам тем не менее важно, что эта работа началась в России как раз в период появления новых художественных институтов, возникновение которых отождествляется классиками по своим последствиям со сдвигами земной коры.

Для того чтобы отследить те классификационные принципы, о которых говорят Уайты, Бурдье и Эник, мы сконструировали переменную, которая позволяет увидеть, как главные российские музеи изящных искусств — Русский музей и Третьяковская галерея — представляют широкой публике²² достойных внимания российских художников. Для этого в 2018 году число работ, представленных на стенах музеев, было занесено в табличку напротив соответствующего имени. Мы предполагали, что даже если та или иная известная картина уедет на временную выставку, музей не оставит своих посетителей без значимых для него работ художников (и это не даст существенного смещения в данных). Сложив два списка,

21. И кроме них режиссеры, сценаристы и писатели.

22. И в этом смысле единицы хранения, доступные в запасниках, представляют собой совершенно другие данные, поскольку здесь работа по селекции ориентирована на узкий круг профессионалов.

созданные в каждом из музеев, мы получили переменную, позволяющую судить о том, в какой мере тот или иной художник сакрализирован крупнейшими российскими художественными музеями (далее для экономии места мы будем называть постоянные экспозиции двух крупнейших российских музеев только словом «музей»).

Эти прекрасные количественные данные, однако, имеют счетный характер, модальное значение, равное нулю, и избыточную дисперсию. Поэтому для начала мы дадим несколько описаний, чтобы показать, как шансы быть увиденными грядущими поколениями коррелировали с социальной позицией отцов, инвестициями в карьеру и признанием, а затем проконтролируем влияние целого ряда переменных с помощью негативной биномиальной регрессии.

Один из ключевых параметров, который нас интересовал, — будут ли индивиды, при жизни получившие звание академика ИАХ или почетного общника, меньше представлены в музеях, чем те, кто не выбирал традиционной освященной государственной бюрократией траектории. Если, как считали Бурдье и Эник, современные искусствоведы и кураторы сами являются жертвами «режима сингулярности» и «институциализации аномии», мы должны увидеть, что в музеях меньше представлены работы тех, кто одобрялся Академией, т. е. консервативной в последней трети XIX века силой, и тех, кто получал признание при жизни.

Таблица 11. Соотношение социальных характеристик и числа произведений художников в Третьяковской галерее и Русском музее*

		Число произведений			
		0	1	2 и более	Всего случаев
Звание академика или вольного общника	Имели звание	78,3%	9,4%	12,3%	447
	Не имели звания	47,4%	17,5%	35,1%	154
	Всего случаев	423	69	109	601
	Всего %**	70,4%	11,5%	18,1%	
Институциональное строительство	Не участвовали	77,0%	9,8%	13,2%	387
	Участвовали	57,2%	14,9%	27,9%	208
	Всего случаев	417	69	109	595
	Всего %	70,1%	11,6%	18,3%	
Поколение	Старшие	61,3%	12,7%	26,0%	150
	Мирискусники	79,6%	9,8%	10,6%	265
	Авангардисты	64,5%	12,9%	22,6%	186
	Всего случаев	423	69	109	601
	Всего %	70,4%	11,5%	18,1%	

Гендер	Художники	67,3%	12,3%	20,4%	511
	Художницы	87,8%	6,7%	5,6%	90
	Всего случаев	423	69	109	601
	% within Gender	70,4%	11,5%	18,1%	

* Проценты даны по строкам.

** От всех случаев в выборке, для которых имеются данные по этой переменной.

Данные, однако, свидетельствуют об обратном (см. табл. 11, блок «Звание академика»; Хи-квадрат 54,857, $df = 2$, $Sig. = 0,000$). 78% персоналий из выборки, не получивших звания академика, не представлены в музеях. 52% имен тех, кто его получил, оказались на стенах музеев, причем 35% художников со званием получили места больше, чем на одну работу (а таких всего 54 индивида на выборку в шестьсот персоналий). Итак, те, кто получал официальное институциональное признание при жизни, получили возможность представить свое искусство последующим поколениям. Тезис Эник о том, что непризнанные при жизни представляют более ценный материал для современных художественных институтов, плохо подтверждается.

Вторым фактором, который можно интерпретировать в свете тезиса о режиме сингулярности, является участие в институциональном строительстве. Эник в своих пяти тезисах о появлении идеального для современной системы художника предлагает нам в качестве культурного героя девиантного одиноку, работающего для вечности. Однако люди, которые регистрировали общества и товарищества, естественно, были хорошо знакомы с возможностями, которые те предоставляли, а потому работ тех, кто участвовал в этом институциональном строительстве, в музеях больше, чем тех, кто в нем не участвовал (см. табл. 11, блок «Институциональное строительство»; Хи-квадрат = 26,549, $df = 2$, $Sig. = 0,000$).

Третьим фактором, который нас интересовал, был фактор поколений. В целом сегодня существует некоторый консенсус по поводу того, что передвижников и их современников в 1870-е годы (первое десятилетие существования ТПХ) нельзя считать ни социальными (Шабанов, 2015), ни художественными революционерами, а были они грамотными предпринимателями, и «революционерами» их позже объявили Репин, Стасов и советское искусствознание (Алленов, 2000; Сарабьянов, 1993). Следующее же за ними поколения «революционны» — и социально, в смысле отказа от предписанных траекторий, и художественно, в смысле создания новых течений и освоения новых технических и выразительных средств. Однако данные говорят нам, что музеи дают больше пространства поколению современников передвижников в сравнении с поколением мирикусников (см. табл. 11, блок «Поколение»; Хи-квадрат = 22,538, $df = 4$, $Sig. = 0,000$), а авангардистам — сопоставимое со старшим поколением пространство.

Как мы помним, «амазонки авангарда» осуществили серьезную социальную революцию: увеличили репрезентацию женщин в российском искусстве в два раза.

С точки зрения тезиса о режиме сингулярности именно художница этой эпохи является собой идеальный образ революционного творца: представьте меру социального сопротивления, которую нужно было преодолевать женщинам, выбравшим профессиональный (не любительский) путь, пролегавший через государственные институты, в художественном мире конца XIX века. Однако в российских музеях доля работ художниц значимо меньше, чем художников: работы всего 11 художниц из 90 презентируются широкой публике в главных музеях (см. табл. 11, блок «Гендер»; Хи-квадрат = 15,925, df = 2, Sig. = 0,000).

С целью проконтролировать влияние нескольких параметров и эффектов, которые были бы опосредованы другими эффектами, а потому могли исчезнуть из поля зрения, нами была использована негативная биноминальная регрессия. Произведенный анализ (см. табл. 12) позволяет увидеть, что нет значимой разницы в том, как представлены старшее поколение и поколение авангардистов. А вот поколение мирикурсников представлено значительно меньше. Сохраняется негативное влияние пола: в российских музеях доля работ художниц значимо меньше, чем художников. Наличие отца-дворянина не создает значимо отличных возможностей получить лучшую (в смысле большего числа) презентацию картин художника в музеях.

Таблица 12. Регрессионная модель, предсказывающая число произведений художника в Третьяковской галерее и Русском музее

Параметр	B	Sig.	Std. Error	95% Wald Confidence Interval	
				Lower	Upper
Константа	-0,648		0,198	-1,036	-0,26
Старшее поколение относительно авангардистов	0,078		0,2186	-0,351	0,506
Мирикурсники относительно авангардистов	-0,802	***	0,1905	-1,175	-0,428
Гендер	-0,938	***	0,2707	-1,469	-0,408
Привилегированные	-0,186		0,1908	-0,56	0,188
Зарубежные мастерские	1,14	***	0,1563	0,834	1,447
Институциональное строительство	0,769	***	0,1357	0,503	1,035
Московское училище живописи	0,445	***	0,1627	0,126	0,764
Императорская академия	0,031		0,1711	-0,304	0,367
Академик	1,126	***	0,1754	0,782	1,47
Отец-художник	0,327		0,1904	-0,046	0,701

*** p < 0,05

В модель были добавлены три незнакомые на данный момент читателю переменные. Первые две связаны с образовательными институтами. Учащиеся Московского училища живописи, ваяния и зодчества получили большую, в сравнении с учащимися Императорской академии, презентацию в музеях. Это, вероятно, связано с существующим консенсусом о наличии в Училище в конце XIX — начале XX века более прогрессивной, в сравнении с Академией, образовательной практики (Алленов, 2000; Сарабьянов, 1993).

Идею третьей введенной в модель переменной подсказали Бёрк и Бурдье (Burke, 1974; Bourdieu, 1984). Бёрк пишет о том, что в ренессансной Италии живопись являлась семейным ремеслом. Поскольку у нас в выборке имеются представители художественных династий XIX века (Бенуа — Лансере — Серебрякова, Маковские, Суриков — Кончаловский и другие), мы хотели проверить, подтвердится ли тезис о семейном характере художественного производства на данных из более позднего общества. Мы предположили, что у художников, которые, в отличие от многих других профессий, не перешли к массовому производству, могли сохраниться старые ремесленные механизмы достижения успеха.

Кроме того, в художественных семьях могли передавать непропорционально большой объем культурного и социального капитала, который позволял индивиду компенсировать недостатки капитала экономического. Типичный пример: ребенок состоявшегося художника тоже хочет стать художником. Родительский и рано полученный собственный культурный капитал может позволить ему получить хорошее художественное образование, возможно, более качественное, чем доступно многим другим (родитель будет лично учить сына или дочь рисовать, подскажет, в какое заведение и к какому конкретно мастеру пойти учиться)²³. Родитель в будущем может поделиться со своим ребенком профессиональными контактами со своими коллегами, покровителями, заказчиками. Исходя из этого нами была сконструирована и включена в анализ переменная, фиксирующая наличие родителей-художников. Однако, как показал анализ, эта переменная не оказывает значимого влияния на возможности быть представленным большим числом картин в музеях.

Заключительные ремарки

В данной статье мы представили первые результаты работы с биографической базой данных, позволяющих говорить о карьерах российских художников конца XIX — начала XX века в терминах статистических взаимозависимостей. Нам удалось обозначить тенденции, которые вызвали конфликтующие интерпретации, и на их основе сформулировать новые исследовательские задачи.

Первое. При анализе музеиных коллекций обнаружилось, что кураторы не следуют инструкциям «режима сингулярности», и художники, получившие при-

23. Исключительными примерами индивидов, в семье которых в большом объеме сконцентрировались все интересующие нас ресурсы, являются Александр и Альберт Бенуа.

знание при жизни и активно вовлеченные в деятельность товариществ и обществ, имеют больше шансов выставляться там со своими работами. Так, наравне с главным современным российским художественным брендом — авангардистами — музеи репрезентируют представителей и более консервативного художественного направления, причем в основном тех, кто опять-таки был признан при жизни. Как мы можем это интерпретировать? Как то, что кураторы и авторы главных учебников по-разному понимают революционность? Как то, что, как подсказывает нам Б. Латур, физическое социальное (размер помещений, стены, крепления), а вовсе не социальное социальное, диктует, как много работ и какого художника будет представлено на суд потомкам? Ответ на этот вопрос можно получить, только проведя подробное историко-этнографическое исследование перемещений экспонатов в главных российских музеях.

Второе. Хотя отдельные известные случаи говорят о том, насколько важна роль семьи в успехе художника, тем не менее значимость переменной, фиксирующей наличие отца-художника, не подтвердилась. Видимо, в дальнейшем следует конструировать переменную, фиксирующую расширенную семью, вовлеченную в культурное производство. Скорее всего, культурный и социальный капитал может обеспечить и родитель, не являющийся художником, но тем не менее принадлежащий к креативной среде, например, он может быть литератором, музыкантом или просто принадлежать к богеме. Кроме того, схожие ресурсы могут предоставлять братья и сестры или супруги художников, особенно на ранних этапах профессионального роста.

Третье. Проблема в том, как количественно зафиксировать социальную, а не профессиональную «анормальность», которая свойственна образу богемы начала XX века. Имеющийся источник данных — биографии — содержит упоминания об «анormalности» только для известных персонажей, и практически не дает нам информации о малоизвестных. Видимо, в будущем исследовании надо искать иной вид источников.

Четвертое. В исследовании мы зафиксировали изменение позиции художника относительно других профессиональных групп. Художественная профессия трансформируется в направлении, обозначенном Уайтами и Бурдье: оспаривается монополия Академии, в младшем поколении меньше художников получают высшее художественное образование и официальное признание при жизни, границы профессии становятся более проницаемыми для женщин и представителей в прошлом притесняемого этнического меньшинства. Эти факты дают стимул двум связанным интерпретациям. Во-первых, мы действительно наблюдаем признаки институциализации аномии (неприятия предшествующих правил) и аномальности (в том смысле, что через доступ к членству в объединениях и группах художественные деловые союзы очень рано открыли двери к заработкам женщинам²⁴ и меньшинствам, что нетипично). Во-вторых, это либо признаки демократизации,

24. В какой мере женщины хотели пользоваться шансами на профессиональные заработки, мы, тем не менее, не знаем.

либо падения престижа группы, во всяком случае, в глазах высших слоев. Современные исследования рынков труда показывают нам, что женщины и ущемлявшихся меньшинств больше на так называемом вторичном рынке труда, где меньше заработные платы, социальные гарантии, творческая составляющая и возможности для роста (Brah, 1993). В пользу падения престижа отчасти говорит совершенно противоположный нашему примеру, где с ростом творческой профессии (литератора) женщины вытеснялись из нее (Tuchman, Fortin, 1984).

Следующим после работы с количественными данными шагом может быть работа с мемуарами, которые позволяют глазами современников авангардистов взглянуть на эпатажных людей, утверждавших, что они художники; взгляды современников дадут нам и новые интерпретации.

Приложение. Список справочных изданий

- Вольценбург О. Э. (сост.) (1970–1983). Художники народов СССР: биобиографический словарь. Т. 1–4. М.: Искусство.
- Вольценбург О. Э. (сост.). (1995–2002). Художники народов СССР: биобиографический словарь. Т. 4–5. СПб.: Академический проект.
- Кондаков С. Н. (сост.). (1914–1915). Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914. В 2 т. СПб.: Р. Голике и А. Вильборг.
- Коновалов Э. Г. (2008). Новый полный биографический словарь русских художников. М.: Эксмо.
- Ракитин В. И., Сарабьянов А. Д. (сост.). (2014). Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство. Архитектура. В 3 т. М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим.
- Собко Н. П. (1895). Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литьевщиков, чеканщиков, сканщиков и проч.: с древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.). Т. 1–3. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича.

Литература

- Алленов М. М. (2000). История русского искусства. Книга 2: Русское искусство XVIII — начала XX века. М.: Трилистник.
- Никольский В. А. (2001). История русского искусства. М.: Терра-Книжный клуб.
- Сарабьянов Д. В. (1993). История русского искусства конца XIX — начала XX века. М.: АСТ-Пресс.
- Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. (1992). Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932). СПб.: Изд-во Чернышева.
- Шабанов А. Е. (2015). Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб.: ЕУСПб.

- Acker J. (1990). Hierarchies, Jobs, and Bodies: A Theory of Gendered Organizations // Gender and Society. Vol. 4. № 2. P. 139–158.*
- Becker H. S. (1978). Arts and Crafts // American Journal of Sociology. Vol. 83. № 4. P. 862–889.*
- Bernhard C., Matthes B., Ebner C. (2020). Occupation-Based Measures. An Overview and Discussion // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Bd. 72. S. 41–78.*
- Bourdieu P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.*
- Bourdieu P. (1993). Manet and the Institutionalization of Anomie // Bourdieu P. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press. P. 238–253.*
- Braden L. E. (2009). From the Armory to Academia: Careers and Reputations of Early Modern Artists in the United States // Poetics. Vol. 37. P. 439–455.*
- Brah A. (1993). «Race» and «Culture» in the Gendering of Labour Markets: South Asian Young Muslim Women and the Labour Market // New Community. Vol. 19. № 3. P. 441–458.*
- Budig M., England P. (2001). The Wage Penalty for Motherhood // American Sociological Review. Vol. 66. № 2. P. 204–225.*
- Burke P. (1974). Tradition and Innovation in Renaissance Italy. L.: Fontana.*
- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2007). Class and Status: The Conceptual Distinction and Its Empirical Relevance // American Sociological Review. Vol. 72. № 4. P. 512–532.*
- DiMaggio P. (1982). Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston: The Creation of Organizational Base for High Culture in America // Media, Culture and Society. Vol. 4. № 1. P. 33–50.*
- Galenson D. W., Jensen R. (2002). Careers and Canvases: The Rise of the Market for Modern Art in the Nineteenth Century. National Bureau of Economic Research, Working Paper 9123.*
- Goldin C. (2004). The Long Road to the Fast Track: Career and Family // Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 596. № 1. P. 20–35.*
- Goldthorpe J., Hope K. (1972). Occupational Grading and Occupational Prestige // Social Science Information. Vol. 11. № 5. P. 17–73.*
- Goldthorpe J. H. (2007). Social Class and the Differentiation of Employment Contracts // Goldthorpe J. H. On Sociology, Vol. 2: Illustration and Retrospect. Stanford: Stanford University Press. P. 101–124.*
- Heinich N. (1997). The Glory of Van Gogh: Anthropology of Admiration. Princeton: Princeton University Press.*
- Hochschild A. R., Machung A. (2003). The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home. N.Y.: Penguin Books.*
- Hughes A. (1986). «An Academy for Doing», II: Academies, Status and Power in Early Modern Europe // Oxford Art Journal. Vol. 9. № 2. P. 50–62.*
- Nochlin L. (1988). Why have There been No Great Women Artists? // Nochlin L. Women, Art and Power and Other Essays. Boulder: Westview Press. P. 147–158.*

- Raffalli M.* (1994). Why So Few Women Physicists? // *New York Times Supplement*. № 4. P. 26–28.
- Sadker M., Sadker D.* (1994). *Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls*. N.Y.: Scribner.
- Scott J.* (2010). Central Concerns in Social Stratification Research: Comments on Goldthorpe // *British Journal of Sociology*. Vol. 61. № 1. P. 337–341.
- Tuchman G., Fortin N. E.* (1984). Fame and Misfortune: Edging Women Out of the Great Literary Tradition // *American Journal of Sociology*. Vol. 90. № 1. P. 72–96.
- White H., White C. A.* (1993). *Canvases and Careers: Institutional Change in French Painting World*. Chicago: Chicago University Press.

Medals, Barriers, Fathers, and Careers: Institutional Inertia and Transformation in the Russia Artistic World in the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century

Maria Safonova

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, HSE University at Saint Petersburg

Address: Griboyedova Canal emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: msafonova@hse.ru

This paper employs quantitative historical-sociological analysis to describe the social background, professional practices, and achievements of Russian artists who participated in exhibitions in 1871–1917, starting with the first private exhibition of the “Peredvizhniki” society whose success stimulated the appearance of numerous artistic groups and associations. The biographies of three generations of painters are studied to check the hypotheses on the transition of the artistic world to the “institutionalization of anomie” (Bourdieu) and “singularity regime” (Heinich). The paper analyses how initial family resources and personal career investments influenced the chances of artists to receive recognition during their lifetime, and museum consecration after their death. The controls for the following parameters were included in the analysis are the class and status of an artist's father, minority status, the membership of an artist's father in the artistic milieu, gender, and lifetime recognition. The study shows that contrary to Heinich's theses on the transition to the “singularity regime”, artists whose paintings are represented in the main Russian fine-art museums do not fit the image of non-recognized asocial mavericks. Lifetime official recognition, studying in leading Russian schools for the fine arts, lessons in foreign ateliers, and involvement in the organizational building significantly increases the chances of an artist to be present at the expositions of the most renowned Russian art museums. The study helps to understand the distinctive features of the youngest generation which produced the most important artistic innovation associated with Russia, the so-called Russian Avant-garde.

Keywords: sociology of art, cultural production, institutionalization of anomie, singularity regime, Russian vanguard, artistic careers

References

- Acker J. (1990) Hierarchies, Jobs, and Bodies: A Theory of Gendered Organizations. *Gender and Society*, vol. 4, no 2, pp. 139–158.

- Allenov M. (2000) *Istorija russkogo iskusstva. Kniga 2: Russkoe iskusstvo XVIII—nachala XX veka* [History of Russian Art, Book 2: Russian Art of the 18th — Beginning of 20th Century], Moscow: Trilistnik.
- Becker H. S. (1978) Arts and Crafts. *American Journal of Sociology*, vol. 83, no 4, pp. 862–889.
- Bernhard C., Matthes B., Ebner C. (2020) Occupation-Based Measures. An Overview and Discussion. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, vol. 72, pp. 41–78.
- Bourdieu P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu P. (1993) Manet and the Institutionalization of Anomie. *The Field of Cultural Production*, Cambridge: Polity Press, pp. 238–253.
- Braden L. E. (2009) From the Armory to Academia: Careers and Reputations of Early Modern Artists in the United States. *Poetics*, vol. 37, pp. 439–455.
- Brah A. (1993) "Race" and "Culture" in the Gendering of Labour Markets: South Asian Young Muslim Women and the Labour Market. *New Community*, vol. 19, no 3, pp. 441–458.
- Budig M., England P. (2001) The Wage Penalty for Motherhood. *American Sociological Review*, vol. 66, no 2, pp. 204–225.
- Burke P. (1974) *Tradition and Innovation in Renaissance Italy*, London: Fontana.
- Chan T. W., Goldthorpe J. H. (2007) Class and Status: The Conceptual Distinction and its Empirical Relevance. *American Sociological Review*, vol. 72, no 4, pp. 512–532.
- DiMaggio P. (1982) Cultural Entrepreneurship in Nineteenth-Century Boston: The Creation of Organizational Base for High Culture in America. *Media, Culture and Society*, vol. 4, no 1, pp. 33–50.
- Galenson D. W., Jensen R. (2002) Careers and Canvases: The Rise of the Market for Modern Art in the Nineteenth Century (Working Paper 9123), National Bureau of Economic Research.
- Goldin C. (2004) The Long Road to the Fast Track: Career and Family. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 596, no 1, pp. 20–35.
- Goldthorpe J., Hope K. (1972) Occupational Grading and Occupational Prestige. *Social Science Information*, vol. 11, no 5, pp. 17–73.
- Goldthorpe J. H. (2007) Social Class and the Differentiation of Employment Contracts. *On Sociology, Vol. 2: Illustration and Retrospect*, Stanford: Stanford University Press, pp. 101–124.
- Heinich N. (1997) *The Glory of Van Gogh: Anthropology of Admiration*, Princeton: Princeton University Press.
- Hochschild A. R., Machung A. (2003) *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*, New York: Penguin Books.
- Hughes A. (1986) "An Academy for Doing". II: Academies, Status and Power in Early Modern Europe. *Oxford Art Journal*, vol. 9, no 2, pp. 50–62.
- Nikolsky V. (2001) *Istorija russkogo iskusstva* [History of Russian Art], Moscow: Terra-Knizhny Klub.
- Nochlin L. (1988) Why have There been No Great Women Artists?. *Women, Art and Power and Other Essays*, Boulder: Westview Press, pp. 147–158.
- Raffalli M. (1944) Why So Few Women Physicists?. *New York Times Supplement*, no 4, pp. 26–28.
- Sadker M., Sadker D. (1994) *Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls*, New York: Scribner.
- Sarabyanov D. (1993) *Istorija russkogo iskusstva konca XIX — nachala XX veka* [History of Russian Art in the End of 19th — Beginning of the 20th Century], Moscow: AST.
- Scott J. (2010) Central Concerns in Social Stratification Research: Comments on Goldthorpe. *British Journal of Sociology*, vol. 61, no 1, pp. 337–341.
- Severyukhin D., Leikind O. (1992) *Zolotoj vek hudozhestvennyh ob'edinenij v Rossii i SSSR (1820–1932)* [Golden Age of Artistic Societies in Russia and USSR (1820–1932)], Saint Petersburg: Izdatel'stvo Chernysheva.
- Shabanov A. (2015) *Peredvizhniki: mezhdu kommercheskim tovarishhestvom i hudozhestvennym dvizheniem* [Peredvizhniki: Between Commercial Society and Artistic Movement], Saint Peterburg: EUSPb.
- Tuchman G., Fortin N.E. (1984) Fame and Misfortune: Edging Women Out of the Great Literary Tradition. *American Journal of Sociology*, no 90, no 1, pp. 72–96.
- White H., White C. A. (1993) *Canvases and Careers: Institutional Change in French Painting World*, Chicago: Chicago University Press.

Критика марксизма как прототеория культурного капитала и «нового класса»: теория интеллигенции Яна Вацлава Махайского*

Мария Черновская

Аспирантка Школы философии и культурологии, факультет гуманитарных наук;
стажер-исследователь, Международная лаборатория исследований
русско-европейского интеллектуального диалога,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: chernovskayam@gmail.com

Статья посвящена теории интеллигенции Яна Вацлава Константиновича Махайского (1866–1926), а также истории ее трансфера и рецепции в современной западной социальной теории. Основной тезис статьи заключается в том, что теория Махайского оказала непосредственное влияние на формирование ряда западных социальных концепций второй половины XX века: теорий «нового класса» и постиндустриального общества. Статья включает в себя обзор современной исследовательской литературы, посвященной Махайскому, краткий биографический очерк и экспликацию основных положений его теории интеллигенции. Прослежена история рецепции и критики теории Махайского в дореволюционный и советский период в России, в результате которой она была фактически вытеснена из российского концептуального и теоретического контекста. Далее описана история трансфера этой теории в западный (англоязычный) контекст, в котором решающую роль сыграл Макс Номад. В результате этого трансфера эти идеи оказались известны и были восприняты рядом крупных социальных теоретиков середины XX века, в частности, Дэниелом Беллом и Алвином Гоулднером. В завершающей части работы показано, что идеи Махайского, рассматривавшего доступ к знанию и образованию как определенный вид капитала, могут быть систематически распознаны и в более поздних теориях, в частности, в теории культурного капитала Пьера Бурдье и в концепции общества сингулярностей Андреаса Реквица.

Ключевые слова: Ян Вацлав Махайский, интеллектуалы, интеллигенция, «новый класс», Дэниел Белл, культурный трансфер

Проблематика интеллигенции или интеллектуалов получает широкое распространение в европейском общественно-политическом дискурсе начиная со второй трети XIX века¹: «Характер ключевого понятия эпохи оно [понятие «интеллигенция». — М. Ч.] приобретает во Франции и Англии около 1830 г., в Германии

* Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

1. Обзор теоретических концепций интеллигенции и ряда соответствующих национальных традиций см. в монографии «История и теория интеллигенции и интеллектуалов» (Куренной, 2009).

около 1848 года, наконец, в России после 1860-го» (Müller, 1970: 50). Уже в середине XIX века феномен интеллигенции становится предметом рефлексии ранних социальных историков и теоретиков. «История социальных движений во Франции с 1789 года до наших дней» Лоренца фон Штейна, вышедшая в трех томах в 1850 году, является, как считает Отто Вильгельм Мюллер, первой работой, которая оказала определяющее влияние на содержание понятий «интеллигенция» и «интеллектуалы» в последующей социальной теории (Müller, 1971: 85). Штейн считает «образованную интеллигенцию» составной частью «третьего сословия», поднявшегося — наряду с владельцами капиталов и необразованной и лишенной собственности массой — на борьбу с абсолютистским государством, а также указывает на связь, существующую между обладанием властью и уровнем образованности социального класса². Практически одновременно с работой Штейна выходит книга Вильгельма Генриха Риля «Гражданское общество», где вводится понятие «пролетариат духовного труда», включающее в себя широкий слой чиновников, людей, связанных со сферой образования и церковной жизни, художников и журналистов. Наряду с «пролетариатом материального труда» и «аристократическим пролетариатом» эта группа образует уже «четвертое сословие». Именно пролетариат духовного труда, по замечанию Риля, представляет собой «подлинную *ecclesia militans* четвертого сословия» (Riehl, 1851: 299)³. Таким образом, уже к середине XIX века понятия «интеллигенция», «пролетариат духовного труда» и т. д. находят себе место в социальной теории своего времени. В качестве устоявшейся характеристики определенной социальной группы они активно перенимаются немецкими социал-демократами и марксистами: интеллигенции посвящено множество полемических заметок и работ Августа Бебеля, Карла Каутского, Розы Люксембург и др., отсюда она проникает в круг проблем, обсуждаемых русскими социал-демократами⁴. В то же время наблюдается и обратное влияние русского дискурса интеллигенции на европейскую социальную и политическую мысль: внимание к этому феномену было первоначально обусловлено революционными событиями в России 1905 года⁵. Характеризуя механизм этого трансфера, Отто Мюллер замечает: «Именно социалисты еврейского происхождения, выходцы из России и Польши, хорошо знакомые с использованием этого ключевого понятия

2. Ср.: «Обладание духовными благами у отдельного человека мы называем образованием. Подобно тому, как духовное господствует над материальным, так и образование есть первая абсолютная предпосылка для господства какого-то общественного класса. Поэтому первое условие для возвышения зависимого класса — это получение образования. И, с другой стороны, действительно полученное образование есть первая необходимость общественной свободы для несвободных людей» (Stein, 1921: 85).

3. *Ecclesia militans* (лат.) — воинствующая церковь.

4. Подробную характеристику основных работ см.: Müller, 1971: 86–90.

5. Показателен в этом отношении интерес Макса Бебера к этим революционным событиям, выразившийся в появлении цикла статей о России, в которых он также обращается к вопросу об интеллигенции и ее роли. См. статьи 1906 года «К положению буржуазной демократии в России» и «Переход России к псевдоконституционализму» (Бебер, 2007: 14–103). В контексте дискуссии о деле Дрейфуса к русскому феномену интеллигенции обращается в 1905 году также Шарль Моррас (Моррас, 2003).

[«интеллигенция». — М. Ч.] как в России, так и на Западе, с наибольшей вероятностью были в состоянии транслировать сложившиеся в России представления об интеллигенции в понятийный мир западной социал-демократии» (Müller, 1971: 90, Anm. 169). В то же время, отмечает далее автор, феномен русской «интеллигенции» оставался для немецких исследователей России начала XX века «странным и страшным» (*Ibid.*: 91).

Существующие исследования о связи русского и западного дискурса интеллигенции, таким образом, давно опровергли представления об изолированном и самобытном характере русской интеллигенции⁶. Тем не менее вопросы, связанные с исследованием механизмов взаимовлияния и трансфера идей и понятий в этой сфере во многом остаются малоизученными. В рамках настоящей статьи речь идет об одном эпизоде этой истории, который представляет интерес не только с чисто историографической точки зрения, но проливает свет на то, каким образом одна из теорий интеллигенции, сформулированная в русском полемическом контексте, оказала прямое влияние на формирование целого спектра современных социальных теорий, а ее типологические особенности в опосредованном виде могут быть прослежены вплоть до работ актуальных социальных теоретиков. Речь идет о теории интеллигенции Яна Вацлава Махайского, которая до настоящего времени почти не привлекает внимание исследователей истории российской мысли. В первой части работы мы эксплицируем основные положения этой теории и кратко остановимся на биографии Махайского, а также рассмотрим особенности рецепции его теории в российском дореволюционном контексте. Далее осветим историю разгрома этой теории в советском публичном дискурсе 1920–1930-х годов. Вторая часть работы посвящена истории трансфера и рецепции идей Махайского в западной социально-теоретической мысли. При посредничестве Макса Номада идеи Махайского стали известны, в частности, Дэниелу Беллу и Алвину Гоулднеру, оказав прямое влияние на целый ряд послевоенных теорий «нового класса» и постиндустриального общества. В завершение сохраняющаяся актуальность теоретических идей Махайского показана на примере их сопоставления с концепцией культурного капитала Пьера Бурдье и теории общества сингулярности Андреаса Реквица.

Состояние исследований

Исторические и концептуальные исследования, посвященные творчеству Яна Вацлава Махайского, весьма немногочисленны. В современной литературе по истории русских политических движений он заслуживал лишь кратких обзор-

6. Хотя эти представления обладают высокой инертностью. Так, А. Кустарев в книге «Нервные люди» замечает: «Убеждение, что российская интеллигенция уникальна, доминирует в российском общественном сознании. Рядом с ним всегда существовала иная точка зрения, но она никогда не была популярна. Ее даже не замечали. Эта диспозиция подчеркивает то, что убеждение в своей уникальности было результатом сильно мотивированного выбора» (Кустарев, 2006: 281).

ных упоминаний (Биллингтон, 2001: 573–574). Более внимательны к его творчеству историки анархизма. Среди них следует выделить американского историка Пола Аврича, в работе которого «Русские анархисты» (Avrich, 1967) Махайский отнесен к сторонникам характерного для русского анархизма антиинтеллектуализма. Французский анархист Александр Скирда, солидаризуясь с антимарксистскими взглядами Махайского, рассматривает его в контексте эволюции социалистических идей в XIX — начале XX века, лаконично сопоставляя концепцию Махайского с теориями Роберта Михельса и Вильфредо Парето, изучавших формирование и функционирование элит в разных типах обществ (Скирда, 2003). Из исследований, специально посвященных Махайскому, необходимо выделить книгу Маршалла Шатца «Ян Вацлав Махайский: радикальный критик русской интеллигенции и социализма» (Schatz, 1989). В этой работе речь идет прежде всего об истории рецепции и критики мыслителя в СССР, но здесь мы находим также важные для нас указания на сходство теории Махайского и концепций «нового класса» Бруно Рицци, Джеймса Бернхема, Милована Джиласа. Шатц, однако, не прослеживает историю рецепции этой теории на Западе, в частности в работах Д. Белла и А. Гоулднера. В работе Ивана Селенъи и Лоуренса Питера Кинга «Теории нового класса: интеллигенты и власть» (King, Szelényi, 2004) также делается попытка поместить теорию Махайского в контекст современных социальных концепций. Так, в ней отмечается, что Махайский заложил основы теории культурного капитала. Однако основной предмет исследовательского интереса Селенъи и Кинга — это эволюция теоретических проектов «нового класса» интеллигентов, а не история трансфера и рецепции теории Махайского.

Подробные сведения о биографии Махайского и истории политических кружков его последователей представил В. В. Кривенький (Кривенький, 1996б: 350; Кривенький, 2018: 106–116). На русском языке наиболее обширным исследованием теории интеллигенции Махайского, а также концепций других анархистов начала XX века, выступавших с критикой интеллигенции, является диссертация Д. И. Рублева «Проблема „интеллигенция и революция“ в российской анархистской публицистике конца XIX — начала XX века» (Рублев, 2007), впоследствии изданная в виде отдельной книги (Рублев, 2020). Хронологические рамки исследования Рублева, впрочем, ограничены периодом 1890-х — 1917 годом, он не фокусируется ни на истории рецепции теории Махайского в советский период, ни на ее трансфере в западный социально-теоретический контекст.

Таким образом, в существующей на сегодняшний день литературе нет исследований, рассматривающих теорию Махайского в совокупности трех аспектов, в которых предлагается остановиться в нашей статье, а именно: 1) в российском и советском контексте ее рецепции; 2) с точки зрения трансфера и рецепции этой теории в западной литературе; 3) в систематическом сравнении с содержательно близкими современными социальными теориями. В качестве введения к этому исследованию мы предпосыплем краткую биографию Махайского, в которой дается

экспликация основных положений его теории интеллигенции, а также история ее рецепции в среде социал-демократов и большевиков в дореволюционный период.

Ян Вацлав Махайский и его теория интеллигенции

Ян Вацлав Константинович Махайский (1866–1926) родился в Польше в городе Пиньчев (Келецкая губерния) в семье мелкого чиновника. После окончания гимназии он поступил в Варшавский университет на медицинский факультет (однако ушел с последнего курса по собственному желанию). Во время обучения в университете Махайский заинтересовался польским национализмом и социализмом, в 1891 году был арестован австрийской полицией в пограничной деревне Зельков с «грузом нелегальной польской патриотической газеты «Побудка» и прокламациями, призывающими к празднованию 1 Мая» (Кривенький, 1996б: 350). Махайский провел восемь дней (по другим сведениям, четыре месяца) в краковской тюрьме, после освобождения эмигрировал в Цюрих и начал публиковаться в польских эмигрантских изданиях. В июне 1892 года он был задержан российской полицией около пограничной станции Верхболово с нелегальной литературой. Было установлено, что Махайский был одним из лидеров Цюрихской группы польского революционного «Соединенного общества польской молодежи». Махайский отбывал тюремное наказание в Варшавской цитадели и в «Крестах» полтора года, в мае 1895 года был выслан на пять лет в Вилюйск (Якутская область).

В Вилюйске Махайский встретил «социал-демократов и народников, между которыми велась дискуссия о „русском пути к социализму“... Махайскому повезло: у одного из его товарищей по ссылке оказалась богатая библиотека социалистической литературы на нескольких языках» (Скирда, 2003: 9). Первые выпуски «Умственного рабочего» были напечатаны с помощью гектографа и mimeографа в Сибири⁷ и рассыпались ссылочным-революционерам в 1898–1899 годах (Кривенький, 1996б: 350). До настоящего момента эти гектографированные копии так и не обнаружены (Задорожнюк, Кривенький, 1994: 296).

В ссылке Махайский познакомился с Троцким и Сталиным, что повлияло на рецепцию идей Махайского и в дореволюционной России, и в СССР. Троцкий в своих мемуарах «Ленин и старая „Искра“: материалы для биографа», изданных в 1924 году, вспоминает о своей первой встрече с Лениным в Лондоне осенью 1902 года, куда Троцкий бежал из своей ссылки в Иркутске. Одной из тем для первой беседы Троцкого и Ленина было влияние Махайского на ссылочных-революционеров: «Заговорили о махаевщине, о том, какое она произвела впечатление на ссылку, многие ли поддались» (Троцкий, 1924: 8). Троцкий рассказал, что «первая гектографированная тетрадь Махайского... произвела на большинство из нас сильное впечатление», однако «полученная нами позже третья тетрадь, с положительной

7. «Эволюция социал-демократии» выпускалась уже два раза в России, но в ограниченном количестве экземпляров и несовершенном техническом исполнении (на нелегальном гектографе и mimeографе)» (Вольский, 1968, I: 41).

программой... произвела впечатление полной несостоительности» (Там же: 9). Тем не менее в декабре 1902 — январе 1903 года Ленин включил вопрос о «махаевцах» в «список вопросов, по которым желателен ответ в докладах комитетов и групп нашей партии на II съезде ее» (Ленин, 1972: 72), в раздел «Состояние не социал-демократических революционных и оппозиционных течений и отношение к ним»: «Остальные группы и направления. „Свобода“, „Рабочая партия политического освобождения России“, махаевцы, чернознаменцы и т. д. Характеристика воззрений, отношение к с.-д., данные об их связях и работе» (Там же: 82).

К маю 1900 года Махайский отбыл пятилетнюю ссылку, однако снова арестован в Иркутске с нелегальной литературой. После освобождения в апреле 1902 года он организовал в Иркутске кружок рабочих-булочников (около 10 человек), в котором пропагандировал свои идеи, выпустил воззвание «Майская стачка» (Кривенький, 1996б: 350). Однако попытка организации забастовки закончилась неудачей, более того, рабочие-булочники выдали Махайского полиции, и 26 марта 1903 года он был приговорен к ссылке на шесть лет (Кривенький, 2018: 106). В июне он бежал из Александровской пересыльной тюрьмы и выехал в Женеву. После событий Первой Русской революции, в начале 1906 года Махайский ненадолго вернулся в Санкт-Петербург, однако вскоре отбыл обратно в Женеву. В период между 1903 и 1906 годами в Женеве и Санкт-Петербурге были напечатаны его главные работы⁸ под псевдонимом Андрей Вольский⁹.

С 1911 по 1917 год Махайский вместе с женой В. Д. Гуарари-Бучульской жил в Париже, занимаясь преподаванием и переводами. После Февральской революции он вернулся в Россию, в июне-июле 1918 года в Москве выпустил единственный номер журнала «Рабочая революция» (Вольский, 1968, III: 353–415), в котором «изложил отношение к событиям Октября 1917-го и диктатуре пролетариата, проблеме экспроприации буржуазии» (Кривенький, 1996б: 350). После этого Махайский больше не принимал активного участия в политических событиях, работал техническим

8. В Женеве сначала была напечатана брошюра «Умственный Рабочий. Часть III» в двух выпусках (Вольский, 1904; Махайский объяснил решение печатать сразу третью часть брошюры тем, что первые две части «Умственного Рабочего» были изданы «в 1901 году в России, в очень ограниченном, впрочем, количестве экземпляров» (Вольский, 1968, III: 251). Выпуски «Эволюция социал-демократии» и «Научный социализм» увидели свет в Женеве в 1905 году (Вольский, 1905а, 1905б). Брошюра «Социалистическая наука как новая религия» была издана там же в мае 1905 года (Вольский, 1905в), в приложении к ней было опубликовано воззвание «Майская стачка» от апреля 1902 года. Две первые части «Умственного Рабочего» («Эволюция социал-демократии» и «Научный социализм») легально изданы в Санкт-Петербурге (что можно считать следствием послаблений цензуры в ходе Революции 1905 года) в издательстве В. И. Яковенко в 1906 году (Вольский, 1906б, 1906в). В 1906 году без авторства появилась брошюра «Буржуазная революция и рабочее дело». Согласно выводам Кривеньского, ее автором был Махайский (Вольский, 1906а; Кривенький, 1996б: 350).

9. В каталоге Российской государственной библиотеки Махайскому атрибутируется книга «История мексиканских революций» 1928 года. Ее автором указан Андрей Вольский, однако, по нашему мнению, речь идет не о Махайском, поскольку предисловие в ней датируется октябрем 1927 года (Махайский умер в 1926 году). Кроме того, книга посвящена «Михаилу Николаевичу Покровскому, моему любимому учителю истории», о котором в очерках о жизни Махайского ни разу не было упомянуто (Вольский, 1928).

редактором и сотрудничал с журналом «Народное хозяйство». Ян Вацлав Махайский умер в 1926 году от инфаркта.

Основной мишенью критики Махайского было марксистское определение интеллигенции как неклассового элемента классового слоя — в теории Маркса интеллигенция не является самостоятельным классом, поскольку не владеет материально-техническими средствами производства и не занимает по отношению к ним структурно-определенного положения. Махайский же характеризует интеллигенцию именно как особый и при этом быстро растущий класс (Махайский, 1968, I: 141). Основанием для этого является наличие в ее распоряжении особых — нематериальных — средств производства. Речь идет о знаниях, получаемых классом интеллигенции в ходе воспитания и обучения, причем эти знания составляют также часть прибавочной стоимости производимого товара. Представители буржуазии, из которых преимущественно вербуется класс интеллигенции, ограничивают доступ к этим знаниям: как и материальные формы собственности, знание передается фактически по наследству, и пролетариат лишен доступа к этой общечеловеческой ценности. Осуществляя монополизацию знания, «армия умственных рабочих» получает более высокую прибыль за свой труд, чем рабочие, занятые физическим трудом. Марксистская идея коммунистического устройства общества, согласно Махайскому, неверна, поскольку предполагает обобществление не всей частной собственности, а только материально-технических средств производства. В результате нематериальные средства производства (знания) останутся в собственности образованного класса интеллигенции, что приведет к распределению этой доли прибавочной стоимости только между «умственными работниками».

В памфлете «Майская стачка» (1902 год) Махайский призывает бастующих рабочих не прислушиваться к интеллигенции, представители которой только и ждут, когда рабочие выстроят «для нее тот рай, которым давно пользуется образованное общество Западной Европы» (Там же: 155). Выбранные рабочими социал-демократические представители станут «новыми господами», поскольку и при самодержавии, и при демократии представителями власти становятся интеллигенты, «которые умение управлять передают только своему потомству» (Там же). Даже если члены социал-демократических партий борются за улучшение трудовых условий рабочих, их главная цель — вовлечение рабочих в политическую борьбу для реализации своих собственных задач.

Махайский полагал, что основная задача марксизма — скрыть классовый интерес образованной социальной группы в капиталистическом государстве. Народники отказались от идеи пролетарской революции, предпочтя ей утопию «первобытного коммунистического владения землею» (Там же: 226), тогда как русские социал-демократы требуют поэтапного движения к пролетарской революции, для чего необходимо предварительное осуществление буржуазной революции, в ходе которой, согласно Махайскому, образованный класс достигнет своего господства. По его мнению, современные революционеры заняты «выработкой надежных предохранительных клапанов, оберегающих цивилизованный мир от повторения

грозного восстания рабов» (Там же: 263), убеждая массы в необходимости «терпеливого ожидания». Перед своим освобождением пролетариат, по замыслу русских социал-демократов, «должен освободить другие непролетарские классы» (Там же: 265).

Положительная программа Махайского, на слабость которой обратил внимание Троцкий, заключалась в организации всемирных рабочих заговоров, целью которых является изменение законодательства посредством забастовок: «Вопреки формулам социализма истекшего столетия, вопреки формулам и социал-демократическим, и анархистским, рабочему классу предстоит новая эпоха борьбы, эпоха всемирных рабочих заговоров, диктующих посредством всемирных рабочих стачек законы государственной власти» (Там же: 45). Каким образом можно претворить в жизнь такой всемирный тайный заговор, Махайский не уточняет. Впрочем, это даже в какой-то мере логично: какой же это заговор, если он публично описан?

Поскольку теория Махайского носит полемический характер и направлена против сторонников марксизма, то, говоря об интеллигенции, Махайский в первую очередь имеет в виду партийных активистов. Тем не менее эта теория относит к интеллигенции всех, кто занимается умственным трудом, — чиновников, офицеров, художников, ученых и т. д. Хотя численность образованного класса растет с развитием капитализма, интеллигенция вступает во враждебные отношения с буржуазией (последняя не позволяет образованному классу занять наиболее привилегированное положение в обществе). В связи с этим интеллигенты стремятся войти в социал-демократическую партию, обещающую образованному классу улучшение своего положения в ходе последующей пролетарской революции и построения коммунистической экономики, основанной на обобществлении средств производства.

Одним из самых известных последователей Я. В. Махайского был Евгений Лозинский (Е. Устинов), член партии социалистов-революционеров. По сведениям Кривеньского, Лозинский познакомился с Махайским в 1906 году в Женеве, «воспринял его идеи, вышел из группы „агр[арных] террористов“, организовал группу махаевцев» (Кривенький, 1996а: 320). В 1907 году в Санкт-Петербурге Лозинский издавал журнал «Против течения», в этом же году в Санкт-Петербурге была издана его книга «Что же такое, наконец, интеллигенция?» (Лозинский, 1907), в которой мыслитель развивал положения Махайского об интеллигенции как отдельном классе. Книгу Лозинского читал и высоко ценил Л. Н. Толстой¹⁰: «Я и прежде читал вашу книгу: „Что же такое, наконец, интеллигенция?“. Теперь же внимательно прочел эту книгу, так же как и „Итоги парламентаризма“ и присланные №№ газеты. Вполне разделяю ваши мысли как о значении деятельности интеллигенции, так и о парламентах... Повторяю вам свою благодарность за присылку и содержание ваших прекрасных книг» (Лозинский, 1911: 5–6).

10. Любопытно, что Толстой через два года (весной 1909) написал критическую статью в ответ на знаменитый сборник «Вехи», посвященный теме русской интеллигенции. Подробнее см.: Толстой, 1936: 285–290.

О популярности идей Махайского в начале XX века свидетельствует то обстоятельство, что главный историк русской интеллигенции того времени Р. Иванов-Разумник посвятил им отдельную работу: в 1908 году он выпускает книгу «Что такое „махавщина“?» (Иванов-Разумник, 1908), название которой является прямой ссылкой к книге Лозинского. В ней он выявляет марксистские основания теории Махайского: использование понятий «класс» и «умственные работники» для характеристики феномена интеллигенции, а также представление об истории общества как о борьбе экономических интересов различных классов. Позиция Иванова-Разумника в этой работе интересна также тем, что он выступает здесь с критикой идеи, согласно которой разделение труда, характерное для капиталистической экономики, есть препятствие для прогресса человечества (именно это характерно не только для Маркса и Махайского, но и для народников, в частности, для Н. К. Михайловского)¹¹.

Представление о том, что после революции разделение между работниками умственного и физического труда исчезнет, было характерно и для М. А. Бакунина, по замыслу которого физический труд будет обязательен для всех, а научная деятельность доступна каждому, независимо от его социального положения (Бакунин, 1989а: 436). Кроме того, Бакунин, как и впоследствии Махайский, критиковал Маркса и его сторонников за то, что их «мнимое народное государство» на самом деле будет находиться под управлением государственных инженеров (марксистов), нового привилегированного научно-политического сословия (Там же: 486) Основоположник русского анархизма указывал на уровень образования как важную привилегию буржуазии (наряду с землей и капиталом) и на ограничение доступа к науке высшими классами в ущерб низшим (Бакунин, 1989б: 23). Таким образом, Бакунин в отдельных критических замечаниях высказывал идеи, лежащие в основе теории интеллигенции Махайского, — об образовании как привилегии буржуазии и о социалистических партийных революционерах как о потенциальном новом господствующем классе. Хотя заметки Бакунина можно признать основанием для развития критики интеллигенции Махайского, именно Махайский представил проблему «нового класса» интеллигенции и образования как вида капитала в развернутом и систематическом виде.

11. Хотя Маркс, в отличие от Махайского, полагал, что квалифицированный труд должен оплачиваться выше неквалифицированного (Маркс, 1960: 182–183), поскольку является трудом более высокого качества, в коммунистическом обществе разделение труда, согласно классикам марксизма, будет упразднено — вслед за ликвидацией феномена отчуждения: «никто не ограничен исключительным кругом деятельности, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует все производство и именно поэтому создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике» (Маркс, 1955: 31–32).

Рецепция теории Махайского в публичном советском дискурсе

В первой половине 1920-х годов дискуссии о роли интеллигенции в новом государственном и общественном строе проходили бурно и открыто, в них участвовали ключевые большевистские идеологи, а пик этих дискуссий пришелся на 1924–1925 годы. Опасения, связанные с тем, что в советском обществе «умственные работники» могут превратиться в новый класс, обладающий особыми привилегиями по сравнению с рабочими и крестьянами, высказывал в своем докладе сам нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский (Судьбы русской интеллигенции, 1991: 27). Сменовеховец Ю. Н. Потехин подчеркивал интеллигентскую природу советской власти; такую точку зрения после Октябрьской революции высказывал также А. А. Богданов (Там же: 17; Кустарев, 2009: 56). Как отмечает А. Кустарев, дискуссия об интеллигенции как новом классе оказалась в конечном счете политически опасной (поскольку партийное руководство позиционировало себя как «партию рабочих и крестьян», но никак не интеллигентов) и вскоре была прекращена (Там же: 59). В этом общем контексте критику теории Махайского, появившуюся сразу после смерти мыслителя в советской печати, можно считать вполне ожидаемой и предсказуемой. Впрочем, первый некролог 1926 года в газете «Известия», написанный его товарищем по ссылке А. Шетлихом, был нейтрален и ограничивался краткой биографией умершего (Шетлих, 1926: 4). Однако уже в заметке Н. Батурина «Памяти „махаевщины“!», последовавшей за этим в газете «Правда», «махаевцы» обвинялись в «травле социалистической интеллигенции» (Батурин, 1926: 12) и попытке привить «свои мелкобуржуазные анархические теории пролетариату крупной промышленности, опираясь, конечно, на самые отсталые, еще полукрестьянские его слои» (Там же).

Ряд исследователей считает, что теория Махайского сохраняла позитивную актуальность и во второй половине 1920-х годов. Так, И. Е. Задорожнюк и В. В. Кривенький полагают, что в 1928 году одновременно с артикуляцией потребности в создании новой интеллигенции «махаевизм» фигурировал в обосновании отвержения старой интеллигенции. При этом они ссылаются на то, что в этом году были опубликованы фрагменты основной работы Махайского «Умственный рабочий», а журнал «Каторга и ссылка» печатал мемуары его приверженцев (Задорожнюк, Кривенький, 1994: 294). Однако следует обратить внимание, что отрывки из «Умственного рабочего» появились в 1928 году в хрестоматии «Наши противники: сборник материалов и документов» (Андерсон, 1928а: 143–160). Составители хрестоматии видели свою цель в предоставлении учащимся материалов, «отражающих различные политические течения, с которыми приходилось бороться большевизму на путях его исторического развития» (Андерсон, 1928б: 3). Публикацию отрывков из «Умственного рабочего» в такого рода сборнике вряд ли можно считать признаком интереса к аргументам Махайского против интеллигенции¹².

12. Помимо сочинений Махайского в хрестоматии были напечатаны сочинения представителей легального марксизма (Струве), меньшевизма (Аксельрод, Люксембург, Мартов), социалистов-рево-

Критика теории Махайского, напротив, шла в это время вполне последовательно. В 1929–1930 годах Леонид Наумович Сыркин в двух номерах журнала «Красная летопись» обрушился на учение Махайского (Сыркин, 1929: 182–212; 1930: 117–145), в 1931 году появилась на свет книга «Махаевщина» (Сыркин, 1931). К 1934 году термин «махаевщина» продолжает присутствовать в публичном пространстве в негативных и карикатурных контекстах, в частности, в сатирическом рассказе И. Ильфа и Е. Петрова «Разговоры за чайным столом», опубликованном в газете «Правда» (Ильф, Петров, 1938: 4).

Если во второй половине 1920-х — первой половине 1930-х годов потребность в воспитании новой социалистической интеллигенции действительно широко озвучивалась партийным руководством СССР¹³, то в конце 1930-х происходит резкий дискурсивный разворот. В 1939 году на XVIII съезде ВКП(б) Stalin объявляет задачу воспитания социалистической интеллигенции выполненной в результате осуществленной культурной революции¹⁴, что влечет за собой и осуждение взглядов, враждебных к советской интеллигенции и несовместимых с позицией партии. «Они, — разъясняет он далее, — продолжают дудеть в старую дудку, неправильно перенося на советскую интеллигенцию те взгляды и отношения, которые имели свое основание в старое время, когда интеллигенция находилась на службе у помещиков и капиталистов» (XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии(б), 1939: 36). Именно с таким новым взглядом на интеллигенцию связана, судя по всему, критика Махайского Stalinым на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 10 октября 1938 года. Выступление Stalin было посвящено необходимости пропаганды большевизма в среде всего состава государственного аппарата (на низшем, среднем и высшем уровнях). Stalin назвал служащих людей, управляемцев интеллигенцией и упомянул своего знакомого по ссылке¹⁵, ругавшего партийную интеллигенцию: «Махайский — это был один социал-демократ, я с ним в ссылке встречался, который набил руку на том, что ругательски ругал партийную интеллигенцию <...> Махайский был членом партии, но на деле он был, конечно, анархистом. Вот это и называется в истории партии махаевщиной, эта ненависть к партийной интеллигенции. Конечно, Махайский был дурак, круглый идиот, льюционер (Григорович), то есть максимально разнообразный спектр оппозиционных большевизму течений.

13. Например, на XV съезде ВКП(б) в 1928 году Stalin объявил о необходимости «укреплять смычку рабочего класса с трудовой советской интеллигенцией города и деревни» (XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии(б), 1928: 64).

14. О периодизации советской культурной политики см.: Kurennoy, 2021: 163–176; Kуренной, 2013: 12–34.

15. Мы допускаем, что Stalin и Махайский могли познакомиться в Иркутской губернии в период между ноябрем 1903 — январем 1904-го, когда Stalin находился в ссылке в селе Новая Уда, Балаганский уезд Иркутской губернии (27 ноября 1903 года он прибыл на место ссылки, 5 января 1904 года бежал из ссылки на Кавказ; Александров и др., 1947: 540). Махайский, по сведениям Кривеньского, «10.06.1903 бежал из Александровской пересыльной тюрьмы (ок. Иркутска) и выехал в Женеву» (Кривенький, 1996б: 350), однако дата его прибытия в Женеву неизвестна (первая брошюра, выпущенная им в Женеве, относится к 1904 году). Возможно, в конце 1903 года Махайский все еще находился в Восточной Сибири, где мог познакомиться со Stalinым.

потому что он не понимал, что надо не только ценить свою интеллигенцию, но весь рабочий класс, все крестьянство сделать интеллигенцией. <...> Те, которые презрительно относятся к нашей интеллигенции, есть жалкие, несчастные люди, махаевцы, ничего общего с марксизмом не имеющие» (Сталин, 2006: 165). Вскоре после заседания, по итогам которого было опубликовано постановление ЦК партии (О постановке, 1938: 1; Вооружить, 1938: 1), в газете «Правда» в разделе «Ответы на вопросы читателей» появилась большая статья «Что такое „махаевщина“?», в которой движение учеников Махайского характеризовалось как «анархистское злопыхательство» (Что такое «махаевщина»?, 1938: 2).

Выражение «махаевские настроения» употребляется также вне прямой связи с теорией Махайского, превращаясь в конце 1930-х в своего рода нарицательный эпитет. Так, в ходе совещания о генетике и селекции, организованного журналом «Под знаменем марксизма» и проходившего 7–14 октября 1939 года, главный редактор журнала академик М. Б. Митин в заключительной речи выразил поддержку Т. Д. Лысенко и его сторонникам и заявил, что в области «формальной генетики» (главным представителем которой в СССР был Н. И. Вавилов) «при всех этих важных достижениях генетической науки... мы видим такие метафизические пустоцветы, которые являются настоящими препонами для дальнейшего развития науки» (Митин, 1939: 165). Тем не менее, отмечает Митин, со стороны представителей «мичуринско-лысенковского направления» «мы имели проявление своего рода махаевских настроений» (Там же). По контексту выступления смысл этого выискашивания состоит в том, что среди представителей упомянутого направления была распространена необоснованная критика в отношении сторонников «формальной генетики». «Мы будем, — заключает он, — бороться против всякого рода даже самых ничтожных проявлений махаевского отношения к кадрам нашей советской интеллигенции» (Там же: 175). Н. И. Вавилов в личном письме Митину, протестуя против поддержки Т. Д. Лысенко советской властью, повторил ему его собственный тезис: «Ваша формула, боюсь (рад буду, если ошибусь), даст возможность продолжать махаевщину, которая заволакивает наш участок» (Вавилов, 1990: 113). Стоит отметить, что в ходе печально известной Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда генетика была окончательно разгромлена Лысенко и его сторонниками, термин «махаевщина» уже не употреблялся¹⁶.

Завершая обзор истории рецепции и критики теории Махайского в советский период, обратимся также к основным энциклопедическим источникам. В первое издание Большой советской энциклопедии включена статья «махаевщина», которая с изменениями воспроизведена также во втором и третьем издании БСЭ. Статьи, посвященной собственно Махайскому, нет ни в этом, ни в последующих изданиях. В первом издании БСЭ «махаевщина» определяется как «мелкобуржуазное, реакционное, близкое к анархо-синдикализму течение» (Махаевщина, 1938: 494). Но если в нем отмечалось, что у Махайского были последователи («отдель-

16. О положении в биологической науке см.: Стенографический отчет, 1948.

ные группы махаевщины имелись в Одессе, Варшаве и Петербурге» (Там же), то во втором издании авторы последователей Махайского уже не упоминали — указывается лишь, что «проявлением М. [махаевщины. — М. Ч.] явилось пренебрежительное отношение к советской интеллигенции со стороны отдельных лиц» (Махаевщина, 1954: 544), однако «большевики всегда вели борьбу против М. [махаевщины. — М. Ч.] и разгромили ее в период борьбы за диктатуру пролетариата» (Там же).

Концепция Махайского в контексте современных социальных теорий

Идеи Махайского получили широкое распространение за пределами СССР, где они подверглись полному разгрому, а затем преданы забвению к концу 1930-х годов. Англоязычные социологи, политологи, философы ознакомились с основными положениями его теории благодаря ученику мыслителя Максу Номаду. Номад, родившийся в богатой еврейской семье в Галиции (в то время части Австрийской империи), познакомился с Махайским в Кракове в 1908 году. В 1913 году он вместе со своим братом эмигрировал в США, где преподавал в Нью-Йоркском университете, а с 1937 года получал стипендию Гуттенхайма. Номад изложил основные положения теории Махайского в своих книгах «Апостолы революции» и «Бунтовщики и изменники» (Nomad, 1932, 1961). Он критически относился к идеям своего учителя: по его мнению, в утопическом проекте «всемирного рабочего заговора» Махайский скрывал собственный властный интерес и в этом отношении не отличался от критикуемых им марксистов. В то же время Номад считал, что прогноз Махайского оказался верным, и интеллигенция в России стала новым правящим классом: «Рабочие были попросту обременены новым классом эксплуататоров и надсмотрщиков: управленческим аппаратом коллективистского государства. Такой результат был предсказан еще в 1898 году польским революционным критиком Махайским...» (Nomad, 1961: 101). Номад также полагал, что источником вдохновения для теории перманентной антикапиталистической революции Троцкого стали именно идеи Махайского, хотя сам Троцкий никогда этого не признавал (Nomad, 1932: 239). Именно Макс Номад перевел на английский язык ряд отрывков из произведений Махайского, которые были включены в антологию «Формирование общества: очерк социологии» (Calverton, 1937: 427–436). Лишь спустя более чем 40 лет после этого Александр Скирда перевел на французский язык некоторые главы памфлета Махайского «Умственный рабочий» и его статьи из журнала «Рабочая революция» (Machajski, 1979). Благодаря идейному посредничеству Номада идеи Махайского проникли в западную социальную и политическую теорию. Рассмотрим основные траектории их рецепции.

Как отмечал Дэниел Белл, «идеи Махайского, через Номада, эксплицитно повлияли на произведения Гарольда Лассуэлла, ведущего американского политолога. В ряде своих книг Лассуэлл развивал теорию о том, что революции двадцатого века возглавлялись интеллектуалами, которые, используя мифы и символы соци-

ализма, попытались сами прийти к власти» (Bell, 1988: 473). По мнению Лассуэлла, «капитал» интеллектуала — это его знания, и он вступает в конкуренцию с землевладельцами, бизнесменами и работниками физического труда за безопасность, доход и уважение в обществе. Отсутствие общего хорошо опознаваемого символа и борьба интеллектуалов между собой камуфлируют эту цель (Lasswell, 1935: 112).

Иван Селены и Билл Мартин ссылаются на Махайского в своем историческом анализе теорий «нового класса»¹⁷, они выделяют три волны их появления (Szelenyi, Martin, 1988: 651). Остановимся подробнее на этой классификации, включающей концепцию Махайского в широкую перспективу истории идей. Теории «нового класса» первой волны (конец XIX — начало XX века) принадлежат авторству анархистов Бакунина и Махайского. С конца 1930-х годов возникает группа теорий (технократические и бюрократические классовые теории), которые Селены и Мартин относят ко второй волне. Хотя некоторые социологи (например, Торстейн Веблен и Адольф Берли) применяли подобный анализ исключительно к западным обществам, большинство теоретиков второй волны (Тони Клифф, Бруно Рицци, Джеймс Бернхем) испытали влияние Льва Троцкого и его критики режима СССР периода сталинизма. Сам Троцкий, впрочем, отрицал классовую природу бюрократии, поскольку она не обладала средствами производства¹⁸.

Третья волна теорий «нового класса», по мнению Селены и Мартина, возникла в 1970-е годы, и их ключевой характеристикой становится новое осмысление роли знания в современном обществе. Тезисы ряда теоретиков этой группы концепций часто весьма близки идеям и оценкам Махайского. Так, неоконсерваторы (Гельмут Шельски, Дэниел Белл, Патрик Мойнихэн) стали разрабатывать собственные теории «нового класса» в форме критики интеллектуалов. Алвин Гоулднер в книге «Будущее интеллектуалов и подъем нового класса» определил потенциальный «новый класс» как «элитистский и своекорыстный, использующий специальное

17. Термин «новый класс» («new class») появляется после выхода в США книги Джеймса Бернхема «Менеджерская революция» в 1941 году, в которой выдвигается гипотеза о том, что в США (после внедрения политики «нового курса»), в нацистской Германии и в СССР к власти пришел «новый класс» менеджеров, которыми движет «жажды доминирования в обществе, власти и привилегий» (Burnham, 1941: 71). В 1957 году термин стал популярным после выхода на английском языке книги «Новый класс» Милована Джиласа, югославского политического деятеля и бывшего соратника Иосипа Броза Тито (Джилас, 1961). Под «новым классом» Джилас понимал партийную номенклатуру, правившую в социалистических странах. Как отмечает Фр. Прайор, в вариациях теорий «нового класса» присутствует больше различий, чем сходств. В первую очередь по-разному понимается понятие «класс». Проблематичным является вопрос о критериях вступления в ряды «нового класса» — все теоретики «нового класса» включали в него профессоров, журналистов, социальных критиков, деятелей культуры. Однако далеко не все относили к представителям «нового класса» менеджеров, администраторов среднего звена, ученых или технологов (Ргуг, 1981: 372).

18. Ср.: «Попытка представить советскую бюрократию как класс „государственных капиталистов“ заведомо не выдерживает критики. У бюрократии нет ни акций, ни облигаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии, вне зависимости от каких-либо особых, ей присущих отношений собственности. Своих прав на эксплуатацию государственного аппарата отдельный чиновник не может передать по наследству. Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления» (Троцкий, 2014: 170–171).

знания для продвижения своих интересов и власти, и контроля своей рабочей ситуации» (Gouldner, 1979: 7). Тем не менее, считает Гоулднер, выдвижение именно этого класса на передовые позиции стало, возможно, позитивным изменением в современных обществах. Несмотря на то что «новый класс» внутренне дифференцирован (с ростом грамотности и числа людей, получивших высшее образование, это неизбежно), представителей «нового класса» объединяет обладание культурным капиталом и «культура осторожного и критического дискурса» (Ibid.: 27). Под последним Гоулднер подразумевает обращение не к устоявшимся общественным авторитетам и социальному положению говорящего, а использование безличной рациональной аргументации.

Иван Селеныи и Конрад Дьёрдь в 1979 году выпустили книгу «Интеллектуалы на пути к классовой власти» (Konrad, Szelenyi, 1979). По их мнению, в капиталистических странах интеллектуалы были только социальной прослойкой, а не классом, однако в социалистических режимах они превратились в правящий класс с контролем над распределением общественного богатства. Если в сталинскую эпоху власть осуществляла партийная элита, то в период оттепели доминирующей силой стал альянс между бюрократией и технократией, который, в свою очередь, оказывал поддержку также «гуманистической интеллигенции». Ведущую роль в нем играют технократы, использующие научные методы для планирования экономики, «гуманистическая» интеллигенция находится на вторых ролях. В советском обществе наиболее глубоким является противоречие между интеллектуальным и рабочим классом: «интеллектуалы вольны спорить о том, насколько они могут быть подчинены друг другу, но классовое сознание интеллектуалов не позволяет им вообразить обстоятельства, в которых интеллектуалы подчинены неинтеллектуалам» (Konrad, Szelenyi, 1979: 202).

Упоминание теории Махайского в контексте «нового класса» появляется в книге Дэниела Белла «Конец идеологии. Истощение политических идей в 50-е годы». Эксплицировав основные положения теории Махайского, Белл называет мыслителя «пророком» (prophet): «Таким было его последнее слово, и на заре Октября это предупреждение было оставлено без внимания. <...> Он уходит в 1926 году, за год до того, как Троцкий проиграл Сталину в борьбе по причине, о которой Махайский предупреждал и которую Троцкий проигнорировал 27 лет назад, — возвышение класса бюрократии» (Bell, 1988: 357). Замечание Белла в примечании: «Имя Махайского было практически неизвестно в Советском Союзе, и краткая справка о его жизни и идеях может быть найдена в Большой советской энциклопедии...» (Ibid.: 473)¹⁹ показывает, что критика Сталиным «махаевщины» в 1938 году была неизвестна американским социологам, и знакомство с идеями Махайского происходило опосредованно, прежде всего через Макса Номада. Учитывая высокую оценку, которую Белл дал идеям Махайского, можно утверждать, что они оказали непосредственное влияние на разработку его собственной теории постиндустри-

19. Имеется в виду энциклопедическая статья «Махаевщина», в которой приводилась краткая справка о жизни Махайского.

ального общества. Главным ресурсом такого типа общества, считает Белл, являются его научные кадры, а образование становится средством достижения власти. Вместе с тем, хотя в развитых странах класс интеллектуальных работников становится доминирующим как по своей численности, так и по уровням дохода, Белл считал, что в структуре класса профессионалов «отсутствует потенциал для формирования нового класса как на основе корпоративных характеристик нового экономического класса, так и нового политического класса, претендующего на власть» (Белл, 2004: 501). Социальные группы, образующие класс профессионалов (в науке, технологиях, административном управлении и культуре) не имеют общих интересов и способны расходиться идеологически и объединяться с элитами других социальных групп. В статье «Новый класс: расплывчатый концепт» Белл подчеркивает, что «новый класс» — это следствие структурной трансформации капитализма, но сам он не является ни причиной этой трансформации, ни полноценным политическим агентом (Bell, 1979: 23).

Альвин Гоулднер в статье «Пролог к теории революционных интеллектуалов» также указывает на «пророческую силу» теории Махайского. Но при этом обращает внимание на следующие ее недостатки: 1) недооценка Махайским способности интеллигентии к радикализации и воинственности; 2) переоценка политической автономии интеллектуалов — интеллектуалы не просто используют другие классы, но сами в них нуждаются — «для того, чтобы выиграть и удержать в союзе другие классы, они должны быть открыты их историческим нуждам и возможностям» (Gouldner, 1975–1976: 31). Кроме этого, как далее отмечает Гоулднер, Махайский вменяет интеллектуалам мелкобуржуазный интерес, выражавшийся в стремлении к власти и материальным ресурсам, и недооценивает идеализм интеллектуалов²⁰. При этом сам Махайский в этом случае выступает как материалист, не рассматривающий «возможность того, что интеллектуалы наиболее опасны не тогда, когда они продажны, а тогда, когда они помешаны на чистоте. Он не предполагал, что худшие люди — это те, кто не удовольствуется чем-то меньшим, чем своими высочайшими идеалами» (Ibid.)²¹.

Помимо прямого влияния на некоторые теории «нового класса», которое мы здесь проследили, теория интеллигентии Махайского обладает определенным

20. Манхейм использовал схожие с Гоулднером аргументы, когда критиковал марксистскую социологию применительно к анализу положения интеллектуала. По мнению Манхейма, мотивацию интеллектуала невозможно понять, исходя из его классовой принадлежности и экономических интересов: «Этот объединяющий их [интеллектуалов. — М. Ч.] интерес является альтернативным источником мотивации, в силу которой поведение индивида отклоняется от норм, предписываемых его классовой принадлежностью. Учитель, не принимающий вознаграждения за определенные услуги, тем самым в известном смысле отрекается от своего классового положения конторского служащего, рабочего в белом воротничке» (Манхейм, 2010: 127).

21. Идеализм интеллектуалов как их крайне опасная черта (в случае их успеха в завоевании или захвате власти) был предметом критики немецкого философа Одо Маркварда. Одержанность бескомпромиссными идеями, по мнению Маркварда, одна из ключевых черт политических деятелей тоталитарных режимов в XX веке, поскольку вела к оправданию нарушения норм традиционной морали ради высоких целей (Румянцева, 2016: 77–81).

структурным изоморфизмом по отношению к более позднему ряду теорий, авторы которых обращаются к социальной роли знания и образования и рассматривают их в качестве определенного вида капитала. Прежде всего мы имеем в виду концепцию общества знания (knowledge society), разработанную такими исследователями, как Питер Друкер, Фриц Махлуп, Роберт Лейн, Дэниел Белл. В 1959 году Питер Друкер (один из самых влиятельных теоретиков менеджмента в XX веке) высказал идею о том, что знание в современном мире является главным видом капитала, а высокообразованные люди — центральным ресурсом общества (Drucker, 1969: 259). Он также отмечал, что работа, связанная с производством знания, видения и концептов, превратилась в самый плодотворный вид деятельности даже в сфере товаров и услуг (Ibid.: 119–120), а класс работников знания — истинные капиталисты в современном обществе (Ibid.: 259).

Идея о наследовании интеллектуальной культуры в буржуазных семьях и о значимости знаний и образования как нематериальных средств производства, на которой в противоположность марксистам настаивал Махайский, в значительной степени воспроизведена у Пьера Бурдье. Бурдье различает три вида культурного капитала — инкорпорированный, объективированный и институционализированный. В своем основном виде культурный капитал представлен в инкорпорированном (воплощенном в телесные формы) состоянии. Инкорпорированный капитал не передается мгновенно, в отличие от денег или даже аристократических титулов, он приобретается индивидом неосознанно с самого его рождения как биологического существа. Передача инкорпорированного культурного капитала по наследству не может контролироваться или регулироваться внешними инстанциями, поэтому «обретает пропорционально больший вес в системе стратегий воспроизводства» (Бурдье, 2002: 63). В основе присвоения культурного капитала в объективированном и институционализированном состоянии лежит обладание инкорпорированным культурным капиталом. В первом случае предпосылкой для «присвоения» предмета искусства, музыкального инструмента, письменного документа (объективированного культурного капитала) в соответствии с их особым предназначением является знание о средстве «потребления» этих предметов (которым индивид может либо обладать сам, либо приобрести услуги человека, владеющего необходимой формой инкорпорированного капитала), хотя юридическое право собственности на объект передается таким же образом, как и в случае с экономическим капиталом. В случае с институционализированным видом капитала (культурный капитал, объективированный в форме академических квалификаций) способность к усвоению знаний зависит не только от индивидуальных способностей учащегося, но и от его социального происхождения. В книге «Воспроизводство: элементы теории системы образования» Бурдье анализирует массив данных, показывающий в какой мере социальное происхождение индивида оказывает влияние на его успехи в школе и университете. Социолог приходит к выводу, что учебные заведения используют идеологию природных «дарований» и врожденных вкусов для легитимации воспроизводства социальных иерархий

(Бурдье, Пассрон, 2007: 218). Педагоги транслируют ученикам идею о том, что причины успехов одних по сравнению с другими кроются в высоких способностях первых, но умалчивают тот факт, что более успешные ученики владеют необходимым для обучения инкорпорированным культурным капиталом, полученным ими в семье²².

Хотя понятие «культурного капитала» в теории Бурдье дифференцировано, но культурный капитал передается главным образом внутри семьи в инкорпорированном виде: способность к приобретению объективированного и институционализированного культурного капитала находится в зависимости именно от него. Махайский, как и Бурдье, указывал на то, что культурный капитал передается внутри семьи и впоследствии выдается за способности отдельного индивида: «Величайшее богатство человечества — знания, наука — делается наследственной монополией привилегированного меньшинства. Только члены этого наследственного привилегированного меньшинства могут быть силой „высшего качества“; все же остальные миллионы владеют наследственной монополией рабского ручного труда. Только в среде наследственной буржуазной монополии могут рождаться таланты, мыслители, изобретатели» (Махайский, 1968, I: 150).

В теории Бурдье интеллектуалы, обладающие культурным капиталом, не образуют отдельного класса, как и в классическом марксизме, они рассматриваются, скорее, как подчиненная фракция господствующего экономического класса. Однако здесь необходимо напомнить о том, что в поздний период Бурдье развивал проект «интернационала интеллектуалов»²³. Это означает, что его теоретические взгляды допускали опцию коллективной мобилизации интеллектуалов, то есть в конечном счете позволяли трактовать их в качестве специфического класса.

Наконец, если мы обратимся к актуальному теоретическому ландшафту, то и в настоящее время можем обнаружить здесь актуальное присутствие теоретических идей Махайского, опосредованных теориями постиндустриального общества и общества знания, сформулированных во второй половине XX века. Так, Андреас Реквиц, предложивший для понимания современных социальных тенденций теорию «общества сингулярности»²⁴ (Reckwitz, 2017; Reckwitz, 2019), полагает, что мы наблюдаем процесс рождения новой классовой структуры. «Средний класс», сформировавшийся в период стабилизации массового индустриального общества, се-

22. Итальянский философ Антонио Грамши писал, что демократизация образования в учебных заведениях (когда вместе учатся дети интеллигентов и дети городских рабочих, либо крестьян) приводит к определенным сложностям: «Многие люди из народа думают, что в трудностях учения кроется «трюк» в ущерб им (если только они не думают, что глупы от природы): они видят, как какой-нибудь господин (а для многих, особенно в деревне, господин означает интеллигент) ловко и с видимой легкостью совершает работу, которая их детям стоит слез и крови, и считают, что здесь какой-то «трюк»» (Грамши, 1991: 451). Однако философ видел причину разницы в успехах в учебе в том, что дети интеллигентов еще до прихода в школу овладевают таким навыком, как способность к концентрации, поэтому они легче преодолевают «процесс психофизического приспособления» (Там же).

23. См., например, лекцию 1991 года «Универсальный корпоратизм: роль интеллектуалов в современном мире» (Bourdieu, Sapiro, McHale, 1991: 655–669).

24. Анализ теории Реквица: Сувалко, 2021: 305–322; Куренной, 2020: 28–31.

годня распадается на новый высший и новый низший класс. Новый низший класс задействован в расширяющейся сфере низкоквалифицированных услуг. Для характеристики же нового высшего класса Реквиц использует, в частности, понятие «креативный класс»²⁵, отличительная особенность которого — высокий уровень образования. В некоторых случаях он прямо характеризуется как «академический класс» (Reckwitz, 2017: 130), т. е. как класс, получивший университетское образование. Реквиц, однако, существенно расширяет содержательное описание данного класса, анализируя прежде всего его образ жизни, стратегии потребления и социальной саморепрезентации. Тем не менее мы видим здесь воспроизведение основных положений теории интеллигенции Махайского: именно доступ к знанию и образованию формирует новую классовую группу, которая занимает определенное властное положение в современных обществах, образуя его «высший класс». Реквиц, впрочем, практически не прибегает к модусу разоблачения своекорыстных властных интересов этого класса, характерному для многих прямых или косвенных последователей Махайского, полагая, видимо, вслед за Гоулднером, что господство такого класса имеет больше позитивных, чем негативных черт. Реквиц не останавливается развернуто на вопросе о замкнутости или открытости этого класса. Однако другие его рассуждения, связанные со свободным самоопределением в рамках выбора коллективной идентичности «неосообществ», свойственным именно современному обществу в отличие традиционного (Reckwitz, 2017: 399), позволяют предположить, что речь идет, скорее, о сравнительно открытом характере этого класса, который к тому же приобрел массовый характер благодаря расширению доступа к высшему образованию. Реквиц практически не использует для описания нового «академического класса» понятие «интеллигенция», однако употребляет по отношению к нему термин «массовая интеллигенция», цитируя работы Маурицио Лаццаро (Ibid.: 183).

Заключение

Проделанный в статье анализ теории интеллигенции Яна Вацлава Махайского позволяет нам сделать следующие выводы. Исторически она была сформулирована в российском контексте как критическая, направленная против социал-демократической и марксистской интеллигенции, выступавшей за революционное преобразование общественного строя. Махайский, в отличие от классической марксистской позиции, считал, что интеллигенция представляет собой самостоятельный класс, который образуется в силу владения определенной нематериальной ценностью — знанием. С точки зрения Махайского, пролетарская революция в конечном счете должна была привести к тому, что именно этот класс займет господствующие позиции в новом обществе. Эта теория была хорошо известна основным лидерам большевистской революции. Она начинает подвергаться все более острой

25. Понятие «креативный класс» было введено социологом Ричардом Флоридой (Флорида, 2005).

критике в СССР сразу после смерти Махайского в 1926 году — в период, когда в СССР начала сворачиваться общественная дискуссия, в которой природа новой установившейся власти определялась также в терминах господства интеллигенции. В конце 1930-х годов эта теория была подвергнута разгрому лично Сталиным, что привело к фактически полному исчезновению идей Махайского из советского интеллектуального пространства. Основным обвинением в адрес «махавщины», ставшей к концу 1930-х нарицательным выражением, была критическая позиция последователей Махайского по отношению к властным амбициям интеллигенции, они обвинялись в стремлении «настроить отсталые, шкурнические элементы против советской интеллигенции», нежелании «культурно расти, учиться, двигаться вперед, к вершинам знания, вместо со всем советским народом» (Что такое «махавщина»?, 1938: 2).

Теория Махайского, однако, нашла свое применение в англоязычном научном пространстве благодаря работам и переводам Макса Номада, лично знавшего Махайского и серьезно относившегося к его идеям. Влияние Махайского на западную социальную и политическую теорию можно проследить уже начиная с 1930-х годов, однако наиболее значительное прямое влияние его идеи оказали на построение ранней теории постиндустриального общества (Дэниел Белл хорошо знал и высоко их оценивал), а также — прямо или опосредованно — на широкий спектр теорий «нового класса» и «общества знания» второй половины XX века. В более поздних социально-теоретических концепциях мы не видим прямого обращения к концепции Махайского, однако, как было показано на примере теории культурного капитала Пьера Бурдье и теории общества сингулярности Андреаса Реквица, ряд положений этой концепции с теми или иными модификациями продолжают сохранять актуальность. Таким образом, следует констатировать, что теория, возникшая в рамках российских дискуссий об интеллигенции, оказалась не только «пророческой» в отношении социально-политической природы советского строя, как считал ряд крупных западных социальных теоретиков (Д. Белл, А. Гоулднер), но и оказывала — сначала прямое, а затем все более опосредованное — влияние на формирование широкого спектра современных западных социальных теорий. В проведенном выше исследовании были исторически прослежены основные узловые пункты и направления этой теоретической рецепции идей Махайского.

Литература

- XV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.: ОГИЗ, 1928. С. 38–67.
- XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчет. 10–21 марта 1939 г. М.: ОГИЗ, 1939. С. 9–38.
- Александров Г. Ф. и др. (1947). Сталин // Большая советская энциклопедия. Т. 52 / Под ред. С. И. Вавилова и др. М.: ОГИЗ. С. 540.

- Андерсон Ф. и др. (сост.). (1928а). Махаевщина // Юдовский В. (ред.). Наши противники: сборник материалов и документов. Т. 1: Легальный марксизм, экономизм, махаевщина, меньшевики, социалисты-революционеры, либералы. М.: Изд-во Коммунист. ун-та им. Я. М. Свердлова. С. 143–160.
- Андерсон Ф. и др. (сост.). (1928б). От составителей // Юдовский В. (ред.). Наши противники: сборник материалов и документов. Т. 1: Легальный марксизм, экономизм, махаевщина, меньшевики, социалисты-революционеры, либералы. М.: Изд-во Коммунист. ун-та им. Я. М. Свердлова. С. 3.
- Бакунин М. А. (1989а). Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда. С. 291–526.
- Бакунин М. А. (1989б). Федерализм, социализм и антитеологизм // Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда. С. 11–124.
- Батурина Н. (1926). Памяти «махаевщины»! // Правда. 2 марта. № 50. С. 12.
- Белл Д. (2004). Грядущее постиндустриальное общество: опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Academia.
- Биллингтон Д. Х. (2001). Икона и топор: опыт истолкования истории русской культуры / Пер. с англ. под общ. ред. В. Скороденко. М.: Рудомино.
- Бурдье П. (2002). Формы капитала / Пер. с фр. М. С. Добряковой // Экономическая социология. Т. 3. № 5. С. 60–74.
- Бурдье П., Пассрон Ж.-К. (2007). Воспроизводство: элементы теории системы образования / Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Просвещение.
- Вавилов Н. И. (1990). Письмо академику М. Б. Митину // Вестник АН СССР. № 9. С. 111–119.
- Вебер М. (2007). О России: Избранное. М.: РОССПЭН.
- Вольский А. (1904). Умственный рабочий. Часть III. Выпуск 1: Социализм и рабочее движение в России. Женева.
- Вольский А. (1905а). Умственный рабочий. Часть I: Эволюция социал-демократии. Женева.
- Вольский А. (1905б). Умственный рабочий. Часть II: Научный социализм. Женева.
- Вольский А. (1905в). Умственный рабочий. Часть III. Выпуск 2: Социалистическая наука как новая религия. Женева.
- Вольский А. (1906а). Буржуазная революция и рабочее дело. Санкт-Петербург: Типо-лит. И. Лурье.
- Вольский А. (1906б). Умственный рабочий. Часть I: Эволюция социал-демократии. Санкт-Петербург: В. Яковенко.
- Вольский А. (1906в). Умственный рабочий. Часть II: Научный социализм. Санкт-Петербург: В. Яковенко.
- Вольский А. (1928). История мексиканских революций. М.–Л.: Государственное издательство.
- Вольский А. (1968). Умственный рабочий. Части I–III. Нью-Йорк: Международное литературное содружество.

- Вооружить наши кадры марксизмом-ленинизмом // Правда. 1938. № 315. 15 ноября. С. 1.
- Грамши А. (1991). Тюремные тетради. Ч. I. М.: Политиздат.
- Джилас М. (1961). Новый класс. Нью-Йорк: Издательство Фредерик А. Прегер.
- Задорожнюк И. Е., Кривенький В. В. (1994). Я. В. Махайский // Политическая история России в партиях и лицах. М.: Терра. С. 293–294.
- Иванов-Разумник Р. В. (1908). Что такое «махаевщина»? К вопросу об интеллигенции. Санкт-Петербург: Издание С. В. Бунина.
- Ильф И., Петров Е. (1938). Разговоры за чайным столом // Правда. № 138. 21 мая. С. 4.
- Кривенький В. В. (1996а). Лозинский // Политические партии России: конец XIX — первая треть XX века. М.: РОССПЭН. С. 320.
- Кривенький В. В. (1996б). Махайский // Политические партии России: конец XIX — первая треть XX века. М.: РОССПЭН. С. 350.
- Кривенький В. В. (2018). Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, организация, практика. М.: РОССПЭН.
- Куренной В. А. (ред.). (2009). Мыслящая Россия: история и теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Фонд «Наследие Евразии».
- Куренной В. А. (2013). Советский эксперимент строительства институтов // Глуценко И. В., Куренной В. А. (ред.). Время, вперед! Культурная политика в СССР. М.: ВШЭ. С. 12–34.
- Куренной В. А. (2020). Общество сингулярностей и новые классы: культур-социология Андреаса Реквица // Logos Review of Books. № 1. С. 28–31.
- Кустарев А. (2006). Нервные люди: очерки об интеллигенции. М.: КМК.
- Кустарев А. (2009). Советская Россия: самоопределительные практики советской интеллигенции // Мыслящая Россия: история и теория интеллигенции и интеллектуалов. М.: Фонд «Наследие Евразии». С. 54–71.
- Ленин В. И. (1972). К вопросу о докладах комитетов и групп РСДРП к общепартийному съезду // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 7: Сентябрь 1902 — сентябрь 1903. М.: Издательство политической литературы.
- Лозинский Е. (1907). Что же такое, наконец, интеллигенция? Санкт-Петербург: Новый Голос.
- Лозинский Е. (1911). Лев Толстой об интеллигенции и рабочем вопросе (с приложением двух неизданных писем Толстого к автору). Санкт-Петербург: Северная Печатня.
- Манхейм К. (2010). Эссе о социологии культуры // Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени. М.: Говорящая книга. С. 7–264.
- Маркс К. (1955). Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 3. М.: Изд-во политической литературы.
- Маркс К. (1960). Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 23. М.: Изд-во политической литературы.
- Махаевщина // Большая советская энциклопедия. Т. 38. 1-е изд. 1938. С. 494.

- Махаевщина // Большая советская энциклопедия. Т. 26. 2-е изд. 1954. С. 544.
- Митин М. Б. (1939). За передовую советскую генетическую науку // Под знаменем марксизма. № 10. С. 147–176.
- Моррас Ш. (2003). Будущее интеллигенции / Пер. с фр. А. М. Руткевича. М.: Практика.
- О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б). Постановление ЦК ВКП(б) // Правда. 1938. № 315. 15 ноября. С. 1.
- Рублев Д. И. (2007). Проблема «интеллигенция и революция» в российской анархистской публицистике конца XIX — начала XX века: Диссертация... кандидата исторических наук: 07.00.02. Москва.
- Рублев Д. И. (2020). «Науко-политическое сословие» и «диктатура интеллектуалов»: проблема «интеллигенция и революция» в анархистской публицистике России конца XIX — начала XX веков. М.: Ленанд.
- Румянцева М. В. (2016). Концепция модерна в школе Иоахима Риттера: Диссертация... кандидата философских наук: 09.00.03. Москва.
- Скирда А. (2003). Социализм интеллектуалов. Ян Вацлав Махайский. Разоблачитель социализма, марксизма и самого Маркса. Париж: Громада.
- Сталин И. В. (2006). Выступление на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам партийной пропаганды в связи с выходом «Краткого курса истории ВКП(б)» 10 октября 1938 года // Сталин И. В. Сочинения. Т. 18. Тверь: Союз. С. 159–169.
- Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, 31 июля — 7 августа 1948 г. М.: ОГИЗ, Сельхозгиз, 1948.
- Судьбы русской интеллигенции: Материалы дискуссий. 1923–1925 гг. Новосибирск: Наука, 1991.
- Сувалко А. С. (2021). Прощание с иллюзиями: анализ общества позднего модерна Андреаса Реквица // Социологическое обозрение. Т. 20. № 1. С. 305–322.
- Сыркин Л. Н. (1929). Махаевщина (Из истории общественной жизни в России) // Красная летопись. № 6. С. 182–212.
- Сыркин Л. Н. (1930). Махаевщина (Из истории общественной жизни в России) // Красная летопись. № 1. С. 117–145.
- Сыркин Л. Н. (1931). Махаевщина. М., Л.: ОГИЗ.
- Толстой Л. Н. (1936). О «Вехах» // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 38. М.: Художественная литература. С. 285–290.
- Троцкий Л. Д. (1924). Ленин и старая «Искра»: материалы для биографа. М.: Государственное издательство.
- Троцкий Л. Д. (2014). Преданная революция: что такое СССР и куда он идет? М.: Лань.
- Флорида Р. (2005). Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Пер. с англ. А. Константинова. М.: Классика-XXI.
- Что такое «махаевщина»? // Правда. 1938. № 318. 18 ноября.
- Шетлих А. В. (1926). Памяти В. К. Махайского // Известия. 24 февраля. № 45. С. 4.

- Avrich P.* (1967). *The Russian Anarchists*. Princeton: Princeton University Press.
- Bell D.* (1979). *The New Class: A Muddled Concept* // *Society*. Vol. 16. № 2. P. 15–23.
- Bell D.* (1988). *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bourdieu P., Sapiro G., McHale B.* (1991). *Fourth Lecture. Universal Corporatism: The Role of Intellectuals in the Modern World* // *Poetics Today*. Vol. 12. № 4. P. 655–669.
- Burnham J.* (1941). *The Managerial Revolution*. N.Y.: John Day Co.
- Calverton V. F. (ed.)*. (1937). *The Making of Society: An Outline of Sociology*. N.Y.: The Modern Library.
- Drucker P. F.* (1969). *The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society*. L.: William Heinemann.
- Gouldner A. W.* (1975–1976). *Prologue to a Theory of Revolutionary Intellectuals* // *Telos*. № 26. Winter. P. 3–36.
- Gouldner A. W.* (1979). *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*. L.: Macmillan.
- King L. P., Szelenyi I.* (2004). *Theories of the New Class: Intellectuals and Power*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Konrad G., Szelenyi I.* (1979). *The Intellectuals on the Road to Class Power*. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich.
- Kurennoy V.* (2021). *Contemporary State Cultural Policy in Russia: Organization, Political Discourse and Ceremonial Behavior* // *International Journal of Cultural Policy*. Vol. 27. № 2. P. 163–176.
- Lasswell H.* (1935). *World Politics and Personal Insecurity*. N.Y.: Whittlesey House.
- Machajski J. W.* (1979). *Le socialisme des intellectuels*. P.: Seuil.
- Müller O. W.* (1971). *Intelligencija: Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes*. Frankfurt am Main: Athenäum.
- Nomad M.* (1932). *Rebels and Renegades*. N.Y.: Macmillan.
- Nomad M.* (1961). *Apostles of Revolution*. N.Y.: Collier Books.
- Pryor Fr. L.* (1981). *The «New Class»: Analysis of the Concept, the Hypothesis and the Idea as a Research Tool* // *American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 40. № 4. P. 367–379.
- Reckwitz A.* (2017). *Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne*. Berlin: Suhrkamp.
- Reckwitz A.* (2019). *Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne*. Berlin: Suhrkamp.
- Riehl W. H.* (1851). *Die bürgerliche Gesellschaft*. Stuttgart: Cotta.
- Schatz M.* (1989). *Jan Waclaw Machajski: A Radical Critic of Russian Intelligentsia and Socialism*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Stein L. v.* (1921). *Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. Bd. 1: Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1830*. München: Drei Masken.

Szelényi I., Martin B. (1988). The Three Waves of New Class Theories // *Theory and Society*. Vol. 17. № 5. P. 645–667.

Criticism of Marxism as a Proto-theory of Cultural Capital and the “New Class”: J. W. Machajski’s Theory of Intelligentsia

Maria Chernovskaya

PhD Student, School of Philosophy; Research Assistant, International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, HSE University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: chernovskayam@gmail.com

The article is devoted to the theory of intelligentsia developed by Jan Waclaw Machajski (1866–1926) and to the history of its transfer and reception in modern Western social theories. The main thesis of the article is that Machajski’s theory directly influenced the shaping of several Western social theories in the second half of the 20th century, such as the theories of the new class and the post-industrial society. The article includes a review of modern research literature devoted to Machajski, a brief biographical sketch, and an explication of the main thesis of his theory of intelligentsia. A history of the reception and the criticism of Machajski’s theory is analyzed in both the Soviet and post-Soviet periods, the result being that this theory was practically excluded from the Russian conceptual and theoretical context. In the article, the history of the transfer of this theory to the Western context in which Max Nomad played the decisive part is analyzed. As the result of this transfer, these ideas became known and acknowledged by a range of social theorists of the middle of the 20th century, for example, by Daniel Bell and Alvin Gouldner. In the concluding part of the work, it is shown that Machajski’s ideas that considered access to education and knowledge as a certain type of capital can be systematically recognized in later theories, in particular, in the theory of cultural capital by Pierre Bourdieu, and in the theory of society of singularities by Andreas Reckwitz.

Keywords: Machajski, intellectuals, intelligentsia, new class, Daniel Bell, cultural transfer

References

- XV sjezd vsesojuznoj kommunisticheskoy partii (b). *Stenograficheskij otchet* [The 15th Congress of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Report], Moscow: OGIZ, 2018.
- XVIII sjezd Vsesojuznoj Kommunisticheskoy partii (b). *Stenograficheskij otchet* [The 18th Congress of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Report], Moscow: OGIZ, 1939.
- Aleksandrov G. et al. (1947) Stalin. *Bol'shaja Sovetskaja Jenciklopedija. T. 52* [Big Soviet Encyclopedia, Vol. 52] (eds. S. Vavilova et al.), Moscow: OGIZ, p. 540.
- Anderson F. et al. (1928) Mahaevshhina. *Nashi protivniki: sbornik materialov i dokumentov. T. 1* [Our Enemies: Collection of Materials and Documents, Vol. 1], Moscow: Sverdlov Communist University, pp. 143–160.
- Anderson F. et al. (1928) Ot sostavitelej [From Editors]. *Nashi protivniki: sbornik materialov i dokumentov. T. 1* [Our Enemies: Collection of Materials and Documents, Vol. 1], Moscow: Sverdlov Communist University, p. 3.
- Avrich P. (1967) *The Russian Anarchists*, Princeton: Princeton University Press.
- Bakunin M. (1989) *Gosudarstvennost' i anarhija* [Statism and Anarchy]. *Filosofija, Sociologija. Politika* [Philosophy. Sociology. Politics], Moscow: Pravda, pp. 291–526.

- Bakunin M. (1989) *Federalizm, socializm i antiteologizm* [Federalism, Socialism, Anti-Theologism]. *Filosofija, Sociologija. Politika* [Philosophy. Sociology. Politics], Moscow: Pravda, pp. 11–124.
- Baturin N. (1926) *Pamjati "mahaevshhiny!"* [In Memory of "Machaevtshina"]. *Pravda*, 2 march, no 50, p. 12.
- Bell D. (1979) *The New Class: A Muddled Concept*. *Society*, vol. 16, no 2, pp. 15–23.
- Bell D. (1988) *The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*, Cambridge: Harvard University Press.
- Bell D. (2004) *Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo: opyt social'nogo prognozirovaniya* [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting], Moscow: Academia.
- Billington D.-H. (2001) *Ikona i topon: opyt istolkovanija istorii russkoj kul'tury* [The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture], Moscow: Rudomino.
- Bourdieu P., Sapiro G., McHale B. (1991) Fourth Lecture. *Universal Corporatism: The Role of Intellectuals in the Modern World*. *Poetics Today*, vol. 12, no 4, pp. 655–669.
- Bourdieu P. (2002) *Formy kapitala* [Forms of Capital]. *Journal of Economic Sociology*, no 5, pp. 60–74.
- Bourdieu P., Passeron J.-C. (2007) *Vosprievodstvo: jelementy teorii sistemy obrazovanija* [Reproduction: Elements of the Theory of Educational System], Moscow: Prosveshenie.
- Burnham J. (1941) *The Managerial Revolution*, New York: John Day Co.
- Calverton V. F. (ed.) (1937) *The Making of Society: An Outline of Sociology*, New York: The Modern Library.
- Chto takoe "mahaevshhina"? [What is "mahaevshhina"?]. *Pravda*, 1938, no 318, 18 November.
- Djilas M. (1961) *Novyj klass* [New Class], New York: Frederick A. Praeger.
- Drucker P. F. (1969) *The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society*, London: William Heinemann.
- Florida R. (2005) *Kreativnyj klass: ljudi, kotorye menjajut budushhee* [The Rise of the Creative Class, and How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life], Moscow: Klassika-XXI.
- Gouldner A.W. (1975–1976) Prologue to a Theory of Revolutionary Intellectuals. *Telos*, no 26, Winter, pp. 3–36.
- Gouldner A.W. (1979) *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class*, London: Macmillan.
- Gramsci A. (1991) *Tjuremnye tetradi. Ch. 1* [Prison Notebooks, Part 1], Moscow: Politizdat.
- Ilf I., Petrov E. (1938) *Razgovory za chajnym stolom* [Conversations at Tea]. *Pravda*, no 138, 21 May, p. 4.
- Ivanov-Razumnik R. (1908) *Chto takoe "mahaevshhina"? K voprosu ob intelligencii* [What is "mahaevshhina"? On the Question of Intelligentsia], Saint Petersburg: S. V. Bunin.
- King L. P., Szelényi I. (2004) *Theories of the New Class: Intellectuals and Power*, Minnesota: University of Minnesota Press.
- Konrád G., Szelényi I. (1979) *The Intellectuals on the Road to Class Power*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Krivenky V. (1996) *Lozinskij* [Lozinsky]. *Politicheskie partii Rossii: konec XIX — pervaja tret' XX veka* [Political Parties in Russia: The End of 19th — the First Third of the 20th Centuries], Moscow: ROSSPEN.
- Krivenky V. (1996) *Mahajskij* [Mahajskij]. *Politicheskie partii Rossii: konec XIX — pervaja tret' XX veka* [Political Parties in Russia: The End of 19th — the First Third of the 20th Centuries], Moscow: ROSSPEN.
- Krivenky V. (2018) *Anarhistskoe dvizhenie v Rossii v pervoj chetverti XX veka: teorija, organizacija, praktika* [Anarchist Movement in Russia in the First Quarter of the 20th Century: Theory, Organization, Practice], Moscow: ROSSPEN.
- Kurennoy V. (ed.) (2009) *Mysl'ashchaya Rossija: Istorija i teorija intelligencii i intellektualov* [Thinking Russia: History and Theory of Intelligentsia and Intellectuals], Moscow: Fond Nasledie Evrazii.
- Kurennoy V. (2013) *Sovetskij eksperiment stroitel'stva institutov* [Soviet Experiment of Building Institutes]. *Vremja, vpered! Kul'turnaja politika v SSSR* [It's Time, Forward! Cultural Policy in the USSR] (eds. I. Glushchenko, V. Kurennoy), Moscow: HSE, pp. 12–34.
- Kurennoy V. (2020) *Obshhestvo singuljarnostej i novye klassy: kul'tur-sociologija Andreasa Reckwitzta* [The Society of Singularities and New Class: Cultural Sociology of Andreas Reckwitz]. *Logos Review of Books*, no 1, pp. 28–31.

- Kurennoy V. (2021) Contemporary State Cultural Policy in Russia: Organization, Political Discourse and Ceremonial Behavior. *International Journal of Cultural Policy*, vol. 27, no 2, pp. 163–176.
- Kustarev A. (2006) *Nervnye ljudi: ocherki ob intelligencii* [Nervous People: Essays on Intelligentsia], Moscow: KMK.
- Kustarev A. (2009) Sovetskaja Rossija: samoopredelitel'nye praktiki sovetskoy intelligencii [Soviet Russia: Self-defining Practices of Soviet Intelligentsia]. *Mysljashchaya Rossija: istorija i teorija intelligencii i intellektualov* [Thinking Russia: History and Theory of Intelligentsia and Intellectuals] (ed. V. Kurennoy), Moscow: Fond Nasledie Evrazii, pp. 54–71.
- Lasswell H. (1935) *World Politics and Personal Insecurity*, New York: Whittlesey House.
- Lenin V. (1972) K voprosu o dokladah komitetov i grupp RSDRP k obshhepartijnomu sjezdu [Toward the Question of Reports of Committees of RSDRP Groups on Party Congress]. *Polnoe sobranie sochinenij. T. 7* [Complete Works, Vol. 7], Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Lozinsky E. (1907) *Chto zhe takoe, nakonec, intelligencija?* [What is Intelligentsia, Finally?], Saint Peterburg: Novy Golos.
- Lozinsky E. (1911) *Lev Tolstoj ob intelligencii i rabochem voprose* [Leo Tolstoy on Intelligentsia and Question of Worker], Saint Peterburg: Severnaja Pechatnja.
- Machajski J. W. (1979) *Le socialisme des intellectuels*, Paris: Seuil.
- Mannheim K. (2010) *Jesse o sociologii kul'tury* [Essays on the Sociology of Culture]. *Izbrannoe: Diagnoz nashego vremeni* [Diagnosis of Our Time: Selected Works], Moscow: Govorjashhaja kniga, pp. 7–264.
- Marx K. (1955) *Nemeckaja ideologija* [German Ideology]. Marks K., Engels F., *Sobranie sochinenij. T. 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Izd-vo politicheskoy literatury.
- Marx K. (1960) *Kapital* [Capital]. Marks K., Engels F., *Sobranie sochinenij. T. 23* [Works, Vol. 23], Moscow: Izdatelstvo politicheskoy literatury.
- Mahaevshchina [Makhaevshchina]. *Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. T. 38* [Big Soviet Encyclopedia, Vol. 38], 1938, p. 494.
- Mahaevshchina [Makhaevshchina]. *Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. T. 26* [Big Soviet Encyclopedia, Vol. 26], 1954, p. 544.
- Maurras Ch. (2003) *Budushhee intelligencii* [The Future of the Intelligentsia], Moscow: Praxis.
- Mitin M. (1939) Za peredovuju sovetskuju geneticheskiju nauku [For the Advanced Soviet Genetic Science]. *Pod znaniemem marksizma*, no 10, pp. 147–176.
- Müller O. W. (1971) *Intelligencija: Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes*, Frankfurt am Main: Athenäum.
- Nomad M. (1932) *Rebels and Renegades*, New York: The Macmillan Company.
- Nomad M. (1961) *Apostles of Revolution*, New York: Collier Books.
- O postanovke partijnoj propagandy v svjazi s vypuskom "Kratkogo kursa istorii VKP(b)" [On the Issue of Party Propaganda Due to the Publication of the "Short Course of History of VKP(b)"]. *Pravda*, 1938, no 315, 15 November, p. 1.
- Pryor Fr. L. (1981) The "New Class": Analysis of the Concept, the Hypothesis and the Idea as a Research Tool. *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 40, no 4, pp. 367–379.
- Reckwitz A. (2017) *Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne*, Berlin: Suhrkamp.
- Reckwitz A. (2019) *Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne*, Berlin: Suhrkamp.
- Riehl W. H. (1851) *Die bürgerliche Gesellschaft*, Stuttgart: Cotta.
- Rublev D. (2007) *Problema "intelligencija i revoljucija" v rossiskoj anarchistkoj publicistike konca XIX — nachala XX veka* [The Problem of "Intelligentsia and Revolution" in Russian Anarchist Political Essays at the End of 19th — Beginning of the 20th Centuries] (Candidate of Historical Sciences Dissertation), Moscow.
- Rublev D. (2020) "Nauko-politicheskoe soslovie" i "diktatura intellektualov": problema "intelligencija i revoljucija" v anarchistkoj publicistike Rossii konca XIX — nachala XX vekov ["Scientific and Political Estate" and "Dictatorship of Intellectuals": The Problem of "Intelligentsia and Revolution" in Russian Anarchist Political Essays at the End of 19th — Beginning of the 20th Centuries], Moscow: Lenand.

- Rumyantseva M. (2016) *Koncepcija moderna v shkole Joahima Rittera* [Conception of Modernity in Joachim Ritter School] (Candidate of Philosophical Sciences Dissertation), Moscow.
- Schatz M. (1989) *Jan Waclaw Machajski: A Radical Critic of Russian Intelligentsia and Socialism*, Pittsburg: University of Pittsburgh Press.
- Shetlikh A. (1926) Pamjati V. K. Mahajskogo [In Memory of J. W. Machajski]. *Izvestija*, 24 February, no 45, p. 4.
- Skirda A. (2003) *Socializm intellektualov. Jan-Vaclav Mahajskij: razoblačitel' socializma, marksizma i samogo Marks'a* [Socialism of Intellectuals. Jan-Vaclav Mahajskij: The Debunker of Socialism, Marxism, and the Marx Himself], Paris: Gromada.
- Stalin I. (2006) *Vystuplenie na zasedanii Politburo CK VKP(b) po voprosam partijnoj propagandy v svjazi s vyhodom "Kratkogo kursa istorii VKP(b)" 10 oktjabrja 1938 goda* [Speech on Politburo Meeting of CC of CPSU on the Issue of Party Propaganda in Relation to the Publication of "Short Course of History of CPSU", October 10, 1938]. *Sochinenija. T. 18* [Works, Vol. 18], Tver': Sojuz, pp. 159–169.
- Stein L. v. (1921) *Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Bd. 1: Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der französischen Revolution bis zum Jahre 1830*, München: Drei Masken.
- Stenograficheskiy otchjet sessii Vsesojuznoj akademii sel'skohozajstvennyh nauk imeni V. I. Lenina, 31 july — 7 august 1948* [Verbatim Report of the Session of Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences, 31 July — 7 August 1948], Moscow: OGIZ, Selkhozgiz, 1948.
- Sud'by russkoj intelligencii: materialy diskussij. 1923–1925 gg.* [Fate of Russian Intelligentsia: Discussion Materials, 1923–1925], Novosibirsk: Nauka, 1991.
- Suvalko A. (2021) *Proshhannie s illuzijami: analiz obshhestva pozdnego moderna Andreas Rekvica* [Farewell to Illusions: An Analysis of Late Modern Society by Andreas Reckwitz]. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 1, pp. 305–322.
- Syrkin L. (1929) *Mahaevshchina* (Iz istorii obshhestvennoj zhizni v Rossii) [Mahaevshchina: From the History of Social Life in Russia]. *Krasnaja letopis'*, no 6, pp. 182–212.
- Syrkin L. (1930) *Mahaevshchina* (Iz istorii obshhestvennoj zhizni v Rossii) [Mahaevshchina: From the History of Social Life in Russia]. *Krasnaja letopis'*, no 1, pp. 117–145.
- Syrkin L. (1931) *Mahaevshchina* [Mahaevshchina], Moscow-Leningrad: OGIZ.
- Szelenyi I., Martin B. (1988) *The Three Waves of New Class Theories. Theory and Society*, vol. 17, no 5, pp. 645–667.
- Tolstoy L. (1936) *O "Vehah"* [About "Vekhi"]. *Polnoe sobranie sochinenij. T. 38* [Complete Works, Vol. 38], Moscow: Khudozhestvennaia Literatura, pp. 285–290.
- Trotsky L. (1924) *Lenin i staraja "Iskra": materialy dlja biografa* [Lenin and the Old "Iskra": Materials for a Biography], Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
- Trotsky L. (2014) *Predannaja revoljucija: chto takoe SSSR i kuda on idet?* [The Revolution Betrayed: What is the Soviet Union and Where Is It Going], Moscow: Lan'.
- Vavilov N. (1990) Pis'mo akademiku N. B. Mitinu [Letter to Academic N. B. Mitin]. *Vestnik AN SSSR*, no 9, pp. 111–119.
- Volsky A. (1904) *Umstvennyj Rabochij. Chast' III. Vypusk I: Socializm i rabochee dvizhenie v Rossii* [Intellectual Worker, Part 3, Vol. 1: Socialism and Labor Movement in Russia], Zheneva.
- Volsky A. (1905) *Umstvennyj rabochij. Chast' I: Jevoljucija socialdemokratii* [Intellectual Worker, Part 1: Evolution of Social Democracy], Zheneva
- Volsky A. (1905) *Umstvennyj rabochij. Chast' II: Nauchnyj socialism* [Intellectual Worker, Part 2: Scientific Socialism], Zheneva.
- Volsky A. (1905) *Umstvennyj Rabochij. Chast' III. Vypusk II: Socialisticheskaja nauka kak novaja religija* [Intellectual Worker, Part 3, Vol. 2: Socialistic Science as a New Religion], Zheneva.
- Volsky A. (1906) *Burzhuaznaja revoljucija i rabochee delo* [Bourgeois Revolution and the Labor Movement], Saint Peterburg: I. Lurie.
- Volsky A. (1906) *Umstvennyj Rabochij. Chast' I: Jevoljucija socialdemokratii* [Intellectual Worker, Part 1: Evolution of Social Democracy], Saint Peterburg: V. Yakovenko.
- Volsky A. (1906) *Umstvennyj Rabochij. Chast' II: Nauchnyj socializm* [Intellectual Worker, Part 2: Scientific Socialism], Saint Peterburg: V. Yakovenko.

- Volsky A. (1928) *Istorija meksikanskih revoljucij* [History of Mexican Revolutions], Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo.
- Volsky A. (1968) *Umstvennyj Rabochij* [Intellectual Worker], New York: Mezhdunarodnoe literaturnoe sodruzhestvo.
- Vooruzhit' nashi kadry marksizmom-leninizmom [Arm Our Manpower with Marxism-Leninism]. *Pravda*, 1938, no 315, 15 November, p. 1.
- Weber M. (2007) *O Rossii: Izbrannoe* [On Russia: Selected Works], Moscow: ROSSPEN.
- Zadorozhnyuk I., Krivenky V. (1994) Jan. V. Mahajskij [J. W. Machajski]. *Politicheskaja istorija Rossii v partijah i licah* [Political History of Russia in Parties and Persons], Moscow: Terra, pp. 293–294.

Добродетель и античный полис: место книги «Город и человек» в корпусе работ Лео Штрауса*

ШТРАУС Л. (2021). ГОРОД И ЧЕЛОВЕК / ПЕР. С АНГЛ. Н. СЕЛИВЁРСТОВА. СПБ.: ВЛАДИМИР ДАЛЬ, 2021. 504 С. ISBN 978-5-93615-267-2

Александр Павлов

Доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии,
факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: apavlov@hse.ru

Статья посвящена историко-философскому исследованию книги «Город и человек», опубликованной политическим философом Лео Штраусом в 1964 году. Автор, основываясь на большом количестве материала, пытается ответить на вопрос о том, какое место занимает книга в творческом наследии Штрауса, а также предлагает собственное прочтение данной работы. Отмечая, что «Город и человек» по большей части считается маргинальной в сравнении с другими сочинениями Штрауса, автор приводит несколько политических интерпретаций книги. Не соглашаясь ни с одной из них, автор предполагает, что работа «Город и человек» должна рассматриваться в контексте исследований Штраусом классической политической философии. Разбирая каждую из трех глав книги, посвященных «Политике» Аристотеля, «Государству» Платона и «Истории Пелопоннесской войны» Фукидиды, автор приходит к выводу, что все три текста связаны единой фигурой человека. Этим человеком является Сократ, открывший «здравомыслие» как основу политической философии. Все три работы важны постолько, поскольку их единственным корнем является «здравомыслие», на основе которого, видимо, и предстоит возрождать классическую политическую философию. Обращение к классическому рационализму посредством сопоставления категорий добротели (блага) и города (полиса) может пролить свет на современную проблему соотношения этики и права.

Ключевые слова: практическая философия, этика, право, добротель, политическая философия, Лео Штраус, Платон, Аристотель, Фукидид, Сократ

Лео Штраус (1899–1973) — выдающийся (политический) философ XX века. Сам он предпочитал скромно называть себя «историком политической философии». Как написал его ученик Алан Блум: «Лео Штраус был философом. Сам он никогда бы так не сказал, потому что был слишком скромен и слишком благоговел перед редким типом человека и образом жизни, представленным этим титулом, чтобы

* Исследование выполнено при поддержке НИУ ВШЭ, проект «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния».

присвоить его себе, особенно в эпоху, когда его употребление стало таким частым» (Bloom, 1974: 376). При этом Штраус оказал слишком большое влияние на всю политическую науку — а не только на ее часть, политическую теорию, — и отчасти на американскую политику. Или, во всяком случае, если не на политический процесс непосредственно, то на медиадискурс, тесно связанный с неоконсерватизмом как политическим и интеллектуальным течением в рамках американского идеологического спектра. Исходя из того, что это очень известный философ, можно сказать, что ему лишь относительно повезло в России в смысле представленности его идей в академии и в публичном пространстве. Повезло в двух отношениях.

Во-первых, как ранее в США, Штрауса в России продолжают демонизировать. Тому есть относительно свежий показательный пример — статья публициста Владимира Можегова «Лео Штраус и его армия: наследие и наследники политического мессии», в которой философ представлен заговорщиком, создавшим элитную еврейскую секту, поставившую своей целью завоевание мира. Эту статью можно было бы назвать «постправдвой», если бы она не была неверна буквально. Так, автор цитирует следующие слова «профессора Е. М. Дроне»: «Есть несколько кругов учеников, и менее посвящённые годятся, но для другой цели; своим же ближайшим ученикам передаём тонкости учения вне текста, в устной традиции, совсем почти тайно. <...> Воспитываем несколько выпусксов, все посвящённые составляют как бы секту, помогают друг другу с карьерой, делая её сами, держат в курсе учителя. <...> Через несколько десятков лет „наши“ без единого выстрела берут власть в самой сильной стране мира» (Можегов, 2020).

Дело в том, что когда-то, во второй половине 2000-х годов, эта цитата украшала российскую страничку Штрауса в Wikipedia. В конце 2000-х годов некоторые мои студенты, писавшие о Штраусе эссе и курсовые, в библиографии приводили «книгу» со следующим описанием: «Дроне Е. М. Вопрос о необходимости осуществления революции в данный момент времени (работы Лео Штрауса). — М.: Вестник ИБП, 2004», которую не только упоминает, но и цитирует Можегов. На мои просьбы показать сам источник и на вопрос, в самом ли деле они видели «книгу» «Дроне Е. М.», студенты признавались, что не видели и не могут показать текст, так как обращались к Wikipedia, не идя дальше. Якобы активная внешняя ссылка на pdf, разумеется, вела в никуда. Цитируемого источника просто-напросто не существует. Более того, его уже давно удалили из Wikipedia, но современный отечественный автор откопал «книгу», чтобы устроить этот подлог. Конечно, нет такой вещи, как плохая реклама, и в этом смысле Штраусу «повезло». Но все же если перефразировать самого Штрауса, то можно сказать, что плохая реклама хороша для добродетельных людей и плоха для недобродетельных. В данном случае, опять же по заветам Штрауса, добродетель может быть приравнена к знанию. Когда же вместо знания читающей — и пока еще не знающей — публике предлагается подлог, ничем хорошим это не может закончиться. И вот почему необходимо читать самого Штрауса, чтобы понять, возглавлял ли он какую-то «секту». Это приводит нас к следующему пункту относительного везения Штрауса в России.

Во-вторых, Штрауса переводят на русский. Обычно исследователи сравнивают его с другими великими политическим философами, сложившимися и прославившимися в первой половине XX века. Например, с Ханной Арендт или с Майклом Оукшотом (Keedus, 2015; McIlwain, 2019). Что ж, на русский язык перевели куда меньше трудов Штрауса, чем Ханны Арендт, но больше, чем Майкла Оукшота. Первая книга Штрауса, «Введение в политическую философию», на русском появилась в 2000 году (Штраус, 2000а). Тогда возник соблазн подумать, что в новом тысячелетии отечественная гуманитарная наука будет развиваться, поэтому можно было ожидать последующие переводы. И они не заставили себя ждать: в 2006 году вышла важнейшая книга Штрауса «О тирании» (вместе с диалогом Ксенофона и полемикой Штрауса и Александра Кожева), а уже в 2007 году — «Естественное право и история» (Штраус, 2006, 2007). К сожалению, следующий перевод именно книги Штрауса (некоторые его статьи, включая «Замечания к „Понятию политического“ Карла Шмитта» (Штраус, 2012), переводились и публиковались в разных изданиях) пришлось ждать пятнадцать лет. И вот, в 2022 году мы получаем перевод «Город и человек». Выше мы не случайно процитировали конспирологический текст про Штрауса. Фактически единственная книга самого Штрауса, к идеям которой обращается Можегов в своей статье, это и есть «Город и человек». Можегов пишет: «Главные доктрины своего учения: отрицание свободы, отрицание равенства и отрицание истины, и, наконец, необходимость лжи в политической жизни, Штраус утверждает на огромном материале всей европейской истории и цивилизации от Афин до Иерусалима (см.: Штраус Л. Город и человек, 1964)» (Можегов, 2020). Что ж, кажется, теперь мы можем не просто почтить эту якобы полную политических откровений книгу Штрауса на русском, но и поискать в ней мысли, обнаруженные пылким конспирологическим воображением.

Но прежде, чем мы обратимся к содержанию текста, а также обсудим его место в корпусе работ Штрауса, скажем несколько слов о ее русском издании. Книга вышла в издательстве «Владимир Даль» в серии «Политическая теология», в которой также представлены «Смысл истории» Карла Лёвита и «Новая наука политики» Эрика Фёгелина (Фёгелин, 2021; Лёвит, 2021). И хотя работа «Город и человек» Штрауса может быть классифицирована как «политическая теология» лишь условно («теология» в ней есть, но её не так много, как, скажем, у того же Фёгелина), объединять под одним лейблом Штрауса, Фёгелина и Левита — более чем уместно. Это европейские философы, сложившиеся и прославившиеся в середине XX столетия. Самому переводу предшествует введение «Лео Штраус: возвращение к главному вопросу политической философии» Владимира Прокопенко (Прокопенко, 2021). Автор достаточно обстоятельно вводит русскоязычного читателя в контекст книги: рассказывает о судьбе Штрауса в России, характеризует его письмо, говорит о знаменитых учениках философа и о нем самом как об учителе, описывает конфликты вокруг наследия Штрауса в академии и заканчивает изложением основных идей книги «Город и человек». Все это сделано с привлечением большого

количества материала, так что можно заключить, что обсуждаемое введение — достойный вклад в российское штраусоведение.

Перевод выполнен на высоком уровне. В целом переводчик пытался сохранить стиль или, сказать лучше, «манеру письма» Штрауса, переложив его на русский настолько, насколько это было можно сделать. Так, введение и главу о «Политике» Аристотеля невероятно сложно читать на русском. Точно так же, как и на английском. Ранее, когда приходилось читать эти отрывки в оригинале, складывалось ощущение, что понимание данного текста дается тяжело. Это можно было списать на проблемы с языком: всегда остаются опасения, что чего-то недопонял. Русский перевод фактически упраздняет эти сомнения. Данные главы на русском такие же туманные и пространные, как и на английском. Причем имеются в виду не идеи, а собственно текст, то есть весь объем последовательно связанных предложений, состоящих из слов. Отмечу, что я не одинок в этом мнении. Так, Сьюзен Д. Коллинз, анализируя ту же самую главу, признается: «...манера письма Штрауса затрудняет понимание его намерений и мыслей» (Collins, 2015: 444). И переводчику полностью удалось передать эту «манеру». При этом что важно, в том же самом переводе формулировки глав о «Государстве» Платона и «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида куда более ясные и четкие. Это опять же соответствует оригинальному тексту.

Из несущественных недостатков перевода я бы назвал недостаточную аккуратность в передаче терминов. Так, единожды встречающееся в оригинале словосочетание «общественный договор» (*social contract*) переводчик перевел как «социальный контракт», притом что ранее «contract» был договором. Скорее всего, это вызвано тем, что автор перевода хотел избежать повторов. Один из знаковых для книги терминов «common sense» удачно переводится как «здравомыслие». Однако когда нужно использовать именно его, иногда (очень редко) переводчик позволяет себе не быть точным, например, здесь: «поиск „здравого“ понимания политических вещей» (Штраус, 2021: 499), в то время как у Штрауса речь идет именно о «здравомыслии», то есть о том, что уже решено: «The quest for that „common sense“ understanding of political things» (Strauss, 1978: 240). Некоторые термины переводчик дал в не совсем привычном для нас звучании («природное» вместо «естественного состояния»), некоторые передал слишком буквально, как, например, «современный проект» (*modern project*). Вероятно, здесь можно было бы сделать сноску с пояснением, что именно имеется в виду, или же перевести термин менее буквально, скажем, как «проект модерна» или «проект современности», чтобы избежать смешения с терминами Юргена Хабермаса. Но все это даже нельзя назвать недостатками: это решение переводчика, и нам остается его принять. Тем более что в целом к переводу придаться нельзя.

Теперь, поскольку наследие Штрауса переводится у нас не так часто, нам необходимо задаться вопросом о том, какое место в корпусе текстов философа занимает «Город и человек». Один из самых последовательных, любимых (и при этом неоднозначных) учеников Штрауса Алан Блум предложил краткую периодизацию

творческого пути учителя. Блум разделил наследие Штрауса на три этапа. Первый — ранний, когда философ начинал исследовательскую работу и только подступался к своему методу чтения (и, возможно, собственного письма). К этому этапу относятся «Критика религии у Спинозы» (1930), «Философия и закон. Пояснения к Маймониду и его предшественникам» (1935) и «Политическая философия Гоббса: ее основа и генезис» (1936). Последняя книга вышла в Англии: сперва она была написана на немецком, и поэтому вышла в переводе (надо заметить, не в авторском, но авторизованном). Текст про Спинозу впоследствии был переведен относительно быстро. Работа о Маймониде в тот момент, когда Блум писал статью, еще не вышла на английском, и он отмечал, что это большое упущение для американской политической философии, так как этот текст должен был помочь понять общий методологический подход Штрауса. Второй этап связан с открытием эзотерического письма, что нашло отражение в сочинениях «О тирании» ((1948) первая работа, вышедшая в США, и первая, написанная сразу на английском), «Преследование и искусство письма» (1952) и «Естественное право и история» (1953). Здесь, по мнению Блума, Штраус уже позволяет себе изощренные интерпретации мыслителей прошлого, а также начинает свой проект критики историцизма и позитивизма. На третьем этапе, полагает Блум, Штраус пишет свои зрелые работы. В книгах «Мысли о Макиавелли» (1958), «Город и человек» (1964), «Сократ и Аристофан» (1966), нескольких исследованиях об Аристофане и Ксенофонте и в изданной посмертно «Аргумент и действие в „Законах“ Платона» (вышла в 1975-м, закончена в 1971-м) Штраус становится наиболее оригинальным и именно здесь провозглашает идею реставрации классической политической философии. С точки зрения Блума, именно эти работы требуют внимательного, аккуратного прочтения (Bloom, 1974: 383–387).

Эта периодизация небесспорна. Скажем, «Мысли о Макиавелли» можно было бы отнести скорее ко второму периоду творчества Штрауса, когда он был наиболее увлечен эзотеризмом. И, кажется, именно работы второго периода стоит читать куда более внимательно, чем тексты, относимые Блумом к третьему этапу. Блум также замечает, что исследования третьего периода игнорировались научным сообществом. Если учесть, что почти все они посвящены античности (Ксенофонту, Аристофану, Платону и т. д.), это неудивительно, поскольку профессиональные исследователи классической древности относились к методу Штрауса со скепсисом (Landy, 2014: 11). Отметим, что Штрауса следует рассматривать не как историка, но как философа-интерпретатора истории философии. Аргумент в пользу такого понимания деятельности Штрауса мы, например, можем найти у Кэтрин Цукерт, которая предлагает назвать его, Ницше, Хайдеггера, Гадамера и Деррида «постмодернистскими Платонами»¹. И по этой, кстати, причине опять же книгу о Макиавелли следовало бы отнести ко второму этапу работы Штрауса: это не только исследование про современного, а не древнего автора, но также и работа,

1. Слово «постмодернизм» было использовано в момент, когда разговоры на эту тему были в моде, то есть в данном случае оно не несет негативных коннотаций (Zuckert, 1996).

которая не игнорировалась. Например, хотя походя и с видимым пренебрежением, ее упоминает Квентин Скиннер в своем монументальном двухтомнике «Истории современной политической мысли» (Скиннер, 2018: 234). Следует также сказать, что существуют иные типологизации творчества философа. Так, Цукерт вообще говорит о «географической периодизации» наследия Штрауса: «Город и человек» была написана, когда тот еще работал в Чикаго, а вот работы о Ксенофонте и «Законах» Платона ознаменовали более плодотворный период его карьеры, когда он вышел на пенсию (Zuckert, Zuckert, 2014: 22). Что это означает? Это означает, что книга «Город и человек» не является одной из поздних работ второго периода, но именно открывает корпус исследований Штрауса, относимых к третьему этапу его работы — самому позднему. Следует ли нам заключить на этом основании, что это очень важная книга? К сожалению, нет. И аргумент, почему «нет», мы находим у самого Штрауса.

Книга «Город и человек» основана на лекциях, прочитанных Штраусом в весенном семестре 1962 года по приглашению Пейдж-Барбурского комитета. По одному из условий приглашения лекции должны были быть связаны тематически и, отражая эту целостность, позже опубликованы в виде книги. Нам хорошо известно, что Штраус не считал эту книгу важной уже в момент ее написания. Это не означает, что текст «Город и человек» ему не был важен вообще, но означает лишь то, что он был ему менее важен в сравнении с другими сочинениями. Скорее всего работа над книгой шла тяжело (этим объясняется стиль письма первой главы), и Штраус в письмах к Александру Кожеву несколько раз упоминал, что трудится над этим текстом. 30 января 1962 года он писал: «Я готовлю маленькую книгу под названием „Город и человек“, состоящую из трех лекций: о „Политике“, о „Государстве“ и о Фукидиде» (Strauss, 2000: 306). Спустя почти четыре месяца Штраус вновь упоминает текст и делает очень важную ремарку: «Кроме того, я готовлю к публикации три лекции о городе и человеке, в которых речь идет о „Политике“, „Государстве“ и Фукидиде. Только после того, как это будет закончено, я смогу приступить к своей настоящей работе, к интерпретации Аристофана» (Strauss, 2000: 309). 25 января 1963 года Штраус снова делится своим планом относительно исследования: «Сейчас я пишу третью и последнюю главу небольшой книги под названием „Город и человек“ („Политика“ Аристотеля, „Государство“ Платона, Фукидид)» (Strauss, 2000: 312). Последнее упоминание книги — 3 июня 1965 года. Штраус пишет: «Получили ли вы мою книгу „Город и человек“?» (Strauss, 2000: 314). Это самое последнее письмо во всей переписке Штрауса и Кожева: Кожев на него уже не ответил.

Необходимо признать, что сам Штраус считал, видимо, эту книгу «проходной» и торопился перейти к толкованию Аристофана, то есть последний в 1963 году был ему интереснее, чем Аристотель, Платон и Фукидид, вместе взятые. Кроме того, Штраус, о чем он предупреждает сам (Штраус, 2021: 72), в главе о Платоне использовал свой текст, вышедший в сборнике «История политической философии» (Strauss, 1987). То есть даже «маленькая» и «небольшая» книга, как он сам дважды называет ее в письмах Кожеву, не была полностью оригинальной. Впрочем, на этот

счет есть альтернативное мнение. Кэтрин Цукерт допускает, что, так как Штраусу было уже за шестьдесят, то он, возможно, считал важным как можно скорее опубликовать результаты своего исследования «Государства» (Zuckert, 1996: 308). Нужно отметить, что Штраус полностью следовал своему замыслу — издать три лекции под одной обложкой и именно в такой последовательности: о «Политике», о «Государстве», о Фукидиде. Он несколько раз упоминает определенную последовательность глав, а значит, тот факт, что авторы рассматриваются Штраусом в обратном хронологическом порядке (от более позднего к самому раннему), имеет какое-то значение. Достаточно ли этого, чтобы допустить, что Штраус хотел поведать читателям какую-то тайну? Полагаем, что в действительности нет. Поэтому мы вновь возвращаемся к тезису о том, что «Город и человек» занимает в корпусе текстов Штрауса менее значительное место, чем, скажем, «О тирании» или «Мысли о Макиавелли».

Темы, которые развивал сам Штраус и которые он оставил в наследство ученикам и исследователям, многочисленны — начиная от еврейских исследований и заканчивая критикой науки (в смысле «science»). В пределах только античности Штраус исследовал мысль Фукидida, Сократа, Платона, Ксенофonta, Аристофана и Аристотеля. Одним словом, «Город и человек» создан в универсуме штраусовских исследований античной философии. Насколько часто к тексту обращаются в последнее время как к такому, который имеет не только историко-философское значение? Не слишком часто. Более того, Кэтрин Цукерт отмечает, что в ныне опубликованных лекциях о классической политической философии Штраус более понятно, чем в «Городе и человеке», указывает, зачем он начинает свое исследование античного рационализма с Аристотеля и возвращается сначала к Платону и в конечном счете к Фукидиду. Здесь «Штраус, может быть, яснее и более прямо, чем в своих опубликованных работах, объясняет, почему, по его мнению, политическая философия, не являющаяся, по существу, историческим исследованием, должна начинаться в наше время с изучения истории политической философии» (Zuckert, 2018: xxxv). Тем самым Цукерт призывает читать «более ясные» высказывания Штрауса, чем те, что были сделаны им в «Городе и человеке». В последних исследованиях, которые могут представлять интерес в контексте нашей темы, едва ли могут быть обнаружены содержательные высказывания относительно книги «Город и человек» (Schröder, 2015; Burns, Frost, 2020; Bernstein, Schiff, 2021). В основном она упоминается, иногда к ней обращаются по случаю и почти никогда её не читают внимательно. И все же мы можем обнаружить три знаковых исключения.

Владимир Прокопенко в своем предисловии к «Городу и человеку» называет два исследования, в которых книге уделяется много внимания и выводы которых при этом вступают в конфликт. Так, Бретт Даттон в своем диссертационном исследовании высказывает тезис, что «Город и человек» является очередным ответом на «Понятие политического» Карла Шмитта (Прокопенко, 2021: 52–53). Это любопытная трактовка, но ее навряд ли можно считать правдоподобной. Прокопенко цитирует Майера, согласно которому Шмитт и Штраус совпадают в своей критике

общего противника (Майер, 2012: 56), и добавляет, что Майер, в подтверждение своих слов, ссылается на последние фразы «Города и человека» (Прокопенко, 2021: 51). Правда в том, что Майер в этой ссылке приводит очень большой список трудов Штрауса, в котором книга «Город и человек» на самом деле не выглядит главной, то есть не является сильным аргументом в пользу высказываемого тезиса. Более того, в другой книге Майера, посвященной непосредственно теолого-политической проблеме, «Город и человек» упоминается между делом, а самое содержательное высказывание о книге — это высказывание самого Штрауса, сделанное в письме Кожеву, когда он пишет, что ждет не дождется приступить к интерпретации Аристофана (Meier, 2006). Вдобавок ко всему этому можно задать вопрос, что если мы так просто распознаем «тайный смысл» сочинения «Город и человек», то какая же это вообще тайна?

Второе исследование — это книга израильского ученого Ади Армона «Лео Штраус между Веймаром и Америкой» (Armon, 2019). Армон, как и многие другие авторы, пытается политизировать мысль философа, делая акцент на неопубликованных семинарах, которые Штраус читал в Чикагском университете в 1950-х и 1960-х годах (в частности, это о социально-политической философии Карла Маркса), и поздних книгах Штрауса, написанных на фоне холодной войны. Важно, что «Городу и человеку» в исследовании уделяется особое внимание. Армон отмечает, что эту книгу принято считать маргинальной для наследия Штрауса, но на самом деле именно в ней содержится политическая программа философа. Армон называет работу «антиутопическим политическим манифестом», в котором автор призывал читателей поддержать свободный Запад в походе против коммунизма. С точки зрения Армона, Штраус хотел играть активную роль в политической жизни и в книге, которая, по идее, должна была оказать влияние на мир, изложил основные принципы политических действий Запада в эпоху холодной войны.

К сожалению, «политизация» исследований Штрауса всегда может скатиться в «вульгаризацию». С одной стороны, Армон привлекает внимание к не самой востребованной работе Штрауса. С другой стороны, с таким подходом данной книге лучше бы вообще оставаться невостребованной со стороны широкого читателя. Известно, что Штраус не хотел быть публичным человеком и обращался к широкой аудитории редко, по особому случаю и когда хотел того сам. В рамках университетских аудиторий и академических текстов он мог позволить себе политические или довольно резкие высказывания, как это сделано в статьях «Германский нигилизм» (Штраус, 2013) или в «Эпилоге» (к политической науке) (Штраус, 2000). Довольно банальные и уже неактуальные высказывания о «кризисе Запада», высказанные во введении к «Городу и человеку», свидетельствуют лишь о том, что Штраус, как того требует научная работа, собирался придать тексту хоть какое-то современное звучание, привлечь внимание потенциально широкой аудитории, которая, попавшись на удачу тезиса о «кризисе Запада», вероятно, смогла бы увлечься чтением кажущейся менее актуальной, но более ценной (во всяком случае, для автора) интерпретации древности. Зачем в книге, в которой Штраус

окончательно погрузился в исследование древности, в качестве подтекста (Армон понимает, что его трактовка не может быть названа «эзотерической») предлагать манифест?

Третье исследование, в котором уделяется особое внимание «Городу и человеку», представляется нам наиболее адекватным. Это выпущенный издательством Brill «Справочник по сочинениям Лео Штрауса о классической политической мысли» (Burns, 2015). Если ранее ученые, рассуждая об отношениях Штрауса и античности, не слишком часто обращались к «Городу и человеку» (Smith, 2009), то в этой книге ситуация полностью исправлена. Любопытно, что про каждую часть сочинения написали разные ученые, сделано это в контексте других работ, посвященных Фукидиду, Платону, Аристофану, и притом в хронологическом порядке. Вероятно, это самый верный и, можно сказать, лучший способ актуализировать книгу «Город и человек» — прочитать ее так, как, возможно, задумывал сам Штраус — комментарий к нескольким античным авторам или к одному античному автору (Фукидиду) и двум сочинениям античных авторов («Политика» и «Государство»). Иными словами, это сочинение, наряду с другими поздними работами Штрауса, следовало бы читать эзотерически, как предлагает это делать Лоуренс Ламперт в своей недавней работе, хотя он и не уделяет должного внимания «Городу и человеку» (Lampert, 2013). Читать «Город и человек» эзотерически — само по себе увлекательное занятие. Может быть, именно в интерпретациях Штрауса содержится шокирующая истина, которую тяжело принять филологам-классикам и специалистам по античной истории, привыкшим к совсем другому методу работы.

Наша версия также состоит в том, что «Город и человек» — книга скорее эзотерическая, чем эзотерическая. Следует понимать, что «эзотерическая» не означает «простая», она просто ориентирована на внимательных читателей, способных читать (в том числе и между строк) и понимать тексты. Прежде чем мы двинемся дальше, необходимо сказать пару слов о замысле Штрауса. Дэниэль Тэнгуй считает, что сочинения Штрауса можно поделить на две условные категории. Первая — это книги, которые задумывались как единые произведения с четкой целью. Вторая — это сборники статей или текстов, написанных без намерения публиковать их как полноценную книгу. В первом случае это ранние книги Штрауса и те, что относятся исследователями к «зрелому» (в классификации Блума — третьему) периоду его творчества. Вторые — это такие, как «Преследование и искусство письма» (1952) и вплоть до «Города и человека» (1964), в том числе и «Что такое политическая философия?» (1959). Обозначив эту типологизацию, Тэнгуй сам же и ставит ее под сомнение:

Однако эти две категории не являются герметичными. Мы можем, например, поставить под вопрос место книги «Естественное право и история» (1953), которая начиналась как тщательно переработанный сборник заметок из шести лекций, прочитанных в Чикагском университете в 1949 году. Таким же образом мы могли бы продемонстрировать, что применять критерий единого замысла ко многим монографиям Штрауса — занятие сложное и в

некотором роде искусственное. Почему мы должны приписывать большее единство, например, «Мыслям о Макиавелли» (1958), чем такому тщательно продуманному и таким же образом выполненному произведению, как «Преследование и искусство письма»? (Tanguay, 2013: 98)

На последний вопрос, конечно, есть ответ. С той поправкой, что вопрос этот не вполне корректен. Сборник статей Штрауса «Что такое политическая философия?» действительно собран из разных публикаций, не задуманных как единая работа. «Сборник» «Естественное право и история» Штраус писал как монографию, и поэтому книга принадлежит первой группе в понимании Тэнгуэя. Сочинение «Город и человек», как мы видели по нескольким цитатам из писем Штрауса Кожеву, абсолютно точно создавалось как единое произведение — причем, повторимся, главы писались именно в том порядке, в котором они в итоге и представлены: Аристотель, Платон, Фукидид. Хотя даже здесь существуют нюансы и альтернативные мнения. Так, Линда Р. Раби заявляет: «Комментарий Штрауса о „Государстве“ Платона, вторую из трех глав „Города и человека“, можно правильно понять только в том случае, если изучать его как самостоятельное философское произведение» (Rabieh, 2015: 323).

Как бы то ни было, методологические интенции Штрауса в отношении всех трех толкований классики могут быть описаны словами Клиффорда Орвина. Орвин, начиная обсуждать прочтение Штраусом Фукидиде в «Городе и человеке», задается вопросом: «Интерпретируем ли мы его тексты о Фукидиде в первую очередь для того, чтобы узнать все, что можно, о Штраусе и его мысли, включая этапы этой мысли? Или же мы читаем их больше исходя из их полезности для толкования Фукидиде? Чтобы отдать должное обеим задачам, потребовалась бы отдельная книга; кто-то может сделать нам одолжение, написав её. Здесь же я обращаюсь к читателям, которых интересует прежде всего Фукидид» (Orwin, 2015: 50–51). Таким образом, «Город и человек» имеет смысл читать, чтобы узнать оригинальные интерпретации Штраусом Аристотеля, Платона и Фукидиде. Далее мы сосредоточимся именно на этом, кратко описав основные идеи каждой главы.

Наша гипотеза состоит в том, что для Штрауса введение и первая глава не представляют особого интереса. Во введении Штраус едва ли говорит что-то новое по сравнению с тем, что им уже было сказано. С его точки зрения, существуют два кризиса (Запада): практический — кризис холодной войны, и теоретический — кризис современной социальной науки, частью которой является (нефилософская) политическая наука (Штраус, 2021: 86). Оба кризиса дополняют друг друга. Ввиду этого двойного кризиса, который сводится к кризису современной мысли, срочно необходимо переосмыслить интеллектуальное положение Запада. Суть этого переосмысления — возвращение к древним в надежде, что они помогут нам понять этот кризис и найти возможные его решения. Таким образом, все три последующие главы — это поиск (а не готовые ответы) решения проблемы. Слово «поиск» предполагает, что не все варианты решения могут быть полезными или

удовлетворительными. Собственно говоря, вот почему глава об Аристотеле и оказывается в некотором роде «бессмысленной».

В русском издании введение занимает 20 страниц, глава о «Политике» — 68, о «Государстве» — 159, о Фукидиде — 198. Все, кто знаком с текстологическими интерпретациями Штрауса, помнят, как скрупулезно он считает количество глав, страниц и упоминаний слов и имен в «великих текстах». Так что мы вправе предположить, что эти цифры не случайны. Впрочем, это не просто цифры. Количество данных страниц наполнено смыслом. Так, Штраус практически не обращается к сочинению Аристотеля. Вместо этого он предлагает довольно пространные размышления. Иногда он сбивается, хотя обычно его мысль изящна в своей последовательности. Штраус удивительно мало говорит о содержании текста, а в конце вообще заявляет, что «руководящий вопрос» «Политики» (вопрос о наилучшем режиме) «требует отдельного разговора» (Штраус, 2021: 161). Сьюзен Коллинз замечает: эссе Штрауса о «Политике» Аристотеля в «Городе и человеке» — «единственная опубликованная им работа, посвященная исключительно мысли Аристотеля» (Colins, 2015: 443). Штраус часто цитировал и упоминал Аристотеля, но не посвящал ему отдельных исследований. И вот, в момент, когда про философа можно было сказать что-то важное, Штраус решает не развивать тему: отдельный разговор обозначен, но никто не обещает, что в будущем к нему вернется. В этом смысле рассуждение «Почему Штраус не аристотелианец» (Zuckert, Zuckert, 2014: 144–166) имеет мало смысла, ведь мы и так знаем ответ. Создается впечатление, что Штраус пишет об Аристотеле лишь для того, чтобы возвеличить Платона, подтверждение чему мы находим в новейших исследованиях: «По мнению Штрауса, Аристотель приуменьшает глубоко проблематичный характер гражданского естественного права, выявленный Платоном, посредством более полного четкого проявления границ между практикой и теорией, и поэтому он может рассматривать город как естественное целое» (Robertson, 2021: 131). Одним словом, Аристотель не был героем Штрауса. А раз так, то мы должны (экзотерически) искать в главе про Аристотеля те места, где он предстает наименее важным для Штрауса. И эти строчки есть.

Штраус провозглашает Аристотеля основателем политической науки. Ее «первой формой», о чем Штраус сообщает в конце введения, является «классическая политическая философия», «потому что здравомысленное понимание политических предметов является первичным» (Штраус, 2021: 93). То есть мы можем предположить, что политическая философия превосходит даже философскую политическую науку, основанную Аристотелем. Сократ же, полагавший, что единственной альтернативой философской жизни могла бы стать политическая жизнь, подчиненная философской жизни (Штраус, 2021: 125), не стал основателем политической науки. Так получилось потому, что у него, посвятившего жизнь поиску идеи блага, «не хватило свободного времени не только для политической деятельности, но даже для основания политической науки» (Штраус, 2021: 126). Иными словами, хотя Штраус мог бы высоко ценить Аристотеля и рассуждать о его «Политике», его

деятельность меркнет в сравнении с деятельностью Сократа. «Город» (а если быть более точным, то, что вбирает в себя и государство и общество) в этом смысле важен лишь потому, что является единственной частью целого, «сущность которой целиком познаваема»; политическая жизнь и есть «город» и представляет собой «жизнь в пещере» (Штраус, 2021: 125). Тем самым политическая наука — это познание всего лишь пещеры. То основное, что объединяет Аристотеля с великими предшественниками относительно рассуждений о «городе», это «здравомыслие». Как подытоживает свой анализ штраусовской интерпретации «Политики» Сьюзен Коллинз, Аристотель, с точки зрения Штрауса, «возвращает нас к этой необходимой отправной точке: „донаучному“ миру „здравого смысла“, раскрывающему „наиболее важные вопросы“, из которых возникает наука или философия и к которому она должна постоянно возвращаться, если хочет оправдаться перед своим величайшим противником и понять себя как „науку“» (Collins, 2015: 469). Сама Коллинз, полагая, что мнение Штрауса об Аристотеле важно, не говорит этого прямо, но мы, исходя из прочитанного и сказанного выше, понимаем, что самое важное, что Аристотель сделал в рамках политической науки — это сохранил ее «донаучный характер».

Некоторая ирония заключается в том, что и следующая глава, толкование Платона, оказывается менее важной в сравнении с другими текстами Штрауса, хотя Блум и превозносит ее, отмечая, что в «Городе и человеке» «он, человек старше шестидесяти, интенсивно изучавший Платона в течение тридцати лет, впервые позволил себе опубликовать интерпретацию платоновского диалога» (Bloom, 1974: 387). Штраус полагал, что к политической философии имеют отношение четыре диалога Платона — «Государство», «Политик», «Законы» и «Софист». Про первые три он пишет в статье «Платон» (Штраус, 2000б). Про «Государство» он рассуждает лишь в главе книги «Город и человек», которая написана, как говорилось ранее, на основе другого текста. Более того, Штраус отмечает, что «единственное политическое сочинение, принадлежащее собственно Платону, — это „Законы“, в которых не появляется Сократ» (Штраус, 2021: 125). Именно «Законам» впоследствии Штраус посвятит отдельную, хотя и небольшую книгу (Strauss, 1975). «Законам», но не «Государству». Хотя Штрауса считают «платоником», кажется, его сочинения про Ксенофонта, написанные при жизни, по объему значительно превосходят объем текстов про Платона. В общем, «Государство» Платона Штраус, кажется, ценил меньше «Законов», по крайней мере, если судить по тому вниманию, которое философ уделил в своем творчестве этим книгам. Несмотря на то что в этой главе Штраус работает с текстом вплотную, он и здесь делает акценты именно на том, что считает важным, игнорируя многие ключевые места. Седьмую книгу «Государства», где мы знакомимся с мифом о пещере, Штраус не упоминает вовсе, а более трети всего текста посвящает его первой книге, которая представляет собой лишь

«введение» к последующему диалогу. Основным же лейтмотивом интерпретации остается «похвала Фрасимаху»².

Если согласиться с процитированным выше мнением Руби о том, что толкование «Государства» может рассматриваться вне контекста книги «Город и человек», то рассуждать о тонкостях второй главы книги «Город и человек» не имеет смысла. Но есть смысл сказать главное: в данном случае речь идет об абстрактном «городе» (если «государство» — это нечто противоположное обществу, то «город» предшествует различию между государством и обществом) (Штраус, 2021: 127) и конкретном человеке — Сократе. Именно в этой главе принципиальным героям оказывается не город, а человек, пусть и в его отношениях с городом. Но этот человек не простой. Это философ, который прекрасно осознает свои противоречивые отношения с «городом», то есть как с обществом, так и с властью. Штраус последовательно создает максимально привлекательный образ софиста Фрасимаха. Приписав Фрасимаху «тезис о городе», позже Штраус показывает, что Фрасимах на самом деле не олицетворяет город, и его интересы как ритора не тождественны позициям города. В целом же имеет значение, что диалог ведется между ритором и философом (Кефал и Полемарх, конечно, тоже рассматриваются). Сократ оказал влияние на Фрасимаха, но не окончательно убедил его в своей правоте. Это означает, что Фрасимах не смог принять в себя то благо, которое делает человека счастливым, причем конкретного человека — философа. И по тексту мы видим, что Сократу необходимо «укрощать» людей, подобных Фрасимаху, чтобы оказывать влияние на город. Однако поскольку Фрасимах не обращен в философию, он не может выполнять важнейшую роль риторики в поддержке философии (Rabieh, 2015: 342). И хотя Сократ, по мнению Штрауса, «показывает нам сущностные границы, природу города», демонстрируя, что (идеально) справедливый город невозможен (Штраус, 2021: 322), также он своим действием доказывает что-то еще. Что? Согласно Штраусу, Сократ «приручением» Фрасимаха (можно сказать, «Фрасимаха» в качестве идеального образа) приносит пользу и себе как философу, и Фрасимаху как ритору, и городу в целом. Под пользой в данном случае подразумевается подлинно общее благо.

«Переходя от Аристотеля и Платона к Фукидиду, мы, кажется, вступаем в совершенно иной мир» (Штраус, 2021: 323). Но это «кажется» лишь отчасти. На деле глава о Фукидиде должна представить тему «города и человека» еще более объемно, чем если бы речь шла только об античной политической философии. Если к Аристотелю Штраус обратился в корпусе своих текстов единожды, к Платону — многократно (хотя и редко масштабно), то к Фукидиду — как минимум трижды. Штраус читал курсы о Фукидиде два раза: один в Чикагском университете в 1962–1963 годах, второй — в колледже Святого Иоанна в 1973 году, то есть буквально

2. Имеет смысл сравнить «похвалу Фрасимаху», высказанную социологом Ральфом Дарендорфом, с подлинной «похвалой Фрасимаху», высказанной философом Штраусом. Если для Дарендорфа Фрасимах ценен тем, что осознанно идет на конфликт с Сократом, то Штраус пытается изобразить Фрасимаха на самом деле союзником (или, можно сказать, «попутчиком») Сократа. См.: Дарендорф, 2002.

в последний год жизни. Два из трех текстов Штрауса о Фукидиде опубликованы посмертно. Один, «Предварительные размышления о богах в творчестве Фукидida», датирован последним годом жизни Штрауса и издан Томасом Пэнглом в 1983 году (Strauss, 1983). Это может означать, что именно тогда он и был написан, в то время, когда Штраус читал курс и, вероятно, все больше увлекался политическим историком. Также если учесть, что на момент смерти Лео Штрауса в 1973 году работа над сборником «Исследования по платоновской политической философии», куда и вошел текст, шла полным ходом (Штраус сам дал название работы, отобрал и расположил статьи последних лет так, как он задумал), то названная статья о Фукидиде стала завершающей в своеобразной фукидидовской трилогии (Strauss, 1983). Лекция «Фукидид: смысл политической истории», изданная опять же Пэнглом в 1989 году (Strauss, 1989), не датирована. Однако Орвин пишет, что Светозар Минков установил, что Штраус прочитал лекцию с таким названием 3 декабря 1952 года в Новой школе в Нью-Йорке (Orwin, 2015: 51). Хотя Штраус не отказывался от нее, публиковать лекцию он не спешил. В главе о Фукидиде в «Городе и человеке» Штраус использует некоторые идеи из первой лекции, но иногда сильно меняя акценты. Можно сказать, что «Предварительные размышления о богах в творчестве Фукидida» начинаются там, где заканчивается глава о Фукидиде и фактически сама книга «Город и человек» — на вопросе «Quid sit deus?» (Что такое бог?) (Штраус, 2021: 501). Благодаря этому многозначительному вопросу становится понятно, почему русский перевод книги «Город и человек» оправданно помещен в серию «Политическая теология».

Как и Штраус, который лишь ставит этот вопрос, мы оставим его здесь без внимания, но для того, чтобы вернуться к теме «города». Важно отметить, что глава о Фукидиде разделена на десять параграфов, в то время как две предшествующие структурно не делятся. Первый параграф называется «Политическая философия и политическая история», десятый — «Политическая история и политическая философия». Тем самым «политическая история» оказывается в «кольце» политической философии. Штраус начинает с того, что город(а) Аристотеля и Платона пре-бывают в покое. Сократ же, со слов Штрауса, выражает желание увидеть лучший город «в движении», то есть в войне, но признает свою неспособность такой город описать. Следовательно, Фукидид как бы завершает политическую философию Сократа, дополняя ее (Штраус, 2021: 325). Штраус отмечает, что какими бы разными ни были Платон и Фукидид, их учения не обязательно несовместимы, и они могут дополнять друг друга, но затем вновь возвращается «к тому банальному утверждению, что Фукидид отличается от Платона тем, что он историк» (Штраус, 2021: 327). Вместе с тем Фукидид не «научный историк», но тот, кто способен разглядеть всеобщее в единичном. Штраус также называет его «историком-поэтом».

Однако в десятом параграфе Фукидид превращается уже в «философичного историка» (Штраус, 2021: 493). Так как историк показывает нам пучину «политической жизни», он не может выйти из нее, обратившись к более возвышенным темам — философской жизни. Во всех трех главах «Города и человека» представле-

ны разные типы города: абстрактный у Аристотеля, город в речи у Платона (стоит отметить, тоже отчасти абстрактный: диалог Сократа и Фрасимаха происходит не в Афинах, а сам Фрасимах — не гражданин Афин, как и Кефал с Полемархом, хозяева дома, где протекает действие) и город в движении у Фукидида. Но все три типа города связаны человеком, которому не посвящена ни одна глава в отдельности, но, можно сказать, все три главы одновременно — Сократом. Он служит мерилом всех трех проектов античной мысли.

Клиффорд Орвин отмечает, что Фукидид у Штрауса «выступает не досократиком, а тем, кого мы могли бы назвать сократиком» (Orwin, 2015: 71). Это верно лишь с той оговоркой, что он может быть «ограниченным сократиком», то есть Фукидиду интересно «первичное в нас», а не «первичное по природе». Тем самым его «политическая история» не может сравниться с классической политической философией. В целом политическую науку (Аристотеля), политическую философию (Сократа и Платона) и политическую историю (Фукидиды), несмотря на все их различия, объединяет общий знаменатель — здравый смысл. Как пишет сам Штраус:

Политическое понимание или политическая наука не может начинать с того, чтобы понимать город как Пещеру, но должна понимать как мир, как наивысшее в мире; она должна начинать с рассмотрения человека как полностью погруженного в политическую жизнь: «нынешняя война есть величайшая война». Классическая политическая философия предполагает артикуляцию этого начала политического понимания, но она не преподносит его, в отличие от Фукидida, в непревзойденном, точнее, несравненном стиле. Поиск того «здравого» понимания политических вещей, который привел нас вначале к «Политике» Аристотеля, в итоге приводит нас к «Истории Пелопоннесской войны» Фукидida. (Штраус, 2021: 499)

И хотя мерилом ценности древних оказывается «здравомыслие», планка политической философии, которую ставит Сократ, оказывается, по мнению Штрауса, самой высокой. С Сократом политическая история Фукидida становится ограниченной, а политическая наука Аристотеля после Сократа — становится приземленной. Следовательно, то, к чему должны стремиться современные Штраусу философы, это конкретно понятая классическая политическая философия, предполагающая скорее философскую, нежели политическую жизнь. В этом выводе нет никакой тайны. Но ее и не должно быть. Лишь прораввшись через опорные точки текста, узнав и обдумав все аргументы, внимательный читатель сможет осознать эту простую истину и, возможно, принять ее. В книге «Город и человек» нет ни скрытой полемики со Шмиттом, ни своеобразного политического манифеста, ни тем более тех ужасных вещей, о которых пишет Владимир Можегов. Но в ней, относительно простой и доступной книге, есть путеводитель к очевидной истине, до которой, правда, еще предстоит добраться. Философская жизнь — это благо. Жить в городе можно, если ориентироваться на человека. Имя этого чело-

века Сократ. Для того же, чтобы постичь более глубокие истины, видимо, нужно читать другие тексты Лео Штрауса.

Литература

- Дарендорф Р. (2002). Похвала Фрасимаху // Дарендорф Р. Тропы из утопии / Пер. с нем. Б. М. Скуратова и В. Л. Близнекова. М.: Праксис. С. 400–427.
- Левит К. (2021). Смысл в истории: теологические предпосылки философии истории / Пер. с нем. А. Саркисъянца. СПб.: Владимир Даль.
- Майер Х. (2012). Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического»: о диалоге отсутствующих / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. А. В. Михайловского. М.: Скименъ.
- Можегов В. (2020). Лео Штраус и его армия: наследие и наследники политического мессии. URL: <https://fitzroymag.com/longrid/leo-shtraus-i-ego-armija/> (дата доступа: 25.01.2022).
- Прокопенко В. (2021). Лео Штраус: возвращение к главному вопросу политической философии // Штраус Л. Город и человек. СПб.: Владимир Даль. С. 5–71.
- Скиннер К. (2018). Истоки современной политической мысли. Т. 1: Эпоха Ренессанса / Пер. с англ. А. А. Олейникова под науч. ред. В. В. Софронова. М.: Дело.
- Фёгелин Э. (2021). Новая наука политики: введение / Пер. с англ. Н. Селивёрстова. СПб.: Владимир Даль.
- Штраус Л. (2000а). Введение в политическую философию / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Праксис.
- Штраус Л. (2000б). Платон // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Праксис. С. 204–263.
- Штраус Л. (2000в). Эпилог // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Праксис. С. 137–161.
- Штраус Л. (2006). О тирании / Пер. с англ. и древнегреч. А. А. Россиуса, пер. с фр. А. М. Руткевича. СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Штраус Л. (2007). Естественное право и история / Пер. с англ. Е. Адлер и Б. Путинко. М.: Водолей.
- Штраус Л. (2012). Замечания к «Понятию политического» Карла Шмитта // Майер Х. Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического»: о диалоге отсутствующих / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. А. В. Михайловского. М.: Скименъ. С. 109–142.
- Штраус Л. (2013). Германский нигилизм // Мюрберг И. И. (ред.). Политико-философский ежегодник. Вып. 6. М.: ИФ РАН. С. 182–205.
- Штраус Л. (2021). Город и человек / Пер. с англ. Н. Селивёрстова. СПб.: Владимир Даль.
- Armon A. (2019). Leo Strauss Between Weimar and America. Cham: Palgrave Macmillan.
- Bernstein A., Schiff J. L. (2021). Leo Strauss and Contemporary Thought: Reading Strauss Outside the Lines. Albany: State University of New York Press.

- Bloom A. (1974). Leo Strauss: September 20, 1899 — October 18, 1973 // *Political Theory*. Vol. 2. № 4. P. 372–392.
- Burns T. W. (ed.). (2015). *Brill's Companion to Leo Strauss; Writings on Classical Political Thought*. Leiden: Brill.
- Burns T. W., Frost B.-P. (eds.). (2016). *Philosophy, History, and Tyranny: Reexamining the Debate Between Leo Strauss and Alexandre Kojève*. Albany: State University of New York Press.
- Collins S. D. (2015). Aristotle's Political Science, Common Sense, and the Socratic Tradition in *The City and Man* // Burns T. W. (ed.). *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought*. Leiden: Brill. P. 441–472.
- Keedus L. (2015). *The Crisis of German Historicism: The Early Political Thought of Hannah Arendt and Leo Strauss*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lampert L. (2013). *The Enduring Importance of Leo Strauss*. Chicago: University of Chicago Press.
- Landy T. (2014). *After Leo Strauss. New Directions in Platonic Political Philosophy*. Albany: State University of New York Press.
- McIlwain D. (2019). *Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and Enlightenment*. Cham: Palgrave Macmillan.
- Meier H. (2006). *Leo Strauss and the Theologico-Political Problem*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Orwin C. (2015). *Reading Thucydides with Leo Strauss* // Burns T. W. (ed.). *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought*. Leiden: Brill. P. 50–75.
- Rabieh L. R. (2015). *Leo Strauss on the Politics of Plato's Republic* // Burns T. W. (ed.). *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought*. Leiden: Brill. P. 321–343.
- Robertson N. G. (2021). *Leo Strauss: An Introduction*. Cambridge: Polity.
- Schröder W. (ed.). (2015). *Reading Between the Lines: Leo Strauss and the History of Early Modern Philosophy*. Berlin: De Gruyter.
- Smith S. B. (ed.). (2009). *The Cambridge Companion to Leo Strauss*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss L. (1975). *The Argument and Action of Plato's Laws*. Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1978). *The City and Man*. Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1983). *Preliminary Observations on the Gods in Thucydides' Work* // Strauss L. *Studies in Platonic Political Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press. P. 89–104.
- Strauss L. (1987). *Plato* // Strauss L., Cropsey J. (eds.). *History of Political Philosophy*. Chicago: University of Chicago Press. P. 33–89.
- Strauss L. (1989). *Thucydides: the Meaning of Political History* // Strauss L. *The Rebirth of Classical Political Rationalism*. Chicago: University of Chicago Press. P. 72–102.
- Strauss L. (2000). *On Tyranny*. Chicago: University of Chicago Press.

- Tanguay D. (2013). How Strauss Read Farabi's Summary of Plato's «Laws» // *Major R.* (ed.). Leo Strauss's Defense of the Philosophic Life: Reading «What is Political Philosophy?». Chicago: University of Chicago Press. P. 98–115.
- von Wussow P. (2020). Leo Strauss and The Theopolitics of Culture. Albany: State University of New York Press.
- Zuckert C. H. (1996). Postmodern Platos: Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida. Chicago: University of Chicago Press.
- Zuckert C. H. (2018). Editor's Introduction Strauss's Introduction to Political Philosophy // Zuckert C. H. (ed.). Leo Strauss on Political Philosophy: Responding to the Challenge of Positivism and Historicism. Chicago: University of Chicago. P. xi–xxxvi.
- Zuckert M. P., Zuckert C. H. (2014). Leo Strauss and the Problem of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.

Virtue and the Ancient Polis: A Place of *The City and Man* in Leo Strauss's Corpus of Works

Alexander Pavlov

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, HSE University
 Leading Research Fellow, RAS Institute of Philosophy
 Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
 E-mail: apavlov@hse.ru

The article presents a historical-philosophical study of the book *The City and Man* published in 1964 by the political philosopher Leo Strauss. Using a large amount of material, the author attempts to assess the place the book holds in Strauss' legacy. Additionally, the author presents his own interpretation. Highlighting that *The City and Man* is mostly concerned as a marginal work in comparison to other of Strauss' papers, he gives and analyzes a number of political interpretations of the book. Not being content with any of them, he presupposes that *The City and Man* should be considered in the context of classical political philosophy research undertaken by Leo Strauss. Analyzing each of the three chapters of the book dedicated to Aristotle's *Politics*, Plato's *Republic* and Thucydides' *History of the Peloponnesian War*, the author concludes that all three texts are interconnected through the figure of one man. This man is Socrates, who discovered sanity and reason as the basis of political philosophy. Each of these works has sanity and reason at their roots, which is a foundation for the revival of political philosophy. By comparing virtue and city (polis) as terms of classical political rationalism, we could shed light on the actual problem of the relationship between ethics and law.

Keywords: practical philosophy, ethics, law, virtue, political philosophy, Leo Strauss, Plato, Aristotle, Thucydides, Socrates

References

- Armon A. (2019) *Leo Strauss Between Weimar and America*, Cham: Palgrave Macmillan.
 Bernstein A., Schiff J. L. (2021) *Leo Strauss and Contemporary Thought: Reading Strauss Outside the Lines*, Albany: State University of New York Press.

- Bloom A. (1974) Leo Strauss: September 20, 1899 — October 18, 1973. *Political Theory*, vol. 2, no 4, pp. 372–392.
- Burns T. W. (ed.) (2015) *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought*, Leiden: Brill.
- Burns T. W., Frost B.-P. (eds.). (2016) *Philosophy, History, and Tyranny: Reexamining the Debate Between Leo Strauss and Alexandre Kojève*, Albany: State University of New York Press.
- Collins S. D. (2015) Aristotle's Political Science, Common Sense, and the Socratic Tradition in The City and Man. *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought* (ed. T. W. Burns), Leiden: Brill, pp. 441–472.
- Dahrendorf R. (2002) Pokhvala Frasimakhu [In Praise of Thrasymachus]. *Tropy iz utopii* [Out of Utopia], Moscow: Praxis, pp. 400–427.
- Keedus L. (2015) *The Crisis of German Historicism: The Early Political Thought of Hannah Arendt and Leo Strauss*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Lampert L. (2013) *The Enduring Importance of Leo Strauss*, Chicago: University of Chicago Press.
- Landy T. (2014) *After Leo Strauss: New Directions in Platonic Political Philosophy*, Albany: State University of New York Press.
- Löwith K. (2021) *Smysl v istorii: teologicheskie predposyлki filosofii istorii* [Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of History], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- McIlwain D. (2019) *Michael Oakeshott and Leo Strauss: The Politics of Renaissance and Enlightenment*, Cham: Palgrave Macmillan.
- Meier H. (2006) *Leo Strauss and the Theologico-Political Problem*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Meier H. (ed.). (2012) *Karl Schmitt, Leo Strauss i "Ponyatie politicheskogo"* [Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue], Moscow: Skimen.
- Mozhegov V. (2020) Leo Strauss i ego armiya: nasledie i nasledniki politicheskogo messii [Leo Strauss and His Army: Legacy and Successors of Political Messiah]. Available at: <https://fitzroymag.com/longgrid/leo-shtraus-i-ego-armija/?fbclid=IwAR1xExZn6oEP1loZVHkzD1JWZ2Fydl7OillLhhAJeEwMHKuEmX2R85nTYUo> (accessed 25 January 2022).
- Orwin C. (2015) Reading Thucydides with Leo Strauss. *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought* (ed. T. W. Burns), Leiden: Brill, pp. 50–75.
- Prokopenko V. (2021) Leo Strauss: vozvrashchenie k glavnому voprosu politicheskoy filosofii [Leo Strauss: A Return to the Main Question of Political Philosophy]. Strauss L., *Gorod i chelovek* [The City and Man], Saint Petersburg: Vladimir Dal', pp. 5–71.
- Rabieh L. R. (2015) Leo Strauss on the Politics of Plato's Republic. *Brill's Companion to Leo Strauss' Writings on Classical Political Thought* (ed. T. W. Burns), Leiden: Brill, pp. 321–343.
- Robertson N.G. (2021) *Leo Strauss: An Introduction*, Cambridge: Polity.
- Schröder W. (ed.). (2015) *Reading Between the Lines: Leo Strauss and the History of Early Modern Philosophy*, Berlin: De Gruyter.
- Skinner Q. (2018) *Istoki sovremennoy politicheskoy mysli. T. 1* [The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1], Moscow: Delo.
- Smith S. B. (ed.) (2009) *The Cambridge Companion to Leo Strauss*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss L. (1975) *The Argument and Action of Plato's Laws*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1978) *The City and Man*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1983) Preliminary Observations on the Gods in Thucydides' Work. *Studies in Platonic Political Philosophy*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 89–104.
- Strauss L. (1987) *Plato. History of Political Philosophy* (eds. L. Strauss, J. Cropsey), Chicago: University of Chicago Press, pp. 33–89.
- Strauss L. (1989) Thucydides: The Meaning of Political History. *The Rebirth of Classical Political Rationalism*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 72–102.
- Strauss L. (2000) Epilog [Epilogue]. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiyu* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis, pp. 137–161.
- Strauss L. (2000) *On Tyranny*, Chicago: University of Chicago Press.

- Strauss L. (2000) *Platon* [Plato]. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiyu* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis, pp. 204–263.
- Strauss L. (2000) *Vvedenie v politicheskuyu filosofiyu* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis.
- Strauss L. (2006) *O tiranii* [On Tyranny], Saint Petersburg: SPSU.
- Strauss L. (2007) *Estestvennoe pravo i istoriya* [Natural Right and History], Moscow: Vodoley.
- Strauss L. (2012) *Zamechaniya k "Ponyatiyu politicheskogo Karla Schmitta* [Notes on the Carl Schmitt's "The Concept of Political"]. *Karl Schmitt, Leo Strauss i "Ponyatie politicheskogo"* [Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue], Moscow: Skimen, pp. 109–142.
- Strauss L. (2013) *Germanskiy nihilism* [German Nihilism]. *Politiko-filosofsky ezhegodnik*, no 6, pp. 182–205.
- Strauss L. (2021) *Gorod i chelovek* [The City and Man], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- Tanguay D. (2013) How Strauss Read Farabi's Summary of Plato's "Laws". *Leo Strauss's Defense of the Philosophic Life: Reading "What is Political Philosophy?"* (ed. R. Major), Chicago: University of Chicago Press, pp. 98–115.
- Voegelin E. (2021) *Novaya nauka politiki: vvedenie* [The New Science of Politics: An Introduction], Saint Petersburg: Vladimir Dal'.
- von Wussow P. (2020) *Leo Strauss and The Theopolitics of Culture*, Albany: State University of New York Press.
- Zuckert C. H. (1996) *Postmodern Platos: Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida*, Chicago: University of Chicago Press.
- Zuckert C. H. (2018) Editor's Introduction Strauss's Introduction to Political Philosophy. *Leo Strauss on Political Philosophy. Responding to the Challenge of Positivism and Historicism* (ed. C. H. Zuckert), Chicago: University of Chicago, pp. xi–xxxvi.
- Zuckert M. P., Zuckert C. H. (2014) *Leo Strauss and the Problem of Political Philosophy*, Chicago: University of Chicago Press.

Постправда и ее опасности

ФУЛЛЕР С. ПОСТПРАВДА: ЗНАНИЕ КАК БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ / ПЕР. С АНГЛ. Д. КРАЛЕЧКИНА ПОД НАУЧ. РЕД. А. СМИРНОВА. М.: ВШЭ, 2021. 368 С. ISBN 978-5-7598-2190-8

Алексей Салин

Кандидат философских наук, доцент, кафедра философии,

Институт социально-гуманитарных наук, Тюменский государственный университет

Адрес: ул. Володарского, д. 6, г. Тюмень, Российская Федерация 625003,

E-mail: a.s.salin@utmn.ru

Общая характеристика ситуации постистины и пример брекзита

В книге «Постправда: знание как борьба за власть» Стив Фуллер поднимает ключевую для STS¹ тему гражданской науки и вовлечения масс в обсуждение общего мира, выстраиваемого учеными. Без этого включения процесса фактостроительства в политические дебаты демократия, по мнению автора, так и останется невозможной, поскольку значительная доля политических решений будет приниматься за закрытыми дверями лабораторий, вне общественных прений и делиберативного процесса. В итоге современные парламентские демократии оказываются технократиями. Именно по этой причине Б. Латур в книге «Нового времени не было»² предлагал идею парламента вещей, в котором законы природы публично обсуждались бы наряду с законами государства, а затем в работе «Политики природы» занимался выработкой новых политico-правовых понятий³, которыми должен будет руководствоваться такой обновленный парламент.

Книга Фуллера ставит вопрос об условиях возможности подобного проекта. Главное такое условие Фуллер видит в том, что в современном мире царит ситуация постистины, а не истины. Сегодня ученые и разного рода эксперты не обладают безусловной монополией в научных исследованиях и определении политического курса, так как вынуждены сталкиваться с альтернативными моделями фактостроительства и спорить с ними. В ситуации постистины более нельзя утверждать, что существует одна-единственная реальность, доступ к которой есть у особых людей, называющих себя экспертами. Наоборот, заявляется, что реальность есть следствие игры противоборствующих сил, которые устанавливают, что истинно, а что — нет, что научно, а что представляет собой обычную выдумку.

1. Science and Technology Studies, исследования науки и технологий.

2. Латур Б. (2006). Нового времени не было: эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д. Я. Калугина под науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: ЕУСПб. С. 227–230.

3. Латур Б. (2018). Политики природы / Пер. с фр. Е. Блинова. М.: Ад Маргинем Пресс. С. 126–147.

Соответственно, в ситуации постистины всегда есть как минимум две противоборствующие силы, пытающиеся на свой лад определить реальность: сторонники существующего на данный момент научно-политического статус-кво и те, кто пытается оспорить монополию экспертов на власть-знание. Первых Фуллер во введении (с. 12–13) вслед за В. Парето называет «львами», вторых — «лисами» (здесь Парето отсылает к Макиавелли). Позднее, в третьей главе Фуллер назовет первых сторонниками истины, а вторых — постистины: «Я сам разделяю сторонников „истины“ и „постистины“ в соответствии с тем, играют ли люди по правилам актуальной игры знания или же они пытаются изменить правила игры себе на пользу. В отличие от сторонников истины, которые играют по существующим правилам, сторонники постистины желают такие правила изменить» (с. 102–103). Чтобы проиллюстрировать наглядно это различие, Фуллер использует излюбленные примеры хулигов постистины — брекзит и избрание Дональда Трампа на пост президента США.

Трампа и сторонников брекзита Бориса Джонсона и Майкла Гоува Фуллер считает «лисами», а экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона и проигравшую Трампу Хиллари Клинтон — «львами». Последние в своих политических решениях опирались на экспертное мнение экономистов и социологов, тогда как первые привлекали своих сторонников утверждениями о том, что подобное мнение само небеспристрестно, так как основывается на перспективе правящих элит и, соответственно, является способом легитимации их господства. Поэтому отказ от использования экспертного мнения в качестве основы для своих действий они выставляли как способ вернуть суверенитет народу, а значит, вдохнуть в существующие государства дух подлинной демократии, выкаченный из них высоколобыми экспертами и политическим истеблишментом (с. 42–44). В первой главе своей книги Стив Фуллер подробно объясняет все эти процессы на примере брекзита.

В своем описании брекзита автор подчеркивает, что «лисы» Гоув и Джонсон не были просто популистскими демагогами, обещающими своим избирателям все что угодно без опоры на какие-либо формы знания, какими их пытались выставить «львы» во главе с Кэмероном. В действительности борьбу «лис» и «львов» в данном случае можно описывать как борьбу разных культур производства знания, культур «гуманитариев» (Гоув и Джонсон) и «ученых» (Кэмерон): пока первые использовали плоды своего филологического образования в периодике, вторые опирались «на трезвые экономические аргументы и прогнозы, подкрепляемые данными Банка Англии» (с. 35). В этом смысле победа сторонников брекзита может рассматриваться как победа одного типа знания над другим.

С другой стороны, «гуманитарии» точно так же, как и «ученые», основывали свои политические решения на способах статистического анализа, но при этом «львы» опирались на традиционные методы псефологии (соцопросы), тогда как «лисы» обратились к анализу больших данных, а именно к услугам компании Cambridge Analytica, которая «сделала для брекзита и выборов Трампа в США больше, чем все то, что могли устроить русские хакеры» (с. 37). Таким образом, Фуллер

подчеркивает, что в случае брекзита речь шла не о борьбе оголтелых популистов с настоящими экспертами. Скорее, имела место схватка двух разных форм производства знания, в условиях которой форма, господствующая на данный момент, настаивает на своей универсальности, а другая, борющаяся с ней, — на возможности переопределения правил игры. То есть одна из этих форм пытается прекратить ситуацию постистины, тогда как другая всячески ее поддерживает и использует.

Особого внимания в первой главе заслуживает любопытное замечание о том, что одним из главных мест, в которых экспертиза постоянно ставится под вопрос, является университетская аудитория, «поскольку преподавание дает доступ к знаниям тем, кто в ином случае не мог бы приобрести их, не став частью контекста, в котором такие знания производятся и распределяются» (с. 49). Иными словами, если бы университеты были нацелены на передачу знаний только тем, кто собирается и дальше заниматься исследованиями, они полностью превратились бы в закрытую институцию и законсервировались. В связи с этим Фуллер критикует преобладающую сегодня модель исследовательского университета и призывает вернуть ему прежде всего просвещенческую функцию.

Модальная власть в истории философии и науки

В соответствии с названием второй главы Фуллер переходит к вопросу о том, «что о ситуации постистины может рассказать философия» (с. 52). Здесь представлено центральное для книги понятие модальной власти. Автор пишет, что модальная власть была изобретена Платоном в его «Диалогах», прежде всего в «Государстве», в котором древнегреческий философ обрушивается с критикой на софистов и художников, по сути, за одно и то же: за то, что те создают для своих учеников или зрителей множество возможных миров, показывая конвенциональную природу существующего (космо)политического порядка (с. 67). Софисты учат, что справедливость может быть разной в зависимости от государственного строя, художники показывают, что мстительность может быть благом, коли даже боги мстят. Подлинные же цари-философы, в отличие от софистов должны, по мнению Платона, создавать такое законодательство, которое вызывало бы у масс ощущение того, что налично данный порядок является единственным возможным.

По Фуллеру, модальная власть как раз и есть власть определять, что является возможным, а что — нет. Если Платон считал, что модальная власть должна принадлежать ограниченному сословию царей-философов (читай, «экспертов»), то софисты, на стороне которых выступает Фуллер (с. 59), считают возможным демократическое распределение модальной власти: возможны самые разные конstellации возможного/невозможного в зависимости от результата переговоров равноправных граждан (не обладающих никакой эксклюзивной «экспертизой»). По этой причине принципиальная убежденность Платона в существовании лишь одной единственной истины оказывается попыткой приостановить демократиче-

ские прения о проведении границ между возможным и невозможным, которые всегда идут в ситуации постистины (с. 74).

В этой же, второй главе Стив Фуллер приводит аргументы в пользу того, что для современной науки в действительности более свойственна ситуация постистины, чем истины. Дело прежде всего в значении визуальных репрезентаций, с помощью которых ученые подкрепляют свои теории (с. 75–77). Эта зрелицность современной науки показывает, что в ее контексте художники и софисты не дали царям-философам монополизировать модальную власть. Как отмечает Фуллер, в этом нет ничего удивительного, учитывая, что истоки современной науки находятся в раннем Новом времени, а точнее, в спорах между Гоббсом и Бойлем. Гоббс, будучи принципиальным платоником, отказывался признавать экспериментальную науку как раз за ее театральность, тогда как Бойль настаивал на своем театре демонстраций (с. 77–78).

Фуллер также показывает различие между ситуациями истины и постистины на примере философии науки XX века. Парадигмальным примером для него является Людвиг Витгенштейн, который на раннем этапе своего творчества был мыслителем истины, а на позднем — перешел на сторону постистины. Если в «Логико-философском трактате» Витгенштейн считал, что интерпретация высказывания в качестве истинного или ложного является делом механическим (надо просто посмотреть на мир сам по себе), то в «Философских исследованиях» Витгенштейн допускает множество возможных интерпретаций одних и тех же данных, так что «истина» и «ложь» оказываются делом перспективы (с. 83–84). В этом смысле ранний Витгенштейн допускает всего лишь одну неизменную реальность, тогда как поздний предполагает, что в своих языковых играх люди постоянно эту реальность переопределяют.

Но при этом, как и множество других интерпретаторов, Фуллер не считает, что поздний Витгенштейн наотрез отказался от каких-то своих первичных установок, скорее, он просто показал их глубинное основание. Фуллер объясняет различие между трудами раннего и позднего Витгенштейна тем, что «Логико-философский трактат» рассказывает об устойчивом и неизменном мире, языке и истине внутри конкретной языковой игры, тогда как «Философские исследования» объясняют, как данные логические и онтологические сущности могут меняться от одной языковой игры к другой. По этой причине Фуллер считает, что поздний Витгенштейн на самом деле не отказался от позитивизма, а развил его, и то же самое сделал и Томас Кун, на которого «Философские исследования» оказали значительное влияние (с. 86). Все это позволяет автору назвать STS «постмодернистским позитивизмом» (с. 83), учитывая то, насколько эта традиция в своих теоретических основаниях зависит от Куна и позднего Витгенштейна.

В этом смысле, как считает Фуллер, позитивисты прекрасно понимали, что «истина — это просто общее свойство языка, который мы решаем использовать, или игры, в которую мы решаем играть» (с. 87). Они только пытались найти одну конкретную языковую игру, которая наилучшим образом смогла бы удовлетво-

рить запрос ученых из всех областей на нормализацию их деятельности, из-за чего они и потерпели крах: оказалось, что и для самой «науки» продуктивным является сосуществование множества языковых игр. Так что позитивизм с его чисто формальным пониманием истины как свойства языка вполне вписывается в дух постистины.

Реального врага постистины сегодня Фуллер видит в распространенном среди аналитических философов веритизме с его главными представителями — Элвином Голдманом, Эриком Бейкером и Наоми Орескес (с. 88). Данные философы, в отличие от позитивистов, настаивают на существовании истины, внешней по отношению к языковым каркасам и совпадающей с окончательным консенсусом ученых по «правильной презентации реальности» (с. 101). Фуллер показывает, что представители данного течения, по сути, снова и снова занимают платоновскую позицию борьбы против софистов за монополизацию модальной власти, не имея достаточных оснований для отождествления научного консенсуса с той самой «внешней» истиной (с. 92–96). Более того, само понятие научного консенсуса кажется Фуллеру сомнительным, учитывая большое число разнонаправленных исследовательских позиций, ортодоксов и диссидентов в самых разных областях знания. Эксперты пользуются им, только если испытывают потребность сокнуть ряды перед общим противником, выстраивая единое мнение в вопросах фактов и ценностей, а значит: «Это социальный конструкт, вот и все» (с. 100).

Погоня за рентой, военно-промышленный комплекс и протнаука

В третьей главе Фуллер развивает тезис о том, что социальный конструктивизм и социология в целом в своих основаниях тесно связаны с ситуацией постистины. Он критикует STS за то, что сегодня многие начинают откращиваться от ситуации постистины по причине использования политически нежелательными элементами (например, креационистами или климатическими скептиками) идей социального конструктивизма для борьбы с экспертами (с. 112–114). Так Латур, например, поднял белый флаг в «научных войнах» (с. 115). Фуллер же в этом контексте считает, что представители STS могут поддерживать в войнах против научной экспертизы те элементы, которые кажутся им политически надежными, но при этом не выходить из поля борьбы. Иначе модальная власть будет узурпирована узким кругом избранных. Заканчивается третья глава тем, что Фуллер объявляет современный академический мир нефеодальной системой, поскольку эта самая монополизация власти экспертами приводит к тому, что в академии капитал во всех его формах распространяется на основе «знакомств и рукопожатий»: «Родословная по-прежнему играет определяющую роль, каков бы ни был источник прав прародителей» (с. 130).

Четвертая глава полностью посвящена тезису Фуллера о том, что именно военно-промышленный комплекс всегда был силой, противостоявшей феодализации академического мира и поддерживавшей ситуацию постистины в науке. Фуллер

демонстрирует это на примерах стратегий, используемых «лисами» в контексте подобных исследований: они изучают материал малозаметных исследований, «отыскивая в нем скрытый потенциал, позволяющий развить уже имеющиеся программы или же открыть новые» (с. 141). Дело тут в том, что военно-промышленный комплекс всегда существует в формате конкуренции («гонки вооружений»), а в конкурентном контексте важно обнаруживать скрытые источники приращения капитала, вместо того чтобы продолжать «по-львиному» и в неофеодальном ключе взимать ренту с ученых, занимающихся «нормальной наукой». Это общее умонастроение Фуллер называет «военно-промышленной волей к знанию» (с. 146). Эта воля находит проявление, например, в том, что именно в рамках данного комплекса возникло требование междисциплинарности (с. 148), без которой ученые разных специальностей занимались бы бесконечным самовоспроизведением.

В пятой главе Фуллер рассматривает вводившееся им ранее⁴ понятие протестантской науки, или — сокращенно — протнауки. Данное понятие является ключевым для иллюстрации фуллеровского проекта демократизации научного знания. Аналогия с протестантизмом здесь обосновывается тем, что в ситуации постистини «наука считается личным делом» каждого (с. 200) и производителями знания становятся в том числе и не-эксперты подобно тому, как Реформация привела к появлению множества вероучений, основанных на личном и нетрадиционном толковании Писания. Примеры протнауки Фуллер видит в развитии теории разумного замысла, в альтернативной медицине и коллективном создании Википедии (с. 200). Аналогия между Реформацией и протнаукой усиливается и тем, как к этим явлениям относились и относятся официальные элиты: «католики шельмовали протестантов, называя их атеистами», а «сегодняшних протученых изобличают как представителей антинауки», хотя в обоих случаях критиками статус quo выступают «хорошо образованные люди, нисколько не отказывающиеся от необходимости предоставлять доводы и факты в пользу своих убеждений» (с. 201).

Фуллер отдает себе отчет, что данная ситуация может приводить к появлению множества шарлатанов, но при этом он считает, что эти трудности общество в состоянии со временем решить и что они не так уж много значат в сравнении с расширением полномочий и прав граждан в мире протнауки. Дело в том, что в этом новом мире не сами эксперты должны определять политический курс на базе проведенных исследований — напротив, «бремя интерпретации ложится теперь на аудиторию, считающуюся ангажированной и разумной» (с. 202). Иными словами, в современном мире не-эксперты получают доступ почти к тем же объемам информации, что и эксперты, и вполне имеют право на свое осведомленное мнение по актуальным научным вопросам. Подобно тому как Реформация со своей опорой на печатный станок и распространение копий Библии уничтожила непререкаемый авторитет католической церкви в вопросах толкования Писания и в итоге

4. Fuller S. (2010). *Science*. Durham: Acumen. P. 61–71.

привела к секуляризации, протнаука со своей опорой на интернет и свободный доступ к материалам исследований расколдовывает научную экспертизу и наделяет граждан достаточной осведомленностью для критики экспертного мнения. Поэтому, как точно отмечает Фуллер, протнаука «представляет собой наиболее поздний этап секуляризации, на котором наука сама становится мишенью, а не агентом секуляризации» (с. 202).

Особую роль в развитии протнауки играют социальные группы, занимающие как бы промежуточную позицию между научными элитами и простыми гражданами: это публичные интеллектуалы, которые, во-первых, сами претендуют на производство знания, не «платя ренту» академии, а во-вторых, сами распространяют знание, не «взимая ренту» с других. Именно поэтому экспертные элиты так боятся публичных интеллектуалов: они подрывают традиционную экономику знаний (с. 206–207). Подобную функцию выполняют и научные журналисты, аудитория которых получает доступ к лабораторным исследованиям иногда почти в формате «реалити-шоу» (с. 212) и в итоге становится достаточно осведомленной для самостоятельных суждений о положении дел в науке и мире.

Чтобы формально определить изменение роли не-ученых в ситуации протнауки, Фуллер использует понятия заказчика и потребителя. Если в мире истины аудитория ученых является и заказчиком, и потребителем научного знания, то в мире постистины аудитория является его заказчиком, но может вполне отказаться от роли потребителя. Иными словами, поскольку наука чаще всего финансируется государством, конечным ее заказчиком всегда оказываются налогоплательщики, но в контексте протнауки эти же самые налогоплательщики вольны следовать или не следовать рекомендациям ученых, «потреблять» их или нет (с. 213–215).

От предосторожности к проактивности

Шестая глава производит своего рода синтез между философскими и политическими аспектами ситуации постистины. Сначала Фуллер отмечает, что в ситуации постистины грань между наукой и политикой, проводившаяся Максом Вебером на основании реализма первой и антиреализма второй, становится весьма зыбкой, поскольку ни для кого уже не секрет, что и в науке постоянно идет политическая борьба за модальную власть (с. 251–258). Далее снова упоминается спор между платоновско-аристотелевской линией монополизации модальной власти и плюрализмом в определении пространства возможного, в Античности поддерживавшимся оппонентом Аристотеля Диодором Кроном: согласно первой линии, значение всякого высказывания о мире не зависит от способа его интерпретации, согласно второй — возможны различные интерпретации высказываний, а значит, и множественные онтологии (с. 258–264). Источником таких онтологий, согласно Фуллеру, является вымысел, и в целях иллюстрации этой мысли в книге приводятся примеры из математики — иррациональные числа, и юриспруденции — «основные нормы» в понимании Кельзена (с. 264–268). При этом подобные вымыслы перестра-

ивают не только пространство возможностей в будущем, но и «по-оруэлловски» переписывают историю (с. 269–273).

В седьмой главе Фуллер наиболее полно представляет политические следствия ситуации постистины, демонстрируя их на примере экспертного прогнозирования будущего. С его точки зрения, в мире постистины ученые и политики должны исходить из принципа проактивности и форсированного правления, а не предосторожности и предупреждающего правления. Это значит, что они не должны бояться реализовывать любые возможные модели будущего, даже если существующее на данный момент экспертное знание противоречит данным моделям или отвергает их (с. 309–333): «Форсированное правление осуществляется на основе предположения, что определенный ущерб будет нанесен независимо от того, какой курс выбрать, а потому задача в том, чтобы извлечь из него наибольшую выгоду» (с. 323–324). По этой причине Фуллер считает право на ошибку фундаментальным демократическим правом в мире постистины: всякий должен иметь право совершить неудачный эксперимент в науке или в политике, ведь без проб и ошибок невозможно развитие, как учил еще Карл Поппер (с. 278–283).

В данной главе Фуллер также приводит онтолого-эпистемологические основания самой идеи предсказания (с. 283–290) и, ссылаясь на работу П. Тетлока⁵, утверждает, что в мире экспертного прогнозирования также есть свои «львы», привыкшие делать прогнозы на основе устоявшейся парадигмы (только их Тетлок вслед за Эразмом Роттердамским называет «ежами»), и «лисы», исходящие из большего числа контрфактических сценариев (с. 290–300). При этом «лисы» особенно умело пользуются и контрфактическими суждениями об истории, чтобы показать, что даже самые невероятные прогнозы могут сбыться в будущем, а это в том числе может радикально изменять и наши моральные представления (с. 300–309). Например, если бы нацисты выиграли, «понимание зверств, ими устроенных, было бы нормализовано, не исключено, что примерно так, как по-прежнему нормализована крайняя бедность в развивающемся мире» (с. 304).

Штурм Капитолия и проблема демократии

Книга Фуллера была опубликована в 2018 году, в 2021-м она вышла в переводе на русский. Эта дистанция между временем изначального выхода книги и нынешним моментом позволяет гораздо лучше ее понять, потому что за это время произошло много политических событий, представивших идеи Фуллера на практике, что можно считать их своего рода проверкой на философскую и политическую состоятельность.

Парадигмальными примерами развития ситуации постистины для Фуллера являются победа Трампа на президентских выборах 2016 года в США и брекзит. Фуллер часто пишет, что еще далеко не ясно, какой будет конечная судьба этих

5. Tetlock P. (2005). *Expert Political Judgement: How Good Is It? How Can We Know?* Princeton: Princeton University Press.

событий. И сегодня, в 2022 году, когда мы значительно лучше знаем последствия брекзита и правления Трампа, мы гораздо глубже можем понять сущность постистины, а вместе с тем и политические взгляды ее апологетов, в частности Фуллера.

Чем закончился президентский срок Дональда Трампа? После того как Трамп в 2020 году проиграл на выборах и не прошел на второй срок, на митинге 6 января 2021 года он призвал своих сторонников «бороться изо всех сил» и «идти к Капитолию». В итоге митинг вылился в бесславный штурм Капитолия, целью которого был срыв дебатов по подведению итогов прошедших президентских выборов и признанию Джозефа Байдена новым главой США. Любопытно, что в своей речи Трамп продолжал «лисьи» риторические приемы, о которых пишет в своей книге Фуллер: так, например, он призывал своих сторонников не верить результатам президентских выборов, что вполне соответствует постистинностному убеждению в том, что любые факты фабрикуются, а значит, могут быть и перефабрикованы по-новому, если подсчитать голоса иначе.

Попытка захвата власти сторонниками Трампа заставляет задуматься о том, насколько невинна ситуация постистины и какие политические последствия она может вызывать. Несомненно, Фуллер прав, говоря, что «мир постистины — это неизбежный результат большей эпистемической демократии» (с. 117), поскольку сама возможность рядовых граждан отстаивать неконвенциональные теории и участвовать в производстве фактов гарантирует, что модальная власть не будет монополизирована узким кругом экспертов, готовых бесконечно взимать ренту с неофитов. Тем не менее, как показывает случай со штурмом Капитолия, некоторые способы построения фактов, имеющие своей целью борьбу за власть, ставят под угрозу само пространство демократических прений: трамповские призывы не верить элитам вылились в попытку силовой экспроприации принадлежавших этим элитам механизмов производства фактов. Использование силы, разумеется, само по себе делает невозможным тот самый демократический выбор граждан между состязающимися элитами, на котором настаивает Фуллер: если одна элита захватывает власть силой, это неизбежно происходит потому, что она лучше выражает интересы людей. Может быть, ее сторонники просто лучше машут кулаками.

Поэтому выходит, что для поддержания принципов демократии в ситуации постистины необходимо ввести ограничения этой демократии. Например, должны быть запрещены такие политические программы, которые исключают возможность производства знания людьми определенной партии, класса или цвета кожи: это требование соответствует знаменитому принципу универсализма в мертоносском научном этосе⁶. Здесь будет уместно вспомнить идею Славоя Жижека о том, что любой системе для ее нормального функционирования нужно симптоматиче-

6. Мертон Р. (2006). Социальная теория и социальная структура / Пер. с англ. Е. Н. Егоровой, З. В. Кагановой, В. Г. Николаевой, Е. Черемисиновой. М.: АСТ. С. 770–774.

ское место, в котором ее базовые принципы нарушаются⁷: в случае демократии таким симптомом является запрет ультраправых идеологий, попирающих базовые права и свободы человека, например нацизма.

В связи с этим возникает вопрос о том, какой именно позиции по данному вопросу придерживается Фуллер: должна ли в ситуации постистины ценность плюрализма идеологий ограничиваться во имя сохранения самого пространства демократии, или же в политических играх должна иметь возможность участвовать любая «команда», вне зависимости от того, какие потенциальные риски связаны с ее взглядами? Судя по основным тезисам книги, Фуллер все же отстаивает идею полной свободы слова и политического плюрализма, какую бы цену за них ни пришлось платить.

Об этом говорит его вера в принцип проактивности. Как уже объяснялось, данный принцип призывает защищать любой вариант развития будущего, на который готовы рискнуть отстаивающие его люди. Онтолого-эпистемологическим основанием данного принципа служит уверенность Фуллера в том, что будущее не предопределено, а попытки его прогнозирования и вычисления рисков покоятся на предпосылках, гласно и негласно принимаемых прогнозирующими экспертами. Поскольку ситуация постистины учит нас тому, что истины и факты существуют только в рамках определенной перспективы, это значит, что данные прогнозы могут быть верны, только если мы остаемся в рамках оптики, принятой экспертами. Иными словами, если мы не консолидируемся в их предпосылках с теми, кто прогнозирует даже самые страшные риски в будущем, данных рисков для нас вообще может не существовать или же они могут представлять для нас возможностями лучшего будущего. Именно поэтому брекзит можно считать победой демократии над технократией: что бы ни говорили эксперты в области экономики и международных отношений, народ предпочел пойти на риск, в том числе чтобы продемонстрировать свой суверенитет элитам, вооруженным таинственной экспертизой.

Однако в ситуации постистины принцип проактивности открывает дорогу для множества перегибов и искажений политического поля как такового: если мы не можем предложить никакого универсального принципа для отделения морального от аморального, о чем Фуллер говорит, например, в связи с вопросом о контрафактических суждениях и альтернативных моделях прошлого (с. 300–309), то выходит, что политические лидеры имеют право выстраивать любую модель будущего просто на том основании, что их избиратели готовы данную модель поддержать и пойти на риски, связанные с этим решением. Об этом же свидетельствует и следующая фраза Фуллера: «Учитывая общую невероятность достижения совершенного результата, демократия должна стремиться принимать такие решения, за которые те, к кому эти решения применяются, хотели и могли бы брать на себя личную ответственность при любых последствиях» (с. 32–33). Таким образом, не-

7. Жижек С. (1999). Возвышенный объект идеологии / Пер. с англ. В. Софонов. М.: Художественный журнал. С. 29–30.

предсказуемость и сложность мира, а также невозможность отделить универсальным образом истинное от ложного и правильное от неправильного позволяют Фуллеру отождествить демократию с возможностью общества принимать те решения, которые оно посчитает нужным, даже если их последствия кажутся весьма неочевидными и сомнительными исходя из вполне разумных оснований, ведь за «разумными основаниями» всегда скрывается простая воля к модальной власти.

Таким образом, если эпистемологическую позицию Фуллера можно назвать социальным конструктивизмом, то ее политическим двойником оказывается децисионизм: законное и незаконное, моральное и аморальное в конечном счете определяются волей принимающих решения элит, поддерживаемых своими избирателями. Показательно, что, деконструируя веберовское различие между политикой и наукой, Фуллер упоминает конструктивизм и децисионизм как основные черты политической деятельности (с. 252). Выходит, что, стирая это различие, он тем самым не только распространяет децисионизм на область науки, но и по умолчанию допускает его как основу для своих политических взглядов. Тем самым Фуллер определяет допустимое и недопустимое в политике, законное и противозаконное просто как согласующееся с волей победившей политической элиты, заручившейся достаточной общественной поддержкой.

Разумеется, сам факт того, что точка зрения Фуллера тяготеет к политическому децисионизму, уже вызывает вопросы, так как эта позиция, выдвинутая еще Карлом Шмиттом, по сути, была официальной позицией нацистской политической теории и практики. По всей видимости, подобное представление о политике и демократии в книгу Фуллера проникло благодаря сильному влиянию Вильфредо Парето и Йозефа Шумпетера, каждый из которых сводил демократию к конкурентной борьбе элит за власть посредством электоральных механизмов⁸. Особен-но сомнительными в связи с этим выглядят рассуждения Фуллера о том, что зверства нацистов могли бы выглядеть вполне обоснованными, одержи они победу (об этом мы уже говорили выше). Отказ считать нечто принципиально аморальным напрямую вытекает из фуллеровского конструктивизма и децисионизма, что свидетельствует о неспособности его теории дать принципиальные ориентиры для различия допустимого и недопустимого в политике и морали, кроме требо-вания свободы элит в политической борьбе, которая, по всей видимости, может разворачиваться любым возможным образом, в зависимости от их поддержки электоратом. В равной мере любопытным выглядит признание Фуллером права на ошибку как фундаментального института демократии: этим правом децисионизм «прикрывает тылы» в случае, если политическая авантюра, им вдохновляемая,

8. О рассмотрении демократии как особого типа борьбы элит за власть у Вильфредо Парето и Йозефа Шумпетера и о влиянии первого на второго в этом вопросе см.: Christensen M. (2013). The Social Facts of Democracy: Science Meets Politics with Mosca, Pareto, Michels, and Schumpeter // Journal of Classical Sociology. Vol. 13. № 4. P. 460–486. О влиянии Карла Шмитта на Йозефа Шумпетера и проблемах сведения демократии к электоральным процедурам см.: Юдин Г. (2021). Россия как плебисцитарная демократия // Социологическое обозрение. Т. 20. № 2. С. 9–47.

обираивается ужасами и непотребствами. Это, например, хорошо видно в случае с Мартином Хайдеггером и попытками оправдать его причастность к нацизму⁹.

Поэтому штурм Капитолия сторонниками Трампа выглядит как вполне закономерное следствие децизионистского измерения ситуации постистины: харизматический лидер призывает народ, *the people*, не верить «фактам», сфабрикованным кучкой профессиональных политиков, и вернуть себе суверенитет. В связи с этим встает вопрос о том, как можно было бы демократизировать производство научного знания, отказавшись от монополии замкнутого круга экспертов-технократов, но при этом не допустив тех политических aberrаций, которые предполагает предлагаемое Фуллером шумпетерианское понимание демократии как борьбы элит за избирателей? Как можно использовать демократический потенциал ситуации постистины, не допуская пресловутого превращения демократии в тиранию?

Как спасти ситуацию постистины от опасности?

Здесь можно предложить по меньшей мере две идеи. Первая вытекает из фуллеровского понятия протнауки. Как мы помним, в ситуации постистины научное знание становится личным делом каждого, что приводит к появлению множества теорий, не укладывающихся в научный мейнстрим. Эту ситуацию Фуллер сравнивает с Реформацией, когда в связи с книгопечатанием возможность по-своему толковать Библию появляется у большего числа людей. Как напоминает сам Фуллер, Реформация дала дорогу религиозным войнам (с. 118), а протнаука может приводить к появлению всяческих недопониманий и шарлатанства (с. 201), в связи с чем в ситуации постистины, разумеется, уже кипят и будут кипеть всевозможные научные войны.

Проблема борьбы элит в ситуации постистины может быть решена сходным образом с тем, как была решена проблема религиозных войн. Век Просвещения ограничил религию знаменитыми кантовскими «пределами только разума», что в политико-правовом отношении соответствовало идеям общественного договора и вытекающему из них принципу, что в основании закона должна лежать не религиозная вера, а естественное право. Тем самым все апелляции к божественной воле в политико-правовых спорах были объявлены ничтожными, а само пространство этих споров ограничено морально-политической философией Нового времени. Данное решение вполне может быть повторено и в ситуации постистины с ее научными войнами и борьбой «лис» против «львов». Новые просветители могут предложить сегодня морально-политические основания для того, чтобы отвести науке и научным войнам точно определенное границами разума место. Иными словами, в ситуации постистины необходимо выработать нормативные основания для споров ученых друг с другом, создать базовые моральные принципы, которые не позволили бы борьбе элит вылиться в новый «Machtergreifung». В ситуации по-

9. *Wolin R. (2017). On Heidegger's Antisemitism: The Peter Trawny Affair // Antisemitism Studies. Vol. 1. № 2. P. 267–272.*

стистины вновь повышается спрос на нормативное философствование, необходимое для предохранения научно-политического поля от закрытия и антидемократизации. Как и в случае с веком Просвещения, разумеется, необходимы не только философствование, но и институционализация данных принципов в новых законах и конституциях, которые на равных регулировали бы управление обществом в политике и формирование фактов в науке.

Вторая идея заключается в изменении представления о том, как в ситуации постстистины должна пониматься демократия. Упование Фуллера на альтернативные, «лиссы» элиты, способные составить конкуренцию «львиному» истеблишменту в битвах за модальную власть, продиктовано, как уже говорилось, теорией демократии, которая исходит из представления о народе, демосе как о неструктурированной массе, которая может быть мобилизована только для голосования. Такое представление о народе само по себе является крайне недемократичным, так как отказывает гражданам в постоянном и действительном вовлечении в научно-политический процесс. Именно на нем в конечном счете основываются бонапартистские методы захвата и удержания власти, и поэтому в риторике Трампа в его речи перед штурмом Капитолия настолько значительную роль играл троп фальсифицированных выборов.

В связи с этим упор на электоральные процессы как на единственный способ волеизъявления народа в конечном счете приводит к проблемам и кризисам демократии. Поэтому, возможно, чтобы гарантировать подлинный демократизм в эпоху постстистины, недостаточно пестовать плюрализм среди элит — нужно увеличивать зоны гражданского участия. Такой республиканский взгляд на демократизацию знания в ситуации постстистины отличается от фуллеровского тем, что он больше надежды возлагает не на возможность выбора между спорящими теориями и типами экспертизы, а на постоянное вовлечение граждан в производство фактов и права. Суды присяжных, в которых участвуют не на выборной основе, а по жребию, продолжают, например, эту республиканскую, восходящую к Античности идею.

Подобное республиканское отношение к ситуации постстистины способно решить и другую проблему: проблему роста шарлатанства в информационном поле, которую отмечает и сам Фуллер. Дело в том, что республиканизм как идеология предполагает создание публичной «арены», на которой должны регистрироваться наилучшие достижения граждан¹⁰. В связи с этим республиканское понимание «демократизма» не противоречит «аристократизму» в ограниченном смысле: если в контексте производства знания кто-то зарекомендует себя как наилучшего и заслуживающего доверия, он или она будет отмечен или отмечена на этой арене, шарлатанов же из этой сферы будут исключать. Фуллер же только отмечает, что данная проблема постепенно разрешится с ростом ответственности общества за производство знания, но только республиканизм дает идейные основания для ее

10. Хархордин О. (2021). Республика. Полная версия. СПб.: ЕУСПб. С. 178.

решения. Таким образом, республиканское понимание постистины не отвергает экспертное знание в принципе, как это делает Фуллер, — оно только настаивает на формировании этого знания в публичном пространстве, в условиях широкой политической мобилизации граждан.

Итак, с одной стороны, Стив Фуллер в своей книге провозглашает правильное требование демократизации производства знания, часто озвучивавшееся в STS, и предлагает прекрасные экскурсы в историю модальной власти, критические замечания об утрате университетами просвещенческой функции, о роли военно-промышленного комплекса в этой демократизации и т. д. С другой стороны, само понимание Фуллером демократии исходит из весьма спорной политической традиции, а потому его представления о проактивности и форсированном правлении дают дорогу политическим авантюрам, способным уничтожить пространство свободы в науке и политике. В этой рецензии я изложил свои интуиции о том, какая морально-политическая философия и какие воплощающие ее институты могут защитить ситуацию постистины от таящихся в ней опасностей.

Post-Truth and Its Threats

Alexey Salin

Candidate of Philosophical Sciences, Assistant Professor, Department of Philosophy, Institute of Social Sciences

and Humanities, University of Tyumen

Address: Volodarskogo str., 6, Tyumen, Russian Federation 625003

E-mail: a.s.salin@utmn.ru

Book Review: *Steve Fuller. Postpravda: znanie kak bor'ba za vlast'* [Post-Truth: Knowledge as a Power Game] (Moscow: HSE, 2021) (in Russian).

Департамент полиции, жандармы, либералы: особенности политического и публичного в Российской империи^{*}

УЛЬЯНОВА Л. В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ И ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:
ВЛАСТЬ ИГРЫ, ИГРА ВЛАСТЬЮ. 1880–1905. СПБ.: АЛЕТЕЙЯ, 2021. 358 С. ISBN 978-5-00165-156-7

Амиран Урушадзе

Доцент, факультет истории, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Научный сотрудник, Южный научный центр РАН

Адрес: Гагаринская ул., д. 6/1, литера А, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187

E-mail: aurushadze@eu.spb.ru

Новая книга Любови Владимировны Ульяновой, с одной стороны — подтверждает актуальность изучения истории Российской политической полиции и продолжает ряд фундированных и концептуальных исследований¹. Однако с другой — монография выделяется среди указанных трудов как теоретической оснасткой, так и свежей интерпретацией обширного документального материала. Эта работа является новаторской и в историографии истории политической полиции: российский политический сыск впервые анализируется с концептуальных позиций социологии Пьера Бурдье и «уликовой парадигмы» Карло Гинзбурга. Вместе с тем она созвучна современной историографической ситуации, сложившейся в изучении Российской империи рубежа XIX–XX веков, для которой, как известно, характерно размывание границ привычных общественно-политических пространств («либералы» — «консерваторы»), а также отказ от лагерной акторности («власть» — «общество»).

Монография посвящена истории взаимодействия Департамента полиции и губернских жандармских управлений с либералами и либеральным движением в 1880–1905 годах. Хронологические рамки исследования определены Ульяновой временем между созданием Департамента полиции как главного института империи в борьбе с противоправительственными настроениями (1880) и Манифестом 17 октября 1905 года как моментом начала важнейшего этапа трансформации политического пространства в империи. Необходимо отметить, что рассматриваемый в монографии период выделяет книгу среди других новейших исследований, посвященных институтам политического сыска. Так, монография В. В. Хутарева-

* Публикация подготовлена за счет средств Российского научного фонда, проект № 17-78-20117.

1. Хутарев-Гарнишевский В. В. (2020). Противостояние: спецслужбы, армия и власть накануне падения Российской империи, 1913–1917 гг. М.: Изд-во Ин-та Гайдара; Щербаков Е. И. (сост.). (2021). Политическая полиция Российской империи между реформами: от В. К. Плеве до В. Ф. Джунковского. Сборник документов. М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя.

Гарнишевского и сборник документов, подготовленный Е. И. Щербаковой, фокусируются на времени после 1905 года.

По хронологическому охвату и фундированности исследование сравнимо со ставшей уже классической работой З. И. Перегудовой², при этом монография Л. В. Ульяновой предлагает новые интерпретации взаимодействия Департамента полиции и либеральной части общества, а также существенно расширяет научные представления о кадровых особенностях институтов политического сыска, технологии их работы.

Основной тезис сформулирован автором уже в дебюте: политический сыск и либералы не являлись непримиримо противостоящими сторонами, а скорее выступали участниками общего процесса обсуждения путей развития страны на рубеже XIX–XX веков. Соответствующим образом в работе рассматривается и основной источник — делопроизводственная документация Департамента полиции. Ульянова подходит к анализу этого документального массива как к нарративному пространству диалога политической полиции и либерального движения. Связующим теоретико-методологическим элементом монографии стали идеи Пьера Бурдье (с. 51) — автор использует понятия социального поля, символического капитала и габитуса.

Еще одним важнейшим положением книги становится тезис, согласно которому российский политический сыск был идеологически далеко не однороден. Как показывает Ульянова, если для чинов губернских жандармских управлений было характерно казенно-официальное охранительство, то Департамент полиции и особенно его элита исповедовали умеренно-консервативно-либеральные, или «неославянофильские», взгляды. Таким образом, внутри политического сыска сформировались субкорпорации с устойчивыми системами восприятия социального мира и императивами действия.

Вводная часть содержит подробный и проблемно ориентированный обзор историографии. Его лучшие фрагменты представлены полемикой автора, в которой она убедительно показывает служебно-иерархическое первенство Департамента полиции среди других имперских институтов, занятых борьбой с оппозиционными выступлениями. Отдельный корпус жандармов (ОКЖ) не занимался руководством политического сыска, а координировал работу различных жандармских структур с обширным функционалом. Непосредственно с политическим сыском соприкасались губернские жандармские управления (ГЖУ), при этом в данной сфере они подчинялись не ОКЖ, а Департаменту полиции (с. 14–15).

В первой главе подробно анализируются структура и кадровый состав политической полиции Российской империи. Ульянова описывает противостояние Департамента полиции и Корпуса жандармов за контроль над губернскими жандармскими управлениями, что позволяет по-новому оценить причины и обстоятельства создания охранных отделений. Их сеть формировалась не только в целях

2. Перегудова З. И. (2000). Политический сыск в России (1880–1917). М.: РОССПЭН.

усовершенствования политического сыска, но и в интересах Департамента полиции, стремившегося подчинить себе розыск (с. 63). В монографии подробно рассмотрена антропология различных институтов имперского политического сыска. Л. В. Ульянова контекстно показывает различия в кадровом комплектовании Департамента полиции, ГЖУ и охранных отделений. Чины этих структур отличались по уровню и/или специализации образования, а также по траекториям служебной социализации. Так, наиболее влиятельные чиновники Департамента полиции являлись профессиональными юристами, при этом большинство руководителей ведомства имели продолжительный опыт работы в судебных институтах. Как пишет автор, «будущие руководители политической полиции прошли все карьерные ступени — от секретаря суда или помощника следователя до прокурора окружного суда или судебной палаты» (с. 72). Многие представители департаментской элиты учились у выдающихся российских правоведов К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина и А. Д. Градовского, известных своим критическим отношением ко многим явлениям внутриполитической жизни империи. Совсем другое образование имела большая часть жандармов. Как правило, они получили военное образование, а их служебный опыт ограничивался армейской службой. Отсюда характерная для армейской среды консервативная аполитичность. Этот сюжет рассматриваемой монографии содержательно перекликается с изданной годом ранее монографией В. В. Хутарева-Гарнишевского, где анализируются попытки Департамента полиции изменить образовательную структуру офицерских курсов при штабе Отдельного корпуса жандармов. Например, в 1909 году вице-директор Департамента полиции С. Е. Виссарионов настаивал на необходимости расширить курс государственного права, читаемый для жандармских офицеров. Как показывает Хутарев-Гарнишевский, хотя начальство ОКЖ и принимало помочь Департамента полиции, но вместе с тем считало, что жандармская служба имеет собственную специфику, а потому зачастую тихо саботировало подобные модернизаторские инициативы³.

Интеллектуальный и карьерный опыт влияли на особенности восприятия чинами различных имперских ведомств политической ситуации в империи. Одной из сильных сторон монографии Ульяновой, несомненно, является рассмотрение политического сыска как части российского общества: ведь чины политического сыска читали те же книги и газеты, ходили в те же театры, что и городская либеральная интеллигенция (с. 86). Таким образом, автор преодолевает архаичное идеологическое разделение социального мира империи на «власть» и «общество» — две аналитические категории, которые в историографии зачастую рассматривались и рассматриваются как противостоящие силы. Отказ от подобной социально-политической демаркации позволяет рассмотреть взаимодействие и конфликты в рамках единого коммуникативного пространства и избежать априорного приписывания акторов к лагерям либералов или реакционеров. Без подобного «просеивания» получается значительно более сложная и интересная ис-

3. Хутарев-Гарнишевский. Указ. соч. С. 60–62.

следователю картина. Анализ Ульяновой созвучен теоретико-методологическим основам истории «политической повседневности», сформулированным недавно К. А. Соловьевым: «В России второй половины XIX в. не будет жесткой грани, отделяющей власть и общественность. Сама бюрократия не будет представляться монолитной»⁴.

В книге предложен новый взгляд на взаимоотношения А. А. Лопухина, занимавшего пост директора Департамента полиции в 1902–1905 годы, и министра внутренних дел В. К. фон Плеве (1902–1904). В воспоминаниях современников и историографии отмечалось, что назначение «либерала» А. А. Лопухина в Департамент полиции было для «реакционера» В. К. фон Плеве попыткой заигрывания с «прогрессивными» кругами⁵. В монографии показано, что министр внутренних дел не препятствовал либеральным инициативам главы Департамента полиции. В январе 1904 года фон Плеве отменил негласный надзор, а в июне того же года передал рассмотрение дел о государственных преступлениях из Особого совещания при МВД в судебные институты (с. 100–102). В книге приведены и другие примеры, когда «реакционеры» действуют вполне либерально, а признанные «либералы», напротив, выступают с позиций реакционного охранительства.

Во второй главе рассматриваемой монографии предлагается анализ образов либерализма и либералов в делопроизводственной переписке чинов Департамента полиции. При этом «либерализм» неизменно ставится автором в кавычки, что поясняется в самом начале главы. Как отмечает Ульянова, в департаментской документации не найти соответствующих определений, даже сами выражения «либерал», «либерализм», «либеральный» встречаются в неотрефлексированном виде, вставленными в тексты без особого повода. Поэтому автор выбирает своеобразно трактуемую «уликовую парадигму» Карло Гинзбурга, которая призвана помочь в реконструкции сущностных черт либерализма в оценках политической полиции.

Палитра оценок «либерального» в документах ГЖУ и Департамента полиции была многообразна: от вполне безобидного просвещенческого либерализма до радикального, нацеленного на полное уничтожение самодержавия. Любопытно, что в документах политической полиции встречается показательное для понимания институциональной логики определение — «либеральная партия всех оттенков».

По документам ГЖУ можно судить если не об определении либерализма, то об экосистеме общественного движения в рефлексии жандармов. Так, либеральные идеи и либералы зачастую концентрировались вокруг общественных и просветительских институтов: земств, периодических изданий, библиотек, научных обществ. Либералы, по оценкам политической полиции, использовали эти инсти-

4. Соловьев К. А. (2021). Политическая повседневность: общие принципы и подходы // Будущее нашего прошлого-6: История повседневности и повседневность историка: Материалы международной научной конференции (27 ноября 2020 г.). М.: РГГУ. С. 31.

5. Архипов И. (2014). «Дело Лопухина»: «Необычайно яркий материал для оценки влияния политики на дело правосудия...» // Звезда. № 9. С. 118.

туты для интерпретации действий государственной власти и критики самодержавия. Особое беспокойство ГЖУ вызывало тверское земство, которое регулярно опротестовывало действия губернаторов П. Д. Ахлестышева (1890–1897) и Н. Д. Голицына (1897–1903). Представителями либеральных профессий в документах политического сыска считались литераторы, профессура, инспекторы народного образования, попечители учебных округов и адвокаты. Департамент полиции высоко оценивал влияние либеральных институтов самоуправления и периодики на общество. Служащие охранных отделений докладывали о связях либералов с представителями высшей власти, в том числе с великими князьями. Влиятельной группой либеральных лоббистов признавалась редакция «Вестника Европы» (с. 141).

Некоторые губернаторы опасались влиятельности либералов и предпочитали выстраивать дружественные отношения с земствами, редакциями газет, научными обществами. Ульянова отмечает, что это прямо влияло на деятельность ГЖУ, которые, в случае отсутствия доверенных отношений с губернской властью, оказывались в ситуации институционального одиночества и едва ли не полного беспомощия (с. 143).

Для анализа употребления термина «либерализм» и однокоренных с ним понятий автором применялись и количественные методы. В монографии представлены показательные графики и таблицы, которые позволяют судить о частотности употребления соответствующих слов в делопроизводственной переписке политической полиции за разные годы, а также о контексте этих упоминаний (с. 146–153).

Третья глава монографии посвящена рассмотрению ресурсной базы либералов по документам политической полиции. Принципиально важным является вывод о том, что не только либеральная общественность понимала необходимость политического развития Российской империи, но и чины Департамента полиции полностью осознавали неотвратимость перемен в организации государственного порядка. Ульянова характеризует взгляды политической полиции (прежде всего ее начальства) как «умеренно-либерально-консервативное славянофильство» (с. 190). В этом — общем осознании актуальности определенной социально-политической реформации — главный ресурс либералов и либерального движения в Российской империи рубежа XIX–XX веков.

Настоящей исследовательской удачей Ульяновой следует считать анализ документов ГЖУ, в которых охарактеризованы «идейные либералы» и «примкнувшие», «лжелибералы». В монографии приведены примеры, в которых подобная классификация участников либерального движения перекликается с оценками консервативных публицистов (с. 192–196). Но есть и другая ассоциация: образ Стивы Облонского в «Анне Карениной» Льва Толстого. «Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже многие из его круга, то это произошло не оттого, что он находил либеральное направление более разумным, но потому, что оно подходило ближе к его образу

жизни», — примеров подобного «примыкания» к либерализму, вероятно, было довольно много.

Документы ГЖУ, приведенные в монографии, фиксируют прагматический подход дворянства к ситуации противостояния между земствами и губернской администрацией. Если дворянин мог получить выгоды от сотрудничества с земством, то он становился «либералом», в случае видимых перспектив, открывающихся со стороны губернатора, — оказывался «консерватором».

Одним из ресурсов либерального движения, как показывает Ульянова, были слухи. Кроме того, действия властей попадали в информационное пространство, которое частично контролировалось либеральной общественностью, и начальство ГЖУ регулярно докладывало о публичных выступлениях либералов с критикой правительственные мер. Подобные публичные выступления неизменно привлекали внимание публики, артикулированные публично оценки задавали тон общественному обсуждению. Перспективным видится замечание Ульяновой о том, что «вопреки господствующему в историографии представлению о государственном аппарате Российской империи как о самодовлеющей машине, можно предположить, что в действительности бюрократическая система была зависима от настроений и перепадов общественного мнения» (с. 224). Именно за контроль над общественным мнением, в том числе по ключевым вопросам о верной интерпретации нужд населения и оправданности правительенного курса, политическая полиция вела борьбу с различными оппозиционными группами — либералами, народниками, марксистами. К началу XX века наиболее влиятельной фракцией становятся либералы, которые оказались способны как влиять на имперскую элиту и шире — общество — так и активно проникать в структуры регионального самоуправления. Именно такая картина, как отмечено в рассматриваемой монографии, должна была складываться у Департамента полиции из докладов ГЖУ и охранных отделений (с. 233).

В заключительной, четвертой главе Ульянова подробно анализирует стратегии и технологии противостояния/взаимодействия политического сыска и либерального движения. В монографии показано поле взаимодействия политической полиции и либералов, а также разнообразные формы коммуникации участников этого диалога. Такая исследовательская оптика помогла автору уйти от традиционного описания, где стратегии, доступные политической полиции, сведены к прямолинейному репрессивно-карательному алгоритму. Так показано, как власть концентрируется не в государственных институтах, а в устанавливаемых нормах. При этом нормирование социального пространства производится совместно институтами и обществом.

Политическая полиция использовала различные методы воздействия на лидеров либерального движения. Наряду с пассивным и активным сбором информации практиковались неформальные переговоры с оппонентами власти, в качестве крайней меры следовала высылка из столиц империи. Ульянова приводит интересные свидетельства о специальных приемных днях в охранных отделениях, когда

политическая полиция принимала студентов, рабочих или вызывала для объяснений лидеров общественного мнения. Интересно, что некоторые либералы специально провоцировали подобный вызов для изложения своей политической программы перед начальством Министерства внутренних дел (с. 276). И это был не единственный способ обращения к политической полиции со стороны либеральной оппозиции. Общественные деятели периодически подавали в Департамент полиции ходатайства об отмене тех или иных ограничительных мер, в том числе об отмене запрета на проживание в столицах для определенных лиц.

Важнейшим сюжетом, представленным в книге, являются сведения о позиции Департамента полиции в отношении применения запретительных и репрессивных мер. Зачастую департамент игнорировал запросы ГЖУ и других ведомств о необходимости ограничить личную и институциональную деятельность (с. 298–302). Ульянова предложила интересный и обоснованный вывод о том, что позиция Департамента полиции по отношению к общественному движению была лояльнее, чем других имперских ведомств, в частности Министерства народного просвещения.

В заключении автор отмечает, что Департамент полиции как корпорация выступал за сильную власть, способную придерживаться определенного правительственного курса. Политика, проводимая правительством, могла быть непопулярной в обществе, но должна была оставаться неизменной. Тем с большей тревогой элита политического сыска наблюдала за попытками власти «оседлать» общественное мнение. Зависимость от публичной дискуссии лишала власть не только собственной политической повестки, но и подрывала ее легитимность. Политическая полиция, стремившаяся помочь власти в борьбе за свободу от оппозиционного общественного мнения, оказалась не у дел, в начале XX века в делопроизводственной переписке Департамента полиции все чаще звучит мотив институционального одиночества.

Книга Ульяновой имеет важнейшее значение в новейшей историографии Российской империи. Во-первых, показаны широкие возможности подхода к изучению российского общества второй половины XIX века как социального пространства, а не жестко организованной системы с четко определенными классами и ролями, о чем говорит и частое упоминание имени Пьера Бурдье в тексте. Автор оригинально использовала понятийную систему и концепты французского социолога для интерпретации богатого архивного материала. Удачным следует признать реконструкцию габитуса чинов Департамента полиции и ГЖУ. Примеры приобретения различными структурами политического сыска определенных диспозиций восприятия показательны и красноречивы. Ульянова в деталях показывает читателю процесс формирования императивов поведения и реакций чинов политического сыска как интериоризацию структур окружающего их социального мира. Политическая полиция являлась частью общества и выступала одним из участников общественного диалога.

Во-вторых, взаимодействие политической полиции и либерального движения проанализировано в новом теоретическом контексте. Политическая полиция и либералы выступают в качестве сторон в социальной игре за символический капитал. При этом местом действия является поле публичной политики как относительно автономный микрокосм внутри социального мира. Именно формирование поля публичной политики на рубеже XIX–XX веков делает возможным композицию и декомпозицию различных социальных идентичностей, которые долгое время рассматривались как определенные роли. Ульянова убедительно показывает, что политический сынок и либералы были скорее именно партнерами в игре, чем непримиримыми противниками. Не менее важно, что обе стороны совместно производили и поддерживали конвенциональные нормы политической повседневности.

Наконец, в-третьих, рассматриваемая монография усиливает наметившуюся в историографии тенденцию к изучению служебно-иерархических противостояний и роли неформальных отношений и связей в борьбе за бюрократическое и/или политическое влияние. Замечания Ульяновой о постоянном служебном перемещении жандармских офицеров и сотрудников охранных отделений между различными российскими губерниями дополнительно актуализирует вопрос о значении внутриимперского трансфера людей, идей и технологий.

Указанные сильные и новаторские положения монографии Ульяновой могут одновременно вызывать серьезный скепсис и принципиальные возражения. Попробуем сконструировать диалог с воображаемым «идеальным» критиком монографии. В первую очередь он обратит внимание на авторский тезис о Департаменте полиции и либералах как равноправных участниках обсуждения путей развития России во второй половине XIX — начале XX века. Упрек может заключаться в отказе верить в саму возможность какой-либо политической игры со стороны института государственной полиции. Такое суждение будет основано на убеждении в утилитарных характеристиках полицейских (и вообще государственных) институтов Российской империи. В данной логике Департамент полиции это институт, единственной функцией которого выступает обеспечение безопасности и нерушимости самодержавного строя. Соответственно, любые оценки оппонентов власти для чинов Департамента полиции обусловлены правовой прагматикой, направленной на уголовную классификацию антиправительственных выступлений. Все это действительно убедительные тезисы, к которым подталкивает как историографическая традиция, так и имеющийся массив исторических свидетельств, представляющий собой имперское делопроизводство. Совершенно очевидно, что любой историк Российской империи находится в «заложниках» у имперской бюрократии. Имперские государственные институты и населявшие их чиновники привычно выглядят как люди-функции: полицейские ловят либералов и революционеров, Минфин экономит деньги, Министерство народного просвещения следит за нравственностью и лояльностью обучающихся и так далее. Перед нами как будто реальность, но реальность, полностью лишенная субъективности акто-

ров. В такой картине власть концентрируется в институциональных функциях, а ее оппозиция в идейных течениях. Однако властью и авторитетом в Российской империи были наделены не только институты и идеологии, но и люди. Увидеть человека в разнообразии его социальных валентностей, анализируя имперское делопроизводство, очень трудно, но, как показала Ульянова, все же возможно. В рассматриваемой книге субъективность полицейских чиновников осмысливается через категории социологии П. Бурдье, и результатом становится выявление этоса корпорации, а также аналитическое определение правил противостояния Департамента полиции с российскими либералами. Таким образом, имперская бюрократия обретает субъективность, говоря попросту — мы начинаем слышать голос Департамента полиции. И это главный и важнейший результат рецензируемой монографии.

Представляется, что возможным следующим шагом в развитии «имперской» историографии, в том числе исследований полицейских институтов, могут стать работы, опирающиеся на постбурдянскую социологию. Концептуальными ориентирами здесь будут уже идеи Люка Болтански и Лорана Тевено, и прежде всего образ невидимой власти (государства)⁶ и понятие «вовлеченности»⁷. Представление о формальных институциональных правилах и функциях государственного аппарата, то есть видимая часть российского бюрократического левиафана, дополнится системным анализом неформальных отношений и патронажных сетей. В свою очередь, выявленная корпоративная субъективность является первым подходом к пониманию (не)устойчивости личности в различных ситуациях. Расслышав голос Департамента полиции, мы обретаем желание услышать голоса его чиновников в разнообразии их интонаций.

Police Department, Gendarmes, Liberals: Peculiarities of the Political and Public in the Russian Empire

Amiran Urushadze

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, European University at St. Petersburg

Researcher, Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Address: Gagarinskaya str., 6/1A, Saint Petersburg, Russian Federation 191187

E-mail: aurushadze@eu.spb.ru

Book Review: *Lubov Ulyanova. Politicheskaja policija i liberal'noe dvizhenie v Rossijskoj imperii: vlast' igry, igra vlast'ju. 1880–1905* [The Political Police and the Liberal Movement in the Russian Empire: The Power of Game, the Game of Power, 1880–1905] (Saint Petersburg: Aletheia, 2021) (in Russian).

6. Болтански Л. (2019). Тайны и заговоры: по следам расследований / Пер. с фр. А. Захаревич под науч. ред. О. Хархордина. СПб.: Изд-во ЕУСПб.

7. Тевено Л. (2018). Жизнь как испытание / Пер. с фр. А. Зайцевой и О. Николаевой // Неприкосненный запас. № 3. С. 3–29.